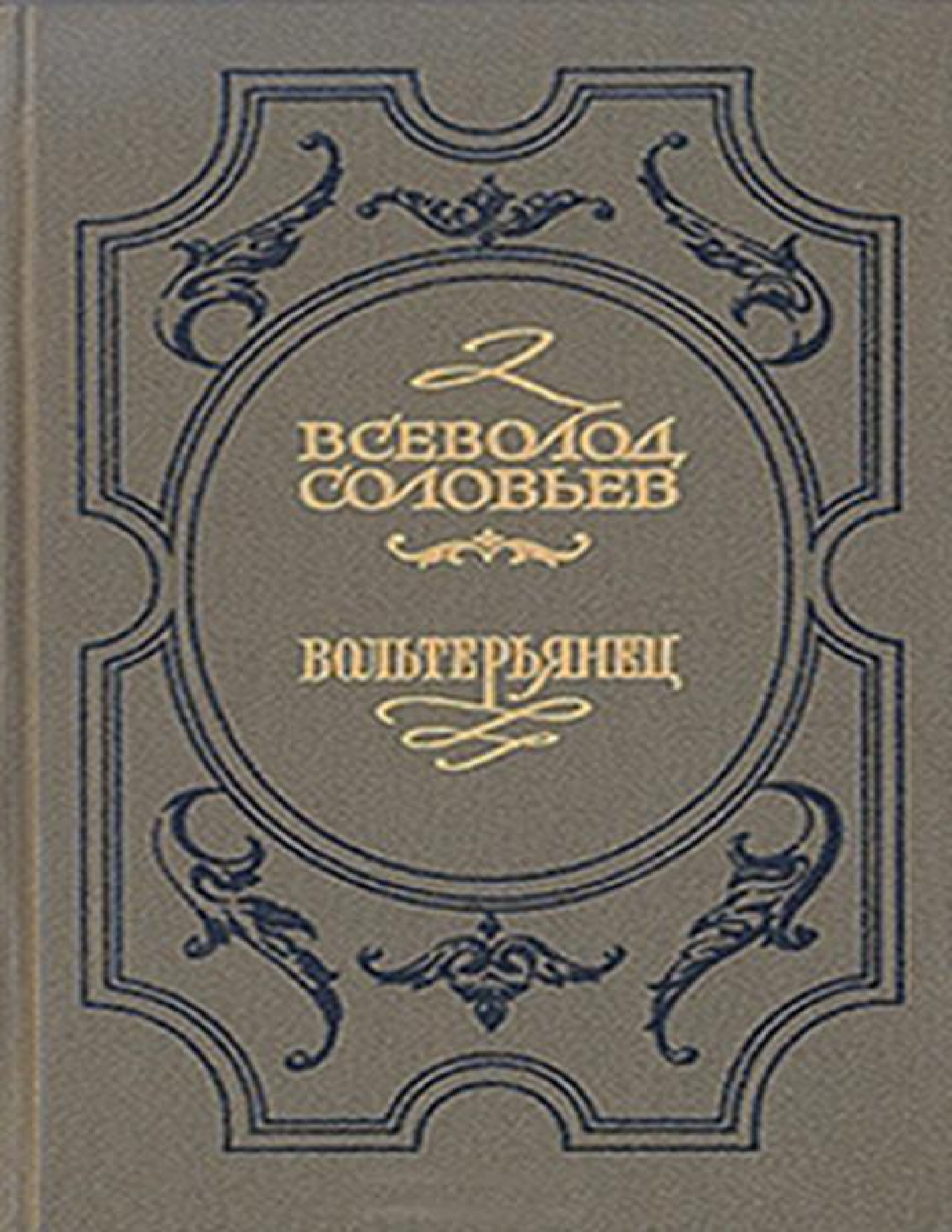




2
ВСЕВОЛОД
СОЛОВЬЕВ

ВОЛЬТЕРЬЯНЦЪ

Annotation



Всеволод Соловьев (1849–1903), сын известного русского историка С.М. Соловьева и старший брат поэта и философа Владимира Соловьева, — автор ряда замечательных исторических романов, в которых описываются события XVII–XIX веков.

В четвертый том собрания сочинений включен "Вольтерьянец" - второй роман из пятитомной эпопеи "Хроника четырех поколений". Главный герой Сергей Горбатов возвращается из Франции и Англии, выполнив дипломатические поручения, и оказывается вовлеченным в придворные интриги. Недруги называют его вольтерьянцем.

-
- [Вс. Соловьев](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [I. ДОМА](#)
 - [II. ЧТО БЫЛО](#)
 - [III. ПЕРВЫЕ ВЕСТИ](#)
 - [IV. «ДНЕЙ ГРАЖДАНИН ЗОЛОТЫХ»](#)
 - [V. ПРИЕМ](#)
 - [VI. ФИЛОСОФ-ПРАКТИК](#)
 - [VII. ЕГО СВЕТЛОСТЬ В ДУХЕ](#)
 - [VIII. СЛЕДЫ ВРЕМЕНИ](#)
 - [IX. ЗАГАДКА](#)

- X. ОЖИДАНИЕ
- XI. РАЗГАДКА
- XII. ОПЯТЬ ИЗ ПРОШЛОГО
- XIII. ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК
- XIV. СБУДЕТСЯ ЛИ?
- XV. ИНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
- XVI. СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ
- XVII. ЯСНЫЕ ДНИ
- XVIII. ПЕРВОЕ ОБЛАКО
- XIX. ЗА СЛЕПКАМИ КАМЕЙ
- XX. ОБВИНИТЕЛЬ
- XXI. ТЯЖЕЛЫЕ ВОПРОСЫ
- XXII. У ПОРОГА
- XXIII. ЛОВУШКА
- XXIV. НЕОЖИДАННОСТЬ
- XXV. ТОНКИЙ ДИПЛОМАТ
- XXVI. ОПАСНЫЙ СОПЕРНИК
- XXVII. РЕГЕНТ ДЕЙСТВУЕТ
- XXVIII. ГРЕЗЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
- XXIX. ГДЕ ТОНКО — ТАМ И РВЕТСЯ
- XXX. БЕДА
- XXXI. ПЕЧАЛЬНЫЕ ДНИ
- XXXII. БОГ НАКАЗАЛ
- ЧАСТЬ ВТОРАЯ
 - I. ОПЯТЬ ВИНОВАТА
 - II. РАЗЪЯСНЕНИЕ
 - III. ДОРОГИЕ ГОСТИ
 - IV. СОРВАЛОСЬ
 - V. ОСВОБОЖДЕНИЕ
 - VI. НОВЫЙ ПРИЯТЕЛЬ
 - VII. ГАТЧИНЦЫ
 - VIII. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
 - IX. ОБЕД НА МЕЛЬНИЦЕ
 - X. ЧТО ЗНАЧИЛ СОН
 - XI. СВЕРШИЛОСЬ
 - XII. СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ
 - XIII. ПЕРВЫЕ ДНИ

- [XIV. НОВЫЕ ВЕСТИ](#)
- [XV. СЮРПРИЗ](#)
- [XVI. ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ](#)
- [XVII. СТАРЫЙ ДРУГ](#)
- [XVIII. ДВЕ ЖЕНЩИНЫ](#)
- [XIX. ТЕНИ ПРОШЛОГО](#)
- [XX. «В КЕЛЬЕ»](#)
- [XXI. ЧТО ЭТО С НЕЮ?](#)
- [XXII. КОНЕЦ СКАЗКИ](#)
- [XXIII. ПОД ВЕНЦОМ](#)
- [XXIV. КЛЕВЕТА](#)
- [XXV. НОВЫЙ РАБОТНИК](#)
- [XXVI. ПЕВЕЦ ФЕЛИЦЫ](#)
- [XXVII. МЕЛОЧИ](#)
- [XXVIII. ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА](#)
- [ЭПИЛОГ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)

- [21](#)
 - [22](#)
-

Вс. Соловьев
Волтерьянец

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. ДОМА

С некоторого времени проходившие и проезжавшие по набережной Мойки, недалеко от Невского проспекта, замечали признаки особенного оживления в одном из роскошных домов, который петербургские жители привыкли в течение восьми лет видеть всегда мрачным и заколоченным.

Дом этот был построен еще в царствование императрицы Елизаветы Петровны. В нем когда-то жилось шумно и весело, потом он был покинут, заперт и стоял так многие годы. Затем, и именно восемь лет тому назад, он снова оживился, был отделан заново, к его парадному широкому подъезду то и дело подкатывали богатые экипажи... Но эта жизнь длилась самое короткое время, всего несколько месяцев, — и опять старый дом погрузился в тишину и печально глядел своими темными каменными стенами, своими огромными заколоченными окнами.

Петербуржцы знали, что дом этот принадлежит представителю одной из богатейших и знатнейших русских фамилий. Слыхали они, что владелец его, молодой вельможа, живет где-то в чужих краях и уже восемь лет не возвращается на родину. Смутно рассказывалось, если речь заходила о барском заколоченном доме на Мойке, будто владелец его пользовался большими милостями императрицы Екатерины, да, видно, сумел нажить себе врагов сильных, и в чужих краях остается он не вольною волею, — и хотел бы, мол, на родину, да возвращаться не приказано. Сначала об этом шли по городу толки, интересовались молодым вельможею. Но промчался год, другой, третий — говор стихал и теперь, через восемь лет, никому не было дела до этого далекого человека — его совсем позабыли. Старый заколоченный дом стоял как надгробный памятник, с которого совсем уже стерлась эпитафия, — он не возбуждал ничьего любопытства...

И вдруг в этом доме движение, вдруг заколоченные окна открыты настежь, и лучи солнца, пробираясь внутрь обширных покоев, скользят по лепным потолкам, по золоченым рамам картин, по вазам, статуям и богатым штофным драпировкам. Прохожие останавливаются и дивятся на эту выглядывающую роскошь барских чертогов. А по

вечерам, когда темень спустится на город и с Мойки поднимется туман, сквозь который едва мигают кое-где расставленные фонари набережной, еще изумительнее становится зрелище: место, всегда казавшееся каким-то провалом среди веселых огней соседних домов, теперь озаряется то меркнувшим, то вновь появляющимся светом, огни то показываются, то исчезают в доме по всем покоям, очевидно, ходят со свечами...

— Горбатовский дом отперли! — говорят в городе. — Продан он, что ли? Кто в нем жить будет?..

Старым позабытым мертвецом опять начинают интересоваться и узнают, что дом не продан, что его приготавливают к приезду владельца, который на этих днях должен возвратиться из чужих краев.

И вот вспоминают петербуржцы старый рассказ о том, «как молодой вельможа пользовался милостями государыни, да, видно, сумел себе нажить врагов сильных и восемь лет пробыл где-то далеко, не имея возможности возвратиться на родину»...

Проходит еще несколько дней. Парадный подъезд стоит настежь. Внушительного вида швейцар с огромной булавой то и дело показывается у высоких дверей, карниз которых украшен старым гербом рода Горбатовых. Владелец возвратился.

Ненастное петербургское утро озаряет своим бледным светом обширную комнату. Частый окладной сентябрьский дождик стучит в окна.

В комнате, устланной мягким ковром, заставленной массивной мебелью, — большой беспорядок. По самой середине, на ковре, стоит несколько дорожных ящиков. Они распакованы, и из них выглядывают корешки французских и английских книг, старинные кожаные переплеты редких изданий. По комнате взад и вперед, медленным шагом, бродит человек небольшого роста, стройный и крепко сложенный, одетый в черное траурное платье английского покроя. Он еще молод, самое большее ему тридцать лет. Бледное, тонко очерченное лицо его чрезвычайно красиво. На этом лице лежит постоянно тень не то тоски, не то скуки и придает ему утомленное, рассеянное выражение. Этот молодой человек и есть возвратившийся на родину изгнанник — Сергей Борисович Горбатов.

Он приехал поздно вечером и, утомленный долгим путем, едва раздевшись, заснул как убитый. Несколько часов крепкого сна как рукой сняли его усталость. Он велел принести свой утренний завтрак в рабочую комнату, приказал никого не впускать к себе и вот уже больше часа бродит между распакованными книгами, не замечая времени. Завтрак давно простыл на столе, но он совсем и позабыл о нем.

Он опять здесь, в своем петербургском доме, и кажется ему, что все это было так недавно, когда он перед своим отъездом в Париж вошел в последний раз в эту комнату и запер на ключ бюро. Вот этот ключ, он не забыл его, привез с собою. Он отпер бюро. Все бумаги на месте, будто вчера уложил он их, — а ведь это было летом 1789 года. Он уезжал торопливо, радуясь своей неожиданной поездке, о которой давно мечтал, и в то же время смущаясь некоторыми обстоятельствами, вызвавшими эту поездку. Он уезжал розовым красавцем юношей, едва окунувшимся в водоворот столичной жизни, едва испытавшим и первые успехи, и первые разочарования.

Он невольно переносился теперь мысленно к тому времени, вспоминал свои занятия в иностранной коллегии у графа Безбородки, веселости блестящей петербургской молодежи, тщетно старавшейся совратить его и с досады называвшей его «монахом». Вспоминал он оживленные вечера Эрмитажа, неизменное внимание и милости государыни к нему, юному дипломату. Вспоминал аллеи и дорожки царскосельского сада, бледное и печальное лицо графа Мамонова, свою кратковременную дружбу с ним; встречу с императрицей у царскосельского озера в тот жаркий летний вечер, когда он мечтал о своей невесте, княжне Тане Пересветовой, которая все звала его в деревню...

А вот и последняя неожиданная аудиенция у государыни. Он как теперь слышит тихий, спокойный голос Екатерины:

«Я намерена возложить на вас такое поручение, какое могу дать только человеку, в способностях коего, скромности и разумности вполне уверена. Я получила очень серьезные депеши и письма от Симолина, и мой ответ должен заключать в себе подробную программу дальнейшего способа наших действий относительно Франции. Мне нужен верный человек, который передал бы Симолину письмо и некоторые документы и который бы, кроме того, зная мои

взгляды, мог быть ему полезным помощником в такое трудное, шаткое время. Готовы ли вы служить мне?..»

Она давала ему только один день на приготовление к отъезду. Он не имел возможности заехать в деревню проститься со старухой матерью, проститься с невестой. Он успел только съездить в Гатчину, к цесаревичу. Цесаревич считал эту поездку очень полезной для молодого человека, очень своевременной — и благословил его в путь.

Еще одно последнее посещение царскосельского дворца, прощание с императрицей:

«С богом — и доброго пути, мой друг!..»

Ее полушутливые, полусерьезные наставления... ее грустный и ласковый взгляд... А у двери кабинета нахальное, женственное лицо молоденького дежурного офицера — Платона Зубова. Он как теперь его видит, этого мальчика, так заискивавшего перед ним, казавшегося таким пустым, ничтожным, взявшего у него деньги, чтобы кинуть их к ногам певицы цыганки, от которой с детским ужасом бежал он, Горбатов...

И вдруг этот мальчик в один день, в один час стал неузнаваем.

— Позвольте пожелать вам счастливого пути, Сергей Борисович! А должок-то забыли? Вот-с, получите при великой моей благодарности!..

— Вы ничего не должны мне, господин Зубов, и денег от вас я не приму...

Все это в мельчайших подробностях припоминается Сергею Горбатову. Но он не может вспомнить, с какою злобою посмотрел ему вслед Платон Зубов, с каким бешенством прошептал он:

— Этого я тебе, голубчик, не забуду!

Он уехал со своим воспитателем, французом Рено, со старым преданным другом — карликом Моськой. Он рад был забыть весь этот шум, все эти волнения, которые после тихой деревенской жизни сразу нахлынули на него и отуманили. Он рад был окунуться в другую жизнь, о которой с детства восторженно толковал ему воспитатель, он трепетал от восторга, помышляя о том, что заветная мечта осуществляется, что он увидит Париж, эту обетованную землю мыслящего человечества!

Наконец, он в Париже, в последние дни версальского двора, в страшные дни разразившейся революции. Воспитатель покидает его,

охваченный революционным потоком. Карлик Моська чувствует себя в самом центре ада и с ужасом ждет гибели своего дорогого Сергея Борисыча. Но какое дело Сергею Борисычу до этих мучений старого пестуна! Он живет новой жизнью, первая страсть безумно и мучительно охватила его; позабыто все прежнее, будто никогда его и не бывало. Позабыта далекая Таня!.. Он не видит еще и не предчувствует, что его Мари, эта блестящая герцогиня д'Ориньи, одна из любимых придворных дам Марии Антуанеты, уже натешилась его пылом, уже сучает его страстной и требовательной любовью, уже замышляет измену.

И вот все разом, со всех сторон, внезапно надвинулись тучи... Гроза разразилась... Революция бушует... Он свидетель версальских ужасов... Версаль не существует более. Каждый день приносит печальную новость. И вместе с этой громадной общественной драмой в сердце Горбатова разыгрывается другая драма — его вера в любимую женщину поколеблена, его любовь опозорена, он уж не может сомневаться в своем несчастье.

А карлик Моська торжествует. Его загадочное письмо подействовало — княжна Таня Пересветова, этот вчерашний ребенок, превратившийся под влиянием любви и опасности, грозящей этой любви, в сильную, решительную женщину, в Париже со своей матерью. Она спасет его, своего дорогого гибнущего друга. Но спасти его трудно. Он околдован иными чарами, и эти чары не могут сразу поддаться чистому и мечтательному чувству княжны Тани.

Вспоминается ему теперь его дуэль с шарлатаном итальянцем, оказавшимся его соперником в сердце развращенной, жаждавшей и искавшей только разнообразия женщины. Он ранен. Он тяжело болен. Таня ухаживает за ним и дни, и ночи... Наступает выздоровление. Тишина и спокойствие нисходят в сердце Сергея. Он должен покинуть Париж, императрица решила прекратить дипломатические сношения с Францией. Отъезд на родину, отъезд вместе с нею, Таней, и спокойная семейная жизнь вдали от шума столицы и двора, в уединении родного Горбатовского — все это решено, все это должно осуществиться в самом скором времени.

Карлик Моська торжествует, его молитва услышана, «дите» спасено, и вдобавок еще проклятый француз Рено остается в этом дьявольском Париже...

Сергей Горбатов присел к отпертому бюро и наклонился над бумагами, оставленными им в нем восемь лет назад, в день отъезда. Его рука дрогнула, когда он прикоснулся к синему золотообрезному листку, исписанному твердым, крупным почерком — письму Тани. Это она тогда еще писала ему, звала его, ждала его приезда. Он прочел это письмо, и ему уже перестало казаться, что это было так недавно. Теперь ему представилось, что не восемь лет прошло с тех пор, а прошла целая вечность. Какой доверчивой любовью дышали эти строки, как высказывалась в них чистая душа девушки-ребенка, еще совсем не знакомой с жизнью, но уже умеющей любить и испытавшей и тяжелые мысли, и глубокое нравственное страдание.

Сергей положил письмо, несколько минут сидел неподвижно, и на бледном лице его все яснее и яснее выступало выражение тоски и скуки.

«Зачем она ушла? — думал он. — Я был бы счастлив с нею! Ее только одну и любил я в жизни!»

II. ЧТО БЫЛО

Но она ушла, и именно тогда, когда он думал, что уже больше не разлучится с нею. Как произошло это?

Он никогда не забудет этого дня! Он уже почти совсем оправился после своей болезни. Доктор объявил ему, что через несколько дней он будет в состоянии выходить из дому. Он делал последние распоряжения, уверенный, что не может быть никаких препятствий к его отъезду из Парижа на родину вместе с посольством, вместе с княгиней Пересветовой и Таней.

О герцогине д'Ориньи он не думал, она для него не существовала, он считал ее навсегда для себя умершей. Успокоительное, ободряющее присутствие Тани и все, что он вынес за последнее время, по-видимому, совсем вырвали из него эту безумную страсть, чуть было не стоившую ему жизни.

А между тем герцогиня, так зло над ним насмевшаяся, так цинично его оттолкнувшая, вдруг о нем вспомнила. История его дуэли не могла остаться для нее тайной. Она стала о нем разузнавать и узнала, что он был при смерти болен, что он выздоравливает, что при нем молодая девушка, приехавшая из России, кто говорит — его родственница, кто говорит — невеста. Сергей Горбатов становился снова интересен для герцогини. Она захотела во что бы то ни стало его увидеть и увидеть эту приехавшую девушку. Кто она и какие между ними отношения? Если она его невеста, если она думает вырвать ее, герцогиню, из его сердца, то надо показать ей, что она жестоко ошибается.

«Разве он не моя собственность? — думала герцогиня. — Стоит только поманить его, и он вернется!»

Она послала ему коротенькую записку, осведомляясь об его здоровье, выражая свое сожаление по поводу случившегося и заключая тем, что если он настолько еще не поправился, чтобы приехать к ней, то она сама приедет навестить его. Записка эта попала в руки Моськи, который, недолго думая и без всяких угрызений совести, распечатал ее, прочел не без затруднений, понял, снес в свою комнату, заперся, сжег записку в камине, а потом тщательно вымыл

себе руки, как после прикосновения к чему-нибудь отвратительному и ядовитому.

— Ну, уж не бывать этому! — ворчал он сам с собою. — Оно, конечно, Сергей Борисыч и сам бы сжег, да нечего ему и в ручки давать такое поганство... Жди, матушка, жди ответа!

Карлик шептал это решительным и уверенным голосом и не замечал, что все же, видно, у него есть какое-нибудь сомнение, если он так тщательно скрывает факт получения записки. Поганство оно — это так, в этом спору нет, да ведь вот — вымыл он руки, и ничего не пристало; не опоганился бы и Сергей Борисыч. Напротив, было бы приятно видеть спокойное презрение, с которым бы он отнесся к посланию герцогини, — нет, видно, тут не одна боязнь опоганить «дитю», а что-нибудь другое.

Если бы Моське кто сказал, что он сомневается в «дате», он накинулся бы на такого человека и стал бы просто кусаться. А между тем он все же там где-то, в глубине своего сознания, сомневался. Он молчал про записку, про свой поступок и целых три дня бродил по дому, высматривая и прислушиваясь, не будет ли другого посланца, другой записки. Наконец, он себя успокоил.

«Ожглась, гриб съела... в другой раз, видно, не полезет!»

А герцогиня все ждала ответа. Прошло несколько дней — о Горбатове ни слуху, ни духу. И вот, как нарочно, в то время, как карлик отлучился из дому, карета остановилась у их подъезда. Герцогиня д'Ориньи взошла на широкие ступени крыльца, сбросила закутывавший ее плащ на руки засуетившейся прислуги и, ни слова не говоря, своей неслышной, легкой и грациозной походкой пошла через анфиладу зал, в кабинет Сергея. Устройство дома ей было известно. Она знала, в какой комнате найти хозяина.

Сергей полулежал в длинном удобном кресле, придвинутом к камину, огонь которого озарял его бледное, похудевшее и сильно изменившееся лицо. Однако на этом лице, несмотря на все следы недавних страданий, уже начинали показываться первые признаки возвратившейся жизни, здоровья и спокойствия. Сергей был еще довольно слаб, но глаза его светились по-прежнему и временами с тихой лаской останавливались на прелестном лице Тани, сидевшей неподалеку от него за маленьким круглым столом и читавшей ему только что полученные газеты.

Дверь едва слышно скрипнула, приотворилась, и на пороге комнаты показалась стройная женская фигура в черном платье, в скромной прическе, заменившей уже недавние башни и корабли на головах парижских светских женщин.

Прошло несколько мгновений, прежде чем Сергей и Таня ее заметили. Она имела время сделать свои наблюдения. По едва уловимым, но ясным для нее признакам она подметила, что эта красавица девушка, такая юная и свежая, с таким энергичным и в то же время нежным выражением в лице, не сестра, не сиделка. Эта девушка может быть ей соперницей опасной.

«Я пришла вовремя», — подумала герцогиня.

Она сделала несколько шагов по мягкому ковру. Таня обернулась, едва слышно вскрикнула и глядела на нее, не отрываясь, — изумление незаметно переходило в страх, ужас.

— Кто это? — почти бессознательно спросила она

Сергея и в то же время хорошо понимала, «кто» эта женщина и сколько страшного в ее появлении.

Сергей вскочил на ноги и тотчас же пошатнулся, ухватился за спинку кресла. Он не мог произнести ни слова, он, как и Таня, глядел, будто околдованный, на герцогиню.

Она приближалась к нему с протянутыми руками.

— Serge! — произнесла она.

Одно только это слово и проговорила — но она вложила в него все чары, с помощью которых так еще недавно владела этим человеком.

Она улыбнулась ему. Он был еще слаб, он мог ожидать чего угодно, только не этого появления. Он не мог сообразить, что это такое, где он и кто с ним. Он только слышал голос, сразу поднявший в нем все счастье и муки недавнего прошлого. Он только видел улыбку, всегда сводившую его с ума.

И это, совсем было позабытое, невыносимое видение все ближе, ближе... Она сжала его холодную, трепетавшую руку.

Он на мгновение отстранился, будто хотел защититься, он озирался испуганно и беспомощно, будто ища то существо, которое одно только и могло спасти его. Но он уже не видел, не замечал Тани, он ничего не видел. И вдруг с криком страсти кинулся к герцогине и упал у ног ее, теряя сознание...

Что потом было — он не помнил. Когда он совсем очнулся, он лежал в своей спальне — не было ни Тани, ни герцогини, только Моська за ним ухаживал. Потом появился доктор. Моська был мрачен. На все вопросы Сергея он упорно молчал, только сморщенное, крошечное старое лицо его как-то передергивалось, и на глазах то и дело наворачивались слезы, которые он смаргивал или втихомолку вытирал дрожащим кулачком. Прошло несколько часов. Сергей снова чувствовал себя сильнее. Он с ужасом вспомнил появление герцогини; но не понимал, что с ним такое было. Этот демон появился так неожиданно, этот демон мог опять очаровать его на мгновение, но прежней силы уже не имеет над ним. Нет, все кончено, возврата нет больше, он не любит ее — она ему ужасна... отвратительна...

— Где Таня!.. Таня!..

И он увидел Таню. Но Таня была не вчерашняя, не сегодняшняя... Таня была новая.

Он просил у нее прощения за свою невольную вину перед нею.

— Если бы я только мог думать, — говорил он, — что эта ужасная женщина решится сюда явиться, я бы приказал ее не впускать; но мог ли я об этом думать? Я был в таком ужасе...

Он пробовал защититься, он пробовал объяснить свой обморок неожиданностью и негодованием. Но Таня только тихо качала головою и глядела на него какими-то сухими, странными, но в то же время спокойными глазами.

— Зачем, Сергей Борисыч, не надо... Тебе вовсе нечего извиняться передо мною!..

А между тем он все же чувствовал, что виноват и что вряд ли получит прощение.

Он робко стал говорить об их отъезде. Таня тоже говорила об отъезде. Но из слов ее так выходило, что они, достигнув России, разъедутся в разные стороны.

— Таня, как же это? — едва слышно, едва ворочая языком, шептал Сергей. — Я думал, что мы уж никогда не расстанемся с тобою. Таня, зачем ты хочешь меня оставить, ведь это невозможно!.. Или ты совсем разлюбила меня? Ты меня презираешь?

Она подняла на него тихие глаза и сказала:

— Презирать? Боже мой, да за что же? Я все та же, и такие же мои чувства: Но того, о чем ты думаешь, Сергей Борисыч, никогда не

может случиться. Ты не меня любишь... и я скорее умру, чем стану твоею женою...

Что он мог возразить ей? Разве она не провела здесь все это последнее время, разве мало оскорблений нанес он ее чувству? Да и сам он не понимал себя: вместо вчерашнего спокойствия в нем был опять хаос. Он сознавал, что недавнее прошлое еще не забылось, не стерлось окончательно.

— Это твое последнее слово, Таня? — уныло проговорил он.

— Да, последнее слово, и довольно об этом. Знай, что я навсегда останусь твоей сестрой, твоим другом, но мы уже не жених и невеста... давно не жених и невеста. Это была ошибка, детская фантазия. Забудем же... и поскорее... и навсегда, так, чтобы мысль о ней, об этой нашей ошибке, не стояла между нами и не портила нашей дружбы... Вот и все... и хорошо, что так кончилось... и будем навсегда друзьями!

Она протянула ему руку, она улыбалась ему, казалась такой спокойной.

Он сидел совершенно растерянный, ненавидя себя и презирая.

Таня еще раз ему ободряюще улыбнулась и вышла от него своей твердой походкой. Она медленно прошла ряд комнат, дошла до своей спальни, заперла дверь на ключ и несколько мгновений стояла неподвижно. Она была на себя не похожа — таким отчаянным, таким страшным казалось лицо ее. Наконец, из широко раскрытых, почти остановившихся глаз брызнули слезы, и полились они неудержимо — тихие, неслышные, горькие...

Старая поговорка — что беда не приходит одна, а приводит с собою и другую — в этот день оправдалась на Сергее. У него оставалась одна надежда, одно утешение — время сделает свое дело, пройдет несколько месяцев, ну, хоть целый год, и Таня, наконец, должна будет забыть нанесенную ей обиду, должна будет убедиться, что он действительно ее любит и что ей не зазорно стать его женою. Все же они вместе поедут... и потом, в России, он не оставит ее. Зачем ему Петербург, зачем служба? Он уедет в деревню, в Горбатовское, чтобы быть как можно чаще с Таней... Ведь не могут же не отпустить его, не могут силой держать в Петербурге!..

Но в тот же вечер ему доложили о приезде старика Симолина. Он изумился. Посланник в последнее время никуда не выезжал. Верно,

что-нибудь особенно важное. Что было нечто важное — в этом он должен был убедиться при первом же взгляде на своего гостя. Добродушный и любезный старик держал себя как-то странно, ему, очевидно, было неловко. Наконец, он вынул из кармана и подал Сергею какую-то бумагу.

— Прочтите, — сказал он, — только, ради Бога, не волнуйтесь, отнеситесь как можно спокойнее к этому делу, — это единственное, что можно сделать в подобных обстоятельствах.

Сергей схватил бумагу, быстро пробежал ее, и она выпала у него из рук. Он хотел говорить, но несколько мгновений не мог произнести ни звука.

— Что же это? — наконец, прошептал он, совсем бледный и едва подавляя злобу, внезапно подступившую к его сердцу и начинавшую душить его. — Ведь это уж не немилость, это изгнание!.. Я должен вернуться в Россию! Я хотел тотчас же по приезде подать в отставку и удалиться в деревню...

— Как видите, теперь нельзя об этом и думать, — спокойно и ласково возразил ему Симолин. — Обождите. О немилости пока и говорить нечего — вы видите, как обставлено дело. Для вас нет никакого понижения по службе, напротив, скорее повышение. Я передам вам в Лондон очень важные бумаги, ваше положение в лондонском посольстве будет прекрасно.

— Боже мой, я не могу, я не могу ехать в Лондон, я должен вернуться в Россию непременно. За что же так?..

— Будьте благоразумны! — все так же спокойно и ласково настаивал Симолин. — Приехав в Петербург, я все разузнаю и напишу вам. Будьте уверены, что все это только временно и ненадолго. Вероятно, уже получено известие о вашей дуэли. Конечно, кто-нибудь повредил вам, сообщил неверные сведения. Но я сам буду говорить с императрицей, я постараюсь вас выгородить — положитесь на меня, Сергей Борисыч.

Горбатов благодарил старого дипломата, но в то же время мало рассчитывал на его помощь. Для него было ясно, что тут вовсе не история его дуэли и что если поднимут эту историю, то она будет только предлогом. Он уже догадывался, кто истинный враг его и кто теперь окончательно портит его жизнь, разрушает его планы. Это он,

тот ничтожный мальчик, который, как слышно, стал теперь всемогущим человеком, — это Платон Зубов.

Не прошло недели — и опустел отель у церкви Магдалины. Сергей Горбатов с депешами и письмами выехал из Парижа в Лондон; княгиня и княжна Пересветовы отправились в Россию в сопровождении карлика Моськи, без которого ни за что не хотел отпустить их Сергей. Карлик должен был проводить их и затем вернуться к своему господину в Лондон, в этот новый, неведомый ему ад, где опять, верно, придется ему скорбеть и дрожать со страху и оберегать «дитю» от новых погибелей и козней вражеских, которые вот теперь осилили и разрушили его благополучие. А в это благополучие так верил и так страстно ждал его бедный карлик.

Симолин сдержал слово, он прислал Сергею письмо из России, но ничего приятного не заключалось в письме этом. Отставки его не желают, возвращение его в Петербург считают несвоевременным и вместе с этим о дипломатической его карьере заботятся. Упрочивают его положение при лондонском посольстве, шлют ему знаки отличия.

Горбатов так и ожидал — он изгнанник. Но он еще не хотел примириться с этой мыслью — какие-то вести привезет карлик Моська?

И карлик вернулся с двумя письмами, одно из них было от Тани. Но лучше бы она и не писала. Она ли это? Такой сдержанностью, спокойствием и холодом веяло от ее строчек. Он не смел жаловаться, не смел обвинять ее.

Другое письмо, и совсем уже неожиданное, было от цесаревича. Павел Петрович писал, что ему грустно было узнать о некоторых обстоятельствах, о легкомысленном и недостойном серьезного человека поведении, которого он никак не ожидал от Сергея.

«Очень нехорошо, — писал он, — но на сей раз извинить еще можно по молодости и свойственному юным годам легкомыслию. Однако пора одуматься и стать человеком. Тебя не пускают в Россию, и ты, я чаю, немало на это сетуешь. Ничего, урок нужен, одумайся хорошенько и не заставляй меня изменять навсегда доброе о тебе мнение. Жена на тебя тоже очень сердита».

Письмо было строгое; но уж одно то, что цесаревич все же собственноручно написал, показало Сергею, что он по-прежнему расположен к нему и заботится о судьбе его. Но ведь теперь он ничего

не может для него сделать, он не в силах помочь ему вернуться в Россию, а вернуться необходимо.

Сергей стал отчаянно тосковать по родине, ничто его не занимало. Он сделал последнюю попытку — он написал государыне, он страстно просил ее позволить ему вернуться. Писал, что чувствует себя дурно, что лондонский климат после болезни вредно на него действует. В ответ на это письмо он получил разрешение отправиться в отпуск для излечения болезни на целебные минеральные воды в Германии. Приходилось покориться. Сергей махнул на все рукой, никуда не поехал, остался в Лондоне и впал в долгую апатию. О Тане нет никакого слуха. Она не в деревне, вероятно, в Петербурге, может быть, при дворе блистает, окружена толпой поклонников. Она так красива, молода, богата... женихи... может быть, и избрала уже кого-нибудь, забыла его. Ведь она имеет на это полное право. Первая детская любовь пройдет сном, и ничего от нее не останется. Старуха мать пишет из деревни печальные письма. Она уже помирилась с мыслью жить в разлуке, по целым годам не видеть сына. Она занята дочерью-невестой, сложным деревенским хозяйством. Она по-прежнему каждую свободную минуту проводит на тихой могиле мужа, доживает свой однообразный век. И горячо хочется Сергею прильнуть к ней, к этой нежной, простодушной матери, своим рано уставшим сердцем. И он пишет ей нежные письма, утешает, обещает скорое свидание. Но он не может ей поверить свою тоску, рассказать ей свою душу — ей трудно было бы понять его, да и жаль мучить бедную старуху.

Друг и воспитатель Рено был бы теперь самым нужным, самым дорогим человеком, но он остался в Париже и что с ним — Сергей не знает. Он опять пропал в бушующем море революции. Жив ли он, этот пламенный демагог-оратор, с ужасом отшатнувшийся от дела рук своих и так же страстно кинувшийся защищать то, что недавно проклинал?

Кто же остается? Один карлик Моська. И этот единственный, неизменный друг слышит не раз прорывающиеся жалобы Сергея и утешает его по-своему, но плохое от него утешение. Он находит, что «дите» чересчур провинилось, чересчур нагрешило, и Бог послал справедливое наказание, а следовательно, надо раскаиваться и молиться, и ждать Божьего милосердия.

Между тем время идет, и хоть на душе и тоскливо, и мрачно, а все же оно идет быстро. Время тревожное, страшное, историческое, события разыгрываются одно за другим...

Мало-помалу Сергей примиряется со своим положением, уже не просится в Россию, он привык к изгнанию, — ко всему можно привыкнуть. Он все более и более интересуется делами посольства, начинает показываться в высшем лондонском обществе, где ему, как и в Париже, всюду широко открыты двери. Он красив, богат, знатен, на нем останавливаются взгляды молодых, изящных женщин. Он ищет рассеяния, ищет забвения, с его именем уже связаны две-три романтические интриги; но он далеко не страстный любовник: женщины скоро ему надоедают, он отрывается от них для книг. И часто в то время, как его ждут в светском салоне, — сидит он у письменного стола и читает.

Опять на сцене старые друзья, философы-энциклопедисты. Теперь он уже яснее понимает их, чем в те иные годы, когда Рено страстно комментировал ему каждую фразу. Теперь уже старик Вольтер не возбуждает в нем прежнего поклонения, он уже способен критически к нему относиться. Но все же этот смелый, блестящий и циничный ум имеет на него влияние, все же софизмы и облитые тонким ядом насмешки фернейского отшельника иной раз так гармонируют с раздражительным настроением Сергея.

Однако и книги надоедают. Скучно, скучно! В жизни нет цели, нет захватывающего интереса. Юность горячая, восторженная, полная надежд и грез, исчезла. Давно ли так во все верилось, давно ли было столько любви к человечеству, так страстно думалось о судьбах его, об его прогрессе? Теперь все это мертво. Снова жизнь дает отрезвляющие уроки. Человечество безумствует и, провозглашая, что добивается счастья, свободы и равенства, творит только неправду, только насилие. Нет правды, нет счастья на свете — одна вечная и ужасная борьба за существование! Какому же делу служить, чего добиваться? Вся эта работа политиков и дипломатов только игра, в значение и результаты которой, по большей части, не верят сами игроки.

Скучно, скучно!..

Проходят годы, как тяжелый сон, и все то же, только скука и скептическое отношение ко всему и ко всем становятся хроническими и неизлечимыми...

Наконец, после восьмилетнего отсутствия, он снова на родине.

Он получил известие о кончине своей матери и вместе с этим известием разрешение вернуться в Россию. Он не стал медлить ни минуты и поехал, тоскуя о своей утрате, вызывая перед собою образ доброй старушки, с которой не удалось ему даже проститься, которая так и не дождалась любимого сына.

Но несмотря на тоску и горе, он все же чувствовал, что сердце его как-то горячо и живо бьется, на него пахнуло свежим воздухом.

И вот теперь, в тишине рабочей комнаты своего петербургского дома, он очнулся как бы от спячки.

«Да, это был сон, долгий и страшный сон!» — подумал он.

Ему захотелось жизни, движения. Он сознавал, наконец, что все еще молод, что еще не все кончено, что впереди для него что-нибудь может быть такое, о чем он уже разучился думать. Ему вспомнилось, что он приехал не на веселье, не на радость, а на борьбу, на целый ряд неприятностей.

«Но что же такое? Тем лучше, тем лучше! — думал он. — Все же это жизнь, а до сих пор не было никакой жизни. А главное — я дома!»

III. ПЕРВЫЕ ВЕСТИ

Ручка запертой двери зашевелилась, а потом послышалось несколько легких ударов.

— Кто тут? — очнувшись, спросил Сергей.

— Это я, батюшка, с ответом... — расслышал он визгливый знакомый голос.

Он отпер двери, и в рабочей комнате появилась крохотная фигурка Моисея Степаныча — карлика Моськи.

Полный еще своих мыслей и воспоминаний о пережитом времени, Сергей любовно взглянул на своего старого пестуна.

— А ведь ты все тот же! Ты совсем не постарел, Степаныч! — тихо проговорил он, будто после долгой разлуки всматриваясь в сморщенное детское лицо карлика. — Помнишь, как мы выбирались отсюда? Восемь лет прошло, и где эти годы? Ты вот не изменился, а я — хоть и быстро промелькнуло время — что случилось со мною?

Карлик вздохнул и, в свою очередь, внимательно и грустно поглядел на господина.

— Оно и впрямь, Сергей Борисыч, — шепнул он, — сколько воды утекло, а вот мы опять тут, и словно не выезжали. Маменьки только больно жалко, не ждал я, и в помышлениях не было! Все мне так и представлялось: приедем в Горбатовское... свидимся... Маменьки-то вот жалко, Сергей Борисыч!

Голос его задрожал, лицо совсем сморщилось. Он сделал усилие, чтобы удержаться от слез, но не мог и всхлипнул, утирая глаза кулачком. Сергей стоял, опустив голову, забыв свою руку на плече карлика. Он стиснул зубы и смаргивал набегавшие слезы.

— Да что уж, такова, видно, Господня воля, слезами-то мы не поможем! — оправляясь, заговорил карлик. — Вот, батюшка, побывал я по твоему приказу у Льва Александровича, и писулька к тебе от его милости. Дома он, ждет тебя...

Сергей быстро развернул и прочел записку. Нарышкин писал ему: «Любезный племянник, по счастливой и редкой случайности — легкому моему нездоровью, — сижу я ныне весь день дома. Поспеш.

Сердечно радуюсь свидеться с тобою, и хорошо, коли до меня никого не увидишь».

— Степаныч, вели скорее подать карету! — оживляясь, приказал Сергей.

Он быстро прошел в уборную, dokonчил свой туалет и отправился к Нарышкину. В сильном возбуждении, даже с легким румянцем, то появлявшимся, то исчезающим на его бледных щеках, он поднимался по широким ступеням лестницы, по-прежнему всему Петербургу знакомого дома знаменитого «Левушки». Он прошел вслед за указывавшим ему дорогу камердинером целый ряд зал. И невольно припоминались ему веселые вечера, которые он когда-то проводил здесь, тот блестящий маскарад, когда он впервые увидел цесаревича, где мелькало перед ним столько разных лиц, из которых многие уже кончили свое земное странствие, завершив так или иначе блестящую карьеру.

Но вот он в уютной комнате, где произошел его первый знаменательный разговор с цесаревичем. Перед ним хозяин. После родственного и радостного приветствия они разглядывали друг друга.

— Дядюшка, как мало вы изменились! — невольно сказал Сергей.

Нездоровье Льва Александровича, очевидно, было очень несерьезное: добродушное, плутоватое лицо его все так и смеялось. За эти восемь лет он только немного подался в ширину, да, может быть, появились две, три лишние морщины. Но от него все же дышало веселостью и здоровьем, в нем не замечалось еще никаких признаков подошедшей старости.

— Мало изменился, любезный друг, да с чего же мне много-то и меняться? А все ж таки хоть и мало, да изменился — вот в этом-то и штука. Ну, а вот ты, я вижу, сильно изменился. Постой, погляди — молокососом уже называть не стану, и красив же ты!., еще лучше стал, пожалуй! Да это пустое... Рад, дружок, что вижу тебя, сердечно рад, потолкуем, благо досуг есть. Скажи, положи руку на сердце, ведь, я чаю, сердишься ты на меня?

— За что же, дядюшка, мне на вас сердиться?

— Ведь, я чаю, ты думаешь, что я за тебя не хлопотал, не старался?

— Я ничего такого не думаю, я уверен, что если бы от вас зависело, если бы вы могли что-нибудь, то я давно был бы в России.

— Так, так! — с видимым удовольствием и в то же время очень серьезно повторял Нарышкин. — Видит Бог, все сделал и ничего не мог добиться... и думал о тебе часто — ведь восемь лет, шутка ли?

— С матерью не мог проститься! — невольно вырвалось у Сергея.

— Да, и вот, как и в первый раз, я вижу тебя после такой потери — тогда отца схоронил, теперь мать!

— Но я был при кончине отца! Да уж что говорить об этом, я не жаловаться хочу вам, я хочу, чтобы вы мне глаза открыли на то, что здесь делается, чего мне ожидать, ведь я как в лесу — что я знаю! Помните, тогда мальчиком приехал, ничего не понимал тоже, а теперь и того меньше. Насколько мог сообразить оттуда, издалека, теперь все иное — научите!

— Веселого от меня услышишь мало, — сказал Нарышкин, — а объяснить тебе не только могу, но и должен. Ты вот сказал, что я мало изменился — это может быть, а другие нет — другие сильно постарели. Вот тебе и вся разгадка. Уже несколько лет как я зачастую от самой слышу: «стара я стала!» И мы уж к этому привыкли, — с самой смерти Потемкина постарела.

Сергей печально усмехнулся.

— Да, но знаете, ведь я нахожусь в самом невыносимом положении. Вы вот говорите, что давно ко всему привыкли, оно понятно, время действует. Перемены, происходящие изо дня в день у вас же на глазах, не так поражают, а я был совсем от всего оторван, я не в силах примириться с некоторыми обстоятельствами, не могу смотреть на многое вашими глазами. Конечно, я прежде всего буду говорить о Зубове. Знаете ли, что он такое для меня? Ничтожный офицерик, несостоятельный мальчик, обуреваемый желанием жить на широкую ногу, вкусить от всех удовольствий, а потому подлизывающийся к богатой молодежи, льнувший ко всем, кто может быть так или иначе ему полезен, увертливый, низкопоклонный, нахальный, когда это не может повредить ему, одним словом, сущая ничтожность и ничтожность противная. Таким я его оставил восемь лет тому назад, в день моего отъезда из Петербурга. До этого дня он был совсем незаметен, и если я его заметил, то единственно потому, что он случайно попался на моей дороге. Он всячески ухаживал за мною, взял у меня деньги и потом, вдруг преобразившись, почувствовав под собою почву, поняв, что я ему не нужен и не помеха,

он с самым непристойным, циничным нахальством хотел мне вернуть эти деньги. Я сказал, что не приму их от него — и после того мы не видались. Я знаю, что я ему, и одному ему, обязан тем, что до сих пор не мог выбраться в Россию. Но все же, когда мне приходилось поневоле о нем думать, слушая почти невероятные рассказы о полученном им значении, я представлял и представляю его себе до сей минуты таким, каким он был тогда, — он не мог измениться. И вот этот человек, как мне говорят, управляет всеми делами и, наконец, ведь он мое высшее начальство! Безбородко уступил ему звание президента коллегии иностранных дел! Послушайте, это сказка, это что-то совсем невозможное!

Нарышкин добродушно улыбался и тихонько кивал головою.

А Сергей между тем разгорячался больше и больше.

— Да, мне пришлось подумать об этом ничтожном человеке. Он мелочный и мстительный, как всякое ничтожество, как все выскочки. Он знал, что я не могу стать ему поперек дороги, я просил только свободы, просил позволения вернуться в деревню, я бы жил там безвыездно — и я не мог этого добиться. Ему, очевидно, нужно держать меня в своей власти, доказать мне, что он мой тюремщик. Он доказал мне это — но и того ему мало. Я все ждал, что ему наконец надоест и он меня оставит в покое. Нет, я вижу, теперь ему нужно еще моего унижения. Получив известие о кончине матушки, я опять просил отставки и опять получил отказ. Я должен был прямо из Лондона явиться сюда. Я должен завтра же, послезавтра, одним словом, на этих днях, представиться господину президенту иностранной коллегии. Каково положение! Какова роль!

Нарышкин как-то полужакрыв глаза, стиснул зубы, даже покраснел, пальцы его усиленно играли кистью халата. Волнение Сергея, очевидно, сообщалось и ему, невозмутимому «Левушке». Но он все же молчал и только внимательно слушал.

Сергей продолжал:

— Знаете ли, дядюшка, в первую минуту я уже было решился не ехать в Россию. Что же мне — я опоздал, мать похоронена, денежные мои дела, заботы по имениям в надежных руках. Я чувствовал себя неспособным на эти встречи, на эти сцены, на эту невозможную, жалкую роль. А между тем это была только минута; я выехал в тот же день, и с радостью, и с наслаждением. Я русский, я люблю Россию. Я

будто проснулся, будто помолодел с тех пор, как дышу родным воздухом. Но скажите мне, неужели нет никакой возможности избавиться от этого унижения, неужели я не могу сейчас же, немедленно получить отставку и уехать в Горбатовское? Ведь ваше положение не изменилось, ведь вы по-прежнему близки, по-прежнему друг государыни. Прошу вас, если не ради меня, то хоть ради памяти отца сделать для меня это... Избавьте меня от унижения!

Он замолчал и с сильно бьющимся сердцем глядел на Нарышкина и ждал, что тот ему ответит.

— Милый мой, — тихо и серьезно проговорил Лев Александрович, — я ждал этого твоего ко мне обращения и обо всем подумал. Не всегда же я дурачусь, и, поверь, твои чувства мне понятны, я сам возмущен, глубоко возмущен. Слушай, что я скажу тебе. Отставки тебе не дадут, то есть, может быть, и дадут, но не сейчас. Ты должен показаться... но постой, не торопись, не волнуйся, твое положение вовсе не так дурно, как тебе оно может казаться. Известного господина ты описал верно. Да, он ничтожный и мстительный, и весьма вероятно, что он помышляет о твоём унижении; но поверь мне, я знаю, что говорю — не он отказал тебе в отставке, государыня мне говорила, что хочет тебя видеть, и не дальше, как дня три тому назад о тебе спрашивала. Ведь я ее знаю и понимаю так же хорошо, как и самого себя, и я тебе говорю: тебе нечего бояться встречи с нею. Не знаю, как она к тебе относилась и что о тебе думала прежде, но теперь, именно теперь она не желает тебе дурного — напротив. Успокойся же — и потом знай, что хотя мы все, твои друзья и родные, и обессилены, но настолько же у нас есть сил, чтобы защитить тебя. Пусть Зубов желает тебя унижить; но ведь ты не из тех, кого можно легко унижить, — он торжествовать не будет! Конечно, тебе придется пережить неприятный час; но ведь мне не учить тебя, сам выйдешь из тяжелого положения, будь только хладнокровен, не теряй головы, думай о каждом шаге, о каждом слове. Ты ничего не ищешь, тебе никто не нужен, для тебя вон величайшим благополучием представляется отставка, возможность уехать и запереться в деревне, то есть именно то, что всем здешним людям представляется величайшим несчастьем. Так чего же тебе — никто тебя не унижит. В таком случае твое положение прекрасно, оно бесконечно лучше положения самого этого господина. Нет, дружок,

напрасно только взволновался — это еще остаток юности. Подумай-ка, ведь я прав?

Он ласково положил руку на колени Сергея и заглянул ему в глаза.

Сергей несколько мгновений сидел задумчиво, насупив брови, разбираясь в быстро нахлынувших мыслях и ощущениях.

— Да, пожалуй, вы правы, — проговорил он наконец, — спасибо вам. Я так был возбужден и взволнован это время, и немудрено, что глядел односторонне. Вы указали мне по крайней мере соломинку, за которую я могу ухватиться...

— Я укажу тебе еще нечто другое, — перебил его Нарышкин. — Есть обстоятельство, которое должно тебя успокоить и заставить снисходительнее смотреть на многое. Скажи мне, изменились ли твои чувства относительно того человека, с которым, помнишь, ты беседовал здесь, вот в этой самой комнате, во время маскарада?

Лицо Сергея внезапно оживилось.

— Я почитаю и люблю этого человека по-прежнему, — быстро проговорил он, — и если я до сих пор не сказал вам о нем ни слова, то это вовсе не потому, что я о нем не думаю. Если бы вы знали, с каким нетерпением я жду возможности его видеть!

— Вот я в этом и был уверен, — сказал Нарышкин, — этот человек тоже ждет тебя, желает тебя видеть. «Я люблю его», — это он сказал мне про тебя несколько дней тому назад. Ну, друг любезный, надеюсь, ты теперь не станешь доходить до отчаяния — вот тебе выходы. И если станет очень тяжело, если ты увидишь пустоту и ничтожество глумящихся над тобою, вспомни только об этом человеке, — и ты непременно должен будешь успокоиться. Он подвергается тому же, чему ты боишься быть подвергнутым, он воистину подает всем нам великий пример долготерпения и христианского смирения, и если этого не хотят видеть, тем хуже только для тех, кто не видит.

— Так, так, — горячо проговорил Сергей. — Но скажите мне, неужели все идет совсем по-прежнему — так, как было тогда?

— По-прежнему! — воскликнул Нарышкин. — Нет, не по-прежнему, а во сто раз хуже. Тогда он кому уступал? Человеку больших и чудных дарований, человеку, работавшему для славы России, возведшему ее на высокую степень могущества и влияния. Светлейший был часто несправедлив к нему, но он никогда не был

мелочным и злым человеком, во всяком случае, он соблюдал приличия. Теперь же о приличиях не думают, теперь раздувшаяся тля унижает, и сносить это — большой подвиг. Мы все возмущены, но что должен он был чувствовать, что чувствует он теперь? Ты вот говорил о ничтожном мальчишке! Когда этот ничтожный мальчишка пошел в гору, все полагали, что дело ограничится только внешним почетом, что он, как человек необразованный и невоспитанный, не получит никакого влияния на дела; к тому же был еще жив Потемкин. Но всеобщие расчеты оказались пустыми. Мальчишка сразу задрал голову и вообразил себя государственным мужем. Его недостатков, его неспособности не видели. Потемкина не было в Петербурге. И знаю, что ему письменно рекомендовали полюбить господина Зубова и брата его Валериана. «Милые дети!» — для них не было другого названия. Не прошло и нескольких месяцев, как перед милыми детьми все преклонялись и ползали, а они задирали голову выше и выше. Мне на своем веку не раз приходилось быть свидетелем, как слепая фортуна невпопад сыпала дары свои на чью-нибудь подвернувшуюся случайно голову; но подобного зрелища я никогда еще не видывал! Рог изобилия внезапно высыпался до дна на голову господина Зубова, и удивляться надо, как он не задохся под навалившейся на него грудой благополучия!.. Но он не задохся, а хотел еще большего. Потемкин все же стоял ему поперек дороги. И вот ничтожный мальчишка, лстя, ухаживая, изыскивая только способы быть приятным и не перечить, в то же время копал яму великану — и великан рухнул в эту яму, выкопанную столь ничтожными руками. Светлейший умер потому, что ему нельзя было больше жить. Умер оттого, что сознавал это, оттого, что мог примириться со всем, но не с забвением своих истинных заслуг, не с неблагодарностью. О нем плакали, даже заболели от печали, но это продолжалось недолго. «Как я буду жить без Потемкина, кто мне его заменит?» — так говорили. А между тем заместитель был налицо: едва Потемкин скончался, господин Платон Зубов был объявлен государственным мужем и забрал в свои руки верховное управление всеми делами государства. Мне что, я никогда в это не вмешивался и не терял ничего, но и стоя в стороне, и вчуже, было обидно смотреть. А уж что испытывали наши дельцы — сам можешь легко себе представить. Но любимцу фортуны всего было мало — он хотел управлять Россией — ему было это дано. Он хотел

управлять внешними сношениями — и Безбородко, сам Безбородко, положение которого казалось твердым и упроченным, дарования которого всем были явны, — должен был уступить ему свое место. Не каждый год, а каждый почти месяц приносил нам известие о новой милости, полученной счастливым юношей. Его грудь украшена всеми знаками отличия, ведь еще с 91 года он носил Александра Невского, Анну, Белого Орла и Станислава. Три года тому назад его отец, хищник и взяточник, о котором никто не мог никогда обмолвиться добрым словом, был возведен со своими сыновьями в графское достоинство Римской империи. Платону был тогда же пожалован Андрей Первозванный. Он носит теперь все титулы и все звания, занимает более тридцати различных должностей самых разнородных. Наконец, ему пожалован портрет императрицы, осыпанный бриллиантами. Кажется, желать больше нечего, но и на этом он не мог остановиться. Его мелкую душонку мучило, что он носит один общий титул с братьями. И вот, после долгих хлопот, удалось наконец исполнить его желание — он светлейший князь Римской империи! Да, любезный друг, это сказка, но никому от этого ведь не легче!..

— Скажите по крайней мере, дядюшка, одно, — проговорил Сергей, — есть ли хоть что-нибудь порядочное в его светлости, умеет ли он, по крайности, обращаться с людьми? Я слышал, что он невыносимо дерзок?

— И тебя не обманули. Высокомерию его нет предела, он крайне невоспитан, он держит себя совершенно как глупый лакей, которого называли барином...

— И все это выносят?

— Да, все без исключения. Ведь иначе что же и делать, выносить приходится поневоле, и, наконец, люди с истинным достоинством не могут себя считать оскорбленными. Оскорбить тебя может только равный тебе, а он никому не равен. Кого ни возьми — он или бесконечно выше этого человека, или бесконечно ниже.

— Дядюшка, я полагаю, однако, что это всеобщее долготерпение не имеет ничего общего с долготерпением цесаревича. Оно указывает на всеобщее бессилие, на нравственное ничтожество. Если цесаревич одинок и в таком невозможном положении — это вина всех тех, кто преклоняется перед господином Зубовым. Извините меня, я говорю

прямо, но положение этой новоявленной светлости указывает на то, что все, перед ним преклоняющиеся, ничего иного не достойны.

Нарышкин усмехнулся.

— Не в бровь, а прямо в глаз! Ну, что же, мой любезный, я и тут не стану с тобой спорить, может, ты и прав. Очень, очень может быть, что мы никуда не годны, и нас ничем не исправишь — мы пасуем перед силой, каково бы ни было ее происхождение. Мы помышляем только о самих себе, о наших собственных делишках и животишках. И ради того, чтобы получить какую-нибудь выгоду, чтобы добиться какой-нибудь удачи, ради того, чтобы нам кинули какую-нибудь подачку, — мы будем ползать и пресмыкаться перед кем угодно. И все мы таковы, все без исключения, мы таковы с малолетства, так уже нас воспитали, а добрых примеров откуда нам взять? Вон поэты воспевают на своих лирах всякие добродетели, клеймят порок, смеются над лестью — а посмотри на них! Возьмем хоть нашего поэта, Гаврилу Державина, — и он пресмыкается перед всеильной светлостью, и он воспекает его мнимые доблести в звучных одах.

— Я никогда не видал Державина, — сказал Сергей, — но я знаю и люблю его творения, в них виден смелый ум и редкое дарование. То, что вы говорите о нем, очень грустно. Да, если такие люди способны пресмыкаться перед случайно возвеличенным ничтожеством, то чего же ждать от других?

Сергей улыбнулся своей тихой усталой улыбкой.

— Восемь лет тому назад, если бы вы рассказали мне это про Державина, я бы почувствовал себя просто несчастным, а теперь, в сущности, вы не сказали мне ничего нового, я ко всему привык и всего навидался. Но все же, чтобы нам покончить с господином Зубовым, вы должны же мне указать на что-нибудь в нем доброе. Будьте беспристрастны, дядюшка, найдите в нем это доброе — ну, хоть что-нибудь, самую малость.

— Доброе! Если бы я целый день об этом продумал, то я все же ничего бы не выдумал, ничего бы не мог найти, — отвечал Нарышкин. — Этот господин воистину не имеет никаких достоинств и только одни пороки. За все эти восемь лет его могущества я не знаю ни одного доброго дела, которому бы он помог. Он ни разу еще не заступился за правого и обиженного. Он способен только заступиться за неправоное дело, сулящее ему выгоды. Он портит все, к чему

прикасается. Вот ты хорошо знаком с внешней политикой и можешь сам посудить, сколько найдено ошибок и как ослаблено влияние России за эти восемь лет. Внутри государства царят несправедливость, хищение, распущенность. Он пожелал, между прочим, распорядиться и войском — и что он сделал с ним? Наше еще недавно столь победоносное воинство теперь в самом жалком виде. Посмотри, что случилось с гвардией! Посмотри на офицеров, ведь они о своем деле не имеют понятия. Дисциплина уничтожена, офицеры расхаживают в партикулярном платье, занимаются кутежами и всякими дебошами. Вот еще недавно мне верный человек рассказывал, что часто за офицера, который спит непробудно, учить солдат выходит его жена, переодевшаяся в мужнино платье.

— Дядюшка, вы мне рассказываете такие вещи, которым бы я не поверил, если бы услышал их от другого. Я был приготовлен услышать многое, но все же такого не ждал. И теперь мне ясно, что такое положение не может продолжаться, скоро должен настать этому конец.

— Какой конец? — спросил Нарышкин.

— А я почему знаю, но, так или иначе, все это должно измениться. Долго жить в таком положении государство не может. Что же касается до меня, вы мне оказали большую услугу, вы ободрили меня, и теперь мне уже не страшно подумать о представлении его светлости.

— А ведь только это и нужно было, друг любезный! — весело сказал Нарышкин.

Сергей простился с «Левушкой» и уехал к себе, разбираясь в мыслях, вызванных этим разговором.

IV. «ДНЕЙ ГРАЖДАНИН ЗОЛОТЫХ»

После целой недели ненастья петербургское сентябрьское небо наконец прояснилось. Солнечное утро заглянуло в полуспущенные занавеси одной из комнат Зимнего дворца.

Это была обширная комната, которой трудно было дать определенно наименование. Ее бы следовало назвать спальней, но можно было назвать и уборной, и кабинетом, и приемной, и всем, чем угодно. Самая разнообразная мебель и мало подходящие друг к другу предметы наполняли ее. В глубине, под дорогим штофным балдахинном, виднелась золоченая кровать, неподалеку от нее стоял туалетный стол с большим венецианским зеркалом, уставленный всякими скляночками и баночками, гребешками и щетками, одним словом, вещами, необходимыми скорее для женского, чем для мужского туалета. По стенам висело несколько больших и малых картин с самыми разнообразными сюжетами; и между ними, на самых видных местах, превосходные портреты императрицы Екатерины. На всех этих портретах она была похожа и в то же время необыкновенно красива и моложава.

Ближе к окнам стоял письменный стол, заваленный бумагами; возле него этажерка с книгами. На другом столе лежали, очевидно, небрежно брошенные орденские звезды и другие знаки отличия. На нескольких стульях виднелись различные принадлежности мужского костюма. Рядом с ночным столиком, приставленным к кровати, был придвинут еще другой, тяжелый, вычурный столик мозаичной работы, и на нем стояла перламутровая открытая шкатулка.

Шкатулка вся была полна драгоценными украшениями, по преимуществу табакерками и перстнями. И все это сверкало огромными бриллиантами чистейшей воды, превосходными рубинами, изумрудами и яхонтами.

Но несмотря на роскошные, драгоценные вещи, разбросанные повсюду, несмотря на золото, шелк и бархат, эта комната поражала своим беспорядком, своей неряшливостью.

У ног кровати, на табуретке, прикрытой пушистым одеялом, спала, свернувшись, маленькая обезьяна. Она иногда вздрагивала,

приподнимала свою безобразную и смешную мордочку, мигала большими черными глазами, нюхала воздух, зевала во весь огромный рот и чесала за ухом с ужимками и манерами уже проснувшегося, но желающего еще полениться и понежиться человека. Почесавшись, поморгав и позевав, обезьянка повертывала мордочку по направлению к кровати, заглядывала под занавеску балдахина, прислушивалась и затем опять свертывалась в клубочек и засыпала.

Все было тихо в комнате. Только из-за запертой двери доносился едва слышный шепот, прерывавшийся иногда таким же тихим возгласом:

«Ш-ш!»

Но вот под балдахином кто-то зевнул раз, другой. Небольшая мужская рука, с длинными розовыми ногтями, сдернула занавес, на пышных подушках обрисовался тонкий профиль молодого красивого лица.

Обезьянка проснулась, прислушалась, взвизгнула и в один прыжок очутилась на кровати.

— Пошла! Пошла! — крикнул еще несколько охрипшим спросонья голосом молодой человек, отстраняя от себя обрадованное и назойливое животное.

Обезьянка стала лизать ему руку; но тут же была схвачена за шиворот и, смешно перекувырнувшись в воздухе, полетела на ковер.

Она поджала хвост, подползла под кровать и ежеминутно выглядывала оттуда, гримасничая самым уморительным образом.

Молодой человек потянулся, еще раз зевнул и спустил ноги с кровати. Теперь можно было хорошо рассмотреть всю его фигуру.

Он далеко уже не был юношей. Ему казалось на вид лет тридцать, а может, и больше; невысокого роста, сухощавый, с нежным, почти женским сложением, он казался бессильным и хрупким, он был бледен — матовой, несколько желтоватой бледностью. На его лице с правильными и тонкими чертами, с большими темными глазами, еще не успели показаться морщины, кожа была нежная и тонкая. Но это бесспорно замечательно красивое лицо поражало только в первую минуту, а затем уже представлялось совсем незначительным — ничтожным. Он уже пережил тот возраст, когда его можно было принять за краснеющую девушку и когда это сходство говорило в его пользу. Теперь он был зрелым мужчиной, а между тем ничего

твердого, мужского не было заметно в нежном, несколько выцветшем и увядшем лице его.

Он потянулся к колокольчику и позвонил.

В то же самое мгновение маленькая дверца за кроватью отворилась, появилась, неслышно ступая по паркету, фигура благообразного, вымуштрованного камердинера. Камердинер поставил на столик поднос с маленьким серебряным умывальником и полотенцем. Потом ловко обул молодого человека, подал ему легкий восточный халат и так же неслышно удалился.

Молодой человек, засучив рукава, вылил содержимое умывальника в маленькую лоханку — это были густые сливки. Он несколько раз окунул в них лицо, крепко зажмуривая глаза. Затем в них же вымыл руки и осторожно утерся полотенцем. Затем, пока оставшиеся жирные и влажные частицы высыхали на лице, он опять прилег на кровать, свистнул обезьянку и, играя с нею, забавляясь ее гримасами и легкими прыжками, погрузился в тихое раздумье. Минуты проходили за минутами. Вокруг было все также тихо, только по-прежнему за затворенной дверью едва слышно раздавался не то шорох, не то шепот.

Мысли молодого человека перелетали от одного предмета на другой. Но, собственно говоря, о чем бы он ни думал — он думал только о себе самом. Однако вот он остановился, очевидно, на чем-то очень для него важном, даже брови у него сдвинулись, даже глаза блеснули как-то особенно.

Он опять схватил за шиворот обезьянку и отшвырнул ее.

«Гений, гений! государственный ум, великие люди! — думал он. — Вон Потемкина в великие люди записали, а чем же я хуже его?.. Я был неопытен, я был почти ребенок, а все же сумел с ним справиться, осилил его. Великий человек! Он думал удивить весь мир своим греческим проектом, и что же вышло из его мечтаний, из его проекта? Ничего, все разлетелось, как дым, потому что все это был вздор. Нет, я докажу им, что я поумнее и подальновиднее Потемкина. Мне надоело наконец все это, зачем мне им глаза колют! Сколько раз она мне повторяла: „второго Потемкина не будет“... Я докажу ей, я докажу всему миру. Разве мои мысли неосуществимы?.. Ведь вон даже этот дерзкий сумасброд, этот кривляка Суворов ничего не мог мне возразить! Да, не пройдет и года, все будет сделано. Брат Валериан

займет все важные торговые пункты от Персии до Тибета, оставит там наши гарнизоны, установит таким образом прямое сообщение России с Индией. Потом направится с русской армией к Анатолии, возьмет Анапу и сразу пресечет все сношения с Константинополем. Между тем Суворов в то же время двинется к Константинополю через Балканы и Андриполь. Я же с императрицей, находясь лично на флоте, осадим Константинополь с моря... На долю брата Валериана выпадет большая слава, опять он будет считать себя героем и опять получит знатные награды. Какой же он герой? С детства был трусишкой и ногу-то потерял единственно по глупости, а уж никак не по геройству. А ведь думает-то о себе сколько! Я уверен, что он себя умнее меня почитает — избаловали, осыпали милостями, надавали всяких отличий и даже меня не спрашивались. Не стоит он совсем этого, ну, да уж Бог с ним, все равно нужно будет сунуть его в это дело, все лучше, чем кому-нибудь другому. Чего бы он теперь ни наделал и как бы его ни хвалили — все равно уж не может быть для меня опасен. Суворов!.. Но без Суворова никак обойтись невозможно. Да он теперь одумался, слушается, молчит, понял, наконец, глупый старик, что не со мною ему тягаться. Что же они мне возразить могут, ведь все это так исполнимо, и все это непременно будет. Конечно, дорого обойдется — пускай высчитывают. Да, мало, откуда взять? Нашли, чем пугать. Я им прямо сказал ведь, что есть предприятия, для которых не может быть недостачи в деньгах, нужно добыть — и добудут. Налоги — отягощение народа! Да мне-то какое дело? Раз, что такая гениальная мысль пришла в голову — необходимо тотчас же осуществить ее во что бы то ни стало. Эта идея, которая, конечно, будет исполнена, навеки меня прославит, обессмертит. Какую оду в честь мою напишет этот подлипала Державин!.. Как это он теперь сказал про меня:

Кто сей любитель согласия?
Скрытый зиждитель ли счастья?
Скромный смиритель ли злых?
Дней гражданин золотых,
Истый любимец Астреи!

Как же теперь-то он назовет меня? В божеское возведет достоинство, наречет громовержцем Зевесом. Вся Европа ахнет, вся как есть! Все свои скверные языки прикусят, пусть лопаются с досады и зависти, пусть все видят, что меня поднял не случай, а мои таланты и... и уж она не решится говорить мне, что второго Потемкина не будет!»

И вдруг он вспомнил что-то такое, что вдруг заставило его вскочить с кровати и даже нервно пройти по комнате. Он усмехнулся злой и самодовольной улыбкой и прошептал:

— Я докажу ему, что он червяк передо мною и что мне стоит только так вот приподнять ногу, а потом опустить, и от него ничего не останется!...

Кто же так мог взволновать этого человека, находящегося на верху земных почестей и, как он полагал, на верху земной славы? О ком мог вспомнить этот государственный муж, только что помышлявший о своем грандиозном и гениальном, как он был твердо уверен, проекте? Был ли это политический враг, какая-нибудь владетельная особа, какой-нибудь знаменитый министр иностранной державы, с которым ему приходилось бороться?

Нет, светлейший князь Платон Зубов вдруг вспомнил, что он приказал в это утро явиться к себе только что прибывшему из Лондона дипломату Сергею Горбатову, который, вероятно, и дожидается его там, в приемной.

Зубов вспомнил далекое время, красивого любезного юношу, богатого и знатного, только что появившегося в петербургском свете, и которому сулили блестящую карьеру. Он вспомнил, как он, Платон Зубов, ничтожный офицерик, всегда нуждавшийся в деньгах, потому что скупой отец редко высылал их из деревни, как он стремился познакомиться с этим блестящим молодым человеком, как он втерся к нему в дом, обратил на себя внимание услужливостью. Вспомнил вечер у цыганки, кошелек с деньгами, выпрошенный им у Горбатова, и потом... сцену в Царском Селе, перед запертыми дверями покоев императрицы, где он стоял дежурным.

«Я хотел возратить ему эти деньги, а он наотрез от них отказался и не взглянул! Каким тоном говорил со мною! Он готов был съесть меня от зависти и злобы, он должен был понять, что наши роли изменились. Но как же смел он так говорить со мною, как смел

оскорблять меня? Такие вещи не забываются. Может быть, он и хотел позабыть, да я-то ему забыть не дам, я уже доказал, кажется, ему, что нельзя безнаказанно обижать Платона Зубова! Восемь лет прошло! Ну, что же с ним случилось за это время? Я знаю, как ему хотелось вернуться. Я помню, как все за него просили, но все же я настоял на своем. Он не был для меня опасен даже и в первое время. Если бы ему желалось остаться за границей, я бы заставил его вернуться сюда, но он хотел непременно вернуться — и поэтому должен был там оставаться. Что он получил в это время, какую карьеру сделал? Его расхваливал и Симолин, и Воронцов, хлопотали о повышениях, но он получил всего-навсего две-три ничтожные награды по службе, он почти в том же положении, как и уехал отсюда. Он знает, конечно, знает, кому обязан этим. Он хорошо знает — что такое теперь Платон Зубов, но пусть увидит своими глазами. Мне приятно будет взглянуть на него, на одного из мелких, затертых мною чиновников... Как-то он станет теперь передо мною хорохориться? «Господин Зубов, я не приму от вас денег!» Господин Зубов! Нет, теперь — «ваша светлость»!..

И он совсем позабыл о своем знаменитом проекте, о многих государственных делах, ждавших его решения. Забыл обо всем и думал только о совсем чуждом ему, никогда и ничем не повредившем ему человеку, которому он испортил восемь лет жизни и которого хотел довести до крайнего унижения. Но ведь он никогда ни о ком не думал и не заботился! Если ему встречались люди, которые, как казалось ему, могут в чем-нибудь помешать, могут встать поперек дороги, — он отстранял их легко и внезапно, без всякого труда со своей стороны. Ему достаточно было навести разговор, приготовить подходящую фразу, пустить в ход наизусть заученные и всегда с одинаковым успехом действующие уловки. Неудобный человек был устранен, и затем ему не было до него никакого дела, он относился к нему равнодушно. Он привык теперь уже считать себя бесконечно выше всех, и все казались ему такими ничтожными, мелкими. Государственные люди, люди знаменитые в разных сферах деятельности, преклонялись перед ним, ловили его улыбку, его милостивый взгляд, кланялись, ползали перед ним. Так как же ему было не считать себя великаном, а всех этих людей пигмеями?

Но в таком случае стоило ли обращать внимание на незначительного человека, на неудавшегося дипломата, стоило ли о нем думать, мстить ему за какую-то давнюю обиду? Видно, стоило.

Платон Зубов во все эти восемь лет нет, нет, да вспоминал о Сергее Горбатове и каждый раз волновался при этих воспоминаниях. Было что-то в этом почти уничтоженном им человеке, что выводило его из себя, бесило. Он как-то не похож был на остальных людей, на всех этих заслуженных сановников, увешанных звездами и лентами, которых светлейший князь считал мелкими мошками и о которых не было ему ни охоты, ни досуга думать.

Наконец, Зубов взглянул на часы, позвонил камердинеру и с его помощью начал умываться. Вместе с камердинером в спальню вошел молодой человек, тоже лет около тридцати. Господин этот держал под мышкой портфель. Он с видимыми знаками глубочайшего почтения, но в то же время не без некоторой фамильярности раскланялся с Зубовым. Тот довольно приветливо кивнул ему головой и продолжал умываться.

Господин с портфелем был Грибовский, один из очень немногих любимцев Зубова, его секретарь и секретарь государыни.

— Виделся нынче с Морковым? — спросил, тщательно вытирая себе лицо и глядясь в зеркало, Зубов.

— Виделся, ваша светлость! — ответил Грибовский.

— Ну, и что же? Говорил он с королем, успел его урезонить?

— Да как вам сказать, ваша светлость, король хоть и мальчик еще совсем, а все-таки упрям изрядно, стоит на своем. Но, конечно, в конце концов вы его уговорите. Граф Морков кое-что придумал и сказал мне, что сегодня изложит вашей светлости свой план.

— Хорошо, я поговорю с ним. Скажи, пожалуйста, много сегодня там собралось народу у меня в приемной?

— По обычаю, ваша светлость, битком набито.

— А не заметил ты, там ли приехавший из Лондона Горбатов, которому я вчера вечером послал приказание явиться?

— Там, ваша светлость!

— Пойди скажи, что я проснулся и выхожу, да скажи Горбатову, что он тоже может войти.

Грибовский с изумлением взглянул на Зубова.

В комнату рядом со спальней впускались только самые высокопоставленные и близкие князю лица — и вдруг он разрешает входить в это святилище малочинному, бывшему так долго в удалении человеку — что значит эта необычная милость? Но он, конечно, не выразил своего изумления.

Зубов вытер руки, накинул халат.

— Дай мне твои бумаги, — сказал он Грибовскому.

Тот вынул бумаги из портфеля.

— Да скажи цирюльнику, чтобы шел меня причесывать... Отвори дверь!

Грибовский кинулся вперед, распахнул двери, и князь, одной рукой придерживая полы халата, другой держа взятые у секретаря бумаги, вышел в соседнюю комнату. Обезьяна выскочила из-под кровати и, прыгая и кривляясь, последовала за своим господином.

V. ПРИЕМ

Комната, в которую вошел Зубов, была так же обширна, как и его спальня, так же роскошна и только несколько менее беспорядочно убрана.

Зубов развалился в покойном кресле, придвинул столик, положил на него бумаги, часть их взял в руки и сделал вид, что углублен в чтение. Дверь открылась, и в комнату начали входить один за другим важные сановники, люди пожилые и заслуженные, увешанные знаками отличия, почти все представители старинных русских фамилий. Они были в полной форме. Входя в комнату, все отвешивали глубокий поклон хозяину и останавливались в ожидательной и почтительной позе, не доходя несколько шагов до его кресла. Он продолжал глядеть в бумаги, не замечая поклонов, не поднимая глаз. Наконец, когда Грибовский пропустил всех, кто имел право входа в эту комнату, когда дверь затворилась, он положил бумаги на колени и обвел глазами присутствовавших. Все отвесили ему поклон вторично. Не приподнимаясь с кресла, не изменяя своей позы, он только слегка кивнул головою и рассеянно проговорил:

— Здравствуйте!

В то же время красивые глаза его, в которых блеснуло теперь какое-то непривычное выражение, остановились на лице человека, стоявшего в отдалении от всех.

«О! как он изменился! — подумал Зубов. — Какой бледный, видно, жилось не особенно весело! А красив по-прежнему, еще красивее!..»

Но при этом он вспомнил про свою собственную красоту, о которой так много трубили ему со всех сторон, — и успокоился. Он еще раз взглянул на этого стоявшего поодаль человека, на Сергея Горбатова.

Тот тоже прямо и спокойно смотрел на него, не опустил глаз от его взгляда. Горделивая и презрительная усмешка блуждала на губах его. Он стоял среди всех перед хозяином, развалившимся в кресле и едва кинувшим своим гостям небрежное «здравствуйте», но стоял в

такой непринужденной горделивой позе, что Зубова всего перевернуло, злоба подступила к груди его, щеки вспыхнули.

«А, так-то! Все такой же! — думал он. — Ну, стой, я смирю твою гордость, а пока посмотри, полюбуйся — что я теперь такое!» Он отвел от него глаза. Кто-то из сановников почтительно склонился перед ним, говорил ему, докладывал ему что-то. Он сделал вид, что слушает, раза два одобрительно кивнул головою, промолвил:

— Так, так!

А потом, когда говоривший замолчал и отошел несколько в сторону, он будто бы что-то вспомнил и позвал Грибовского.

— Пойди, пожалуйста, в спальню, на кругленьком столике увидишь маленький футляр — принеси!..

Грибовский вышел из комнаты и вернулся с футляром.

— Господин Милессино! — протянул Зубов.

Старый заслуженный генерал, с почтенным, благообразным лицом и военной выправкой, отделился от кучки сановников и приблизился к креслу светлейшего князя.

— Что угодно, ваша светлость? — заискивающим тоном проговорил он.

— Генерал, я поздравляю вас с милостью государыни, она поручила мне передать вам вот это.

Он протянул генералу принесенный Грибовским футляр.

Тот принял футляр дрожащей рукою, открыл его — в нем оказались орденские знаки Владимира первой степени.

Увидав красные и черные полосы ленты, о которой он так долго мечтал, генерал совершенно растерялся от восторга. В лице его что-то дрогнуло, на глаза набежали слезы и в порыве благодарности он кинулся к Зубову, склонился перед ним своим тучным, старческим, но все еще крепко перетянутым телом и — звонко чмокнул у него руку.

— Я не нахожу слов для благодарности, — запинаясь, говорил он, — ваша светлость... благодетель!..

Зубов, ничуть не смущенный тем, что старый генерал поцеловал у него руку, отвечал ему милостиво и величаво:

— Что же, вы заслужили эту награду и вполне достойны этой милости. Ах да, между прочим, мы и теперь на вас рассчитываем — вы большой мастер устраивать фейерверки и маневры. Теперь нужно будет блеснуть этим перед нашим гостем, молодым шведским королем,

или нет, графом Гагою, ибо мы так должны называть его. Мы на вас рассчитываем, и я надеюсь, что вы сделаете все возможное для доставления удовольствия государыне!

— Ваша светлость, постараюсь, все, что в силах! — лепетал старик, весь красный от счастья, то и дело поглядывая на широкую темно-красную, с черными полосами, ленту, бывшую в руках у него.

Вся эта сцена, очевидно, не поразила никого из присутствовавших. Все обступили генерала, поздравляли его, жали ему руку. На некоторых лицах изображалась зависть, только один Сергей Горбатов стоял, не веря глазам своим.

Он слышал многое, ожидал многого, но все же не того, чего ему пришлось быть свидетелем.

А между тем в приемной комнате светлейшего князя Зубова все шло своим чередом. Появился цирюльник, стал причесывать князя. Тот, подставив ему свою голову, опять взялся за бумаги и делал вид, что читает. Вельможи переговаривались между собою, иногда то тот, то другой подходил к хозяину и сообщал ему какое-нибудь интересное известие или замечание, которое считалось достойным быть сообщенным его светлости.

Эти сообщения начинались обыкновенно такою фразою:

«Ваша светлость, позвольте мне иметь счастье сообщить вам...»
«Покорнейше прошу вашу светлость соблаговолить обратить внимание...» — и все в этом роде.

— А? что такое? — надменно произносил Зубов, отрываясь от бумаг, небрежно выслушивал то, что ему говорили, цедил в ответ несколько слов и затем опять принимался за свои бумаги.

В комнате было много кресел, стульев, но никто не смел сесть, и Зубов никого не приглашал садиться.

Сергей вспомнил вечера в Эрмитаже, простоту и ласковость державной хозяйки, ту непринужденность, которую чувствовали ее гости.

«Что же это такое? — изумленно спрашивал он себя. — Или я брежу?»

Но он не бредил. Цирюльник сделал свое дело и с глубоким поклоном, не удостоившись никакого внимания со стороны Зубова, удалился. Зубов положил на стол свои бумаги, еще более развалился в кресле, взял в рот зубочистку, свистнул обезьянку и начал играть с

нею. Обезьянка совсем расшалилась — завертелась, запрыгала, загримасничала, а потом вдруг стала метаться из стороны в сторону, прыгать то на того, то на другого.

Вот она вскочила на спину к пожилому господину, весьма почтенного и важного вида, и, во мгновение ока, сдернула с него парик. Зубов засмеялся — стали улыбаться и все остальные.

Бедный старик, представлявший теперь очень смешную фигуру, в пышном мундире и с совершенно голой головой, старался высвободить парик из лап обезьянки, но она не давала. Она помчалась с его париком в противоположный угол комнаты. Она волочила парик по ковру.

— Не беда, — рассеянно улыбаясь, проговорил Зубов. — Грибовский, кликни цирюльника, он, верно, еще не ушел. Он сейчас приведет парик в порядок!

Сергей Горбатов не мог больше вынести, в нем клокотали негодование, злоба и презрение. Остаться в этой комнате, быть свидетелем этих невероятных сцен, стоять перед этим развалившимся господином — он решительно не мог этого. Он круто повернулся, вышел и запер за собою дверь. Зубов тотчас же заметил это. Он даже приподнялся с кресла и стиснул кулаки, но тут же опять развалился и подумал:

«А! не нравится? Но за эту дерзость тебе придется ответить».

VI. ФИЛОСОФ-ПРАКТИК

Первая приемная была битком набита народом. И здесь попадались важные фигуры в генеральских мундирах, крупных орденах, но рядом с ними можно было увидеть и нечиновного человека.

В эту первую приемную разрешено было входить каждому, кто мог иметь дело до князя. Но, несмотря на это разрешение, все же для того, чтобы добраться сюда, нужно было предварительно пройти через разные мытарства, необходимо было задобрить несколько человек камердинеров, которые ежеминутно заглядывали и миновать которых не представлялось никакой возможности.

Опытные люди хорошо знали это и, отправляясь в апартаменты светлейшего князя, заранее раскладывали себе по карманам деньги, для того чтобы совать их в руки всемогущим лакеям.

Лакей, получив подачку, в одно мгновение, очень ловко и привычно, даже не взглянув, оценивал ее достоинство. Если подачка оказывалась достаточной, он с покровительственным видом кивал головою и пропускал посетителя дальше, сдавая его с рук на руки следовавшему за ним и уже внимательно поглядывавшему на посетительский карман товарищу.

Если же подачка казалась лакею недостаточной, то он без всякого смущения, презрительно и надменно качал головою и останавливал посетителя:

— Обождите! Да вы по какому делу? Его светлость и так жалуется, что в приемной продохнуть нельзя, столько народу шляется, и невесть зачем. Нынче там больно много набралось — другой раз пожалуйте!

Приходилось опять раскошеливаться, покуда алчность княжеских служителей не удовлетворялась.

Только люди, уже очень хорошо известные или получившие, так сказать, именной приказ явиться к князю, невозбранно проходили мимо фаланги всегда готовых на приступ аргусов. Но и эти люди, если только они обладали благоразумием, добивались лакейских милостей и, наперерыв друг перед другом, старались убедить их в своей

щедрости. Они хорошо знали, что в руках этих лакеев многое, и что если всеми мерами нужно добиться благорасположения господина Грибовского или иного близкого к князю человека, то не следует пренебрегать и этими сравнительно маленькими людьми.

Бывали примеры больших неприятностей для посетителей, не успевших снискать милости лакея. Случалось, в первой приемной князя, что лакеи просто придирались невесть к чему и сами, заводя шум, выталкивали иных посетителей взащей, и выталкиваемые княжескими лакеями люди были вовсе не какие-нибудь попрошайки. Одним словом, существовала целая наука, основательное изучение которой оказывалось неизбежным, если человек желал чего-нибудь добиться в приемной Зубова.

Людей, изучавших эту науку, было всегда многое множество, потому что никому не удавалось обойти эти приемные. Если у кого-нибудь и не было дела лично до князя, то ведь в приемных его собирались все сановники, все правительственные лица. Здесь устраивались знакомства, здесь подавались прошения, подвигались и решались всевозможные дела, достигались очень важные результаты. Иногда все это обделывалось очень быстро, нужно было только не скупиться хорошенько потряхнуть мошною.

В безнадежном положении здесь оказывались одни бедняки; но бедняки никогда не заглядывали в чертоги Зубова, они хорошо знали, что искать у него правды невозможно, что он не сделал еще ни одного доброго дела, не выручил ни одного невинно обвиненного.

При Орлове и Потемкине не то бывало — в те времена человек, которого несправедливо засудили, у которого кляузным образом оттягали имение, человек, впавший не по своей вине в разорение и нужду, стремился в Петербург и помышлял только о том, как бы ему добратся до всесильного вельможи, стоявшего у самого кормила правления. Часто он представлял это себе почти невозможным и немало изумлялся, когда оказывалось, что доступ к всесильному вельможе был вовсе не так труден.

А добьется, бывало, бедный, обиженный человек свидания с «самим», изложит ему свое дело, представит доказательства правоты своей, и не пройдет и нескольких дней, как его дело строго-настрого пересматривается, деяния хищников и неправедных судей выплывают наружу. Их ожидает заслуженная кара, а неправильно обвиненный

человек оправдывается, ему возвращается его собственность, с честного, загрязненного клеветой имени снимается бесчестие. Одним словом, торжествует справедливость, и человек, искавший у всемогущего вельможи правды и нашедший ее, уже невольно считает этого вельможу светильником всех человеческих добродетелей и всеобщим благодетелем.

«Да, — рассуждает он, — велики милости и щедроты, им получаемые, громадны пожалованные ему богатства, почести, ему воздаваемые, но ведь он заслуживает все это своими добродетелями — он истинный сын России, истинный слуга возвеличившей его государыни».

Так рассуждает сыскавший свою правду у всесильного вельможи человек и подтверждает свои рассуждения непреложными свидетельствами.

«Сам видел! На себе испытал! Вот что слышал в бытность свою у его светлости!..»

И начинаются описания образа жизни могучего вельможи, его привычек, особенностей, иногда странностей, передаются анекдоты, где образ вельможи является в ореоле могущества и в то же время душевной доброты, простоты и ласковости. Эти рассказы, анекдоты, наконец, легенды растут с каждым днем, распространяются дальше и дальше, заносятся в самые темные уголки — и репутация, популярность возвеличенного человека упрочены! У него много врагов и завистников, но эти враги и завистники теряются в общей массе народа всех сословий, которая относится к нему отнюдь не враждебно и не с завистью, а напротив, с почтением, считая его достойным выпавшего ему на долю исключительного положения.

Так было с Григорием Орловым, так было с Григорием Потемкиным, но не так было с Платоном Zubовым.

Восемь лет продолжалось его могущество, и в эти восемь лет окончательно создалась и упрочилась его репутация. В темных и далеких уголках России жива была память о богатыре Орлове, о великане Потемкине, но там не знали о существовании пигмея Zubова. О нем знали в других слоях общества, в других сферах — и здесь заслужил, он общую ненависть, общее презрение. На него смотрели всюду, как на неизбежное зло, с которым нельзя бороться, как на зло противное, отталкивающее. Никому и в голову не приходило искать у

него защиты, пытаться через его посредство довести до всегда справедливой и любящей правду государыни какое-нибудь вопиющее дело.

Если он говорил ей о ком-либо, то единственно для того, чтобы оклеветать человека, лишить его милости государыни, подставить ему ногу. И он был не один. Он возвеличил вместе с собою всю семью, начиная со старика отца, пользовавшегося своим положением и влиянием сына только для того, чтобы нажиться самым возмутительным образом. Старик Зубов прославился как кляузник, как хищник и грабитель чужих поместий. Не одну семью пустил он по миру. Добиться чего-нибудь через посредство Зубовых можно было только угождениями, подарками, грубой лестью, пресмыканием.

Так было в то жалкое время, по сказаниям всех современников, как русских, так и иностранцев. И в этих многочисленных сказаниях не встречается разногласия.

Что же должен был чувствовать очутившийся в приемных Зубова Сергей Горбатов, в котором кипела гордая кровь благородных предков, бывших в течение веков истинными слугами престола и отечества? Сергей почти задыхался от негодования, приглядываясь к окружающим его лицам, прислушиваясь к отрывочным разговорам, раздававшимся вокруг него, к этому боязливому шепоту. Все здесь как-то съеживалось, поджималось. Горланы и краснобаи, храбрецы и хвастуны у себя дома или в подходящем кругу, здесь превращались в трусливых зайцев и вздрагивали при каждом звуке, доносившемся из соседней комнаты, при малейшем скрипе двери. Люди, помыкавшие десятками собственных лакеев, располагавшие сотнями и тысячами крепостных душ, подобострастно заглядывали в надутые спесью физиономии княжеских лакеев.

Среди этих людей было несколько лиц, знавших Сергея Горбатова восемь лет тому назад. Они узнали его и теперь, но пока он со всеми дождался в первой приемной пробуждения и выхода светлейшего князя, все эти люди делали вид, что не узнают его.

На каком основании он сюда явился? Каковы его шансы? Соображали разные обстоятельства, относившиеся до его долгого пребывания за границей, и единодушно, будто сговорившись, решили, что еще раненько узнать его. Надо сначала посмотреть — каков прием будет ему оказан князем?

И вот он вместе со знатными сановниками приглашен во вторую приемную.

Едва он показался из двери, как старые знакомцы кинулись к нему с распростертыми объятиями. Только почтение к этим стенам и присутствие в соседней комнате светлейшего князя мешали их восторженным восклицаниям. Все говорили полушепотом, завладевая рукою Сергея.

— Сергей Борисыч, батюшка, вы ли это? А мы смотрим, смотрим, знакомое лицо, а признать не можем. Наконец-то к нам пожаловали, привел Господь Бог свидеться... Все ли в добром здоровье?

Сергей не знал, кому отвечать.

— Ну, что, Сергей Борисыч, милостив был князь? Как он сегодня? — продолжался таинственный шепот.

— Не знаю, каким он бывает, когда милостив и когда не милостив, я с ним не беседовал, — рассеянно проговорил Сергей.

— Как же вы вышли оттуда? Как так?

— А вышел оттого, что там чересчур весело — обезьяна на людей кидается, парики стаскивает. Так я и не стал ждать, чтобы она и на меня прыгнула... Подобная забава мне не по вкусу.

Он тут же и раскаялся в том, что сказал это: «К чему я говорю и кому, разве стоит!»

Он чувствовал себя утомленным и опустился в первое попавшееся кресло.

Но действие, произведенное его словами, было замечательно. Все эти старые знакомые, обступившие было его и хватавшие его руку, вдруг отступили от него, как от зачумленного.

«Что он, сумасшедший, что ли? Какова смелость, какова дерзость. И во всяком случае, он человек опасный, от него надо подальше, не то еще наживешь себе беды..!»

В толпе, обступившей было Сергея и потом мгновенно от него отхлынувшей, находился один человек, который, очевидно, не признавал его зачумленным и опасным, напротив, он все внимательнее, серьезнее и ласковее смотрел на него.

На вид этому человеку казалось лет около пятидесяти, но он был еще очень бодр и крепок; красотою не отличался: неправильны черты, большой толстый нос, крупный рот, небольшие, но зоркие и приятные глаза, на щеке бородавка. Одет он был скромно и держал себя просто и

непринужденно. На кафтане его виднелась звезда, указывавшая на довольно видное, во всяком случае, служебное его положение. Нельзя было сказать, чтобы он производил своей фигурой, своим лицом особенно привлекательное впечатление, но, во всяком случае, лицо это было из тех, на которые нельзя не обратить внимания. Несмотря на некрасивость, оно поражало чем-то особенным, оно решительно выделялось среди окружавших его лиц — но чем, это трудно было определить сразу.

Человек этот вошел в приемную как раз в то время, когда Сергей почти выбежал из заветных дверей, сквозь которые пропускались только избранные. Он услышал имя Горбатова, не проронил ни одного слова из расспросов, к нему обращенных, и из даваемых им ответов.

И теперь, когда Сергей сидел одиноко в своем кресле, ни на кого не глядя, с презрительной усмешкой, то появлявшейся, то исчезающей на губах его, когда он, пораженный всем виденным и слышанным, уже начинал себе задавать вопросы: «Да что же я тут делаю? Чего жду? Просто уйти без всяких объяснений!.. Ведь не сошлют же меня за это на каторгу!» — этот внимательно глядевший на него господин тихонько подошел к нему и уселся рядом с ним на стуле.

— Вы, верно, только что изволили прибыть в Петербург и еще незнакомы со здешними порядками? — проговорил пожилой человек, обращаясь к Сергею.

Тот поднял глаза и изумленно взглянул на него. Лицо незнакомое, но голос такой мягкий, и в нем звучит участие. Вот и улыбка искривила несколько бледные, крупные губы — такая тонкая, саркастическая улыбка.

— Да, я только что приехал и не знаю здешних порядков, — ответил Сергей, внимательно разглядывая нежданного своего собеседника.

— Оно и видно, — продолжал тот, понижая голос.

Но предосторожность эта была лишняя — их все равно никто не слышал: они были вдвоем в опустевшем углу обширной комнаты.

— Оно и видно, — повторил он, — вот ведь как вы всех этих господ напугали... Мы совсем не привыкли к подобным событиям, а это — событие!.. Быть допущенным во вторую приемную его светлости и уйти оттуда потому, что княжеская обезьяна не понравилась!.. Ах, Бог мой, да ведь мы счастливыми себя почитаем,

если обезьяна на нас кинется и пошалит с нами — это обратит внимание его светлости — он нас заметит.

Сергей глядел вопросительно и изумленно. «Чего ему от меня нужно»?

Незнакомец, очевидно, понял его мысль.

— Вас изумляет, что я подсел к вам и заговорил с вами, — сказал он. — Я сейчас объясню вам, почему я это сделал. Вот уже восемь лет как частенько бываю я в этих апартаментах и имею даже честь быть допускаем туда, откуда вы вышли. И поверите ли, во все это время я ни разу не встречал человека, который бы бежал от обезьяны, который бы говорил, как вы, и глядел, как вы.

Лицо его оживилось, глаза блеснули.

— Я не могу удержаться, чтобы не выразить вам своего удивления и уважения, хотя, конечно, что вам в уважении незнакомого человека!

— Своим изумлением вы изумляете меня, в свою очередь, — ответил Сергей. — И за что же вам уважать меня? За то, что я показался вам, может быть, не совсем лакеем. Да, это правда, я не лакей, но что же в том достойного уважения? Я родился не лакеем и не могу им быть.

— О, господин Горбатов (я слышал, как вас называли), вы принадлежите к знаменитому роду, предки ваши не раз записывали свои имена на страницах русской истории; но взгляните, государь мой, и там (он указал на запертые двери), и здесь вот вы найдете представителей родов столь же славных, как и ваш, а между тем...

Он усмехнулся.

— Тем хуже для них, — проговорил Сергей. — И если вам угодно знать мое мнение, я скажу вам, что не считаю их потомками их славных предков. Благородство не в имени их, свое родовое благородство можно продать, растоптать, смешать с грязью. Благороден только тот, кто умеет сберечь полученное от предков достояние, то есть их прославленное имя!

— Да, так, так! Но здесь, высказывая подобные мнения, вы будете пророком в пустыне. Здесь, попав в нашу среду, вы с каждым днем будете убеждаться в величайшей испорченности нравов, здесь унижение не создается. Взгляните — все чувствуют себя правыми, туман какой-то стоит у всех перед глазами.

— Однако, если вы согласны со мною, — перебил Сергей, — значит, перед вами нет этого тумана, значит, вы сознаете окружающее, значит, вы не можете иметь ничего общего с этими людьми! Вы сказали мне, что восемь лет бываете в этих апартаментах, вероятно же, по обязанностям, по необходимости, и, конечно, не станете целовать руку у Зубова, как сейчас при мне поцеловал генерал Милессино.

— А он поцеловал у него руку? — с живостью и любопытством переспросил незнакомец.

— Да, поцеловал за Владимирскую ленту и даже прослезился.

— Ну, вот, видите ли — это порыв, это увлечение!

— Ах, что вы говорите, это просто лакейство, дошедшее до последней степени. И вот вы же, я спрашиваю, не станете у него целовать руку?

— Да, руки целовать не стану, но тоже не убегу, как вы убежали, и, пожалуй, поиграю с обезьянкой... Приходилось играть.

Сергей пожал плечами.

— И все же я не дал вам право презирать меня, — продолжал незнакомец. — Когда я отвлекаюсь от действительности, когда я уйду в область мысли и чувства, я возвышаюсь душою, преклоняюсь перед великим и прекрасным, ненавижу зло, презираю лесть. Все земное кажется мне ничтожным, я созерцаю величье Божие, сияние вечной правды. Но жизнь зовет меня, у жизни есть требования, у человека есть обязанности, связанные с той средой, в которой он действует. Я чувствую, например, себя не совсем бесполезным человеком, не совсем бессильным. Я обязан употребить все меры, чтобы расширить круг моей деятельности, потому что чем шире этот круг, тем могу быть нужнее, тем больше могу принести пользы тем, кто во мне нуждается. Я иду прямо, где могу пройти, наклоняю голову и прохожу бочком, если иначе пройти невозможно. Я не могу бороться со светлейшим князем, если я стану пренебрегать им: одно его слово — и все мои труды, все долгие годы моей службы, вся польза, которую я обязан принести, все это пойдет прахом. Светлейший князь для меня не человек — это случай, это обстоятельство, на которое я должен обратить внимание. Если на меня налетит гроза, я прячусь в укромное место, если меня жжет слишком солнце, я надеваю шляпу. Не спрячусь я от грозы — меня убьет молнией, не накроюсь от солнца — я получу солнечный удар. Тут тоже стихийная сила, от которой я должен

защищаться, я неизбежно обязан сделать над собою усилие, промолчать, когда нужно, улыбнуться, когда этого желают. Иногда трудненько, иногда я не справляюсь с собою и потом жестоко пеняю на себя, сделаю ошибку, а потом должен поправлять ее. Вот и теперь ошибка — что беседую с вами, не знаю, как принята ваша выходка. Ведь непременно доложат его светлости о нашей беседе, но я не могу не доставить себе этого удовольствия.

— Вы странный человек, — заметил Сергей, — и, простите меня, мне кажется, вы совершенно не правы; но у вас по крайней мере все же есть какое-нибудь оправдание.

— Да, оправдание, — твердо проговорил незнакомец, — и если бы вам была известна моя деятельность, если бы вы знали, сколько я воюю, как бываю лют в правде, вы бы меня, пожалуй, и не обвинили. Не почитайте меня за хвастуна, Бог даст, еще придется встречаться с вами, еще побеседуем, еще поспорим, а пока дозвоьте рекомендовать себя в ваше благорасположение и надеяться, что вы не откажете мне в вашем знакомстве. До сердца вы меня тронули, государь мой!..

— Очень рад познакомиться с вами, — улыбаясь, сказал Сергей, — но вы вот знаете, с кем говорите, а я вашего имени не знаю.

— Ах, ведь и то, я позабыл совсем, прошу любить да жаловать — Гавриил Державин!

Но Сергей даже не успел выразить своего изумления. Дверь распахнулась, и на пороге показался князь Зубов.

VII. ЕГО СВЕТЛОСТЬ В ДУХЕ

Зубов уже не был в халате. Он успел переодеться в богатый мундир, зашитый золотом и увешанный осыпанными бриллиантами звездами, среди которых выделялся портрет императрицы, так и сверкавший крупнейшими солитерами.

Теперь, в этом блестящем мундире, плотно облегавшем его тонкий стан, он казался еще меньше ростом, еще худощавее. Он старался придать себе величественный вид, но этого никак ему не удавалось, он по-прежнему походил на «петиметра». В нем оставалась прежняя суетливая, нервная манера, с которой он, бывало, восемь лет тому назад перебегал от одного к другому, стараясь всем понравиться, всем подслужиться.

За ним показалась вся его важная свита, то есть все те сановники, которые находились во второй приемной и присутствовали при его туалете и его государственных занятиях, заключающихся в перелистывании бумаг из портфеля Грибовского. Недоставало только обезьянки — она осталась во второй приемной.

Увидев Зубова и заметив, что все находившиеся в комнате вытянулись в струнку, образовав собою шпалеру, Сергей сообразил, что ему легко будет пробраться незамеченным к выходу. Он уже и хотел было исполнить это, но затем подумал:

«С какой стати! Ведь я здесь не по своей воле, а по обязанностям службы, я в приемной моего высшего начальника, президента иностранной коллегии, и пока мне не дана отставка, я не имею никакого даже права уйти отсюда. Из той комнаты я мог, ибо, как оказывается, туда попадают вследствие особой милости и только очень важные сановники; я же, по своему служебному положению, не имею права входа туда. Я понимаю, зачем он велел позвать меня, он желал показаться мне во всем своем блеске. Он не забыл меня. Ну, вот и показался он мне, сделал молчаливый вопрос, и я ему ответил тем, что отказался от чести, мне предложенной. Он, конечно, заметил это, и мы хорошо поняли друг друга. Но тут я в качестве прибывшего из лондонского посольства дипломатического чиновника. Тут я представляюсь ему, как будто никогда не видал его прежде. Вот если

он вздумает лично оскорбить меня, тогда другое дело, но я уверен, что он на это не решится».

Он огляделся. Его странного и неожиданного собеседника уже не было возле него.

Гавриил Романович Державин протеснился вперед и стал на виду у Зубова, рядом с другими. Но все же он не смешивался с вытянувшейся в струнку и подобравшейся толпою. Выражение лица его не изменилось, он бойко посматривал своими блестящими маленькими глазами, и тонкая, приятная улыбка то и дело кривила его губы. Очевидно, он не чувствовал никакого смущения, был в себе уверен. А соседи его так и просились в карикатуру. Все лица, и старые, и не старые, и толстые, и худые, со своими разнородными очертаниями, теперь удивительно походили друг на друга. Все они выражали благоговейный трепет, все глаза глядели на одну точку, и эта точка была сверкавшая бриллиантами фигурка Зубова, или, вернее, рот его, от которого ждали первого слова.

Зубов находился, очевидно, в хорошем настроении духа. Он довольно благосклонно кивнул всем головою и затем стал медленно подвигаться вперед, останавливаясь на каждом шагу, удостоивая то того, то другого какой-нибудь незначущей фразой и выслушивал многочисленные приветствия. Но никого не удостоил он пожатием руки. Все эти люди были для него безразличны, а сам он стоял так неизмеримо выше их. Среди этой толпы были и совсем незнакомые ему лица: молодые чиновники, получившие награды и всеми правдами и неправдами добившиеся счастья представиться его светлости и лично поблагодарить его. Затем следовали люди неслужащие, закупившие княжеских лакеев, явившиеся сюда со своими просьбами.

Заметив подобного человека, Зубов спрашивал:

— Вы кто такой?

И расслышав ничего не разъясняющую ему фамилию, подозрительно оглядывал трепетно стоявшего перед ним просителя и цедил сквозь зубы:

— Что же вам от меня надо?

Проситель, запинаясь и заикаясь, излагал свое дело. Зубов иногда прерывал его одним словом:

— Короче... яснее...

У него был навык, он сразу соображал, какое дело следует выслушать и какое оставить без внимания. В первом случае он говорил:

— К нему обратитесь! — и кивал на следовавшего за ним по пятам Грибовского.

Грибовский тут же протягивал руку и принимал прошения. В противном же случае, то есть когда его светлость находил дело несостоящим, хотя часто оно именно стоило, чтобы обратить на него внимание, он даже не дослушивал до конца, даже ничего не отвечал, а просто проходил мимо.

Наконец, он дошел до Державина; тот раскланялся почтительно, но без благоговейного трепета, и не прекращая своей улыбки.

Зубов оказался необыкновенно благосклонным к поэту.

— А, Гаврила Романыч! — выговорил он. — Давно не навещивался, мудрите, видно, опять?

— Как мудро, ваша светлость, что такое?

— Не знаю что, а жалобы все на вас, государыня опять говорила: «с Державиным сладу нету!»

Гавриил Романович смутился.

Но лицо Зубова не выражало гнева, а напротив, на нем виднелись некоторые признаки благорасположения. Проницательные глаза Державина тотчас заметили это, и он успокоился.

— Да, господин поэт, это нехорошо! Извольте-ка успокоиться и собраться с духом, мы ждем вашего вдохновения и рассчитываем на прекрасную оду в честь радостного события, которое должно совершиться.

— Моя муза готова воспеть сие событие со всем жаром, на какой еще способна, ибо сердце ей поможет своей искренней радостью! — несколько напыщенным тоном и уже окончательно успокоившись, отвечал Державин. Он видел, что он еще нужен, что его задабривают, ласкают. Видели это и окружающие и с тайной завистью смотрели на знаменитого человека, значение которого для многих было еще далеко не ясным.

Едва Зубов кивнул ему головою и отошел от него, как к нему стали протискиваться, чтобы шепнуть какую-нибудь любезность.

А Зубов в это время заметил Сергея Горбатова.

«Он все же тут, — подумал он, — негодная чванная фигура! Того и жди, новую дерзость сделает, от него всего ждать можно. Но нет, он ошибается, я не дам ему возможности сделать мне дерзость, я его доконаю, так или иначе. А пока буду злить».

И он вдруг почувствовал наслаждение кота, начинающего заигрывать с пойманной мышью.

Дойдя до Сергея, он остановился и окинул его с головы до ног. Он даже принял величественную и серьезную позу государственного мужа. Но поза не удалась, и Сергей заставил его изменить ее, раздражив своим холодным и спокойным взглядом, своим официальным, полным достоинства поклоном.

— Господин Горбатов из Лондона?.. Мы ведь, кажется, встречались прежде?

— Встречались... — Сергей запнулся, но сделал над собою усилие и прибавил: — Ваша светлость!

Он вложил в эти слова что-то неуловимое, чего не могли даже подметить окружающие, но что отлично понял Зубов, потому что губы его дрогнули, и легкая краска мгновенно покрыла щеки.

— Долго в России не были... Много перемен найдете, — продолжал отрывисто Зубов. — Бумаги ваши передайте в канцелярию... Если понадобится личное объяснение, я позову вас. А засим завтра извольте явиться на выход после обедни.

Сергей был очень счастлив, что ему не приходилось даже отвечать. Он опять ограничился одним официальным поклоном.

Зубов был уже у дверей, он отправлялся к государыне. Едва скрылся он, в приемной все оживилось. Собравшиеся люди, за несколько минут поражавшие таким удивительным сходством между собою, мало-помалу начинали возвращаться к своим личным особенностям, и даже, напротив, теперь стало проявляться большое разнообразие в выражениях лиц. Некоторые были очень довольны: его светлость обратили на них внимание. Другие казались озабоченными, смущенными: на них или совсем не было обращено внимания, или очень мало. Иные стояли, как в воду опущенные, — это были просители, которых Зубов не дослушал, которые уже понимали, что ждать им больше нечего и надеяться не на что. Другие просители, более счастливые, обступили Грибовского и увивались вокруг него. Большая группа образовалась тоже около Державина, который что-то

горячо и весело, чересчур громко рассказывал. Старые знакомцы Сергея снова решились подойти к нему. Если после такой выходки его все же удостоили разговором, если завтра ему приказано явиться на выход, значит, дела его недурны и потому не следует пренебрегать им.

Но Сергей спешил скорее вон, он слишком устал, он чувствовал себя чересчур раздраженным, да и наблюдать было уже нечего. Все стало ему совсем ясно и понятно.

VIII. СЛЕДЫ ВРЕМЕНИ

Следующий день был — воскресенье. Около одиннадцати часов утра Сергей, в полном мундире, вышел на подъезд своего дома и, сядя в карету, велел ехать во дворец.

Едва он завернул на Невский проспект, как заметил огромное движение, всевозможные экипажи, перегоняя друг друга, стремились в одном и том же направлении. Блестящие, вычурные кареты новомодного фасона, старинные, огромные рыдваны, запряженные шестериками, с форейторами и гайдуками, открытые коляски и, наконец, одноконные дрожки, блестящие мундиры придворных и разноцветные наряды дам, помещавшихся в экипажах, толпа глазевшего люда на панелях — все это представляло такую пеструю и оригинальную картину, от которой Сергей давно уже отвык. Он прожил несколько лет в самых людных городах Европы, видел народные сборища и всевозможные процессии на улицах Парижа и Лондона, но все это было совсем другое и производило иное впечатление. Здесь бросалась в глаза совершенно своеобразная пестрота и роскошь — смесь Европы с Азией.

Площадь перед дворцом была буквально запружена экипажами. К дворцовому подъезду приходилось уже продвигаться крайне медленно. Но вот карета остановилась, лакей распахнул дверцы, Сергей очутился на знакомой лестнице. Когда-то, полный надежд, смущения и любопытства, он всходил по этим ступеням — теперь ни надежд, ни любопытства, ни смущения в нем не было, была одна скука, одно тоскливое чувство. На лестнице, в сенях и в первых комнатах происходила страшная толкотня, и гудел несмолкаемый, глухой говор. Ливрейные лакеи стояли шпалерами с верхним платьем своих господ; перед зеркалами теснились дамы, поправляя прическу; всюду сновали расшитые мундиры кавалеров, всюду сверкали ордена, звезды и ленты.

С большим трудом удалось Сергею пройти в дверь, но, кое-как преодолев препятствие, он наконец очутился в большой зале, уже почти битком набитой народом. Эта зала была рядом с придворной церковью; двери туда стояли настежь, и ощущался запах душистого ладана, доносились церковное пение и возгласы священнослужителей.

Оказалось, что Сергей несколько опоздал, обедня уже началась. Государыня с членами императорской фамилии и свитой уже находилась в церкви. Сергей попытался было протиснуться вперед, поближе к широким дверям, так чтобы можно было разглядеть что-нибудь. Ему вдруг захотелось издали взглянуть на императрицу и на цесаревича, но он должен был отказаться от своего намерения: всем не попавшим в церковь хотелось того же, чего и ему — и поэтому у дверей нельзя было упасть и яблоку, поневоле приходилось остаться и удовольствоваться теми наблюдениями, которые представляла окружающая толпа.

Сергей стал отыскивать знакомые лица и скоро заметил их среди блестящих мундиров и пышных дамских туалетов. Он наблюдал изменения, произведенные временем на этих лицах, вдруг пришедших ему на память так ясно, в таких подробностях, как будто он вчера еще только расстался с ними. Но времени прошло много — восемь лет не шутка. Люди, бывшие тогда во цвете лет, теперь уже начинали стариться, красивые молодые женщины поблекли, а главное — все это как-то выцвело, как-то приняло общий бледный, однообразный оттенок, краски жизни потускнели. И показалось Сергею, как и вчера в приемной Зубова, что все эти кавалеры и дамы, старцы и молодые — похожи друг на друга, у всех у них было общее, привычное, застывшее выражение. Но рядом со знакомыми, постаревшими и выцветшими лицами, которых было очень немного, он увидел новых людей. Этих новых людей было несравненно больше. Все это появилось, все это устроилось после него, во время его отсутствия. Да, много прошло с тех пор, много воды утекло...

Кругом шел тихий говор на всевозможных языках, и это смешение языков производило тоже очень странное впечатление, от которого так отвык Сергей. С каждой минутой ему становилось все скучнее, и все больше и больше казалось ему, что он здесь совсем чужой, совсем оторванный, не имеющий ничего общего с этой толпой, живущей непонятными ему интересами.

Но вот разноязычный шепот сменяется иными звуками: громче и громче доносится из церкви пение двух хоров, и в этом звучном, могучем, за душу хватающем пении слышится Сергею что-то родное, совсем было позабытое. Давно не слыхал он этого пения, совсем он отвык от него, ему вспоминается детство, вспоминается горбатовская

церковь, воскресная обедня: грузная, большая фигура отца с его орлиным профилем, благоговейно полузакрытыми глазами... красноватая рука размашисто кладет крестное знамение... Рядом с отцом стоит мать, с выражением доброты и не то робости, не то ласки... и она тоже горячо молится, ежеминутно опускаясь на колени... А вот и маленькая сестра, вот и Таня, которая изредка, украдкой, бросает на него взгляды и улыбается ему своими живыми горящими глазами. Куда девалось все это, и что от этого всего осталось? Вот уже и матери нет на свете, сестра — она замужем, она еще недавно известила о рождении второго ребенка, но вряд ли она и узнает брата при встрече. Он покинул ее девочкой — теперь она женщина, какая? Что из нее вышло — он совсем не знает.

А Таня? Где Таня? За границей он ничего не мог узнать о ней, а теперь еще и некогда было навести справки. Сестра, будто нарочно, в своих редких письмах ничего никогда о ней не сказала, да он и не спрашивал. Таня, уезжая, обещала ему дружбу, но не сдержала этого обещания. Она только известила его тогда же, лет семь тому назад, что, вероятно, навсегда уезжает с матерью из деревни, что, вероятно, поселится в Москве. Так, должно быть, она и теперь в Москве, может быть, вышла замуж: хоть бы взглянуть на нее, хоть бы услышать ее голос, чего бы ни стоило это свидание, какую бы тоску ни принесло оно!..

«Нет, скорей, скорей отсюда на свободу! Умолю государыню отпустить меня, — думал Сергей. — Неужели она мне откажет! Я должен спешить в деревню, я должен быть через несколько дней в Москве. Я отыщу Таню!..»

Обедня кончилась. Будто электрическая искра пробежала по зале, поднялось всеобщее движение. Напирая друг на друга, все теснились вперед; у дверей появился гофмаршал и объявил, что государыня выходит из церкви.

Мгновенно замолк разноязычный говор, все будто застыли, и только по временам слышалось однозвучное покашливание. Все лица были обращены к выходу из церкви, все шеи вытянулись, люди малого роста становились на цыпочки, выглядывали из-за счастливых, которым удалось поместиться в первом ряду. Из дверей церкви появляются новые лица и становятся тоже рядами — это послы, министры и уполномоченные иностранных дворов, представители

всевозможных наций. Проходит еще две, три минуты, и из дверей попарно показываются камер-юнкеры и камергеры, за ними следуют министры. Сергей глядит на них и замечает прибавившиеся морщины, признаки старости и утомления на их лицах. Вот и знакомое ему, хитрое и веселое лицо графа Безбородки, которому он еще не имел времени представиться. Но и Безбородко уже постарел, и в нем заметно что-то новое.

Когда министры прошли, появился в своем сверкающем мундире, со своими бриллиантами — Зубов. Зала дрогнула. Зубов подвигался своей обычной неровной и нервной походкой, изредка кивая то направо, то налево головой.

— Ну, все обстоит благополучно — его светлость, кажется, в духе! — расслышал Сергей чей-то шепот.

Действительно, лицо у Зубова было довольное, улыбающееся, но Сергей сейчас же и отвел от него глаза: на пороге показалась императрица.

Что-то шевельнулось в сердце Сергея, какое-то позабытое чувство... Он вспомнил эту дивную и привлекательную женщину, вспомнил свои долгие беседы с нею и последнее свидание, вспомнил то благоговейно восторженное чувство, которое испытывал к ней в годы юности. Теперь к остаткам этого чувства примешивалась жалость. Он заметил, что она изменилась более других, он увидел, что перед ним не прежняя Екатерина. Она сильно пополнила, так что даже на ходу несколько качалась из стороны в сторону. На ней был парадный старинный русский костюм, состоявший из шелкового бледно-голубого сарафана, обшитого золотым кружевом; поверх него была надета темно-синяя бархатная широкая безрукавка. Пышные кисейные рукава, собранные в мелкие складочки у кисти, скрывали ее тучные руки, поражавшие прежде своей красотой. На голове помещалась высокая диадема, сверкавшая множеством драгоценных камней, на шее кольцо, отливавшее всеми цветами радуги. Грудь императрицы была украшена двумя лентами и двумя бриллиантовыми звездами: андреевской и георгиевской. Лицо ее еще несколько удлинилось, а подбородок еще более выступил вперед, так что рот углубился и придавал лицу старческое выражение, несмотря на все искусство, с которым она была набелена и подрумянена. Но глаза ее оставались все еще прекрасными, все так же ясно и ласково блестели,

и по-прежнему она улыбалась своей привычной, величественной и благосклонной улыбкой.

Выйдя из церкви, императрица остановилась на мгновение, а потом стала подходить то к одному, то к другому, разговаривая и милостиво протягивая свою руку, которую целовали те, к кому она обращалась с приветствием. Но Сергей уже не мог следовать за нею и вслушиваться в слова ее: он видел другое лицо, появление которого заставило дрогнуть его сердце, — у дверей появился цесаревич.

Боже мой, он ли это! Как он постарел, как изменился! Он казался таким мрачным, таким раздраженным. Презрительное выражение его оригинального некрасивого лица делало его совсем недоступным и объясняло новому человеку его отчужденность. Но ведь Сергей не был новым человеком: он все знал и все понимал, и теперь он пытался проникнуть выше этой презрительной улыбки, этих расширенных раздражением ноздрей, ему нужно было видеть глаза цесаревича, полузакрытые, усталые глаза, в которых он всегда целиком выражался и которые только и могли ответить на все обращенные к нему вопросы. И вот, наконец, поднялись эти синие глаза, и Сергей понял, что цесаревич все тот же, что он только еще больше утомлен и измучен тяжелой жизнью и трудной, неустанной борьбой.

Сергей едва удержался, чтобы не броситься вперед, ему навстречу, едва осилил свое волнение.

Рядом с цесаревичем шла великая княгиня; вот она так почти не изменилась. Все так же молода и красива, и такой же добротой и лаской сияет нежное, прелестное лицо ее. А за нею кто же это — два стройных юноши, из которых один совершенный красавец. Другой далеко не так красив, но Сергею дорого это живое, поминутно изменяющее свое выражение лицо, этот вздернутый нос с тонкими ноздрями. Дорого ему это лицо большим сходством с лицом цесаревича.

Они давно уже не дети, совсем взрослые люди, даже оба уже и женаты. Что-то случилось с ними? Что из них вышло? И эти молодые, цветущие лица ответили ему, что дурного ничего не вышло.

За великими князьями шли их сестры, одна другой красивее, и среди них старшая, счастливая невеста юного шведского короля, воспевать бракосочетание которой приготавливалась лира Державина.

Но Сергей опять должен был оторваться от своих наблюдений: императрица была в двух шагах от него, и вдруг он встретился со взглядом ее голубых глаз.

— Господин Горбатов! — проговорила она с ласковой улыбкой, и рука ее приподнялась по направлению к нему.

Мгновенно все, что было вокруг, что теснилось и давило друг друга, отступило, пропуская Сергея вперед. Он почтительно, чувствуя невольный трепет и что-то странное, что подступило к груди его, поцеловал руку императрицы и взглянул на нее еще раз.

— Давно, давно не видались, — сказала она. — Я рада вас видеть и надеюсь, что немало интересного от вас услышу.

Он кланялся, ища слов; но слов было не нужно — государыня уже прошла дальше.

Великая княгиня, отойдя от мужа, появлялась то здесь, то там, для всех находила улыбку и приветствие.

Цесаревич подвигался медленно, редко кого удостаивал разговором и вообще казался очень рассеянным.

Сергей пробрался вперед и очутился перед ним.

— А! — сказал цесаревич, крепко стискивая ему руку. — Пройди туда, ко мне...

Сергей двинулся через залу, вслед за толпой...

IX. ЗАГАДКА

В зале великого князя происходило опять то же самое, то есть все теснились вперед, все старались попасть на глаза хозяину. Однако здесь чувствовали себя, очевидно, не так стесненными, разговаривали несколько громче.

Павел Петрович подходил почти к каждому; не отставая от него, следовала великая княгиня и своею любезностью сглаживала впечатление, производимое мрачным видом и односложными фразами великого князя.

Молодые великие князья держали себя очень сдержанно. Они были прекрасно воспитаны и уже умели, в особенности старший, Александр, придавать значение каждому своему слову, каждому движению и улыбке.

Гофмаршал представил им Сергея Горбатова. Они оба любезно сказали ему, что не забыли его, и даже напомнили несколько эпизодов из прежнего времени.

Обойдя всех, великий князь вышел на середину залы и наклоном головы отпустил присутствовавших. Толпа начала расходиться, зала опустела, но Сергей медлил. Он чувствовал, что уходить ему еще не время, и он был прав.

Когда уже почти никого не осталось в зале, великий князь подошел к нему и положил, как бывало, ему на плечо руку.

— Вот и ты здесь, Сергей Борисыч, — сказал он. — Ну, что, сударь, покажись-ка! Нехорошо... бледен... видно, не красно жилось...

— Не красно, ваше высочество, да что толковать об этом. Сегодня я счастлив — я вижу вас и все ваше августейшее семейство. Я изумляюсь и радуюсь, глядя на великих князей и княжен.

— Да, выросли, меня переросли. Ну, а жена, как ее находишь?

В это время подошла великая княгиня и, как всегда, мило и просто заговорила с Сергеем, вспоминая прежнее время.

— Ваше высочество, имею ли я право поздравить вас с семейною радостью? Я знаю, что это еще не объявлено...

Великий князь нахмурился.

— Благодарю тебя, — проговорил он. — Да, конечно, это может быть и радостью, но, к сожалению, я не так доверчив, как другие. Я совсем почти не знаю жениха моей дочери, и вопрос о том, будет ли она счастлива — для меня остается вопросом пока без решения. Значит — радоваться еще рано... Он почти еще совсем ребенок, что из него выйдет?.. Я всего три раза его видел, но хочу надеяться, что он человек хороший, все его хвалят...

Великая княгиня улыбнулась своей милой и несколько печальной улыбкой.

— А я знаю одно, — сказала она, — если мне так же затруднительно будет выдавать замуж всех моих дочерей, как эту дочь, — я умру по дороге. Я почти каждый день приезжаю сюда из Гатчины, чтобы видеть их. Я должна же постараться узнать его, его характер, убедиться в искренности его чувства, иначе как же я отпущу ее — у меня и дня спокойного не будет; вот и езжу каждый день почти. Впрочем, я к этим поездкам привыкла...

Великий князь нервно повел плечами и нахмурился еще больше.

Сергей стоял, печально опустив глаза, и думал: «Все то же самое! Все неизменно! Да, дядя Лев Александрович прав — у них нужно учиться терпению».

— Теперь о тебе поговорим, сударь, — сказал Павел Петрович. — Как видишь, мы тебя не забыли, но стоишь ли ты этого — я еще не знаю. Надеюсь, однако, что образумился и сделался серьезным мужем, пора ведь, уж годы немалые.

— Я не знаю ваших обвинений, ваше высочество, и потому не могу защищаться, да и, во всяком случае, я защищаться не стал бы, скажу только одно, что теперь, кажется, от меня — каким я был восемь лет назад — ничего уж больше не осталось.

Павел улыбнулся.

— Если ничего, так это плохо — напротив, многое должно было остаться, и если я увижу, что прежнего совсем нет больше, то тебя и знать не захочу. Ну, и скажи мне прежде всего, помнишь ли ты, что я говорил тебе перед твоим отъездом о том аду, в который ты должен был попасть и в который ты, кажется, хорошо окунулся? Прав я был или нет? Хороши оказались результаты этих общественных движений, как вы их называли?

— Результаты ужасны, ваше высочество, и отвратительны, но, может быть, эта гроза очистила воздух и послужит знаменательным уроком для будущего. Человечество не может, не должно забывать подобных уроков.

— Пустое, все забывается, и никакого очищения воздуха я не вижу — напротив, воздух заражен, и следует принимать все меры, чтобы очищать его. А у нас только говорят об этих мерах и ничего не делают. Если всеобщая распущенность была отвратительна восемь лет тому назад, то теперь она еще отвратительнее. Я удивляюсь, как мы все еще не задохнулись в этой атмосфере. Обо всем этом мы еще поговорим с тобою в Гатчине. Постарайся найти возможность заглянуть ко мне, мне нужно порасспросить тебя о многом, ведь недаром же ты там прожил столько времени, ведь, я чаю, многого навидался, так интересно будет послушать твоих рассказов. А теперь скажи мне, что же ты намерен делать? Зачем сюда пожаловал?

— Вы знаете, ваше высочество, что в течение восьми лет моей мечтой было вернуться в Россию, и если только теперь я мог осуществить эту мечту, то не моя в том вина. Вы, может быть, слышали, что я лишился матери...

— Да, слышал и подумал о тебе...

— Так вот, ваше высочество, нужно было бы мне съездить в деревню, многим распорядиться, окончательно разделить с сестрою. Я хочу проситься в отставку.

— Я думаю, выпустят, — заметил Павел, — только повремени немного, обожди... Не надумал ли жениться? Может быть, сыскал себе невесту? Или здесь поискать намерен?

— Нет, ваше высочество, я о женитьбе не думаю.

Павел опять положил руку на плечо Сергею, а другой рукой взял его за пуговицу. Это была его привычка, и он делал так, когда бывал особенно чем-нибудь заинтересован или взволнован и когда собирался сообщить собеседнику что-нибудь очень важное.

— Послушай, ведь насколько я помню, тогда еще у тебя была невеста, ты сам однажды мне про нее говорил.

— Была, — смущенно ответил Сергей.

— Где же она? Что случилось с нею? Каким образом расстроилось это дело?

— Зачем вы меня спрашиваете, ваше высочество? Мне кажется, что вы и так все знаете.

— Ну, хорошо... да, знаю... Но скажи ты мне, сударь, как ты полагаешь, кто был причиной того, что твой брак не состоялся, — ты или твоя невеста?

— Конечно, я.

— Значит, ты признаешь себя виноватым перед нею?

— Признаю, и эта мысль до сих пор отравляет многие минуты моей жизни.

— Значит, ты сожалеешь — говори правду.

— Глубоко сожалею, ваше высочество.

— И никто потом не заменил для тебя ее? Ты ни к кому не привязался? Ты был бы, пожалуй, счастлив, если бы снова встретился с нею, если бы все прежнее забылось и вы могли бы сойтись на всю жизнь?..

— О, это было бы большое счастье, но я о нем и не мечтаю, я не знаю даже, где она находится в настоящую минуту, свободна ли она? Может быть, она уже замужем. Я еще час тому назад думал о том, что прежде всего должен разузнать про нее. Полагаю, что она в Москве.

— Ты все это говоришь серьезно?

— Разве я когда-нибудь иначе говорил с вами, ваше высочество?

— Да Бог же тебя знает, ведь сам же сейчас объявил, что ничего прежнего в тебе не осталось, а тут и оказывается все прежнее! — улыбнувшись, сказал Павел. — Так, значит, правда, значит, не позабыл ты княжну Пересветову, Татьяну Владимировну, — видишь, я хорошо помню ее имя. Но ты слушай: узнавать о ней тебе нечего — я имею о ней самые верные сведения и сообщу их тебе, когда приедешь ко мне в Гатчину... и, пожалуйста, поспеши — мне о многом нужно переговорить с тобою. У меня даже есть для тебя подарок — но прежде его заслужить нужно, и я должен убедиться, достоин ли ты этого подарка. Теперь же некогда, прощай, до свидания! Поди, простись с женою...

Цесаревич опять стиснул ему руку и уже с иным выражением в лице, не мрачным, не раздраженным, а довольным, вышел из залы.

Х. ОЖИДАНИЕ

Свидание с цесаревичем подействовало самым неожиданным и благотворным образом на Сергея, сразу осветило внутренний мир его, разогнало его тоску и скуку. Столько лет ему было как-то холодно и неприветливо в жизни, и эта жизнь, с виду такая блестящая, представлялась ему тяжелым и неизбежным бременем. И вдруг неожиданно и нежданно — тепло, вдруг пахнуло чем-то родным, дорогим...

У Сергея друзей не было, и почти единственным близким себе человеком считал он своего карлика Моську; но, конечно, этот друг не мог удовлетворять его.

С отсутствием горячих привязанностей могут уживаться только очень холодные, себялюбивые и самодовольные люди, да и тем подчас становится невыносимо душевное одиночество, а Сергей вовсе не был ни холоден, ни себялюбив. Он нуждался в сердечной привязанности, но судьба отнеслась к нему жестоко, оторвала его на долгое время от всего, что было ему близко, от всех, кого любил он в годы юности.

Его чувство к цесаревичу восемь лет тому назад было восторженным молодым чувством. В долгой разлуке оно не исчезло, но, естественно, должно было ослабнуть. Оно таилось где-то там, глубоко в сердце, и вспыхивало только тогда, когда подливалось в него масло, когда какое-нибудь очень редкое обстоятельство напоминало ему в далеком Лондоне о цесаревиче. И во всяком случае, Павел Петрович превращался для него мало-помалу в воспоминание, уходил в прошедшее. В настоящем его не было, а о будущем Сергей старался не думать.

Но вот он здесь! Он снова его увидел и с первых же слов его убедился, что прежняя связь не порвана, что цесаревич, несмотря на долгую разлуку, на тревоги и заботы своей нерадостной жизни, не забыл его и относился к нему с прежней, пока еще ничем не заслуженной им, добротой.

Теперь в Сергее уже не было восторженного ребяческого чувства, оно видоизменилось, оно осмыслялось. Он сознавал, что глубоко предан этому человеку, что готов пойти за него и в огонь, и в воду,

потому что он стоит этого, но было и другое... Сергей полуинстинктивно, полусознательно чувствовал, что так относиться к цесаревичу — его долг, его священная обязанность. Это было что-то традиционное, что-то родовое, наследованное от отца. Сергей так думал и чувствовал потому, что он был сыном Бориса Горбатова. Как отец любил Петра III и служил ему, так и сын теперь любил и готов был служить сыну Петра III.

Взгляды старика Горбатова, из-за которых он заперся на всю жизнь в деревне, теперь вдруг передались сыну. Восемь лет тому назад он не думал об этом, но теперь все сложилось, все выяснилось, и он смотрел на Павла не только как на человека, достойного привязанности, не только как на великого князя, который выказывает ему особенные знаки милости, он глядел на него как на своего законного государя.

Да, тут было что-то традиционное, родовое. Там, в Гатчине, его настоящее место; ведь он еще перед отъездом за границу просил цесаревича принять его к себе на службу. Тот отказал ему, любя его и думая об его выгодах. Восемь лет прошло! Долгие, печальные восемь лет! Но теперь нужно наверстать потерянное, нужно наконец оказаться при своих законных обязанностях.

От мысли о цесаревиче Сергей переходил к другим мыслям. Он не мог не заметить особенного выражения в лице Павла, когда тот спрашивал его про Таню... Он сообразил и еще одно обстоятельство:

«Ведь про нее тогда никакого разговора не было... Он совсем не знал, что я был женихом, а теперь сказал, что ему это было через меня известно. Он хочет сообщить мне про Таню, — значит, он заинтересован ею... Но откуда же он все знает?..»

И вспомнилось ему, что ведь Моська, провожавший Пересветовых в Петербург, был тогда с его письмом в Гатчине. Моська, вернувшись в Лондон, ничего ему не рассказывал, но старик ведь хитрый, наверное, он все тогда рассказал великому князю.

И вот, вернувшись домой из дворца, он позвал карлика и прямо спросил его: откуда цесаревич знает Таню?

У Моськи глаза заблестели, сморщенное личико сделалось таким счастливым, таким плутоватым. Но он упорно молчал и только усиленно сморкался, что обыкновенно делал в минуты смущения.

— Что же ты молчишь, Степаныч? Разве не слышишь, о чем я тебя спрашиваю? Говори мне правду, без всякой утайки, наверно, всю мою подноготную цесаревичу выболтал, когда с моим письмом являлся в Гатчину?

— Эку старину вспомнил, батюшка Сергей Борисыч! — наконец проговорил Моська, и в то же время глаза его бегали с предмета на предмет и никак не могли остановиться на Сергее. — Эку старину!.. — повторял он и все сморкался, и все краснел, очевидно, еще не находя выхода из своего затруднительного положения.

— Не вертись, Степаныч, не серди меня даром. Коли спрашиваю — значит, надо, и ты должен отвечать мне. Ведь я тогда от тебя путного слова не мог добиться!.. Ну, да время было такое, не до расспросов. Сказал ты мне, я помню, что цесаревич сам тебе свое ответное письмо вынес, что пошутил с тобою. А больше я ничего не помню, больше ты мне ничего не рассказывал...

— Да и я тоже ничего не помню, золотой мой!

— Не вертись!.. Был разговор обо мне и о княжне Татьяне Владимировне?

Карлик почесал за ухом.

— А дай-ка вспомню! Было что-то такое, точно, было...

— Ты жаловался на меня, конечно?

— Жаловался, батюшка, это помню теперь, сильно жаловался его высочеству.

— Ну, и что же он?

— А вестимо что — не стал хвалить твою милость, даже словом нехорошим обозвал.

— Каким словом?

— Словом-то каким! Ну, уж коли так тебе любопытно, я тебе скажу, каким: дураком он тебя обозвал, вот что!

— Дальше!

— Дальше? Пожалел он нашу княжну, сказал, что ты ее недостоин и что он ей лучшего жениха, чем ты, найдет... Ну, вестимо — обидно мне это было слушать, а слушал, потому что его высочество правду говорить изволил... И сам я с ними был во всем согласен.

— Степаныч, о твоих согласиях я вовсе не спрашиваю.

— А уж спрашиваешь, нет ли, а велел все припоминать, и я припоминаю.

«Лучшего жениха сыщет!.. Не узнавать о ней, не побывав в Гатчине!.. Подарок мне приготовил, да хочет знать, стою ли я его!..» — быстро мелькнуло в голове Сергея.

И вдруг радостное предчувствие поднялось в его сердце.

— Степаныч, а не говорил он тебе, что княжну хочет видеть?

Карлик опять начал сморкаться, и опять глаза его забегали во все стороны. Наконец, он оставил в покое свой нос и с отчаянной решимостью развел руками.

— Этого, батюшка Сергей Борисыч, хоть убей — не помню!

А потом, совсем переменив тон и заглядывая в глаза Сергея с кошачьей ужимкой, он пропищал ему:

— А что, золотой мой, видел ты нынче цесаревича?

— Видел.

— Ну, и что же, он, наш милостивец, в добром ли здоровье?

— Ни на что не жаловался.

— А ну, как он с тобою-то? Как всегда, что ли? Хорош был?

— Хорош.

— В Гатчину поедешь?

— Поеду, Степаныч, и даже вот когда — завтра рано утром поеду. Завтрашний день еще урвать можно, а то боюсь, как бы разные дела не стали задерживать.

— А меня-то сударь, возьмешь с собой?

— Зачем?

— Да уж возьми, сделай Божескую милость!

— Могу взять, только ведь в Гатчине порядки строгие — пожалуй, меня с тобой не пропустят — что ты тогда будешь делать?

— Пропустят, батюшка, меня и не заметят совсем, а коли заметят и станут спрашивать — я прямо скажу, что его высочество приказал мне явиться... И не солгу, не солгу, как перед Богом, пускай их самих спросят — они припомнят! Так и сказали: «ежели когда будешь в Петербурге, навести меня», — это их слова доподлинные...

— В таком случае поедем. Распорядись с вечера.

Моська оживился и радостно вышел от своего господина. Он был, очевидно, в каком-то особенном, возбужденном состоянии, он будто помолодел, так и вертелся, чуть не прыгал. Диву даже далась, глядя на него, многочисленная горбатовская прислуга.

Сергей весь день никуда не выезжал. Приводил в порядок свои бумаги, разбирался. А мысли его становились все радостнее и радостнее, доброе предчувствие усилилось. Ему казалось, что он снова начинает жить, и эта новая жизнь сулила что-то хорошее, что-то счастливое.

XI. РАЗГАДКА

На следующее утро, ранним-рано, выехал Сергей с карликом в Гатчину. Та же пустынная, однообразная дорога, те же впечатления. Те же впечатления и при въезде в Гатчину: пропасть караульных, вытянутых в струнку, всюду только фигуры солдат, чинность и порядок. Здесь время будто остановилось.

Бедный карлик застрял в дворцовых сенях — дальше его не пустили. Но он шепнул Сергею:

— Пройду... такое слово знаю, дойду до самого цесаревича, вот увидишь, батюшка.

Дежурные пригласили Сергея в приемную. Те же самые маленькие, просто, почти бедно обставленные комнаты с низенькими потолками, та же монастырская печальная пустота.

Сергею пришлось дожидаться довольно долго, великий князь был занят где-то вне дворца, да и из приближенных его никого, вероятно, не было. Сергей поместился на жестком стуле, и невольно ему взгрустнулось.

Разве так должен жить цесаревич? Разве так должна проходить его жизнь? По тому, что он успел уже увидеть, ему начинала все яснее и яснее представляться ненормальность этой уединенной, странной жизни: дисциплина маленького войска, доведенная до необыкновенного совершенства, эти маленькие смотры, маневры, учения... и так годы, десятки лет — игра в солдат, которая не приносит никаких результатов, до сих пор от этой игры не видно никакой пользы. Гатчинцы вымуштрованы, но над ними только смеются, а петербургская гвардия, и вообще все русское войско становится все более и более распущенным. В этом маленьком, отдельном мире чувствуется что-то душное и в то же время фантастическое, даже нездоровое. Да, вредно жить в подобной атмосфере, можно отвыкнуть от действительной жизни!

Но скоро Сергей от этих мыслей перешел к другим — к мыслям радостным, к ожиданию, которое не покидало его со вчерашнего дня и заставило так спешить сюда. Однако минуты проходили, он все был

один, и тихо было кругом него, только раздавался стук старого маятника. Неужели так-таки никого и нет?

Он вышел из приемной, и, увидав дежурного офицера, стал спрашивать о своих здешних знакомых, о том — скоро ли вернется цесаревич? Но офицер не знал, где цесаревич, да и вообще не смел разговаривать. Сергей должен был отойти от него и опять вернуться в приемную. Однако скучать ему не пришлось — скоро к нему вышел старый знакомец, Кутайсов; они встретились приятелями. Кутайсов, очевидно, теперь чувствовал себя еще лучше, чем восемь лет тому назад. Он раздобыл несколько, но мало состарился, и в его приемах и манерах оказывалось необыкновенное чувство собственного достоинства и в то же время благодушная снисходительность. Глядя на него, никак уже нельзя было сказать, что это бывший пленный турчонок-цирюльник: он держал себя если не хозяином, то, во всяком случае, близким другом и, как друг дома, счел своею обязанностью обласкать Сергея. Он сказал, что цесаревич будет здесь с минуты на минуту, болтал, переходя с предмета на предмет, занимал гостя своим разговором.

— Вот-с, как видите, Сергей Борисыч, — говорил он, — у нас все то же, мы не двигаемся, да оно и хорошо — сами посудите: где движение, где перемены в предметах, там перемены и в людях, а у нас все на своем месте и люди все те же, и уже кто раз попал к нам, кого мы полюбили — так и остаемся... мы не изменчивы. Сколько времени вот с вами не видались, а увидите: все вам обрадуются... Ну, а там-то, чай, ведь не так — там забывчивы.

— Да, это истина, — ответил ему Сергей, — только что же вы как будто оправдываетесь? Я ведь с вами не спорил и ни в чем не порицал здешних порядков.

— Не сказали, так подумали! — приятно улыбаясь своими сочными губами и показывая два ряда белых зубов, проговорил Кутайсов. — Петербуржцы все смеются над нами, замороженными нас называют... Живем-с, как можем, не по своей воле... Только вот-с беда, скажу вам откровенно, цесаревич-то... ох, как меня тревожит!..

— А что? Разве нездоров он?

— Не то-с, нездоровья не видно, хотя ведь он, собственно говоря-с, крепким здоровьем никогда не отличался, но он такую жизнь ведет, что поддерживает себя: как один день, так и другой — никаких

излишеств, по-прежнему, чем свет на ногах, в движении, закалил себя... А другое тут, грустить стал часто. Мрачен иногда так бывает, что ничем и не развлечешь его, пуще прежнего раздражителен стал. Доброту его вы знаете — добрее я человека не видывал, и терпение тоже великое у него. Не будь терпения, разве такую жизнь можно выносить?... Но в мелочах-то... в мелочах все и сказывается. Ведь уже сколько, лет я думал об этом и так решал всегда, что следовало бы ему на чистый воздух вырваться, освежиться, проехаться... Осмеливался даже и докладывать об этом... и что же бы вы думали? Слышать не хочет! Ну-с, а дело в том, что все идет хуже и хуже, и коли еще так долго будет, так я уж и не знаю...

Но Кутайсов не договорил, дверь отворилась, и в приемную своей твердой военной походкой в высоких ботфортах, с большой треугольной шляпой под мышкой вошел Павел.

— А, Горбатов!.. Спасибо, сударь, что ждать не заставил. Не чаял я, что ты сегодня будешь, спасибо, это хорошо!

Он взглянул на часы.

— Уже и полдень скоро. Кутайсов, велишний прибор к обеду поставить... проголодался, чай, да и я тоже.

Кутайсов, уловив какую-то мину на лице Павла, вышел из комнаты.

Сергей остался вдвоем с цесаревичем. Тот положил ему на плечо руку.

— Никого со вчерашнего дня не видел? Ничего интересного не узнал?

— Ничего, ваше высочество, — ведь вы же приказали мне не разузнавать и не делать никакого шага, не побывав у вас.

— Так поэтому-то ты и явился так скоро, не терпелось!.. Обещал сообщить тебе интересное и до твоего предмета касающееся — и исполню обещанное, потерпи немного... Это после обеда. Когда голоден, я не люблю рассказывать... Только, сударь, ты не жди тут у меня веселья — один я, жены нету, опять в Петербург уехала.

— А Екатерина Ивановна? — спросил Сергей.

— Екатерина Ивановна! — тихо повторил Павел, и вдруг его ноздри раздражительно раздулись, в глазах что-то вспыхнуло, но тут же и потухло. — И ее нету... А ты и не знал о том, что уже несколько лет, как ее нет в Гатчине?

— Где же она? Надеюсь, она здорова, ваше высочество?

— Здорова... Она в Смольном. Довели до того, что отпросилась и уехала. Она навещает нас... не слишком часто... Приедет — так все же становится как-то веселее, как-то тише... Да, во всю жизнь у нас не было лучше друга... ну, и, конечно, нужно было нас лишить этого друга.

— Кто же мог это сделать? Кому это было нужно? И зачем она согласилась уехать? — невольно выговорил Сергей, но тут же и спохватился. — Извините, ради Бога, ваше высочество, — сказал он, — я никакого права не имею спрашивать и даже говорить о таких делах, но я так изумлен... так мне странно и так тяжело, что нет с вами Екатерины Ивановны. Я именно рассчитывал видеть ее сегодня. Хотя я и мало знал ее, но она произвела на меня такое впечатление, которое не забывается. Мне она до сих пор представляется исключительной, святой женщиной.

— Такая она и есть, мой друг, — сказал Павел, — и тебе не в чем извиняться — если ты искренне расположен ко мне, то должен интересоваться моими делами, и я скажу тебе прямо и просто: эта история — старая история. Нелидова была лучшим нашим другом и, надеюсь, навсегда им останется. Пока она жила с нами, мне было хорошо — в ней действительно есть что-то особенное, что на меня действует успокоительным образом. Она всегда была моим врачом, я ей многим... многим обязан. И вот наши дружеские, близкие отношения стали мозолить глаза людям, которые не понимают подобных отношений; ее начали чернить, оклеветали... испробовали все средства, чтобы из-за нее поссорить меня с женой. Это не удалось, потому что жена ценит ее и любит так же, как и я, и потому что она была равно как мне, так и ей полезна и необходима. Мы выносили, пока могли, но клевета выросла до такой степени, что я почувствовал себя не вправе держать дольше Нелидову в Гатчине — мне нечем было оградить ее от этих змеиных жал. Нам оставалось одно — расстаться, но, конечно, не вследствие ссоры, доказать, что наши отношения не изменились, что о ссоре тут не может быть и речи. И вот Екатерина Ивановна в Смольном.

— А она часто здесь бывает?

— Не очень часто... нет — это затруднительно, да и здоровье ее не крепкое, устает очень всегда, хоть путешествие и не Бог весть

какое...

Сергей начал возмущаться, но в то же время в нем шевелилось уже новое чувство, рождался протест против этого терпения цесаревича — терпения, которое граничило со слабостью. Но, конечно, он не высказал вслух своих мыслей.

Появился Кутайсов и доложил, что обед подан.

Павел взглянул на него, сделал ему опять быстрый знак, тот отвечал подобным же знаком. Улыбка мелькнула на лице Павла.

— Пойдем, Сергей Борисыч. Не думай все же, что я тебя совсем скучать заставлю, может, найдется у нас и дамское общество: одна из фрейлин моей жены заменит за обедом хозяйку, я тебя познакомлю, прекрасная и премилая девушка. Пойдем.

Сердце так и заходило, так и забилося в груди Сергея.

Она или не она? А вдруг все это пустое... одна только фантазия? Вдруг войдут они в столовую — и там... какое-нибудь незнакомое лицо, ненужное, неинтересное...

Он не помнил, как они дошли до столовой, у него рябило перед глазами.

Вот накрытый, просто сервированный стол, вот женская фигура, высокая, стройная... Она приподнялась навстречу входившим.

Сергей чуть не вскрикнул — перед ним была Таня, а за нею стояла улыбающаяся, сияющая блаженством крошечная фигурка Моськи.

И Таня была приготовлена к этой встрече, и Сергей почти наверное ожидал ее, но все же сюрприз, устроенный цесаревичем, оказался совершенно удачным, и он стоял, потирая от удовольствия руки и улыбаясь, глядел попеременно, то на Сергея, то на Таню. В лице его не было и помине мрачного, презрительного и насмешливого выражения, а глаза так и сияли, так и искрились. Никто в эту минуту не назвал бы его некрасивым.

— Ну, сударь, — проговорил он наконец, насладившись смущением молодых людей, — представлять ли тебя княжне, или вы уже и так хорошо знакомы?

Таня протянула руку Сергею, и он чувствовал, как рука ее дрогнула, он видел, как яркая краска вспыхнула на щеках ее. Он ничего не мог сказать, хотел говорить, но язык не слушался, он только

изумлялся тому, совсем позабытому счастью, которое вдруг охватило его.

Где же все это было, и что такое были эти семь лет?

ХІІ. ОПЯТЬ ИЗ ПРОШЛОГО

Так вот отчего Сергею пришлось так долго дожидаться в приемной: карлик Моська сказал «свое слово» и был тотчас же проведен к цесаревичу. Моська был совершенно уверен, что слово его откроет ему двери, хотя вот уже семь лет тому назад, перед его отъездом в Лондон, Павел приказал ему, когда бы он ни приехал обратно в Россию со своим господином, явиться тотчас же. Карлик не смутился тем, что прошло с тех пор столько времени, не боялся, что цесаревич, поглощенный своими заботами и хлопотами, позабыл о нем — и он был прав: цесаревич ничего не забывал, и время здесь остановилось. Тут все прошло не так, как везде, тут приготавлилась развязка волшебной сказки, о которой столько лет мечтал Моська и которую добрый и странный гатчинский волшебник решился устроить.

Моська молчал о своем посещении Гатчины по крепкому наказу цесаревича, и Сергею не могло прийти в голову, что в течение семи лет между его старым Степанычем и Гатчиною не порывается связь, что карлик знает нечто такое, чего не знает он, Сергей, и что знать так ему всегда хотелось...

Приехав тогда в Петербург с княгиней Пересветовой и Таней, карлик сообразил, что прежде всего ему непременно надо побывать в Гатчине, повидаться с цесаревичем и рассказать ему обстоятельно обо всех приключениях «дитяти», поведать ему свое горькое горе и искать у него защиты и покровительства.

«На кого же теперь и надежду иметь, как не на его высочество? Кто его защитит, кто его пожурит, как не он?»

Моська свято хранил в себе родовые горбатовские традиции и даже не стал задумываться относительно возможности дурного приема со стороны цесаревича. Он являлся в Гатчину; его не пропускали, ему прямо объявили, что великий князь его не примет, но он не унывал. Он пустил в ход всю свою хитрость, все свои кошачьи ужимки, не испугался страшных солдат, и гатчинские стражники мало-помалу перешли на его сторону, на сторону забавного, потешного человечка. Таким образом Моська хоть медленно, но все ближе и ближе

подвигался к своей цели. Вот уж он объясняется с офицерами, и офицеры решаются, наконец, ему способствовать.

— Да как же доложить о тебе?

— Какое такое дело может быть у тебя?

— Коли письмо есть у тебя какое или прошение — передай, оно тотчас же будет доставлено цесаревичу.

— Не могу я этого, — твердо и решительно отвечал карлик, — говорю: сам должен видеть его высочество, и говорю вам, государи мои, что его высочество тотчас же меня и примет, как будет ему обо мне доложено. Так и скажите, карлик, мол, от Сергея Борисыча Горбатова, из чужих краев. Неужто трудно?.. Чай, ведь язык не отвалится!

— Эх, глупая ты птица! — заметили ему. — Иной раз и легкое дело трудным кажется — в какую минуту попадешь, нынче его высочество сердитует с утра, его осердили. Разве вот что, пойдем к большому человеку, к господину Кутайсову.

— Давно бы так-то! Пойдемте, — радостно запищал Моська.

Теперь он чувствовал, что добился своего и что скоро очутится у желанной цели.

Кутайсов, как услышал, в чем дело, тотчас же и сказал ему:

— Доложить о тебе — я доложу и думаю так, что тебя примут, но только ты смотри — не наболтай глупостей, держи ухо востро.

Карлик закивал головою: «Ладно, мол, не учите — сам знаю».

Кутайсов пошел докладывать.

В этот день Павел Петрович действительно был очень не в духе, но умный Кутайсов, зная его характер, рассудил, что, пожалуй, такой неожиданный, странный визит произведет хорошее впечатление.

Так оно и вышло.

Цесаревич сидел за своим письменным столом, окруженный книгами, ландкартами, планами. Он чертил что-то, делал какие-то вычисления, был углублен в мечтания относительно того, «что должно быть и чего нету, но что когда-нибудь, пожалуй, и сбудется, коли будет на то милость Божия». За отсутствием действительной, живой деятельности он ушел в деятельность фантастическую: это была бесплодная мучительная работа, наполнявшая многие часы унылых дней его.

Увидав перед собой Кутайсова, Павел оторвался от работы и сердито, крикливо спросил его:

— Еще что?.. Чего тебе надо?.. Как смеешь ты являться, когда я занят?..

Кутайсов не смутился, он уже давным-давно привык к характеру своего благодетеля и к его вспышкам.

— Ваше высочество, карлик просит позволения явиться...

— Карлик?

— Да.

— Ты с ума сошел. Какой там карлик? Что ты, смеешься, что ли, надо мною?

— Карлик из чужих краев, от господина Горбатова.

Павел встал и прошелся несколько раз по комнате.

— Зови этого карлика, — проговорил он.

Кутайсов увидел, что бури не будет, что наступает затишье.

«Вишь ведь как он любит этого Горбатова, — подумал он. — Ну, да что же, отчего и не любить хорошего человека!»

Он торопливо ввел Моську в кабинет цесаревича, а сам вышел и запер двери.

Карлик стал быстро раскланиваться со всеми приемами старого царедворца, усвоенными им еще при дворе государыни Елизаветы Петровны, но вдруг почувствовал прилив душевного волнения и, забывая свои приемы, просто, по-русски, пал ниц перед великим князем и заплакал.

Комическая фигурка карлика, смешная манера, с которой вошел он, и потом этот внезапно явившийся порыв произвели на Павла самое лучшее впечатление: недавнего его раздражения как не бывало, напротив того, что часто с ним случалось, он теперь вдруг сделался спокоен и ласков.

— Встань, крошка, — сказал он мягким голосом.

Моська вскочил, поднял на него свое заплаканное, растроганное лицо и зашептал дрожащими губами:

— Батюшка ты наш... красное наше солнышко!.. Привелось моим старым глазам тебя видеть!..

Павел улыбнулся и протянул ему руку. Карлик стал целовать ее, моча своими слезами.

Павел все улыбался не то грустно, не то радостно. Он дорожил такими искренними проявлениями чувства к нему: не часто приходилось ему их видеть.

— По какому делу? — наконец, спросил он.

— А вот, государь батюшка, вот ваше императорское высочество, о Сергее Борисыче доложить нужно вашей милости...

— Так говори, что с ним такое случилось?..

Цесаревич сел к столу и приготовился слушать карлика. Тому только этого и было нужно: как маленький, дребезжащий колокольчик полился поток его речи. Он выложил перед цесаревичем всю свою душу, передал ему все свои страхи и ужасы, рассказал о мерзостях содома, Парижем именуемого, о грехе и гибели «дитяти», о княжне Татьяне Владимировне. Он говорил, как старая нянька, явившаяся перед отцом порученного ей ребенка, который наделал много бед и должен был предстать перед судом родительским. Он и обвинял, и оправдывал «дитю», просил пожурить его хорошенько, наказать даже, но затем и помиловать, ибо «дите» неразумное попало в когти дьяволу и больше не своей вольной волею, а наваждением грех взяло на душу и провинилось.

После этой беседы Павел почувствовал, что полюбил этого смешного карлика, будто знал его долгие годы, почувствовал он также, что любит и «дитю». Пуще всего заинтересовался он судьбою княжны Татьяны Пересветовой, образ которой выступил во всей своей чистоте и прелести из довольно беспорядочных, горячих речей карлика.

Он сидел задумавшись, опершись о руку головою, и не замечал, что карлик давно уже молчит и глядит на него вопросительно, с волнением и трепетом ожидая от него решения, приговора.

Наконец, Моська не вытерпел:

— Как же, ваше императорское высочество? — проговорил он, заглядывая в глаза цесаревичу. — Как же теперь быть нам в таких горьких бедах?

Павел очнулся.

— Так вот что, — сказал он, — не полагал я, что за твоим господином такие дела водятся, не ждал я от него этого, думал, он умнее. А коли таков он, так я и знать его не хочу, мне таких не надобно.

Карлик так весь и вострепнулся и замахал ручонками.

— И, что вы, что вы, милостивый государь! Ради Создателя, не гневайтесь! Божескую милость сделайте — простите! Оно точно, неладно все это Сергей Борисыч сделал, да Бог даст, исправится, и вот, как перед Истинным говорю, уж теперь-то он не таков, уж потерпел наказание... Ведь жалко на него глядеть было, как прощался с княжною... Осталась бы она — и все было бы ладно, да с ней тоже ничего не поделаешь, тоже вдруг это гордость взялась у нее... уговаривал я ее — нет, и слушать не хочет!.. А чтобы за его вину да ваше императорское высочество от него отступились, нет, это... это неладно!.. Это и вам грех будет! — вдруг крикнул карлик вне себя. — Нет, того быть не может! Кабы знали вы, государь, как он любит вас, какой он слуга верный вам был и будет до скончания дней своих!.. Да нет, это вы так, вы изволили только попугать меня... не могу тому веры дать, не отступитесь вы от него.

Павел глядел на карлика и опять улыбался.

— Если не веришь, так и Бог с тобой, не верь — оно и точно, отступиться от него я не отступлюсь, только Боже тебя сохрани и избави ему заикнуться о нашем разговоре. Я отпишу ему и пошлю письмо с тобою, а покуда слушай: я хочу видеть княжну, хочу познакомиться с нею.

— Вот это самое лучшее! — обрадованно крикнул карлик. — Когда же прикажете?.. Что прикажете сказать им?

Цесаревич задумался.

— Это я без тебя решу и устрою, только, как они сюда ко мне поедут, и ты будь с ними.

— Слушаю-с, ваше императорское высочество, да наградит вас Бог за доброту вашу. Камень тяжелый сняли вы с меня, теперь не так уж мне тошно будет возвращаться к басурманам — знать буду, что сердечное дело наше вы под свое покровительство взять изволили. Теперь уж дурного ничего быть не может!..

— Надеюсь и желаю, — проговорил Павел. — Добра им желаю и буду рад, ежели устрою их соединение. Прощай, любезный, вскоре еще увижусь с тобой, к тому времени и письмо твоему господину приготовлю.

Опять цесаревич милостиво допустил к руке своей карлика и ласково кивнул ему головою, когда тот выходил от него.

ХІІІ. ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК

Моська торжествовал и тотчас же, окрыленный новой надеждой, поспешил к Тане. Таинственно и под великим секретом сообщил он ей о своем посещении Гатчины, о разговоре с цесаревичем и объявил, какое приглашение ее ожидает.

Таня все это время была так грустна и задумчива, что жаль было глядеть на нее. Она твердо исполнила то, что считала себя обязанной исполнить, она, несмотря на всю жалость, наполнявшую ее, на всю свою любовь, оторвалась от Сергея, уехала от него; но теперь, когда трудное дело ее было сделано, ей незачем было крепиться — ведь уже никто не уговорит ее вернуться туда, к нему. Она тосковала и грустила по своей едва расцветшей и уже погубленной юности, по честной любви, которая должна была теперь так безвозвратно погибнуть.

Она была уверена, что уже ничто и никогда не соединит ее с Сергеем, она думала, что навсегда порваны связывавшие их нити, и в то же время она знала, что радости ее жизни покончены, что никого она не полюбит больше и что никогда не разлюбит она его, хотя он и недостойным оказался любви ее.

Дорогою о многом и многом она передумала, помышляла даже и о монастыре — какая девушка ее лет, при подобных обстоятельствах, о нем не помышляет?.. Но мысль уйти от мира недолго ее останавливала на себе. В ней было чересчур много жизни, и, бессознательно для нее, эта жизнь заявляла свои права. Во всяком случае, не теперь еще решать с собою — теперь она еще нужна матери и не уйдет от нее. А княгиня именно в это время вдруг почувствовала себя снова не совсем здоровой. Поездка, вопреки предсказаниям медиков, вовсе не имела на нее хорошего действия, вовсе не укрепила ее, а напротив — расстроила. При этом она мучилась мыслью о судьбе Тани, она страшно негодовала на Сергея, негодовала отчасти и на Таню, потому что видела, что могло все иначе кончиться, что стоило только Тане немного сдержать себя, позабыть свою гордость, свое оскорбленное чувство, простить ему — и он был бы самым лучшим мужем и старался бы загладить все прежние свои проступки. Влиять на Таню она, конечно, не могла и, сознавая это, не решалась даже уговаривать

ее, просить. Она считала своею обязанностью подчиняться во всем решениям дочери, и вот теперь, утомленная и недовольная, она только спрашивала ее:

— Что же мы будем делать? Куда мы отправимся? Здесь жить, что ли, останемся, в Петербурге? Или в Москву? Или в деревню — как ты решила это, Таня?

— Никак не решила, матушка. Отдохни, родная, с врачами еще нужно о тебе посоветоваться — что они скажут? Ты все нездорова.

— Ах, да не думай ты о моем нездоровье, — перебила ее княгиня. — Вот как увижу тебя счастливой — и сама буду здорова, мое здоровье в твоём счастье.

Тане становилось еще тоскливее.

Но каково бы ни было ее душевное состояние, она не могла равнодушно отнестись к известию, принесенному Моськой. Навсегда расставшись с Сергеем, она все же еще не вышла из-под его влияния относительно некоторых предметов. Она знала про чувство, которое он питал к цесаревичу, и уже по одному этому сама любила его, хотя никогда не видала. Она обрадовалась тому, что он пожелал увидеть их, что он позовет их в Гатчину...

Дня через два княгине доложили, что ее спрашивает неизвестная дама.

— Кто бы это мог быть? Сейчас выйду.

Ее дождалась маленькая, тоненькая фигурка с какими-то особенными грациозными, воздушными движениями, с нежным, будто созданным из фарфора, лицом, с глубокими лучистыми глазами. Эта нежданная посетительница далеко не могла назваться красавицей, но вся она сияла такой необычайной духовной красотой, что княгиня с волнением и изумлением на нее взглянула.

Оказалось, что это была Екатерина Ивановна Нелидова, фрейлина великой княгини Марии Федоровны.

Княгиня не успела и сообразить — как, что и почему, и уже узнала, что завтра утром их ждут в Гатчине. Нелидова, кажется, и не объяснила причины, по которой цесаревич с супругою пожелали их представления, она так ловко и мило обошла эту причину, она только совершенно обворожила княгиню. А когда вошла Таня, то, взглянув друг на друга, они сразу и полюбили друг друга, как будто были старыми, давнишними друзьями — так бывает иногда при встрече

двух очень хороших женщин, в особенности, если одна из них обладает такой «гениальностью сердца», какою обладала Нелидова.

На следующий день, в назначенное время, они были в Гатчинском дворце. Там их встретил самый ласковый прием, какого даже они никогда не могли ожидать. И мать, и дочь были очарованы простотой и добротой красавицы великой княгини. Мария Федоровна с умением опытной хозяйки успела занять княгню, которая, в сущности, конечно, была для нее довольно скучной гостьей.

Павел Петрович сосредоточил свое внимание на княжне и с первой же минуты пленился ею.

Несмотря на свою непривычку к обществу, Таня держала себя с таким чувством собственного достоинства, с таким спокойствием и умением, что нужно было только удивляться, глядя на нее — откуда все это взялось в семнадцать лет, после деревенской замкнутой жизни?.. Или это душевное горе всему научило? Иногда так бывает.

После обеда Павел шепнул великой княгине:

— Мой друг, был ли я прав, или нет? Стоит ли позаботиться о судьбе ее?

— Конечно, да, — отвечала великая княгиня, — это прелестная девушка, и было бы очень горько, если бы она сделалась несчастной.

— Alors vous me donnez carte blanche? ^[1]

— Certainement, mon ami ^[2].

Тогда цесаревич устроил таким образом, что остался вдвоем с Таней.

В первую минуту он даже испугал ее — так резко приступил к объяснению с нею.

— Княжна, — сказал он, — я полюбил одного человека, но он оказался недостойным моего внимания, я намерен доказать ему это... Вы понимаете, что я говорю к Сергею Горбатову...

Таня вся вспыхнула.

— Ваше высочество, чем же это?.. Чем он так провинился перед вами? Я хорошо его знаю и... поверьте мне... я ручаюсь вам, что он не мог заслужить такой немилости... он так сердечно вам предан...

— А, и вы тоже! — напуская на себя сердитый вид, воскликнул Павел. — Вот этот глупый карлик тоже толкует о его ко мне привязанности! Хороша привязанность! Чем он ее может доказать мне?.. Единственно тем, что должен быть честным, благородным

человеком, — а как он поступил с вами?.. Я знать его не хочу после этого.

Таня опустила глаза.

«Зачем проговорился Степаныч? Вот ее тайна, тяжелая тайна, прикосновение к которой каждый раз так больно отзывается в ее сердце, теперь в руках цесаревича — еще, пожалуй, она будет причиной неприятности для Сергея — зачем это? Как это ужасно! И что теперь делать?»

— Ваше высочество, — проговорила она, стараясь совладать со своим волнением, — вы все знаете... Я не умею благодарить вас за участие, которое вы во мне приняли, но дозвоьте мне сказать вам, что в моем деле вы не можете быть судьей. Я одна только имею право судить Сергея Борисыча — и я его давно оправдала.

— Vous êtes un ange de bonté, mais tant pis pour lui [3]! — с чувством сказал Павел. — Вы победили меня и даете мне хороший урок. Да, вы правы — это ваше дело, и вы в нем судья, но я буду просить вас все же не считать меня совершенно посторонним человеком в вашем деле. Видите ли, я имею глупую слабость к нему, к этому недостойному вас Сергею... а познакомиться с вами — и не полюбить вас, я тоже не мог; ну, и понятно, что мне больно подумать о том, как этот глупый человек нанес вам обиду и сам убежал от своего счастья. Я не могу успокоиться на этом, я должен вернуть вас друг другу, да, я ставлю это себе задачей. Я до тех пор не успокоюсь... слышите — не успокоюсь, пока вас не повенчаю.

— Ах, как вы добры, ваше высочество, — с намернувшимися слезами прошептала Таня, — но то, что вы говорите, невозможно, никогда этого не будет...

— Будет, не сердите меня, будет непременно, я вам за это ручаюсь, хотя, конечно, не сейчас, не скоро... Нет, его проучить надо. Нужно, чтобы он прошел хорошую школу, чтобы он хорошенько, как следует, наконец, понял всю гнусность вины своей перед вами, чтобы он переродился и перерожденным, истинно раскаявшимся грешником явился перед вами, да и тогда еще вы его испытаете, и тогда еще не сразу покажете ему возможность счастья, пусть он его заслужит хорошенько. Когда он вернется сюда — я не знаю, может быть, пройдет год, другой, третий, все возможно, но знаете, какое-то предчувствие говорит мне, что он вернется именно таким, каким я

желаю его видеть. Он не может забыть вас, он не может найти кого-нибудь другого на ваше место — таких, как вы, не забывают. Пусть он помучается хорошенько, а все же к вам вернется. Пока же у меня до вас большая просьба: мы с женой сразу, с первой минуты полюбили вас как родную, как будто бы вы были нашей дочерью; видите, я говорю прямо и просто — я не умею иначе, когда мне сердце подсказывает слова — оставайтесь у нас, не покидайте нас и ждите здесь с нами вместе возвращения вашего Сергея. На этих днях вы будете, вероятно, назначены фрейлиной великой княгини. Согласны?

Таня поднялась растерянная, растроганная, она уже не могла сдерживать благодарных слез и невольным движением протянула руки к великому князю.

— Как вы добры, — шептала она сквозь слезы. — Сергей много говорил мне о доброте вашей, но то, что я вижу и слышу...

Она не могла договорить. Павел крепко сжал ее руки.

— Успокойтесь, дитя мое! — сказал он ласково нежным голосом.

Когда Таня несколько успокоилась, первая мысль, пришедшая ей в голову, была о том, что все же ей невозможно воспользоваться добротой и милостями цесаревича и его супруги — а как же мать? Она не имеет никакого права ее покинуть, да если бы и имела, она по чувству своему никогда не решится на это.

Она прямо и выразила все это цесаревичу.

— А вы полагаете, что об этом не подумали и не поняли, — ответил он. — Конечно, и княгиня должна тоже здесь остаться и не разлучаться с вами, и вот, может быть, теперь, в эту минуту жена и говорит ей об этом.

Возражений никаких не оставалось: дальнейшая судьба Пересветовых была решена — они оказались жителями Гатчины.

Карлик был отправлен со всякими инструкциями, с письмом от цесаревича к Сергею и со строжайшим наказом, чуть что не под страхом смерти, молчать обо всем, чему он был свидетелем. Он должен был извещать княжну время от времени о себе и о своем господине, ему обещано было, что и его не оставят без вестей, но Сергей должен был оставаться в полном неведении относительно того, что Таня находится в Гатчине.

Добрый волшебник взялся все устроить ко всеобщему благополучию и употребил все способы для того, чтобы все

совершилось именно так, как он задумал. Когда должна была наступить развязка — через год, через два, через три — это был самый дальний срок, какой только мог представляться действующим лицам, а между тем время шло, не принося ничего нового; прошло целых семь лет. Вот уже три года, как умерла княгиня Пересветова, вот уже три года, как Таня совсем одинока, но не чувствует себя сиротою в семье цесаревича — к ней все так привыкли, ее все так любят, время от времени Павел Петрович напоминает ей об обещанной развязке. Великая княгиня, напротив, давно уже предлагает ей разных женихов, давно уже заботится о том, чтобы устроить судьбу ее — княжна Таня богатая, знатная невеста, — но усилия великой княгини не приводят ни к чему: в Гатчине мало женихов, но главное дело и не в женихах — Таня никого знать не хочет, она верна далекому человеку, не имеющему о ней, благодаря распоряжению цесаревича, никаких известий, но о котором сама она через старого друга Моську знает все, что ей знать нужно. Таня ждет, и каждый раз, когда добрый волшебник напоминает ей, что цель непременно будет достигнута, что счастливая развязка наступит, она снова ободряется и снова верит доброму волшебнику.

И ни она, ни этот добрый волшебник не замечают, что время идет, хотя медленно, однообразно, но идет своей чередой, унося год за годом, унося жизнь и молодость. Не замечают они этого — ведь время остановилось в Гатчине...

XIV. СБУДЕТСЯ ЛИ?

Добрый волшебник был прав. Вернувшись в воскресенье из Петербурга, он тотчас же отправился в помещение, которое занимала княжна Таня.

Она сидела за чтением — своим любимым и главнейшим занятием среди тишины и однообразия гатчинского существования.

Павел Петрович почти никогда не заглядывал в ее комнату, и потому она очень изумилась его появлению. Но взглянув на него, она сейчас же догадалась, что случилось что-нибудь важное и хорошее. Она давно уже научилась читать в лице цесаревича, знала все его приемы, все мины. Встречаясь с ним, она тотчас же видела, в каком он настроении, хорошо ли у него на душе, или дурно. Если он рассержен, если что-нибудь томит его, мучает — тогда не видно его глаз, они будто чем-то подернуты, тогда он дурен. Если хорошо, если какое-нибудь доброе чувство, какая-нибудь надежда трепещут в его сердце — глаза сияют, искрятся и освещают собою все это некрасивое странное лицо; он неузнаваем, будто другой человек, смотришь на него и не понимаешь — как это можно считать его некрасивым.

Вот и теперь взглянула Таня, он хорош — значит, пришел с хорошей вестью.

— А вы за книжкой, дитя мое, — проговорил цесаревич, подсаживаясь к ней и пожимая ее руку. — Мне кажется, вы слишком много читаете, слишком много пишете, глаза себе только испортите. И что вы такое пишете?

— Извлечение из каждой книги, которую я прочла и которая меня заинтересовала, ваше высочество.

— Ну, и потом?

— Мои рассуждения по поводу этой книги.

— Вот как! Вы у нас ученой девицей стали, философом, пожалуй, а я не знал об этом. А эти тетрадки ваши, эти рассуждения, вы мне дадите их на просмотр, на цензуру?

— С большим удовольствием, ваше высочество, если это может интересовать вас.

— Очень даже интересуется, только не теперь, не сейчас — теперь я другим занят. Я пришел к вам с доброй вестью.

— Это я тотчас же увидела. Я жду вашей вести, но сама не посмела вас спрашивать.

— И мысленно бранили меня за то, что я медлю?

— Еще бы не бранить, я просто обвиняю вас в жестокости — ведь уж не первый раз я замечаю, что вы любите томить человека.

— Полно, полно, я не хочу с вами ссориться и браниться; вот вам добрая весть: сегодня я видел одного знакомого вам человека.

— Какого человека?

— Сами догадайтесь.

Таня вспыхнула.

— Неужели он наконец вернулся? Неужели он здесь? — прошептала она.

— Да, он вернулся. Ведь нужно же было когда-нибудь ему вернуться; ведь и так мы с вами чересчур долго ждали, друг мой.

Таня опустила голову и глубоко задумалась.

— Что же вы как будто печальны? Неужели я не обрадовал вас моей вестью?.. Да, понимаю — того, что я сказал вам, мало... Но успокойтесь же — весть моя добрая не потому только, что он вернулся, а потому, что вернулся именно таким, каким мы с вами его ждали. Я успел кое о чем расспросить его и доволен им. Он намерен вас разыскивать и никакого понятия не имеет о том, что вы здесь: карлик не проговорился.

— Я в этом не могла и сомневаться.

— На этих же днях он здесь будет, сами увидите, каков он. Я и хотел предупредить вас и при этом дать вам совет, как его встретить.

— Как его встретить, ваше высочество... Как же иначе могу я его встретить, если не как старого друга?

— Да, конечно, но, поверьте мне, о дружбе не будет и речи, он потребует от вас другого, и вот тут-то вы должны быть осторожны, слышите ли, сразу сдать и не думайте — я вам это запрещаю! Вы должны будете не на словах только, а на деле убедиться в его раскаянии; пусть он хорошенько заслужит свое прощение, иначе он вас не получит, мы вас не отдадим ему.

Таня слабо улыбнулась.

— А ведь вы меня еще, видно, мало знаете, ваше высочество. Мне не нужно вашего запрета и вашего предупреждения. Тогда я была совсем ребенком, а все же ведь справилась с собою. Теперь же... неужели вы полагаете, что я сделаю решительный шаг, решительный, бесповоротный, не получив твердой уверенности, что новой ошибки не будет? И нечего нам больше говорить об этом. Только скажите мне, ваше высочество, как вы его нашли? Здоров ли он... изменился... каков стал он теперь?

— Да, он изменился, уже далеко не мальчик... Впрочем, вам, сударыня, верно, не того надобно, — с улыбкой прибавил Павел, — верно, желаете знать, не подурнел ли ваш Сергей Борисыч? Успокойтесь, и в этом не хуже стал, чем был, на мой взгляд, даже лучше.

— Я о красоте его вовсе не думала, — серьезно ответила Таня, — но вот вы заговорили о красоте и наводите меня на новую мысль. Я-то с тех пор изменилась, мне ведь уже двадцать пять лет — для девушки это года большие. Вы должны знать, ваше высочество, что я не много думаю о своей наружности — даже великая княгиня не раз меня бранила за это, — но я все же хорошо знакома с зеркалом, и зеркало говорит мне, что я очень изменилась и уже, конечно, не в свою пользу.

Павел Петрович откинулся в кресле и смерил Таню быстрым, внимательным взглядом.

— Да, вы изменились, — проговорил он после минутного молчания, — но только не смейте клеветать на себя — вы стали несравненно лучше, чем когда я узнал вас. Если бы я был моложе и считал это для себя дозволительным, я насказал бы вам много комплиментов, но моих комплиментов вам не надо, и я не люблю их. Я гляжу на вас, как старый друг, почти как отец...

Таня доверчиво, благодарно протянула руки к цесаревичу и посмотрела на него, в свою очередь, с искренним, дочерним чувством.

— Вот поэтому-то, что вы меня немножко любите, — с милой улыбкой произнесла она, — я вам, может быть, и кажусь лучше, чем в действительности, и вы не хотите видеть тех перемен, которые оставило на мне время; к тому же вы привыкли к ним. Вам трудно и замечать их — я всегда на глазах у вас, но человек, не видевший меня семь лет, не то скажет. Он сразу увидит все эти перемены, неизбежные, фатальные перемены.

— Лжете, лжете! — почти уже начиная сердиться, перебил ее Павел Петрович. — Да, очень может быть, если бы эти семь лет вы иначе прожили... в другом месте, если бы вы жили в Петербурге, тамошней вредной жизнью, в тамошнем вредном воздухе, если бы превращали день в ночь, а ночь в день, утомлялись на разных глупых празднествах, очень может быть, даже наверное, вы бы изменились и постарели, а здесь не то... Гатчинский воздух не чета петербургскому — здесь деревня, никакой болотной сырости... Здесь вы ведете правильную жизнь, рано встаете, рано ложитесь, во всем меру знаете, никаких излишеств. Я смею думать, что мы сберегли вас, и Сергей должен нам сказать большое спасибо. Да и, наконец, о каких пустяках мы с вами толкуем... Пусть бы вы даже изменились наружно, пусть бы вы подурнели — хорош он будет, если обратит на это внимание! Если он любит не вас, а только вашу свежесть и молодость — нам его не надо, не так ли?

— Так, ваше высочество, так, — ответила Таня, но все оставалась задумчивой.

Несмотря на всю свою серьезность и благоразумие, на полное отсутствие кокетства и желания нравиться, она все же была женщиной, и больно было ей думать о том, что, может быть, человек, которого она столько любила, которого забыть не была в силах, который оставался ее первой и, конечно, уже последней любовью, при встрече найдет ее подурневшей, постаревшей.

И не замечала она в своей задумчивости, что цесаревич продолжает глядеть на нее и любоваться ею, не понимала, что для него ясно решение этого вопроса и что про себя он шепчет:

«Останется благодарен, что берегли ее... Нужно глаз не иметь, чтобы не плениться такой красавицей... Конечно, она стала еще лучше, чем была прежде!»

Он был прав. Тане рано было стариться, и здоровая, крепкая натура при скучной и однообразной, но правильной жизни, сделала ее именно теперь, в двадцать пять лет, самой прелестной, самой роскошной женщиной, какую только можно себе представить. С детства живое и выразительное лицо ее теперь совсем осмыслилось; с него бежали излишние юношеские краски, на нем лежала прелесть чистой, разумно пережитой юности. Таня поражала всякого своей красотой, и об этой красоте говорили все, кто хоть раз ее видел. Но

она не знала этого, она никогда не подмечала изумленных и восторженных взглядов...

И вот, когда после радостного свидания с Моськой, ободренная цесаревичем, она вышла в столовую, где должна была встретиться с Сергеем, она трепетно ждала этой первой минуты.

Она позабыла свои страхи, не думала о своей наружности. И Сергей в первую минуту не заметил лица ее, он ощущал только ее присутствие, ее близость, он почувствовал только пожатие руки ее, заметил невольную дрожь, пробежавшую по ее руке. Этого с него было довольно, он был счастлив, он не смел даже поднять глаз на нее. Но первые минуты прошли, он решился, он взглянул и был ослеплен ее красотой.

— Боже, как вы изменились, княжна! — невольно выговорил он, растерянно и счастливо ее разглядывая.

Она испугалась, она все силы употребила, чтобы скрыть свое волнение, сердце ее больно застучало.

«Ну, вот, я изменилась, я так изменилась, что он сейчас же и сказал мне это!»

— Подурнела, конечно? — с насмешливой улыбкой спросил цесаревич.

— Как подурнела?

Сергей даже ничего не понял, совсем растерялся.

— Я помню вас другою... я так привык с детства к вашему лицу, и я никогда не знал, что вы такая красавица... Простите мне — я сам не знаю, что говорю...

Цесаревич смеялся.

— На сегодня должны тебе проститься все твои глупости. Ну, а теперь скажи мне, сударь, как же ты с отставкой, — будешь хлопотать, что ли? Намерен уезжать в деревню?

Сергей оглянулся. Добрый волшебник обо всем подумал: за столом, кроме них, никого не было. Только карлик Моська приткнулся к спинке Таниного кресла и радостно на всех поглядывал.

— Да, ваше высочество, — сказал Сергей. — Я буду хлопотать об отставке, но не с тем, чтобы ехать в деревню... Я решаюсь опять, после восьми лет, обратиться к вам с просьбой: возьмите меня, ради Бога, к себе, дозвоьте мне служить вам здесь, в Гатчине, найдите мне

какое-нибудь занятие — все равно какое — может, в чем и пригожусь вам.

— Об этом подумаем, — серьезно отвечал цесаревич. — Теперь, пожалуй, как-нибудь это еще возможно устроить — терять там тебе нечего, только послушай, сударь, я ненадежных людей не принимаю, а ты уж записан в ненадежные. Знаешь ли, вчера я про тебя слышал... тебя называют вольтерьянцем.

— Вольтерьянцем? — изумленно переспросил Сергей. — Кто меня так называет?

— Да как сказать тебе?.. Не пройдет и недели — все так величать станут. Слово это произнесено князем Zubовым, а он считается великим знатоком людей и поставляет своею задачею изгонять дух вольтерьянства.

— Я должен был ожидать этого, — заметил Сергей, — но в таком случае мне легче будет получить отставку. А вы, ваше высочество... вы не сочтете меня вольтерьянцем за то, что я в юности зачитывался этим философом и своими глазами видел все ужасное зло, происшедшее от того, что мечты писателей насильно вздумали проводить в жизнь, не справившись о том, подготовлена ли почва, могут ли созреть и принести добрые плоды эти мечтания?

— Но все же Вольтер, по-твоему, великий писатель?.. — перебил Павел.

— Конечно, ваше высочество, и его творения, смотря по тому, кто и как ими пользуется, могут принести и огромную пользу, и вред огромный. Не знаю, удачно ли будет мое сравнение, но я скажу, вспомнив недавний мой разговор с одним знаменитым английским медиком, который делает наблюдения над ядовитыми веществами: мышьяк — страшный и могучий яд, но все зависит от того, в чьих он руках и как им пользуются. Мышьяк может сразу убить человека, заставить его умереть в страшных мучениях и в то же время, судя по наблюдениям и опытам медика, о котором я говорю, этот же мышьяк, принятый в известных дозах и надлежащим образом, излечивает многие болезни.

Цесаревич задумался.

— Да, пожалуй, ты прав, и если ты действительно умеешь обращаться с господином Вольтером, то это еще грех небольшой. Но все же тебе от этого не легче; раз убедят, кого следует, что ты

вольтерьянец, — ты пропал. Отставят тебя от службы — это, конечно, и без всяких просьб твоих и хлопот отставят, но при этом тебя не пустят ни в Гатчину, ни даже в деревню, пожалуй, а попросят поселиться в каком-нибудь ином месте, для тебя совсем неудобном.

Таня невольно побледнела. Некоторое беспокойство выразилось и на лице Сергея.

— Зачем вы меня пугаете, ваше высочество? — сказал он. — Я надеюсь на защиту друзей моих, которые не дадут меня в обиду. Я твердо рассчитываю на справедливость государыни, я докажу ей, что я вовсе не вольтерьянец в том смысле, какой может считаться предосудительным.

— Только будь осторожен, — заметил цесаревич, — и о твоих делах нужно хорошенько теперь подумать. Я соображу кое-что, и потолкуем.

Скоро в разговорах, расспросах и Сергей, и Таня, да и сам цесаревич забыли об опасных предзнаменованиях, вызванных пущенным мстительным Зубовым словом «вольтерьянец».

Только Моська, продолжавший неподвижно стоять за креслом Тани, не забыл об этом. С его лица сошло вдруг блаженное выражение, он снова сморщился, нахмурился и что-то шептал про себя.

Наконец, улучив удобную минуту, он подкрался к Сергею и пропищал ему на ухо:

— Вот, батюшка, еще в Горбатовском толковал я, никакого прока от вашего Вольтера не будет, так ты меня с французом взашей гнал! Ан, и правду говорил я тогда, напакостит тебе, господин Вольтер — что мы тогда сделаем?

— О чем это он шепчется? — спросил цесаревич, заметив карлика.

— О том же, ваше высочество, о Вольтере... тоже пугает.

— Так и ты, любезный, знаком с этим господином? — с улыбкой обратился Павел к Моське.

— А то как же, ваше императорское высочество, — запищал карлик, — я книжки-то его, сочинения эти, сам от доски до доски раз десять перечитывал, только многого понять не мог, потому глупости, сущие пустяки там написаны... Пустой это человек, господин Вольтер, доложу я вашему императорскому высочеству, уж поверьте, совсем пустяшный — француз, одно слово!..

Цесаревич подозвал к себе Моську и с видимым удовольствием начал его расспрашивать.

Сергей и Таня были предоставлены самим себе, но разговор их все как-то не вязался — они не могли еще сладить со своим волнением и радостью.

XV. ИНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Возвращение Сергея Горбатова из-за границы на родину совпало с самым шумным и веселым для Петербурга временем.

Уже несколько лет петербургские жители не видали таких празднеств, такого веселья. Первою причиною этих празднеств было взятие Дербента, затем рождение великого князя Николая Павловича и, наконец, близившееся осуществление горячего желания императрицы, а именно, сватовство молодого шведского короля за старшую дочь цесаревича, Александру Павловну.

Императрица давно уже мечтала об этом, но так как встречались некоторые затруднения, то дело все как-то затягивалось.

Князь Zubov, однако, поставил себе целью непременно довести его до благополучного окончания и этим обрадовать государыню. Деятельным ему помощником явился граф Морков — дипломат новой школы, соперник Безбородко, успевший снискать расположение Zubova и усиленно выдвигаемый им на первый план. 3 августа в городе узнали о приезде давно ожидаемых дорогих гостей. Восемнадцатилетний шведский король Густав Адольф IV в сопровождении своего дяди регента, Карла Зюдерманландского, и некоторых приближенных к нему лиц, поселился в доме своего посланника Штединга. Король принял, так как считали необходимым поддерживать инкогнито, имя графа Гага; регент назывался графом Вазой. Императрица именно в ожидании этого посещения очень рано переселилась из Царского Села в Таврический дворец, а теперь даже в Эрмитаж, дабы иметь возможность встретить юного короля с достоподобным почетом и давать в честь его самые блестящие празднества.

Что же это были за люди, и почему императрица так дорожила дружескими отношениями с ними, так желала с ними породниться?

Екатерина, несмотря на многие перемены, происшедшие с нею, на наступавшую старость, усталость и признаки неизбежного при этом ослабления нравственных и умственных сил, все еще оставалась тонким политиком, все еще крепко и твердо стояла на страже интересов России. При тогдашних политических обстоятельствах

Европы прочный и постоянный союз со Швецией представлялся ей необходимым.

Победительница Густава III, осыпавшая его насмешками и стрелами своего остроумия, она вдруг изменила свои отношения к побежденному врагу. Причиной такого внезапного перехода была все та же французская революция. Пускай Швеция во вражде с Россией, но она еще в большей вражде с Францией, и потому нужно всеми мерами постараться помириться со Швецией, привлечь ее на свою сторону, тесно сплотиться с нею для борьбы с общим врагом. Через год после заключения позорного для Швеции мира, результата успехов русского оружия, Екатерина подписала новый трактат, который обеспечивал Густаву III большую денежную помощь петербургского кабинета, под условием, чтобы эта помощь была употреблена для решительных действий против французской революции.

Густав действительно намеревался раздавить «революционную гидру», решился принять самые энергичные меры, но не сообразовался со своими силами, он не замечал, что эта гидра разрастается с каждым часом, что ее разветвления проникают уже в Швецию и его самого опутывают.

Густав неожиданно умер, смертельно раненный во время маскарада.

По его завещанию шведский престол достался его малолетнему сыну, Густаву Адольфу; регентом он назначил брата своего, герцога Карла. Если Густав III не отличался дарованиями, то брат его Карл в этом отношении был еще безнадежнее его; однако, несмотря на бездарность, регент обладал большой хитростью. Он сознавал, что с петербургским двором надо ладить и поэтому послал к императрице генерала Клингскорра с вестью о кончине короля и с полномочием наметнуть императрице о желании покойного породниться с русским царствующим домом посредством брака Густава Адольфа со старшей внучкой императрицы.

Императрица несказанно обрадовалась. Сама она из понятного самолюбия никогда бы не заикнулась об этом деле, теперь же, раз возник разговор не по ее инициативе, она ухватилась за этот план обеими руками. Она оживилась, окружавшие давно не видели ее такой веселой, такой счастливой.

Родственный союз со Швецией! Да ведь это уничтожение влияния Турции в Стокгольме, владычество русского флота на Балтийском море. Это крепкий союз против Франции! Положим, жениху четырнадцать лет, а невесте девять, но время так быстро идет и, наконец, надо только окончательно и бесповоротно решить вопрос так, чтобы уже не могло быть ни с той, ни с другой стороны отступления — и тогда все равно: совершится уже брак или нет еще.

Несмотря, однако, на все желание императрицы, интересовавший ее вопрос подвигался весьма медленно и в течение четырех лет не был еще решен окончательно. Виною тому оказался регент: сам заговорив о браке племянника и хорошо сознавая его выгоды, он тем не менее начал хитрить и лукавить, играть в двойную игру. Тотчас после смерти брата он вызвал изгнанного барона Рейтергольма, фантазера, мистика, ярого приверженца Франции. Рейтергольм всячески вооружал его против союза с Россиею и, напротив, склонял его к союзу с Турцией и даже с конвентом. Регент писал Екатерине любезные, изысканные письма, уверял ее в своей преданности и в то же время не делал ни одного шага к действительному сближению с Россией.

Императрица, при своей проницательности, конечно, тотчас же заметила его игру. Она поручила русскому посланнику в Стокгольме, графу Стакельбергу, осторожно выразить регенту ее неудовольствие. Он принужден был задуматься; он увидел, что любезными письмами трудно провести императрицу, он понял, что его игра грозит отказом в субсидиях, получаемых из России, бывших крайне необходимыми для истощенной шведской казны. Он опять начал толковать и хлопотать о браке племянника и в то же время оттягивал и выигрывал время, склоняя Порту к разрыву с Россией. Он послал в Петербург для переговоров о сватовстве барона Виталья, еврея, который не был даже членом дипломатического корпуса.

Императрица сама не приняла этого еврея и поручила объясниться с ним князю Зубову. Регент опять делал свои предложения, так сказать, частным, келейным образом. Императрица ответила на них официально, выразив свое удовольствие.

Регент должен был понять, что шутить с ней невозможно, что она отлично проникла во все его замыслы. И в то же время Стакельберг сделал, по приказанию государыни, представление шведскому кабинету о двусмысленных действиях Швеции относительно России.

Стакельберг выразился довольно резко. Регент обиделся и просил у императрицы отозвания посла.

Екатерина тотчас же это исполнила, но вместе с тем прекратила выдачу субсидий Швеции. Она мотивировала это, указывая на действия Швеции в Константинополе и на дружеские ее отношения к Франции. Многие ждали окончательного разрыва и войны, но войны не последовало. Екатерина была слишком благоразумна, а регент слишком труслив. Несколько времени между Швецией и Россией не существовало никаких отношений. Пост русского посланника в Стокгольме оставался вакантным, но вот по случаю женитьбы великого князя Александра Павловича явился в Петербург с поздравлением от регента граф Штенбок и снова возобновил прерванные переговоры о браке шведского короля.

Теперь Зубов взялся окончательно за это дело. Он требовал от имени императрицы, чтобы регент и король приехали в Петербург. Штенбок отвечал, что это невозможно, что это противно шведским законам. Зубов объявил, что великая княжна не может переменить религию. Прямого ответа на это заявление не последовало, однако Штенбок уверил Зубова, что вряд ли тут встретятся какие-либо препятствия. Пока на этом и остановились переговоры; очевидно, не было еще ничего решенного, но в Петербурге уже все толковали о помолвке великой княжны.

Екатерина назначила посланником в Швецию графа Сергея Румянцева.

Дружественные сношения восстановились, но судьба как будто противилась планам Екатерины. Дело, которое с первого взгляда казалось очень легким, о котором равно должны были заботиться обе стороны, и в особенности Швеция, получавшая немалые выгоды, решительно не ладилось: на каждом шагу вставали нежданные препятствия.

Барон Армфельдт, бывший в очень близких, дружеских отношениях с покойным Густавом III, явился во главе большого заговора, имевшего целью ниспровержение регента. Армфельдт был давно известен императрице, вел даже с ней переписку, отличался искренней преданностью к России. Заговор его был открыт, он бежал и перебрался в Россию. Императрица приняла его, оказала ему много

знаков внимания, назначила ему большую пенсию и разрешила поселиться в Калуге.

Регент вознегодовал. Армфельдт, государственный преступник, имение его конфисковано, имя его прибито к позорному столбу — и вдруг императрица его так принимает!

Регент написал Екатерине письмо, в котором обвинял ее в нарушении международных прав. Снова окончательный разрыв казался неизбежным; но ближайший, неизменный советник регента, Рейтергольм, объяснил ему все невыгоды подобного разрыва, и вопрос о браке шведского короля с русской великой княжной вступил в новый фазис. Вести это дело было поручено шведскому посланнику в Петербурге, Штедингу.

Швеция ставила три пункта: первый — о приданом невесты; второй — о переходе ее в лютеранство; третий — о выдаче Армфельдта.

На первый и второй пункты Екатерина пока ничего не отвечала, на третий — ответила категорическим отказом; но не успела она еще хорошенько обдумать этих важных вопросов, как вдруг получила известие о том, что в Стокгольме объявлено официально о помолвке короля с принцессою Мекленбург-Шверинскою. 1 ноября 1795 года состоялось обручение, и во всех стокгольмских церквях служились молебны о здравии будущей королевы. Но вслед за этим неожиданным и странным известием пришло другое. Оказалось, что регент действовал, не спросившись юного короля, и вот король объявил ему, что вовсе не желает жениться на принцессе Мекленбург-Шверинской, что не чувствует к ней никакого влечения, что она кажется ему непривлекательной в высшей степени.

Екатерина успокоилась. Из Петербурга в Стокгольм был послан Будберг, который так успешно повел дело, что наконец Петербург увидел давножданного гостя и хитрого регента.

Поладив со шведскими законами, они явились лично просить руки великой княжны. Императрица наконец торжествовала: ведь она с самого начала добивалась именно личного свидания.

Невесте всего тринадцать лет, но она уже достаточно развита физически и имеет вид совершенно взрослой девушки. Она хороша как ангел, добра, приветлива, умна — это самая любимая внучка императрицы. Стоит только юноше-королю взглянуть на нее, и он

неизбежно должен будет страстно полюбить ее, — чего не могли до сих пор устроить дипломаты и государственные люди, то легко устроит «наша малютка», как всегда называла любимую свою внучку императрица.

XVI. СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ

Граф Гага, граф Ваза и их приближенные, как уже было сказано, остановились в доме шведского посланника Штединга.

Юноша-король, конечно, имел самые превратные понятия о России, но в то же время он очень хорошо знал о могуществе императрицы, о необычайном богатстве и роскоши ее двора и очень желал породниться с этим богатым, могущественным домом. Имел он миниатюрный портрет великой княжны, своей будущей невесты, на котором она была изображена самым прелестным ребенком, но он не особенно заглядывался на этот портрет, полагая, что в нем заключается больше рвения художника, чем сходства с оригиналом.

Вообще он мало еще пока думал о невесте и о своих будущих обязанностях, хотя дорогою дядя-регент и толковал ему о том, как он должен вести себя, как должен стараться всем понравиться, не выказывать дурных сторон своего характера. Король пропускал мимо ушей эти наставления, которые ему давно уже сильно надоели, и успокаивал себя тем, что скоро уже, очень скоро, он будет избавлен от всех этих наставлений и скучной опеки, ибо наступает наконец его совершеннолетие.

Густав Адольф в это время уже превратился из ребенка в юношу, он был высок и строен, очень красив собою. Сразу он должен был произвести приятное впечатление; но наблюдатель скоро замечал, что внешние физические достоинства юного короля вовсе не отвечают внутренним.

Густав Адольф был одним из тех несчастных юношей, которым судьба дала высокое назначение и не позаботилась их к нему приготовить. Но начать с того, что, в сущности, он даже не имел права занимать шведский престол: ни для кого не было тайной, что преемник Густава III не был его сыном; отцом его считали графа Монка. При шведском дворе того времени, равно как и в высшем шведском обществе, господствовали легкомысленные нравы, проникнувшие туда вместе с модами из Версаля. Король Густав III, большой поклонник веселья и женщин, был плохим мужем. Пример его заразил и королеву; она стала подражать ему тем с большей легкостью, что, как человек

своего времени, он не считал себя вправе следить за ее поведением. Он пользовался сам полной свободой и предоставлял такую же свободу и королеве. Когда у нее родился сын, он даже очень обрадовался этому, не задумываясь, признал его своим сыном, нежно к нему относился, восхищался его красотой, его удивительными способностями, которые ему чудились с первых дней жизни ребенка, и всех окружающих заставлял им восхищаться...

Мальчик подрастал в этой атмосфере всеобщего поклонения, притворных похвал и лести. Он искренне считал себя существом особенным, почти сверхъестественным по красоте, уму и всевозможным дарованиям, он привык с первых лет своей жизни чувствовать себя на недостижимом пьедестале и с того пьедестала относиться ко всем людям, как к ничтожному стаду, которое должно себя чувствовать счастливым от одного позволения лицезреть его совершенства. Придворные каждый день видели самые красноречивые доказательства высокомерия и своенравия этого возвеличенного ребенка. Семи лет от роду Густав Адольф получил звание почетного члена Упсальского университета. Почтенные ученые являлись к нему на поклон и не хуже царедворцев трубили ему в уши о его достоинствах.

После трагической кончины отца своего король-ребенок оказался куклой в руках дяди-регента. Для того чтобы с успехом пользоваться этой куклой и заставлять ее двигаться по своему желанию, хитрый регент понял, что нужно постоянно действовать на самолюбие племянника, этим он держал его постоянно в своей власти, избегал всяких неприятных для себя столкновений, творил свою волю во всем. За все время регентства только один раз король взбунтовался против дяди; это было по случаю помолвки его на принцессе Мекленбург-Шверинской.

Но и этот единственный случай доказывал только, что расчеты регента действовать на самолюбие юноши были совершенно верны; здесь хитрый правитель забыл свое правило и потерпел поражение: брак с внучкой императрицы русской льстил юному самолюбию короля, вдобавок принцесса Мекленбург-Шверинская была нехороша собой и произвела на маленького полубога неприятное впечатление.

Но раз уж ошибка была сделана, ее трудно было поправить.

Король вдруг стал противоречить на каждом шагу регенту, объясняться с ним раздраженным и даже повелительным тоном. Тот, изумленный, не привыкший к подобному обращению со стороны племянника, наконец заметил ему:

— Друг мой, вы, верно, забываете, с кем говорите!

— Совсем не забываю, я хорошо знаю, что вы мне дядя и регент, но помните и вы, что через несколько месяцев я буду королем! — ничуть не смущаясь, ответил юноша.

Этим не кончилось. В один прекрасный день юный полубог объявил регенту:

— Прикажите сделать необходимые приготовления, и поедемте в Петербург.

— Как, в Петербург? — всполошился регент. — Это невозможно, это противно исконным обычаям нашей страны, вы не можете ехать сами просить руки иностранной принцессы: для этого существует дипломатический корпус, уполномоченные.

— Мы с вами поедем в Петербург, и я буду просить у императрицы руку ее внучки! — решительно повторил король.

На следующий день он спросил, сделаны ли необходимые приготовления, и, узнав, что к ним еще не приступали, стал рвать и метать. Объяснять ему, уговаривать было бесполезно. Регент понял это, и таким образом была неожиданно решена поездка в Россию.

— Но по крайней мере при этом дворе вы держите себя, как подобает вашему положению, ни на минуту не забываете о своем достоинстве, — упрашивал регент.

Король с презрительной усмешкой взглядывал на дядю и даже не удостоивал его никаким ответом.

«Учить меня хочет, — думал он, — сам может с меня пример брать, я покажу им, этим русским, каков должен быть настоящий король!»

И больше он не задумывался об этом предмете. Он был совершенно уверен в том, что очарует всех. Познакомившись несколько с историей, он пленился Карлом XII и пожелал взять его себе за образец. Он старательно изучил все подробности его жизни, узнал все его привычки, манеры; он перестал смеяться, редко позволял себе доходить до раздражительности, потерял всякую искренность в обращении, от него веяло холодом, к нему нельзя было подступиться,

он окончательно уверовал, что в близком будущем его ожидает великая слава, подвиги завоевателя, и весь род людской представлялся ему еще ничтожнее, еще презреннее.

«О, я покажу им, этим русским, какие бывают настоящие короли!» — несколько раз повторял он себе, подъезжая к Петербургу, и действительно начал с того, что обворожил своею внешностью всех, начиная с императрицы.

Екатерина, внушавшая при первом свидании невольный трепет государственным людям и опытным европейским царедворцам и дипломатам, нисколько не смутила напыщенного юношу.

Он увидел в ней только полную, красивую старушку, с которой нужно быть любезным, которой нужно понравиться. С несколько размашистыми военными ухватками подошел он к руке ее, когда был представлен ей под именем графа Гага.

Императрица, ласково оглядывая красивого юношу, отстранила свою руку и, тонко улыбаясь, проговорила:

— Нет, я вижу, что не в состоянии позабыть о том, что граф Гага — король.

Граф Гага улыбнулся, в свою очередь, и отвечал:

— Если ваше величество не желаете позволить мне поцеловать вашу руку как императрица, то по крайней мере дозвоьте как дама, которой я обязан почтением и удивлением.

После первого непродолжительного свидания императрица осталась в полном восхищении от своего гостя. Она была так весела, так радостна и поспешно передавала всем окружавшим близким ей людям свои впечатления:

— Я думала, что он польщен на портретах, — говорила она. — Нисколько. Никакой художник не в силах передать его прелести. Красота его заключается не в одних внешних чертах, в его лице сияет его ум, его душевные качества. Ах, как он умен, как он находчив, как он умеет держать себя! Я уверена, что его сердце должно быть прекрасно, малютка будет с ним счастлива, я ручаюсь за это. Ах, какой прелестный юноша, я сама просто влюблена в него!..

И великая Екатерина, мудрый знаток человеческого сердца, окончательно превратилась в добрую бабушку. Она так хотела счастья своей любимой внучке, и в то же время этот брак так давно составлял любимую мечту ее — и вот она уже не задумывалась и не размышляла.

Она видела только то, что хотела видеть, и спешила уверить близких людей, что лучше молодого короля шведского не может и быть никого на свете, спешила уверить, будто боясь, что кто-нибудь станет разубеждать ее, что кто-нибудь попытается разрушить ее мечты. Но никто, конечно, не имел подобного намерения: ей поддакивали.

Императрица пленилась графом Гагой, и весь двор тотчас же им пленился, и рассказы о его достоинствах, о его необыкновенных качествах, уме, талантах, красоте быстро стали разноситься по городу. Все радовались, ликовали, собирались веселиться, ждали необыкновенных празднеств. Предлог для всего этого был найден, о чем же задумываться? Нужно пользоваться этим предлогом. Но оставался один важный вопрос: как встретятся жених с невестой, какое впечатление произведут они друг на друга?

Если король не успел еще подумать о невесте, если, когда регент или кто-нибудь говорил ему о ней, ограничивался только одной фразой: «я уверен, что она, во всяком случае, гораздо красивее и милее принцессы Мекленбург-Шверинской», — то сама невеста, великая княжна Александра Павловна, прелестный тринадцатилетний ребенок, живое воплощение самой грациозной, самой чистой мечты художника, давно уже думала и мечтала о своем суженом. Она хорошо знала, что добрая бабушка задумывается о ее судьбе и готовит ей в женихи короля шведского.

Уже несколько месяцев тому назад Екатерина подарила ей медальон с его портретом; она подолгу и почасту засматривалась на портрет этот, на котором он был изображен истым Адонисом.

Великая княжна имела живой и пытливый ум, развивалась быстро, всем интересовалась, училась с большою охотой и очень много знала для своих лет; в ее отличной памяти хранился уже большой запас самых разнообразных сведений, но вот в последнее время она, сама не замечая этого, сделалась рассеянной, училась уже не с такой охотой. Ее иногда можно было заметить с забытою в руке книгой, с горящим, неведомо куда устремленным взором, с лихорадочным румянцем на щеках. Императрица не раз заставляла ее в таком положении, она нежно называла ее по имени, но великая княжна не слышала. Бабушка тихонько подходила, целовала ее.

— Деточка, что с тобой? Ты не слышишь, что я зову тебя!.. Или ты нездорова?

Великая княжна вздрагивала, смущенно глядела на бабушку и кидалась обнимать ее.

— Нет, бабушка, милая, дорогая бабушка, я совсем здорова.

Екатерина улыбалась, отходила от нее, а сама думала:

«Ах, как она хорошеет, с каждым днем хорошеет! Какая будет красавица!»

Но не останавливалась бабушка на той мысли, что не рано ли так хорошеть, так мечтать любимой внучке, не старалась проникнуть в тайну ее первых мечтаний. А причиною этих мечтаний, этого румянца, этого блеска глаз был портрет, подаренный бабушкой, были доносившиеся до чуткой девочки толки о молодом короле шведском, о его красоте, его достоинствах, о том, что лучшего жениха для великой княжны и найти невозможно. Она делала вид, что не слышит этих толков, не принимала никакого участия в этих разговорах, даже будто уходила, будто занята была совсем другим делом, а между тем ни одно слово от нее не ускользало, и потом, оставаясь одна, она долго, долго разбиралась в каждом слышанном слове, и каждое слово являлось для нее материалом, на основании которого она рисовала себе широкую, прелестную картину. И вот этот предмет первых полудетских, полуженских мечтаний, наконец, въявь предстал перед нею...

Бабушка пришла в комнаты внучки, сама своим зорким, привычным глазом оглядела наряд ее, поправила своей маленькой пухлой рукой выбившийся локон и шепнула ей:

— Allons, ma petite, je veux te présenter à quelqu'un [4].

Великая княжна побледнела, она наверное не знала, но уже догадывалась. Она пошла за бабушкой, робко прижимаясь к ней, испуганно и недоумевающе заглядывая в светлые, блестящие глаза ее, в которых ей хотелось прочесть ответ на свой вопрос, не смевший сорваться с языка.

Но глаза бабушки ласково сияли — и только.

Она не видела, куда ведут ее, не видела никого и очнулась тогда лишь, когда голос бабушки произнес имя графа Гага.

Она взглянула — перед нею высокий, стройный юноша, красавец юноша, польщенный, но все же несколько похожий портрет которого и теперь спрятан от всех взоров за корсажем ее платья, ушибко, вдругшибко так забившегося сердечка. Она чуть не вскрикнула от какой-то сладкой боли.

Красавец юноша в изысканных, напыщенных выражениях ее приветствовал, она грациозно ему поклонилась, протянула руку, проговорила обычную фразу. Ее рука несколько мгновений трепетала в руке его, и это первое пожатие решило ее судьбу: она полюбила графа Гага той фантастической, волшебной, первой любовью, в которой мало земного, но в которой отражаются лучи небесного блаженства...

XVII. ЯСНЫЕ ДНИ

Граф Гага чувствовал себя совершенно довольным и счастливым, он никогда так весело не проводил времени, как в Петербурге. У себя в Стокгольме он сам должен был придумывать себе развлечения и забавы, и они в конце концов отличались однообразием и ему уже приелись! Все одно и то же, те же лица, та же обстановка, один день, как другой! Он часто скучал; лесть и поклонение придворных принимались как должное, с детства привычное. Здесь же совсем иное. Здесь он не должен был придумывать, как веселее провести день, просыпался утром и знал, что каждый новый час будет приносить ему что-нибудь неожиданное, любопытное и веселое. Здесь что ни час, новые лица и та же лесть, то же всеобщее поклонение, но ведь это совсем не то, что поклонение его придворных.

В Стокгольме никто не мог относиться к нему иначе: если бы и хотели — так не смели; здесь же он не властелин, здесь он гость. Чужой, блестящий, могущественный двор, великая, прославленная императрица, толпа важных сановников... Сама императрица и все члены ее семейства, и все эти сановники преклоняются перед ним, восхищаются им, объявляют его самым безукоризненным, самым умным и прелестным существом в мире. Значит, таков он и есть на самом деле! Не будь он таков, не стали бы так и принимать его. Ведь вот же дядя-регент не раз убеждал его быть осмотрительным, обдумывать каждое слово, каждый свой шаг, именно для того, чтобы произвести хорошее впечатление и, конечно, боясь, что впечатление может быть и не особенно хорошим.

Но ему вовсе не пришлось делать над собой усилий, обдумывать свои поступки, — он просто с первой минуты своего появления в Петербурге встретил ото всех самый лучший прием.

Его сразу захвалили, залюбовались им, и поэтому он оказался в хорошем настроении духа. Он был весел, доволен, снисходителен, любезен со всеми, и его мнение о себе с каждым днем возрастало больше и больше. Когда он ехал сюда, в нем все время нет-нет — да и мелькнет почти бессознательная мысль:

«А что, если я от кого-нибудь получу обиду? Что, если кто-нибудь косо на меня взглянет?»

И когда подобная мысль приходила ему в голову, он также почти бессознательно решал, что в таком случае покажет себя, плюнет на все и на всех, все бросит и вернется обратно в Стокгольм. Но возвращаться не приходилось: все шло как по маслу, да, наконец, явилось и нежданное благополучие — невеста произвела на него очень сильное впечатление. Он никогда еще не видал такого прелестного создания и в то же время, конечно, сразу понял, что и она, в свою очередь, пленена им. Его юное самолюбие было удовлетворено как никогда, и немудрено, что он был сам добрее и лучше, чем обыкновенно.

Приближенные его, с ним приехавшие, изумлялись, на него глядя.

Он даже стал менее пренебрежителен и с ними, даже иногда шутил и почти ласково улыбался, чего прежде никогда не бывало, даже позабыл играть свою всегдашнюю роль, подражать Карлу XII. Он вставал рано, раньше, чем в Стокгольме, и тотчас начинал будить дядю-регента.

— Вставайте, вставайте! — говорил он. — Здесь не время спать, оденемся, позавтракаем и отправимся осматривать Петербург; я уже приказал экипаж заложить. Право, я никогда не думал, чтобы этот город был так интересен!..

Регент беспрекословно слушался племянника, торопился одеться и отправлялся с ним на осмотр разных достопримечательностей Петербурга и его окрестностей. И петербуржцы со всех сторон сбегались смотреть на дорогих гостей.

Высокого, красивого юношу и маленького, сухого, пожилого человека всюду встречали восторженно, несмотря на их инкогнито.

Богатейшие сановники: Строганов, Остерман, Безбородко, Самойлов, Нарышкин, на своих загородных дачах давали в их честь великолепнейшие праздники, желая сделать угодное императрице, тратили баснословные суммы. Такой роскоши, такого великолепия граф Гага никогда в жизни своей не видывал. Даже петербургский климат будто улыбался желанному гостю.

Был конец августа, но погода по большей части стояла чудесная, и загородные, вечерние праздники удавались как нельзя лучше. На Неве и на островах сжигались гигантские фейерверки. Загородные дворцы

вельмож, окруженные густыми, прекрасными садами, являли великолепное зрелище: придет вечер — и все горит, залитое огнями иллюминаций, раздаются несмолкаемые звуки музыки.

Граф Гага после интересно, разнообразно проведенного дня вступает под покров темной осенней ночи, будто в какой-то сказочный мир, и в этом мире волшебных огней, музыки и великолепия он не случайный пришелец, он самый дорогой гость: весь этот мир создан для него, его на руках носят, перед ним рассыпаются в самых изысканных любезностях, все стараются уловить довольный взгляд его, каждое небрежно брошенное им слово принимается с восторгом, повторяется, мгновенно обегает весь город, изменяется, дополняется, украшается и является перлом остроумия и находчивости.

Самолюбие юноши бьет радостную тревогу; и вместе с этим самодовольным чувством растет другое чувство. Среди этого волшебного мира, рядом с ним маленькая прелестная фея. Ее светлые глаза глядят на него с детски откровенным восторгом, ее нежные щеки вспыхивают от каждого его взгляда, и радостный, счастливый, в сознании своего величия и превосходства, среди шумной, блестящей толпы, под несмолкаемые звуки оркестра, он тихонько пожимает маленькую ручку и шепчет на ухо своей прелестной невесте нежные слова, которыми до сих пор еще никого не устаивал.

Так проходит неделя, другая, но вот граф уже насытился всем этим блеском, всеми этими праздниками, уже привык к всеобщему восторгу, вызванному его особой, ему уже начинает не хватать чего-то.

«Одно и то же! Одно и то же! — думает он. — Я танцую с нею, прогуливаюсь с ней под руку по освещенным залам и аллеям, но ведь нам нет возможности и поговорить как следует. Начнешь фразу — не кончишь, спросишь — она станет отвечать и не имеет возможности договорить ответа. То тот подойдет, то другой, следят за каждым шагом, ловят каждое слово — это скучно!»

Ему хотелось бы остаться вдвоем с нею, хотелось бы, не смущаясь ничьим присутствием, высказать ей всю нежность, на какую он способен, и услышать от нее такие слова, которых она не могла ему прошептать при посторонних...

Во время бала, данного императрицей во дворце 3 сентября, все вдруг заметили, что граф Гага не совсем весел и любезен, в его лице

заметили что-то новое, признаки тоски и скуки. И прежде всех заметила это императрица. Она зорко стала следить за ним и, улучив удобную минуту, когда танец был окончен и граф Гага отошел от своей дамы, она приблизилась к нему, взяла его под руку.

— Пройдемтесь немного, мой друг, — сказала она, — я недолго задержу вас, недолго заставлю скучать с такой неинтересной дамой.

— Ах, ваше величество, помилуйте, я всегда так счастлив быть с вами! — наклоняясь к ней и как-то бережно ведя ее, проговорил юноша.

— Я хочу о чем-то спросить вас, — ласково глядя на него, продолжала императрица. — Я уж старуха, и глаза мои начинают плохо видеть, но все же я еще не совсем ослепла и без очков заметила в вас сегодня некоторую перемену. Скажите же мне откровенно, скажите как бабушке, которая успела от всего сердца полюбить вас, что с вами? Мне было бы очень грустно думать, что произошло что-нибудь неприятное.

— Ничего неприятного, ваше величество, — ответил он, — а только если вы заметили во мне перемену, то я должен откровенно сказать вам: да, мне сегодня грустно.

— Отчего же? Кто тому причиной? Надеюсь, не наша малютка? Или вы с ней поспорили во время танцев?

— Нет, мы не поспорили, но вы угадали, ваше величество, великая княжна причиной моей грусти — ведь она моя невеста, я жених ее и надеюсь, что уже теперь ничто не расстроит нашего брака. Я ехал сюда и не знал еще, чем все это кончится, но она победила меня навеки.

Императрица сжала его руку.

— И я надеюсь, что она доставит вам прочное, истинное счастье. Так в чем же дело?

— А в том, ваше величество, что я должен поближе узнать ее — ведь нам о многом переговорить нужно друг с другом. А разве здесь это возможно? До сих пор я встречаю ее только среди толпы, мы едва успеваем обменяться двумя-тремя словами. Ваше величество, я покорнейше прошу вас позволить мне иначе видаться с нею. Мне хотелось бы, и я полагаю, что имею на это право, быть с нею запросто, видеть ее среди домашней обстановки.

Екатерина задумалась, потом улыбнулась.

— О, вы нетерпеливы, и вижу я, вы действительно влюбленным сделались. Ну, что ж, если это единственная причина вашей грусти, то я считаю своей обязанностью помочь вам, и хоть я старуха, но вас понимаю. У меня хорошая память, и я помню свою молодость, я знаю требования молодости. Успокойтесь же, забудьте вашу грусть — к вам так идет, когда вы веселы и довольны. Не портите нашего общего веселья, и я вам обещаю, что на этих днях вам дан будет случай несколько часов провести с великой княжной не среди публики, а именно как вы желаете — в семейной обстановке. Я устрою это, даю вам слово. А теперь благодарю, что провели меня, скорей возвращайтесь в танцевальный зал — там уже, наверное, ждут вас...

Граф Гага рассыпался в любезностях и поспешил к великой княжне. Екатерина раза два прошлась по комнате и все добродушнее улыбалась и покачивала головою.

— Милые дети! — наконец прошептала она и, заметив одного из придворных кавалеров, который проходил через комнату, приказала позвать к себе графа Салтыкова.

Салтыков явился тотчас же.

— Что приказать изволите, ваше величество! — спросил он, привычным движением склоняя голову перед императрицей.

— А вот что, любезный граф, — сказала ему Екатерина, — дело касается деток. Видите ли, жених наш загрустил, что не может хорошенько наглядеться на невесту и поговорить с ней — вы все, господа, ему мешаете. Ну, так вот что: пожалуйста, сегодня напишите цесаревичу, напишите именно то, что я вам сейчас сказала, и прибавьте, что я нахожу подобное свидание между королем и моей внучкой, — в настоящее время, когда дело можно уже считать окончательно улаженным, — вполне пристойным, но, конечно, в том только случае, если таковое свидание произойдет в присутствии родителей великой княжны. Просите цесаревича от моего имени быть здесь непременно в пятницу вместе с великой княгиней... Да, постойте, я вспомнила, цесаревич говорил мне, что до понедельника здесь не будет... Все равно попросите, может быть, и заблагорассудит исполнить сию мою просьбу. Если же не пожелает приехать, то делать нечего, обойдемся и без него, только чтобы великая княгиня была непременно и пораньше. Будем обедать у великого князя Александра Павловича, а после обеда великая княгиня всех пригласит в свои

покои, также и короля с регентом, и до бала жених и невеста будут иметь возможность беседовать запросто без всякого стеснения. Пожалуйста, напишите.

— Не премину исполнить, ваше величество, — отвечал Салтыков, — завтра пошлю нарочного в Гатчину.

Императрица кивнула головою и вышла в зал взглянуть на танцующих.

XVIII. ПЕРВОЕ ОБЛАКО

На другой день, получив письмо Салтыкова и прочтя его, цесаревич прошел в покои великой княгини. Он застал ее с княжной Пересветовой и другой фрейлиною. Взглянув на него, великая княгиня по сумрачному лицу его сразу заметила, что он не в хорошем расположении духа и имеет что-то сообщить ей. Она сделала знак фрейлинам удалиться и обратилась к нему.

— Что такое, мой друг? Какое-нибудь неприятное известие?

— Нисколько, — отвечал цесаревич, подходя к ней, здороваясь с нею и нежно ее целуя. — Я вот сейчас получил письмо от Салтыкова, прочти, пожалуй.

Она прочла и подняла на него свои светлые, голубые глаза, молча и не зная, что сказать. Она вовсе не хотела раздражать его еще больше, потому что видела, что он уже раздражен. Она замечала, что в этом сватовстве, которого так все желали, которого и она, в свою очередь, желала, ему что-то не нравится.

— Что же ты молчишь, Маша? — наконец спросил цесаревич, садясь рядом с нею и закусывая губу.

— Мы поедем?! — ответила она не то вопросительно, не то утвердительно.

— Мы поедем, — повторил он, упирая на слово «мы», — да, ты опять поедешь, ты будешь ездить до тех пор, пока не заболеешь от этих поездок.

Он положил свою руку на ее руку.

— Но я, Маша... не поеду — и без меня обойдется. Что ж я-то? — Я сторона в этом деле.

— Как сторона? — печально выговорила великая княгиня. — Разве отец может быть стороною?

— К сожалению, может. Не я начал это дело, и я хочу снять с себя всякую ответственность!

— Да ведь ты, надеюсь, ничего не имеешь против брака малютки?

— Ничего не имею. Рано или поздно мы должны будем расстаться со всеми нашими дочерьми, к тому же ведь мы и всегда почти в разлуке с ними. Я ничего не имею против этого брака, но я не знаю

жениха и не имею возможности узнать его. Он был здесь раз, но по одному разу я не мог составить себе о нем должного понятия.

— Поэтому-то мне, друг мой, и кажется, что тебе следует ехать, следует пользоваться всякой возможностью поближе разглядеть и узнать его.

Павел усмехнулся.

— Ведь это все устраивается для того, чтобы им быть вместе, чтобы им узнавать друг друга, чтобы им никто не мешал; так что же — я поеду для того именно, чтобы мешать им? Нет, никаких наблюдений завтра я не буду иметь возможности сделать, да и потом, каковы бы ни были мои наблюдения, ведь из этого ничего не выйдет. Ну, представь, что он мне не понравится, что я замечу в нем такие свойства, каких не желал бы видеть в своем зяте... ведь придется только мучиться за дочь... Нет, оставь меня, я не поеду, я говорю тебе...

И голос его уже дрогнул, и он начал с каждой секундой все больше и больше раздражаться.

— Я говорю тебе, не я затеял это дело и не я буду ответствен в последствиях. Если нашу дочь сделают несчастной, на моей совести по крайней мере греха не будет. Я ничему не могу помешать... Делайте, как знаете... оставьте меня в покое!

Великая княгиня печально вздохнула.

— Ты меня, право, пугаешь, — сказала она. — Вечно эти дурные предчувствия. Конечно, своей судьбы заранее узнать невозможно; иногда семейная жизнь, начавшаяся при самых счастливых предзнаменованиях, оканчивается ужасно, но ведь тут никто виноват быть не может. А я поистине не могу ничего иметь против желания императрицы, против этого жениха. Я — мать, и ты знаешь, как вопрос этот меня тревожит и волнует. Поверь, я наблюдаю и, кроме хорошего, ничего не заметила в короле... и к тому же наша малютка совершенно пленена им.

Цесаревич поднялся с места и своим нервным шагом несколько раз прошелся по комнате.

— Пленена... и ты говоришь это, Маша! Но ведь она совсем ребенок, чересчур рано ей пленяться!.. Все это вредно и нехорошо. Ей вскружили голову, ее заставили думать о таких вещах, о которых она еще не должна думать. Это отравка!

— Но ведь иначе нельзя, — робко перебила его великая княгиня. — Конечно, ей слишком рано думать о замужестве, но что же делать, когда так складываются обстоятельства?

— Что делать! Что делать! — повторял он, возвышая голос. — Очень часто мы сами складываем обстоятельства и объявляем, что ни при чем, что обстоятельства сами собою складываются. Не поеду я завтра!.. А ты поезжай и подробно сообщи мне все, что там произойдет.

— Матушка будет сердиться, — ты обидишь ее своим отказом присутствовать при этом свидании.

— Обижу... я ее обижу? Я никогда в жизни не обижал ее. Мне очень трудно добиться того, чтобы она была мною довольна, и я уже отказался стараться об этом... Маша, не раздражай меня! Ведь у меня уж почти вылезли и давно седеют волосы, пора же наконец мне иметь свои взгляды и хоть в чем-нибудь поступать так, как я сам считаю лучшим... А жених ваш... я полагаю, что ему следовало бы еще побывать в Гатчине!..

Проговорив это, он вышел из комнаты великой княгини, и она слышала издали его раздраженный голос. Она долго сидела задумавшись, перечитывая оставленное цесаревичем письмо Салтыкова. Она думала о дочери, об этом женихе, который успел очаровать и ее вслед за другими.

«Неужели не будет счастлива моя девочка? Нет, она должна быть счастлива! Он так молод, он сам почти еще ребенок, они так подходят друг к другу. Зачем же смущать, зачем все видеть в мрачном свете, зачем только и себя, и других мучить?»

А между тем неясные предчувствия цесаревича уже и на нее действовали. В последние дни она не раз чувствовала припадок какой-то тоски, каких-то неведомо откуда бравшихся опасений. Вот и теперь ей сделалось так тяжело, так грустно, она даже заплакала. Но плакать, грустить, предаваться своим разнообразным мыслям ей не пришлось долго — ей доложили о том, что в Гатчину приехали граф Гага и граф Ваза.

Она оживилась.

«Вот это хорошо, — подумала она, — авось, теперь он несколько успокоится. Хорошо, что именно сегодня они приехали...»

Цесаревич принял юного короля с той изысканной любезностью, на которую он был способен и которую умел высказывать даже и в те дни, когда чувствовал себя особенно раздраженным. Маленький регент зорко поглядывал своими хитрыми глазками, все силы употребляя, чтобы занять великую княгиню.

Цесаревич вступил в продолжительную беседу с юношей, навел разговор на самые разнообразные предметы, очевидно, разглядывал его, выводывал его познания и образ мыслей.

Добрый час продолжалась эта беседа. И хотя цесаревич по-прежнему высказывал ему все внешние знаки глубокого почтения, но посторонний наблюдатель мог бы легко заметить по их лицам, что они далеко не были довольны друг другом.

«Пустой мальчик! — думал цесаревич. — Плохо его учили, плохо воспитывали, мало знает, много о себе думает, ко всему легко относится. Молод еще очень — мог бы исправиться, мог бы наверстать потерянное время, да уж если до сих пор некому было об этом позаботиться, так теперь и того меньше. Добр ли он? Есть ли у него сердце? Хороший ли муж будет? Как узнать это? Может быть, в руках разумной женщины и вышел бы из него прок, а ребенок что с ним сделает!.. Политика, политические виды!.. Чует, чует мое сердце, что девочка будет несчастна!»

Он навел разговор на свою дочь, на положение будущей шведской королевы и прямо высказал:

— Мне было бы крайне тяжело, если бы дочь моя встретила религиозную нетерпимость. Она родилась православной, воспитана в православии, и, на мой взгляд, который разделяет и весь русский народ, она никоим образом не может переменить свою религию.

Юный король поморщился.

— Уже не в первый раз, ваше высочество, мне говорят об этом, к этому вопросу то и дело возвращаются, но мне кажется, что его нужно оставить. Конечно, я не стану ничем стеснять великую княжну.

— Так вы мне обещаете серьезно, что не будет никаких стеснений в этом отношении?

— Обещаю, с удовольствием обещаю.

— Вы меня успокаиваете, — проговорил цесаревич и предложил королю пройти по парку.

Король с удовольствием согласился, ему надоела эта беседа, в которой он чувствовал себя каким-то учеником, которого выпрашивают и экзаменуют. Ему неприятно было под зорким, испытующим взглядом своего будущего тестя. Он не хотел сегодня ехать в Гатчину и только согласился после усиленных, настоятельных убеждений регента. Здесь так скучно, так мрачно, так мало общего с блестящей, ежеминутно изменяющейся, сверкающей и шумной петербургской жизнью.

Во время прогулки юный король очутился в обществе великой княгини и двух красивых, сопровождавших ее фрейлин. Он оживился, был любезен, притворно восхищался старым гатчинским парком, описывал Стокгольм, свой дворец, королевские забавы и уверял великую княгиню, что когда ее дочь сделается шведской королевой, то скучать не будет.

А цесаревич в это время беседовал с регентом. Слова короля, что он не станет принуждать Александру Павловну к перемене религии, его мало успокоили. Он хотел выпросить на этот счет регента, но тот отвечал ему в таком же роде, как и племянник, тоже уверял, что великую княжну никто принуждать не станет, но в то же время Павел Петрович видел, что хитрый граф Ваза не все договаривает, обходит вопрос и отвечает на него не прямо.

«Не бывать моей дочери шведской королевой! — быстро решил он сам собою. — Как все они уверены в том, что это дело решенное, так я теперь вижу, что решенного еще очень мало. Ведь не могут же они обходить такого вопроса, ведь должны же они будут решить все подробности и все оформить. На такую уступку матушка не пойдет — это было бы уже слишком!..»

XIX. ЗА СЛЕПКАМИ КАМЕЙ

Несмотря на все просьбы Марии Федоровны, цесаревич все же не поехал на следующее утро в Петербург.

— Если я имею почему-нибудь серьезный резон поступить так, то надо меня оставить в покое, — мрачно проговорил он.

— Что же мне сказать императрице?

— Скажи правду — я нездоров и притом считаю себя лишним в этом деле, не я его задумал, не я начал, пусть без меня оно и окончится.

Мария Федоровна не стала больше возражать и поспешно собралась в привычный ей путь. Все обошлось благополучно, императрица не выразила никакого неудовольствия по поводу отсутствия сына, подробно расспрашивала о его здоровье и вообще показала великой княгине очень ласково настроенной. Великую княгиню в ней поразило только одно: вид какой-то чрезмерной усталости, которой до сих пор она не замечала, но, несмотря на эту усталость, ее лицо все же скоро оживилось, глаза опять блистали, когда она говорила о том, что дело идет на лад, о том, что «малютка» непременно будет счастлива, потому что очень любит своего жениха, и он достоин этой любви.

День прошел наилучшим образом. Юный король достиг своей цели: он имел возможность в течение долгих часов беседовать с невестой среди интимной обстановки Зимнего дворца.

Три раза в этот день великая княгиня отрывалась от гостей своих и принималась писать подробные отчеты о всем происшедшем цесаревичу в Гатчину. Таким образом между главными действующими лицами установились постоянные сношения.

Цесаревич в Гатчине несколько раз в день получал присылаемые с курьерами письма великой княгини. Императрица, остававшаяся в своем Таврическом дворце, также получала от нее записки и сама писала ей.

Великой княгине пришлось остаться в Петербурге и на следующий день, и еще на один день. Екатерина торопилась, она ждала слишком долго и теперь не хотела терять ни одной минуты.

Возбужден был вопрос об обручении, об обмене колец женихом и невестой. Раз это будет сделано, тогда уже нечего опасаться, тогда пусть король уезжает и готовится в Стокгольме встречу своей нареченной. Но как устроить это обручение — в церкви или комнате? Екатерина забыла все дела и только и думала об этом. Она нашла в истории пример, что обещания могут быть даны уполномоченными: дочь деда Ивана Васильевича была обручена при посредстве уполномоченного с Александром, великим князем литовским.

Обряд обручения нужно обставить как можно торжественнее, в нем должны принять участие митрополит и архиереи, но, во всяком случае, еще раз следует серьезно переговорить с молодым королем. Екатерина сама не хотела уже лично объясняться с ним и поручила это великой княгине, взяв с нее обещание, что она тотчас же известит ее письменно о результатах этого разговора.

В воскресенье, 7 сентября, король почти целый день провел в Зимнем дворце, в покоях великой княгини. Марии Федоровне долго не удавалось так устроить, чтобы иметь возможность переговорить с ним без помехи, но вот, наконец, она достигла своей цели. Все посторонние лица были удалены, она очутилась наедине с женихом и невестой. Молодые люди сидели в небольшой уютной комнате у окошка и, тихонько переговариваясь между собою, делали из воска слепки камей. Великая княгиня подошла к ним, посмотрела их работу, придвинула стул и села рядом с дочерью.

— Я очень недовольна вами обоими, — заговорила она своим ласковым голосом, — у вас такие печальные лица, между тем этого никак не должно быть.

Лица у молодых людей были действительно печальны, и в особенности у великой княжны.

— Чем же мы виноваты? Если у нас печальные лица, значит, есть тому причина, — тихо, едва слышно прошептала «малютка».

— Твою печаль я понимаю, — сказала великая княгиня, — ты грустишь, потому что он не весел, значит, главный виновник вы, *monsieur Gustave!*.. За что вы заставляете ее грустить, отчего не хотите ее успокоить? Сделайте ее веселой, — вы развеселитесь, и она развеселится вслед за вами.

— Я уже просил ее успокоиться, — ответил король. — Я сказал ей, чтобы она не обращала внимания на мою грусть — в ней нет

ничего серьезного и опасного.

— Это плохое успокоение. Очень недостаточно сказать — успокойтесь, нужно объяснить причину, нужно быть откровенным, вот в чем дело, и я прошу вас, monsieur Gustave, говорить со мной откровенно, как с другом. Поведайте нам действительную, настоящую причину вашей грусти, ведь еще несколько дней тому вы были совсем другой.

— Когда она будет у меня в Стокгольме, настанет конец всем моим печалам, — ответил король, указывая глазами на великую княжну. — Видите, я совсем откровенен с вами, и видите теперь, что причина моей грусти естественна, что иначе и быть не может и что, следовательно, я не виновен. Я недавно узнал ее, а между тем мне кажется, что я всю жизнь ее знал, я так к ней привязался, я не могу себе представить, как буду жить без нее. Знаете ли, ваше высочество, мне кажется, что теперь только я живу по-настоящему, и все это — благодаря вам, вашей доброте... а главное, вам, вам!..

Он через стол протянул руку великой княжне и склонился, чтобы поцеловать ее маленькую, затрепетавшую руку.

— Я будто родился снова, и как же мне не грустить, думая о том, что через несколько дней я с вами расстанусь? Мне невыносима мысль эта, я хотел бы быть веселым, я хотел бы улыбаться, смеяться, шутить, я не могу, — чем я виноват?

На лице великой княгини мелькнула едва заметная улыбка.

«Я поймаю его на слове», — подумала она.

— Да, в таком случае вы правы, и я очень рада слышать, что вы так говорите, и я вам верю, но что же делать? Надо быть благоразумным, ведь вы еще долго не будете видаться. Вы взаимно любите друг друга, и, конечно, я предвижу, что вы станете тосковать по ней, а она по вас, вы будете тревожиться друг о друге. Послушайте, сосчитаем, сколько месяцев проведете вы в разлуке.

— Ах, Боже мой! — вскричал король. — Вы и представить себе не можете, какая это будет невыносимая, долгая разлука, как много разных дел неизбежных! Так много нужно будет мне устроить, и прежде всего я должен дожидаться своего совершеннолетия. Я уже не раз считал и пересчитывал и вижу, что раньше восьми месяцев не может быть наша свадьба.

Его голос дрогнул, и на глаза его набежали слезы.

— Это очень долго, — тихонько проговорила великая княгиня.

Малютка сидела, опустив глаза, и то и дело из-под длинных ресниц ее капали одна за другой блестящие слезы.

— Долго, долго, бесконечно долго! — почти крикнул король.

— В таком случае хорошенько обдумаем это дело, — сказала великая княгиня. — Вы говорите, что все ваши печали окончатся, когда она будет с вами в Стокгольме, — постарайтесь же ускорить эту минуту, не ссылайтесь на препятствия, устранить которые, может быть, от вас зависит.

— Если бы я мог что-нибудь сделать, я бы, конечно, сделал, но, к несчастью, это невозможно. Мы можем отпраздновать свадьбу только осенью или весной — зимою нельзя!

— Теперь осень, кто вам мешает жениться теперь, не медля?

— Но мой двор не в полном сборе и апартаменты не готовы.

— Если только в этом все затруднения, — серьезно заметила великая княгиня, — то я удивляюсь вам: что касается двора — его собрать недолго, а если кто кого любит, то не обращает внимания на апартаменты. Женитесь здесь, «малютка» поедет с вами, и дело с концом, и вы не будете мучить друг друга вашей печалью.

— Но как же мы поедем? Море опасно теперь, а я скорей умру, чем подвергну ее опасности!

Великая княжна Александра подняла на него свои большие грустные глаза, и в них мгновенно засветилась восторженная решимость.

— С вами, — прошептала она, — я буду везде считать себя в безопасности.

Он схватил ее руки, покрыл их поцелуями и с обожанием глядел на нее — в ее глазах стояли слезы.

— Доверьтесь мне, monsieur Gustave, — сказала великая княгиня. — Вы говорите, что желали бы поскорей видеть окончание дела?

— Очень бы этого желал, но пока все еще зависит от герцога-регента.

— В таком случае, если желаете, я поговорю с императрицей, я возьму все на себя.

— О, благодарю вас, но, пожалуйста, делайте так, чтобы я был в стороне. Пусть императрица предложит регенту не от меня, а от себя.

— Непременно. Так вот, значит, мы и договорились, значит, теперь не о чем вам и печалиться; развеселитесь и развеселите «малютку». Видите, что нужно было начать с откровенности.

— Да, вы правы, благодарю, благодарю вас, — говорил король, целуя ее руку. — Но только, пожалуйста, чтобы никто не знал о нашем этом разговоре, и я буду молчать, постарайтесь все устроить — вы сделаете меня самым счастливым человеком!

В это время в комнату вошла княгиня Ливен, воспитательница великой княжны. Разговор пресекся. Молодые люди снова занялись лепкой камей. Мария Федоровна отошла от них, присела к другому столику и взяла свое вышивание. Время от времени, разговаривая с княгиней Ливен, она зорко взглядывала на жениха и невесту и мало-помалу успокаивалась. Теперь они уже не были грустны. Он что-то оживленно говорил ей, она улыбалась. Вот раздался и его веселый смех, он встал, что-то показывал жестами. Он рассказывал ей о своих охотах, о приключениях, с ним бывших, где, конечно, он играл роль героя и выказывал чудеса храбрости.

И «малютка» с обожанием глядела на героя, и не было границ ее счастью. А между тем герой только что именно и выказывал свою трусость и свое ребячество. Он не мог даже скрыть от великой княгини своего страха перед герцогом-регентом. Откуда же взялся этот страх? Да он и сам не знал.

Регент, сговорившись с посланником Штедингом, решил, что молодой король чересчур увлекся и что теперь он, того и жди, поступит неосторожно. Слишком поспешит и ради своей внезапной любви к великой княжне сделает такие уступки, каких нельзя допустить. Вот уже три дня, как оба они, и регент, и Штединг, пользовались каждой свободной минутой, чтобы внушить ему быть сдержаннее и осторожнее.

— Вы не можете быть судьей в этом деле, вы не можете сами теперь решить, потому что будете пристрастны. Поручите это нам; поверьте, мы все сделаем именно так, как следует, потому что отнесемся к делу спокойно. Подумайте, что дело чересчур важно, что от такого или иного решения этого дела зависит ваше будущее, интересы Швеции. Вы знаете, что государь не имеет никакого права забывать об интересах своего государства ради собственных личных

интересов, что подобный образ действий является преступным перед государством и может повлечь за собою страшные последствия.

Густав сначала едва слушал их доводы, но и регент, и Штединг, сговорившись, сумели наконец заставить себя слушать, сумели даже запугать юношу. И сам не сознавая этого, он вдруг почувствовал себя будто чем-то связанным, будто в зависимости от кого-то и от чего-то. Чтобы окончательно отворотить опасность какого-нибудь необдуманного поступка влюбленного юноши, регент затронул, наконец, самую слабую струну его, подействовал, как всегда это делал в важных случаях, на его самолюбие.

— Невеста ваша — существо прелестное, — сказал он ему, — и я очень понимаю ваше увлечение, но дело тут не в ней, — всем известно, до какой степени умна и какой тонкий дипломат императрица Екатерина. Она очаровала вас своею ласковостью и любезностью и в то же время желает забрать вас в руки, сделать вас простым орудием для достижения своих политических целей. Вы слишком молоды, вы об этом не думали, но ведь вот достигните вы вашего совершеннолетия, еще немного дней, и я сложу с себя мое звание регента, вы будете самостоятельным государем — так пора же вам об этом подумать. Любите вашу невесту, но не заблуждайтесь насчет ее родных, не поддавайтесь им, мне кажется, они и так считают вас слишком большим простачком, и я вовсе не хочу, чтобы над вами смеялись.

Услышав эти слова, король вскочил с места, нахмурил брови и несколько раз нервно прошелся по комнате.

— Я желал бы посмотреть, как это кто-нибудь будет смеяться надо мною! Императрица, конечно, очень умна и знаменита, но напрасно они считают меня дурачком — я ей не поддамся.

И он, горделиво подняв голову, вышел из комнаты. Регент с удовольствием потер руки. Цель была достигнута.

Теперь король искренне говорил с великой княгиней, был очень растроган, очень влюблен в свою невесту, очень желал как можно скорее навеки соединиться с нею, но в то же время он и побаивался регента, то есть, собственно, не его побаивался, а того, чтобы он не счел его слабым и обманутым.

Не доверял он уже и императрице; ласковая манера и прелестное лицо великой княгини на него действовали, но через полчаса после

разговора с нею он невольно задавал себе вопрос:

«А вдруг это она только притворяется такой доброй и искренней, вдруг она тоже хочет обмануть меня?..»

Брови его сдвигались, на щеках вспыхивал румянец, он задумывался и сердился. Но вот опять слышал он почти у самого своего уха укоризненный, нежный голос, он взглядывал на невесту, забывал все и шептал ей:

— Нет, нет, мне весело, я счастлив и не буду больше хмуриться.

XX. ОБВИНИТЕЛЬ

Внимание государыни было поглощено исключительно одним делом; этим же делом были заняты все члены ее семейства и все близкие ей люди. В последние дни будто и не существовало ничего иного, кроме предполагаемой свадьбы великой княжны с королем шведским: все остальное отошло на второй план, почти даже забылось. Князь Платон Зубов то и дело был призываем к императрице, имел с нею совещания, возвращаясь к себе, призывал Моркова, писал митрополиту, любезничал с регентом и Штедингом, успокаивал Екатерину, постоянно повторяя ей одну и ту же фразу: «Ручаюсь, что не встретится никаких препятствий, я все обдумал, пускай регент хитрит как ему угодно — мы перехитрим его».

И Екатерина успокаивалась до какой-нибудь новой тревожной мысли.

Все, что соприкасалось с придворною сферой, толковало о том же. *La grande question du jour* [5] был у всех в мыслях и на устах. От благополучного решения этого вопроса почти для каждого что-нибудь зависело: радость государыни, исполнение ее желания должны были отразиться в щедрых милостях и наградах. Удовольствие Зубова, пожелавшего играть роль главного деятеля при решении вопроса, должно было сделать его более ласковым, более способным на подачки.

Может быть, во всем Петербурге один только человек, имевший внешнее соприкосновение с этим волновавшимся придворным миром, не думал и не толковал о «*la grande question du jour*» и даже не замечал того, что «*question*» раньше, чем кому-либо, ему уже принес пользу — «*question*» заставил забыть о нем государыню, а главное, Платона Зубова. Человек этот был Сергей Горбатов. В течение целой недели его никто не трогал, не вызывал, в течение целой недели он не видался ни с Зубовым, ни с государыней, которой, по ее же словам, интересно было с ним побеседовать.

Сергей радовался тому, что о нем забыли, и желал только одного, чтобы это забвение продолжалось еще и еще — чем дольше, чем лучше. В течение этой недели он четыре раза успел побывать в

Гатчине и провести там по несколько часов с Таней. Обстановка была самая благоприятная: великая княгиня в Петербурге, следовательно, Таня свободна. Цесаревич все время поглощен своими обычными занятиями, а в свободные часы бродит один по парку или опять запирается в своей рабочей комнате. Он мрачен, чем-то недоволен, но сдерживает свое раздражение, только избегает встреч с людьми.

Сергею он сказал:

— Когда можешь, приезжай хоть каждый день, только ты не ко мне теперь приезжаешь, а к княжне, и поэтому, собственно, от нее зависит разрешить тебе это — ее и спрашивай. А о делах мы с тобою потолковать успеем, теперь мне некогда, некогда...

Конечно, Сергей не стал надоедать цесаревичу и не искал встреч с ним и разговоров. Таня его принимала, говорила ему «до свиданья», и он возвращался при первой возможности. Но все же он не мог сказать себе после этих четырех посещений Гатчины, чтобы дела его находились в блестящем положении: до сих пор между ним и Таней не было еще решительного объяснения — она не допускала его до такого объяснения.

Но он не очень страдал от этого. Пока ему было достаточно и того, что ему давалось. Он видел Таню, слышал ее голос, она глядела на него своими прежними глазами, она относилась к нему так доверчиво, с такой дружбой. Им было чем наполнить эти часы свиданий. Они сами не знали, как это случилось, а между тем они, будто подчиняясь известной программе, переживали сызнова всю жизнь свою, начиная еще с самого отдаленного времени, они вспоминали в мельчайших подробностях детство, первые дни юности, они шли постоянно вперед. И Сергей уже перестал выказывать нетерпение, он не делал уже быстрых переходов, быстрых скачков; они просто не касались еще того времени, подойдя к которому нужно было покончить объяснением.

Но все же, наконец, они подошли к этому времени. Сергей видел по быстрому румянцу, то вспыхивавшему, то пропадавшему на щеках Тани, какое волнение он возбудил в ней двумя-тремя фразами об обстоятельствах их парижской встречи. Она уже не перебивала его, не отводила его в другую сторону, она, несмотря на все свое волнение, прямо спросила про Рено.

— К несчастью, я ничего не могу вам сказать о нем, — ответил Сергей, — как это ни странно, но я совсем потерял его из виду. Я получил от него в Лондоне в первые три года несколько писем. Эти письма со мною, если хотите, я когда-нибудь принесу вам их. Он много страдал и душою и телом; вы помните, что он говорил нам тогда, помните, как он разочаровался в своей революции, помните, как он объяснял, что его обязанность по возможности исправить то зло, которому он легкомысленно способствовал. Конечно, его усилия были каплей в море, но как бы то ни было он исполнил свою обязанность. Он работал сколько сил хватило и всюду вносил свою живость, свое увлечение. Он подвергался большим опасностям и хотя писал мне всегда наскоро, как-то впопыхах, ничего не рассказывая, а только намекая, но, должно быть, его жизнь в эти страшные годы была полна самых разнообразных приключений. Я удивлялся, что он тогда остался жив, что его не извели, — а потом вдруг он пропал.

— И неужели вы ничего, как есть ничего не могли узнать о нем?

— Ничего. Я наводил постоянно справки... пропал... как в воду канул... Жив ли?.. Вероятнее всего, что умер, может быть, убит... казнен... я не знаю, что с ним. Это меня сильно огорчало, но время... я уже привык к мысли, что Рено нет. А иной раз вдруг и придет в голову: «А может быть, он еще вернется! Может быть, еще придется с ним увидеться — жив он...»

— Бедный Рено! — со вздохом проговорила Таня. — Я тоже хочу думать и буду думать, что он еще жив и что мы еще его увидим. Я не могу забыть, разлюбить его, я ему стольким обязана!

— Да, мы действительно ему многим обязаны, — сказал Сергей, — хоть он совсем не такой человек, каким мы его считали в наши юные годы. Я, да ведь и вы тоже, Таня, мы чуть не молились на него, мы считали его светильником разума — в этом мы ошибались. Тех достоинств, какие мы в нем видели, в нем вовсе нет; но перестав преклоняться перед ним, мне кажется, я полюбил его еще сильнее. Со всеми своими слабостями, ошибками, заблуждениями наш Рено был хорошим человеком, честным и искренним, без всякого лукавства.

— И он любил нас, — добавила Таня.

— Да, он любил нас, — повторил Сергей, — и вы знаете, что последнее желание его перед разлукой с нами было, чтобы окончилось наше недоразумение.

Таня вспыхнула.

— Вот мы о нем вспомнили, — продолжал Сергей, и глаза его заблестали, — мы о нем вспомнили и будем же, в память нашего милого учителя, так же искренни, так же прямы, как он бывал всегда, не будем тянуть, не будем хитрить, подойдем прямо к нашему вопросу и так или иначе решим его. Таня, отвечайте мне — случайно ли теперь сошлись мы с вами? Должны ли опять разойтись навсегда? Или эта новая встреча после стольких лет не случайная, но неизбежная и уже разойтись нам не придется?

Таня сидела совсем побледневшая и молчала.

— Таня, да взгляните же на меня, взгляните прямо, отвечайте...

Но она не поднимала на него глаз. Прошло несколько мгновений, тяжелых, показавшихся Сергею необычайно длинными. Он заговорил снова:

— Да, конечно, вы имеете право не отвечать мне... конечно, я кругом виноват перед вами и не смею по-настоящему требовать от вас ответа, не смею возвращаться к прошлому...

Вдруг что-то дрогнуло в лице Тани, и по этому побледневшему, будто застывшему лицу мелькнула тень тоски и страдания.

— Зачем же в таком случае вы требуете моего ответа, — проговорила она, — зачем вы возвращаетесь к тому, что должны были считать поконченным?

— Потому что я не могу иначе, — страстно ответил Сергей, — потому что, несмотря на все сознание моей вины перед вами, я считаю эту вину искупленной долгими годами невыносимой жизни, даже и не жизни, потому что я не жил все это время. Поверьте, я не преувеличиваю и не фантазирую, я серьезно говорю вам, что все эти годы — это было что-то странное, отвратительное, это было какое-то чистилище и вдобавок без надежды на рай. Но теперь у меня явилась эта надежда, я вас вижу, и я не могу не спросить вас: достаточно ли было мое искупление, заслужил ли я наконец то, что потерял по собственной вине, но уже искупленной?

— Я вас не понимаю, — проговорила Таня, — о каком чистилище вы говорите? Неужели действительно во все эти годы, что мы не видались, вы не были довольны вашей жизнью? Неужели вы захотите уверять меня, что все это время вы думали обо мне и желали, чтобы я к вам вернулась?

— Да, да, я именно это хочу сказать вам.

— Значит, вы не были счастливы?

Сергей печально, даже как-то зло усмехнулся.

— Ни одного мгновения.

— Но считали ли вы, что между нами действительно все и навсегда кончено?

— Да, считал. На что же мне было надеяться? После ваших окончательных решений я находился в безвыходном положении. Вы знаете, что я был пленником, изгнанником, вы знаете, что никакие вести о вас до меня не доходили, я столько же знал о вас, как теперь знаю о Рено. Живы вы или нет, замужем вы или свободны, я ничего не знал. Сначала я спрашивал, мне никто не давал ответа, я не понимаю, как вы все это устроили.

Она не отвечала. Он продолжал.

— Так как же я мог надеяться на встречу с вами? Я находился в положении человека, потерявшего, похоронившего вас. Вы были для меня только воспоминанием. Но от этого воспоминания я не мог оторваться, я не мог начать новой жизни. Меня все это время неизменно и с равной силой тянуло к вашей могиле. А вы живы, вы свободны, я говорю с вами, вы воскресли, так как же мне не спрашивать, как же не ждать от вас ответа, действительно ли вы для меня воскресли?

Глаза Тани блеснули, застывшее было лицо оживилось снова, невольным движением она подалась вперед, будто хотела протянуть ему руки, но ее руки упали, и она тихим, глухим голосом прошептала:

— А о моей жизни за это время вы не спрашиваете?

— О чем же я и спрашиваю? — вскричал Сергей. — Скажите мне, как вы жили, это и будет ответом на вопрос мой.

— Как я жила? Обстоятельства этой моей жизни вам известны. Вы знаете, что, потеряв мать, я осталась одна, как есть одна на всем свете. Меня приютили... Я должна была в течение этих лет убедиться в истинной доброте цесаревича и великой княгини, в доброте, которую знают очень немногие. Я предана им всей душой, я готова за них в огонь и в воду, и это не пустые слова, но вы понимаете, что все же они мне не отец и не мать и что, несмотря на все их ласки, на всю их доброту, я все же одинока. Мои воспоминания — вот все, чем я могла жить и чем жила. К чему мне было поддерживать сношения с вами?

Если вы меня похоронили, то ведь и я вас тоже похоронила. Может быть, и я часто приходила к вашей могиле, но это не давало счастья. Я узнаю из слов ваших, что вы провели тяжелые годы, я верю вам, конечно, но в то же время изумляюсь. Я никаким образом не могла подумать, чтобы так было — хоть и изгнанник, хоть и пленник, как вы говорите, но все же ведь вы жили среди общества, у вас были постоянно серьезные занятия, вы могли найти себе цель, интерес... У меня же в этом замкнутом круге, в этом уединении монастырском всего было так мало, один день как другой, тоска приходит, справляйся с ней, как знаешь, наполняй время, чем умеешь.

— Что же вы делали, Таня?

— Что делала? Я училась, читала много, вот и все, но жизни все же не было. И в этом у нас оказалась общая доля, для меня тоже было чистилище без надежды на рай. Но вот вы сами сознаетесь, что вы виноваты были и должны были выкупить вину свою — я не сказала, чтобы вы были передо мной виноваты, вы сами считаете себя виновным. То есть, может быть, были минуты, давно, тогда, когда я была ребенком почти, может быть, тогда я и находила в вас вину, но эти минуты были так давно, я совсем их позабыла, но все же вы сами считали себя виновным и хоть в этом-то могли найти некоторую долю успокоения. У меня же этого не было.

Сергей сидел, опустив голову, внимательно, всем существом своим вслушиваясь в слова Тани. Но вот он перебил ее.

— О, как вы горды, Таня! — сказал он. — В этом-то и вина ваша. Вы испортили себе жизнь вашей гордостью.

Она взглянула на него изумленно и вопросительно.

— Гордостью? В чем же моя гордость?

— Разве не от гордости вы меня тогда оставили? Разве я не говорил вам, не умолял вас? Вы не видели истины слов моих и моих уверений, что та женщина, о которой я без ужаса не могу и теперь вспомнить, была сном, кошмаром, дьявольским наваждением, что вам нечего было ее бояться. Вашей обязанностью было не покидать меня, спасти меня от этого наваждения. Вы это и хотели сделать, да вы и спасли меня от нее, а потом будто сами испугались своего доброго дела и покинули меня и испортили и мне, и себе жизнь. Вот до чего мы договорились. Я начал с искренним сознанием вины моей, но теперь в первый раз в течение этих долгих лет вижу, что ошибался, что клепал

на себя. Вот вы меня до чего довели! — повторял он, волнуясь все больше и больше. — Нет, я не виноват перед вами, а вы передо мной виновны! Виновна ваша ужасная гордость! Вы говорите, в монастырском уединении жили, учились, читали, думали. Чему же вы учились? Что читали? О чем думали? Ну, тогда, оставив меня в самые ужасные минуты, удовлетворив вашу гордость, как потом-то... потом вы не победили ее? Ведь вы знали, вы должны были знать, что вам стоит меня кликнуть, и, несмотря на все, я разорву мои цепи и буду у ног ваших; но гордость вам мешала. Ваша гордость не исчезла с годами, а росла в этом уединении, вот вы предпочли и мне, и себе испортить жизнь. Таня, мы договорились: вы никогда не любили меня, потому что где есть любовь, там не может быть гордости.

Таня схватилась руками за голову и как-то странно, недоумевающе, изумленно, отчаянно повторила:

— Я... не любила вас...

Она хотела сказать еще что-то, но вдруг замолчала, и Сергей услышал горькое, вырвавшееся рыдание. Она плакала, закрыв лицо руками.

— Что с вами? Зачем вы плачете, Таня? Ради Бога успокойтесь! Разве я оскорбил вас? Клянусь, я не хотел этого!

Он бросился перед ней на колени, старался оторвать от лица ее руки. Но она все плакала, неудержимо плакала, сквозь рыдания повторяя:

— Оставьте... это пройдет... я сейчас успокоюсь... Я сама не знаю, что со мною.

Он грустно отошел от нее и ждал. Она действительно скоро совладала с собой, отерла глаза, прошла несколько раз по комнате, остановилась перед ним и положила свою руку на плечо его.

— Serge, — сказала она тихим, совсем прежним голосом, который так и отдался у него в сердце, — оставьте меня теперь, умоляю вас. Уезжайте и вернитесь только тогда, когда я сама позову вас. Вы явились моим обвинителем, и ваши обвинения тяжки... Я должна одуматься, должна разобраться в самой себе, чтобы отвечать на эти обвинения. Подождите, дайте мне успокоиться, дайте мне самой решить много вопросов, и тогда будем говорить. До свиданья, Serge. Ждите, я скоро позову вас.

Он глядел на нее, старался прочесть в ее лице то, чего она не договаривала. Но ее прелестное лицо, хранившее следы недавних слез, было особенно непроницаемо. Он мог в нем заметить только одно, что она приняла какое-то решение, одно из своих неизменных решений, против которых нельзя было спорить. К тому же он сам ясно видел, что теперь действительно говорить не о чем, нужно успокоиться.

Он не думал, что сегодняшнее свидание их так кончится, он не думал, что станет обвинять ее, а между тем теперь он не намерен был взять назад ни одного слова. Он был совершенно, как и всегда, искренен с нею.

Да, пусть успокоится!

И быстро простясь с Таней, он уехал из Гатчины.

XXI. ТЯЖЕЛЫЕ ВОПРОСЫ

По отъезде Сергея Таня осталась крайне взволнованная и пораженная. Она предчувствовала уже в этот день, что между ними произойдет, наконец, решительное объяснение, ждала этого объяснения с невольным восторгом и нетерпением. Она знала, что ненадолго хватит ее решимости и сдержанности, рекомендованных ей цесаревичем, знала, что томить дольше Сергея не будет в силах и прямо наконец скажет ему истину, скажет, что им только жила, его только и ждала в течение долгих лет и что теперь уже не отпустит его от себя.

А между тем вот ведь ничего этого не случилось; объяснение произошло, и результат его был совсем неожиданный: из обвиняемого и прощаемого Сергей внезапно превратился в обвинителя. И какие тяжкие обвинения!..

Она сама виновата во всем, она испортила жизнь и себе, и ему, отравила и его, и свою молодость, во всех этих бесплодных, мучительных годах она, и только она одна, была виновата...

Счастливая, полная жизнь возможна была давно, и она уничтожила эту возможность, отказалась от этой жизни. Однообразное уединение, существование среди бестелесных туманных мечтаний, вечное ожидание апофеоза волшебной сказки, в который часто поневоле не верилось... всему этому она причиной — и, мало того, Сергей пошел дальше, он произнес странные, непонятные, дикие слова, он ей сказал, что она поступала так, потому что не любила его... Она его не любила! Что же лишило ее тепла и света в самые лучшие, юные годы, что бесследно и бесплодно унесло ее первую молодость, что чуть не с детства сделалось ее сутью, преобладающим ее чувством, как не эта любовь? И он говорит, что она его не любила!

О, какая неблагодарность! Какая клевета!

Зачем же она прямо не сказала ему, что он клеветник и неблагодарный? Зачем она не заставила его ужаснуться его собственных слов, отказаться от них, просить за них прощения?

Она не сделала этого потому, что он поразил ее как громом, потому что в его словах, в этом обвинении, ей вдруг послышалось что-

то совсем особенное и тем более ужасное, что это что-то вовсе не походило на неблагодарность и клевету. Но ведь не могло же в таком обвинении заключаться правды!

Ее сердце ныло, ее мысли путались, она чувствовала себя пораженной, ослабевшей, она должна была прийти в себя, очнуться, понять, что такое случилось, что значили эти странные слова его, что такое в них заключается, кроме клеветы и неблагодарности.

Она уже не могла сказать ему теперь того, что сказать собиралась, она не могла, как еще недавно мечтала, на груди его, у его сердца выплакать все свои слезы, рассказать ему всю тоску этих долгих лет, все ожидания, — она могла только попросить его удалиться...

Его нет — она одна.

Что же такое все это?

Долго не могла Таня успокоиться, собраться с мыслями, она рада была, что в этот день, за отсутствием великой княгини, у нее мало домашних дел, что она может сколько угодно оставаться в своих комнатах, запереться, никого не видеть.

Она так и сделала, она бродила из угла в угол по комнатам, потом принималась за книгу, бросала ее и опять начинала бродить. Потом, наконец, легла в постель, закрыла глаза, но не спала, а долго лежала в полузабытии, в бездумьи, с ощущением большого, давно уже незнакомого ей утомления. Ей тяжело было подняться, тяжело было пошевелиться, тяжело было думать.

Мало-помалу это полузабытие перешло в сон. Таня спала, как спит человек после чрезмерной работы, чрезмерной усталости. Этот сон укрепил ее, восстановил нарушенное равновесие ее телесного и духовного организма. Когда она проснулась, были уже сумерки. Она не слыхала в своем крепком сне, как к ней стучали, как ее звали к обеду, потом опять приходили и звали ее, и изумлялись, что такое с нею.

Она поднялась с постели и сразу почувствовала, что сон освежил ее, что теперь она может думать, может решить все вставшие перед нею вопросы. Но действительность на этот раз отвлекла ее, она должна была говорить с людьми, объяснить им, почему заперлась. Она получила записку от великой княгини, поручавшей ей сделать кое-какие распоряжения.

Она аккуратно, как и всегда, исполнила все, что от нее требовалось, казалась даже совсем спокойной и бодрой.

Так прошел вечер, и она рада была, когда снова могла запереться в своей спальне, снова остаться одна и в долгую, бессонную ночь поговорить сама с собой. И она приступила к этой решительной беседе, понимая, что подобная беседа несравненно важнее того объяснения с Сергеем, которого она ожидала так трепетно...

Чем окончится эта беседа? Во всяком случае, от нее зависит теперь окончание волшебной сказки. Среди ночной тишины и молчания, нарушаемых только редкими, далекими окликающими часовых, Таня вспоминала и переживала каждый день своей жизни с той самой минуты, когда она встретила с Сергеем в беседке деревенского парка. Она сходила в самые сокровенные тайники своего сердца, твердо решила подвергнуть строгому, беспристрастному допросу свое чувство и на каждый вопрос свой, на каждое воспоминание отвечала: «всегда любила и люблю его!»

Он был первый человек, первый мужчина, заставивший ее убедиться, что на свете есть нечто, о существовании чего она прежде не знала и никогда не думала, что среди любви к близким, окружающим ее людям, которой много она с детства в себе чувствовала, есть особенная привязанность, не имеющая ничего общего с остальными привязанностями, несравненно их сильнейшая. В этой привязанности все ново и особенно в ней мало спокойствия, много тревоги, волнений, сладости и боли. И это-то самое чувство, которое с неожиданной, внезапно прорвавшейся силою испытала она тогда, в беседке, когда руки Сергея сжимали ее руки, когда она в первый раз почувствовала его новый, не братский поцелуй на губах своих, это самое чувство она испытывала в течение всей своей жизни каждый раз, когда сходилась с Сергеем, когда о нем думала. Это самое чувство внезапно возникало в ней и заслоняло собою все другие чувства и помышления, неудержимо влекло к тому же Сергею и тогда, когда он был далеко, когда она даже думала, что он уж больше к ней не вернется, что он навеки для нее потерян.

Однообразна была жизнь ее, но все же она встречалась с другими мужчинами и сознавала, что производит на них сильное впечатление своей красотой, она сознавала и видела, что некоторые из этих мужчин готовы будут при первом малейшем намеке с ее стороны, при первом ее ласковом взгляде и слове искать сближения с нею, искать ее любви. Великая княгиня даже указывала ей на некоторых как на женихов. Но

каждый раз она возмущалась, и каждый раз, когда она видела, что человек, который мог бы быть женихом для нее, заглядывается на нее, начинает за ней ухаживать, она уходила сама в себя, она, всегда одинаково простая и ласковая, превращалась в неприступную, становилась горделива и отталкивала от себя холодностью человека, против которого до сих пор ничего не имела, который ей даже нравился, был приятен. Она вдруг даже ожесточалась, и в то же время в ней поднималось снова знакомое, томительное и сладкое чувство, и опять рисовался ей образ далекого, быть может, навсегда для нее потерянного Сергея, и она со слезами простирала руки к этому неосязаемому образу, звала его.

В ее здоровой и сильной природе было много огня и страсти, внутренний огонь жег ее, потушить его было невозможно, а заставить гореть ровным и благотворным светом мог только один человек — и человек этот был Сергей... Только теперь Таня увидела то, к чему до сих пор относилась бессознательно, существования чего не замечала, — она увидела всю ненормальность своей монашеской жизни, своего гатчинского затворничества. Ей вспомнились эти горячие бессонные ночи, когда она в огне, почти в бреду, призывала далекого Сергея и шептала ему страстные речи, и обнимала мечту, таявшую в ее объятиях. И часто возвращалась к этому призраку, вызывала его и так, наконец, сжилась с ним, что уже почти позабывала о существовании вещественного, живого Сергея. Что же, может быть, она любила только призрак?..

Но вот предсказания волшебника исполнились, живой Сергей явился перед нею, и все, что было в ней страсти, проснулось с новой силою, она едва владела собой, она готова была боготворить этого человека. Она находила его неизмеримо выше, дороже ей, милее и роднее прежнего Сергея, о котором осталось одно только воспоминание, а также и Сергея ее мечтаний, знакомого ей призрака. Решив вопрос, что она всегда любила только его, она решила вместе с тем и другой вопрос, что теперь она любит его горячее и больше, чем когда-либо, что теперь она уже не выпустит его, не отдаст его, готова за него бороться до смерти.

Итак, одно из страшных обвинений Сергея было устранено.

Таня успокоилась. Но оставалось другое, не менее страшное — обвинение в гордости, из-за которой она будто бы сама создала себе

неестественную для нее, монашескую жизнь, и испортила жизнь дорогого и теперь обожаемого ею человека. Таня вернулась мыслями к своей поездке в Париж, к своему твердо принятому решению покинуть Сергея в ту самую минуту, когда вечное соединение их должно было совершиться. Она хорошо помнила, какое подавляющее впечатление произвела эта ее решимость тогда не только на Сергея, но и на всех близких, окружавших ее людей, на покойницу мать, Рено и карлика.

Каждый по-своему старался всячески упросить ее переменить гнев на милость, простить Сергея, не оставлять его. Мать даже плакала и все повторяла:

— Я чувствую, что с ним может быть твое счастье; выйдешь за него — и я умру спокойно, буду знать, что ты в хорошую семью попала, где тебя не обидят... А что молодой человек глупостей наделал — так мало ли что, ведь он тебя любит, посмотри ты на него... ты его несчастным делаешь...

Карлик, в полном отчаянии, считал Сергея особенно виноватым, был возмущен против него, но в то же время убеждал Таню только попугать, задать острастку, а потом простить:

— Не то что же это такое будет, золотая моя, — говорил он плаксивым голосом, — ведь ты, матушка, всем чертям его отдаешь! Спаси ты его душеньку!

Рено говорил многословно и красноречиво; Рено что-то говорил ей о гордости (и он тоже о гордости!), но она не вслушивалась в слова его, она была поглощена своим горем, своим решением, никто теперь не мог иметь на нее влияния.

А сам Сергей? Он молчал, он уж под конец ни о чем и не просил ее, он был уничтожен, подавлен и, как преступник, ждал решения своей участи. И она, чуть не крича от страдания, задыхаясь от душивших ее слез, все же осталась непреклонной, простила с ним холодно, обещала ему свою неизменную дружбу, обращалась с ним милостиво, с полным сознанием своей высоты и его падения — и покинула его. Она думала, думала до последнего времени, что ее поступок был чуть ли не самым лучшим, высоким поступком в ее жизни, она считала себя героиней, гордилась собой, своей решимостью, своим страданием, считала Сергея виноватым и наслаждалась мечтами о том, как она простит его, как она будет всегда

велика перед ним, как он будет чувствовать все ее великодушие и всю свою вину перед нею.

«Ведь ты сам пришел ко мне и обещал мне вечную любовь, потом изменил мне для женщины недостойной; я спасла тебя, я тебя простила и поверила тебе снова, и вдруг явилась эта фурия, этот демон, и ты при мне, спасшей тебя, любившей тебя, простившей, при мне, на глазах моих, кинулся к ней, простирал к ней руки, ты оскорбил меня так, как только можно оскорбить женщину; я не имела права унижаться более, я ушла — и что же я сделала? Вместо того, чтобы забыть тебя, вместо того, чтобы полюбить другого и счастливо устроить свою жизнь с человеком, который бы лучше, быть может, оценил меня, — я думала о тебе, непрестанно любила тебя все так же, ждала тебя, отдала этому ожиданию свою молодость, лучшие свои годы, и, когда ты пришел снова, не имея уже на меня ни тени права, я опять и опять прощаю тебя и люблю тебя, и соглашаюсь быть твоею!»

Вот что мечтала она сказать ему, и невольно представлялось ей, как он упадет перед ней на колени в сознании ее безграничного великодушия, ее святости. А он пришел и говорит ей, что она виновата во всем, что она взяла на себя чуть ли не убийство и самоубийство, он не говорит ей о великодушии и святости, о ее беспримерном геройстве, он обвиняет ее в тяжком грехе, в гордости... Неблагодарный клеветник! Хоть бы другой кто, а то кто же... он ее в этом обвиняет!.. Неблагодарный клеветник!

Но ведь вот же она не посмела сказать ему этого, она только смутилась, ужаснулась, расплакалась и просила его удалиться, чтобы дать ей время очнуться. Эта клевета и неблагодарность сразили ее, но не оскорблением, а просто ужасом, и в этом ужасе с первой минуты было сознание его правоты и своей греховности. Потому-то она так и мучилась, так и томилась после его отъезда. Но теперь, придя в себя, она ясно видит, ясно чувствует и понимает, что он был прав, что нет в ней ни великодушия, ни святости, нет подвига и геройства, а есть страшная гордость, что действительно этой гордостью испортила она лучшие годы и его и своей жизни. Она видит теперь, сколько невозвратного времени потеряла в ложных мечтаниях, видит, как она уходила все дальше и дальше от действительности, как эта действительность искажалась перед нею.

Но теперь она наконец все понимает. Далекие тяжкие события являются перед нею уже в новой окраске, и видит она, как с каждой минутой умалается и умалается вина перед нею Сергея, как с каждой минутой яснее и яснее выступает необдуманность ее тогдашнего поступка и грех ее дальнейшей гордости...

Хоть и однообразная, хоть и мечтательная, уединенная жизнь началась для нее после того времени, но все же эта жизнь прошла не даром; размышления, рассуждения и серьезное чтение заставили ее понимать многое такое, чего она прежде, будучи еще почти ребенком, не понимала — и видит она теперь, что этот демон, эта страшная женщина, никогда не могла стать навсегда между ней и Сергеем; и видит она, что правы были и ее покойная мать, и карлик, и Рено. Должна она была их послушаться, их, ее лучших друзей, более ее опытных, более ее знавших жизнь. Да и не то, не их она должна была послушаться, должна она была послушаться своего сердца, которое страдало тогда и немолчно кричало ей, что она любит Сергея, что она не может спокойно и счастливо жить без него и потому не должна уходить от него.

Вот он сказал ей, что она могла, когда хотела, вернуться к нему, и не только вернуться, а просто кликнуть его, что она знала, с каким счастьем, с каким восторгом он откликнется на этот зов. Знала ли она это? Да, конечно, она иногда это чувствовала, надеялась на это — ведь этим и жила она; наконец, у нее всегда была возможность убедиться: она обещала Сергею свою дружбу и ни разу не написала ему, скрывала тщательно от него свою судьбу. Она вступила в заговор против него, она слушает советов своего нового друга, цесаревича — это он виноват во всем, он утверждал ее в гордости, он толковал ей о том, что все придет в свое время, что Сергея следует подвергнуть испытанию, он повторял ей:

— Держитесь, не падайте духом, будьте сильны, и сказка окончится благополучно.

Он во всем виноват! Но нет, зачем она станет винить его? Он сам горячий мечтатель; как она в эти последние годы, так и он всю жизнь жил в области, созданной его воображением; он желал ей добра, но он не мог понять чужого ему дела, дела ее сердца. Зачем она слушалась его больше, чем своего сердца, зачем она верила чужим людям, когда должна верить только своему чувству, говорившему ей всегда правду?..

Ей уже некого было обвинять.

«Да, всему виною моя гордость, — наконец прошептала она, окончательно сдаваясь. — О, как я несчастна! О, как я преступна! В каком я была ослеплении!»

Она схватилась за голову и долго, не шевелясь, сидела на своей кровати, не мигая, смотря в одну точку и ничего не видя среди полумрака, окутавшего ее скромную девическую комнату и едва озаряемого слабым светом лампы, зажженной перед иконами.

«О! Как я виновата!» — отчаянно повторила она.

И вдруг неудержимые слезы полились из глаз ее, и долго она плакала, и многое она оплакивала. Она оплакивала каждый день этой сумрачной, бесполезно, как ей теперь казалось, прожитой ею жизни, проведенной в этих тихих стенах, оплакивала каждый день, уносивший ее юность, ее свежесть. Чего не дала бы она теперь, чтоб только воротить потерянное, загубленное время, — но его не веротишь! Как нужно теперь торопить счастье, пришедшее так поздно... Но пришло ли оно?..

Этот новый, неожиданный вопрос заставил болезненно забиться ее сердце.

«Пришло ли, стою ли я этого счастья? Не наступает ли теперь наказание за мою гордость? Вернулся ли он ко мне? Увижу ли я его? Быть может, он вернулся только затем, чтобы открыть мне глаза, чтобы показать мне всю мою вину и затем уйти от меня навсегда, оставить меня для нового тяжкого наказания?.. Но ведь я уже наказана и так, всеми эти годами я наказана... А то, что я заставила его перенести?..»

Таня вздрогнула. Она молила Бога, молила судьбу сжалиться над нею, она клялась всю жизнь свою посвятить на то, чтобы заставить его забыть это тяжелое время. Ее отчаяние мало-помалу улеглось, снова явились бодрость, надежда.

«Нет, он мой теперь, я не отдам его, я сделаю его счастливым, я заставлю его забыть все, я ворочу потерянное время!..»

XXII. У ПОРОГА

Если слова, так неожиданно и внезапно вырвавшиеся у Сергея, поразили Таню, заставили ее очнуться и понять свою ошибку, понять то, чего она так долго не понимала, то на самого Сергея они не произвели никакого впечатления, — он высказал то, что ясно представилось ему в минуту, когда он говорил; он увидел впечатление, произведенное на Таню, понял его, и, когда она попросила его удалиться, дать ей время одуматься, он исполнил это беспрекословно, потому что нашел, что так и надо, иначе быть не может, и что все идет самым лучшим для него образом.

Он возвращался из Гатчины в Петербург в самом счастливом настроении духа, все его сомнения, все опасения теперь разлетелись; он знал, что Таня непременно скоро позовет его и сама уже скажет ему, чтобы он не покидал ее теперь никогда.

Он обвинял ее в гордости, сказал ей, что она его не любила, но по впечатлению, произведенному на нее его словами, да и, наконец, по каждой минуте их свиданий, с самой встречи, он убедился, что теперь-то уж она его любит. Если бы не любила, не такова была бы их встреча, не таковы были бы их свидания... этих свиданий совсем бы не было. Она его любит, она теперь плачет и мучится... Пускай поплачет, пускай помучится и поймет, как нехорошо было томить его и себя в течение этих бесконечных лет. Но теперь-то уж ненадолго слезы и мучения, теперь все кончено, старое прошло невозвратно, оно забудется очень скоро, и не придется даже вспоминать о нем. Старое прошло — началось новое, и в этом сознании для Сергея заключалось столько счастья, что он не способен был оглядываться, вспоминать, упрекать и терзаться... Увидев Таню после многолетней разлуки, услышав ее голос и почувствовав пожатие руки, он понял, просто и ясно, до какой степени она нужна для счастья его жизни, и если сама она любит его, в чем он теперь уже не сомневается, то о чем думать, зачем копать в старых ранах?

Теперь они навсегда закрылись...

Да, он снова живет, он весел и доволен, чувствует такой прилив силы и радости, так все кругом него прекрасно и мило, так он все

любит, так всем наслаждается... Чего еще больше? Бывало, целые дни проходили в тупой тоске, в отвращении к жизни, все было противно и казалось ненужным, надоедливym — теперь все нужно, все дорого. Вот он едет по знакомой дороге, и каждая минута приносит ему новые наслаждения: он любит и свою удобную, новую карету, в которой так уютно ему сидеть, рессоры которой так нежно и приятно его подбрасывают; он любит и своего кучера на козлах, и этот четверик кровных лошадей; он интересуется каждым встречным человеком, каждым деревом и камнем, попадающим по дороге. Все это так весело, так хорошо, — так интересно.

«О, как славно жить на свете!» — думается ему, а ведь уже давно этого не думалось, напротив — постоянно думалось другое: «как невыносимо, как тяжело жить на свете!»

И это радостное настроение не проходило, а все увеличивалось по мере того, как Сергей подъезжал к Петербургу. Вернувшись к себе домой, он так и сиял. Он позвал карлика.

Тот, как взглянул на него, так и понял, что случилось что-нибудь хорошее; а что это хорошее, он отлично знал, он знал, зачем Сергей Борисыч, почитай, каждый день ездит в Гатчину, кого он там видает.

«Слава тебе, Господи, — мысленно повторял карлик. — Наконец-то дождались, окончились наши мытарства! Слава тебе, Господи милосердый, что довел меня дожить до такой радости!»

— Что прикажешь, батюшка Сергей Борисыч? — пропищал Моська, лукаво посматривая на своего господина.

— А вот что, Степаныч, ведь я за хлопотами своими до сего дня и дома-то нашего не обошел как следует, все в этих вот комнатах толкался; пойдем-ка посмотрим — все ли на месте, сохранно ли?

— Что же, пойдем, коли твоей милости угодно, — изумленно ответил карлик. — Да я и так могу доложить тебе, что все в исправности, я-то ведь уж каждую вещь осмотрел, все на своем месте, как перед отъездом нашим было, так и осталось; да, батюшка, как же иначе ему и быть — ведь не чужих, а своих людей оставили, так они за барским добром должны были наблюдать. Да и что это ты, погляжу я на тебя, Сергей Борисыч, просто ныне не узнать тебя! Где это видано, что тебе до твоего добра дело есть? Вот сколько лет живу с тобою, знаю ведь уж тебя — ну, скажи, сударь-батюшка, как перед Богом скажи правду: я так полагаю, что ты, к примеру вот, до сей поры

не ведаешь, сколько у нас там в Лондоне комнат было, какие вещи. Что мы привезли с собой, что оставили... Так я полагаю, что обобрали бы, обворовали дочиста, так ты как есть ничего не заметил бы!..

Сергей улыбнулся.

— Правда, Степаныч, правда, ничего не помню, убей Бог, не могу себе представить моего лондонского дома!.. Кабинет вот помню, залу, гостиную, желтую гостиную, еще помню спальню мою, ну, а что там дальше... да я там и не бывал никогда. Сколько там у нас было комнат?

— Сорок покоев, сударь, у нас было. Да я это к тому, что теперь-то как это тебе вздумалось?

— А так, Степаныч, там все чужое было, в чужом месте, а этот дом мой, мой собственный, отцовский, все мое, от дедов и прадедов доставшееся, вот и хочу осмотреть... Дома я, Степаныч, вот что!

— Вестимо, теперича мы дома, — радостно повторил карлик. — Пойдем, батюшка, по всем уголкам проведу тебя...

И весь день, до самого вечера, Сергей занимался осмотром своего дома, в первый раз в жизни находя в этом занятии интерес и прелесть. Петербургский дом Горбатова был полною чашею, много в нем было собрано дорогих родовых вещей, и теперь каждый предмет получил для Сергея интерес и значение, он любовался каждой вещью, вспоминал ее, старался догадаться о ее происхождении. Теперь он в первый раз понял значение своей родной, родовой обстановки своего гнезда и невольно урывками мечтал о том, как хорошо будет устроить это богатое, теплое гнездо, где наконец начнется его семейная жизнь с дорогой хозяйкой. Карлик, хотя и ни о чем его не расспрашивал, отлично понимал его мысли и ощущения.

«Пришло наше время, — думал он, — оперился Сергей Борисыч, вить гнездышко собирается!..»

XXIII. ЛОВУШКА

Хотя в эти последние дни императрица и была занята исключительно своими семейными делами, но ведь в основе этих дел лежала политика, международные отношения, а потому она, естественно, отрываясь от переписки с великой княгиней, от мыслей о судьбе «малютки», обращалась к дипломатическим сношениям с западноевропейскими дворами. Она внимательно выслушивала доклады президента иностранной коллегии, князя Зубова, доклады, составлявшиеся графом Морковым и по большей части плохо подготовленные Зубовым. Императрица давно уже привыкла к легкомыслию, а подчас и полной бестолковости созданного ею государственного человека. Она и не замечала этого легкомыслия и бестолковости, потому что сама все сразу схватывала на лету, усваивала; таким образом, весьма нередко не Зубов был ее докладчиком, а она сама докладывала ему дело и объясняла.

Во время одного из подобных докладов, когда вопрос коснулся Англии, Екатерина вспомнила о приезде Горбатова.

— Ах, Боже мой, — сказала она, — как я становлюсь рассеянна и беспамятна! Я совсем было забыла, что хотела принять Горбатова и поговорить с ним. Пожалуйста, извести его, что я его жду к себе завтра утром, часов в десять, думаю, что это будет для меня самое удобное время!

Зубов поморщился. Он сумел заставить императрицу быть невольной пособницей его мелочного мщения; сумел представить ей в самых черных красках поведение Горбатова за границей, его дуэль, которая, по его уверениям, оказывалась чуть ли не государственным преступлением. Он сумел в течение восьми лет не пускать его в Россию и был совершенно уже уверен, что от прежнего благорасположения к нему не осталось и следа, что императрица отнесется к нему теперь безразлично и холодно, как к человеку не нужному и ничтожному, с которым нет и не может быть ничего общего.

А между тем он видел, вот уже третий раз, что она чересчур внимательно относится к этому человеку. Он уж окрестил Сергея

многозначительным в то время именем «вольтерьянца» и теперь решился своевременно и раз навсегда уничтожить его в глазах императрицы.

— Мне трудно понять, — сказал он, вызывая презрительную усмешку на губах своих, — какой интерес, ваше величество, можете извлечь из разговора с этим человеком?

Екатерина с изумлением подняла на него глаза.

— Как, какой интерес? Горбатов не глуп, он столько времени прожил в Англии, вращался постоянно там в самых влиятельных сферах и, конечно, сообщит мне такие подробности, каких недостает в получаемых нами официальных донесениях, — живой человек всегда лучше бумаги.

— Далеко не всегда, смотря по тому, каков человек и какова бумага. Я позволю себе заметить, что ваше величество, как мне кажется, ошибаетесь в этом человеке.

— Я... ошибаюсь?.. Но почему же?.. Да и, наконец, мой друг, я даже своего мнения о нем еще не высказала вполне. Что он не глуп, это говорят все, кто его знают, об этом свидетельствуют и его начальники. Я знаю, что вы его недолюбливаете, между вами когда-то давно была какая-то ссора, но оба вы тогда были почти дети, пора забыть это... И, пожалуйста, не огорчайте меня — при вашей доброте и благородстве вашего характера вы должны стоять выше каких-нибудь мелочных счетов.

На щеках Зубова вспыхнул легкий румянец.

— У меня нет никаких счетов с господином Горбатовым! — проговорил он. — Да если бы и были — я о себе не думаю; но я обязан постоянно и неизменно помышлять о том, чтобы вы, государыня, по излишней доброте вашего сердца и доверчивости не были обмануты недостойными людьми; от этого ведь могут иногда пострадать даже государственные интересы.

Он произнес слова эти с напыщенной важностью. Екатерина усмехнулась.

— Государственные интересы! — повторила она. — Я что-то не понимаю этого. Да и вообще излишней доброты и излишней доверчивости во мне нет; но вы начинаете говорить так загадочно, что я прошу вас объясниться. Разве вы узнали что-нибудь особенное про Горбатова? Наверно, какая-нибудь сплетня!

— Вовсе не сплетня! Дело в том, что если я решился взять на себя какую-нибудь обязанность, то считаю своим первым долгом заботиться о том, чтобы исполнить ее как следует. Я президент иностранной коллегии, а потому имею точные сведения о всех дипломатических чиновниках, слежу за их деятельностью. Члены каждого из наших посольств мне более или менее известны. Я стараюсь не утруждать ваше величество всякими мелкими делами и потому, конечно, не сообщаю многого, что может быть легко улажено. Поэтому до сей поры не сообщил я вам и того, что господин Горбатов, хотя и не занимая особенно важного места в лондонском нашем посольстве, но имея большие средства, завел связи в лондонском обществе. Тут, конечно, нет еще ничего предосудительного и, напротив, для наших интересов могла быть и выгода; но он пользовался своими связями никак не в нашу пользу, а, напротив, во вред нам. Потому-то я и был доволен его возвращением в Россию.

— Горбатов старался нам вредить? — изумленно проговорила Екатерина. — Да чем же? И, право, это на него не похоже, я его хорошо знала восемь лет тому назад — он был таким благородным молодым человеком.

— Восемь лет — много времени! В восемь лет человек может измениться! Я не знаю, под влиянием каких людей находился он по выезде из России, но как бы то ни было, это опасный мечтатель, проповедник разрушений... вольтерьянец!

— Горбатов — вольтерьянец?

— К несчастью, да! Мои сведения идут из верного источника. И согласитесь, ваше величество, что подобные люди не к месту на русской службе.

— Вы не обманываетесь? В вас говорит не раздражение?

— Во всяком случае, это раздражение заговорило только с той минуты, когда я окончательно убедился в недостойном и вредном направлении этого господина. Вот почему я и нахожу, что ничего интересного ваше величество не извлечет из разговора с ним.

— Да, если так, — раздумчиво проговорила Екатерина, — это очень, очень жаль! Горбатов — вольтерьянец! Не ожидала я... и, во всяком случае, это надо еще проверить. Может быть, у него есть враги, которые его оклеветали перед вами. Я полагала, что увлечения его юности прошли, полагала, что он, как человек способный, будет нам

теперь полезен... Да нет же, право, мне трудно поверить, нужно расспросить хорошенько людей, которые ближе, чем мы с вами, знают его.

— Кого же расспрашивать? Его родственников? Льва Александровича Нарышкина? Родственники выдавать его не станут, да и наконец он так долго отсутствовал, что его здесь не знают; он, вероятно, осторожен и не станет проговариваться в Петербурге даже и перед родственниками. Я доставлю вашему величеству самые убедительные доказательства истины слов моих, доставлю в скором времени, а пока прошу вас, государыня, быть с этим человеком осторожнее.

Екатерина сделала нетерпеливое движение.

— Я сама знаю, как мне нужно быть с ним, и теперь вижу, что мне необходимо скорее с ним увидеться и разглядеть его. Передайте же ему, что я его жду завтра в десять часов.

Екатерина перешла к другому разговору и, по-видимому, совершенно забыла о Горбатове. Но по уходе Зубова она несколько минут сидела в задумчивости. Ей вспоминался юноша, поразивший ее своей детской чистотою и в то же время возвышенностью мыслей, своею образованностью и серьезностью, которые она так редко встречала среди светской молодежи. И этот человек поддался вредным влияниям, этот человек, если верить Зубову (а она так привыкла ему верить), питает враждебные замыслы!.. Но кто же виноват в этом, однако?..

Она не стала останавливаться на этом вопросе, ее ждали другие дела, другие заботы — и она отдалась им.

XXIV. НЕОЖИДАННОСТЬ

К вечеру того же дня Сергей получил повестку, извещавшую, что государыня примет его в десять часов на следующее утро. Совершенно поглощенный мыслями о своем новом благополучии, в близком осуществлении которого для него не оставалось никакого сомнения, он собирался на эту аудиенцию хладнокровно, глядел на нее только как на неизбежную формальность.

А между тем, уже входя в покои, которые занимала императрица в Таврическом дворце, он почувствовал некоторое волнение. Он отошел от своей внутренней сердечной жизни, и на него снова нахлынули те разнообразные ощущения, которые он испытывал в самые первые дни своего возвращения в Петербург, во время разговора с Нарышкиным, в приемных Зубова и во время воскресного выхода во дворе.

Екатерина приняла его в своей небольшой рабочей комнате безо всяких формальностей. Она была одна, и когда он вошел в комнату, то увидел ее сидевшей в кресле у письменного столика; на ней был неизменный утренний капот, в руке она вертела табакерку, памятную ему табакерку, с портретом Петра Великого. Яркий свет, падавший из окна, вблизи которого помещался письменный столик, озарял лицо Екатерины. Сергей невольно вздрогнул, разглядев лицо это. Уж и на выходе она показалась ему очень постаревшей и изменившейся, теперь же перемена оказывалась гораздо еще более значительной. Это было совсем увядшее, старое лицо; даже светлые глаза, после ночи, проведенной почти без сна, в беспокойных мыслях, казались потухшими. Она сидела несколько сгорбившись, с выражением не то усталости, не то сильного нездоровья.

— Здравствуйте! — проговорила она и протянула Сергею для поцелуя руку.

Он бережно взял эту руку и приложился к ней почти с тем ощущением, с каким прикладывался к руке покойника, — в этом чувстве было и благоговение, и жалость, и нечто тяжелое...

— Садитесь, — сказала Екатерина тихим голосом, указывая ему на стул, — побеседуем. Я давно собиралась повидаться с вами, да столько дел... не могла вот все удосужиться.

Она пристально взглянула на него, и вот в ее утомленных глазах вдруг мелькнула прежняя живость и прежняя проницательность. Она тоже поразилась переменой, происшедшей в Сергее. Она опять, как и вчера после разговора с Зубовым, вспомнила свежего, ежеминутно красневшего юношу, на руку которого когда-то опиралась, возвращаясь в тихий вечер с прогулки по замолкнувшим аллеям царскосельского сада. Теперь от этого юноши ничего не осталось; перед нею был окончательно сложившийся человек, и бледное, красивое лицо его с двумя-тремя преждевременными морщинами на высоком лбу говорило ей о невесело проведенной молодости. Но на этом красивом, тонком лице, сохранявшем родовые черты длинного ряда предков, почти всегда являвшихся среди различных событий русской истории, с признаками благородного и горделивого характера, Екатерина напрасно искала того, что думала найти в нем после разговора с Зубовым. Ее проницательный взгляд решительно не мог в нем подметить никакой враждебности, никакого смущения, никакой фальши. Екатерина чувствовала, как в ней воскресают прежняя симпатия и прежнее доверие к этому человеку. Она бессознательно улыбнулась ему тихой старческой улыбкой и потом, оживившись, стала его расспрашивать о том, что ее интересовало и на что он мог ей ответить как живой свидетель.

Сергей мгновенно позабыл эту поразившую его в ней перемену. Он видел перед собою умную и тонкую женщину, не ограничивавшуюся расспросами, но вставлявшую то и дело свои замечания, в которых всегда сквозило большое понимание предмета, критический ум, ясность мысли и блестящее остроумие. Скоро он сам оживился, всякое смущение и неловкость были позабыты, он говорил много, он рисовал ей смелыми красками жизнь английского двора и высшего общества, представлял характеристики интересовавших ее политических деятелей. Она слушала все с возрастающим вниманием, по-видимому, совершенно довольная своим собеседником, и оба они не замечали, как шло время.

Но вот предмет беседы начал истощаться, оживление государыни проходило. Сергей видел в ней уже не просто умную собеседницу, а свою государыню: он сдерживался и обдумывал каждое слово.

— Благодарю вас, — сказала Екатерина, — вы сообщили мне много интересного, и я очень рада, что многие мои предположения

оправдываются или по крайней мере подтверждаются вашими личными наблюдениями.

И в то же время она подумала:

«Он умен, наблюдателен... и тот же, прежний, благородный образ мыслей!.. Неужели он лукавит?.. Ведь ни разу не проговорился!..»

Она, и увлекшись разговором, следила за ним, за его тоном, за малейшими оттенками, какие он придавал словам своим, — и ровно ничего не указывало ей на то, что перед нею вольтерьянец, человек с вредным образом мыслей, человек, враждебный интересам России, как она их понимала.

— Теперь скажите вы мне о себе, — продолжала она, — каковы ваши личные планы? Желаете вы вернуться в Англию или остаться в России?

Грустная и несколько насмешливая усмешка невольно скользнула по губам Сергея.

— Ваше величество, — сказал он, — в течение семи лет моей заветной мечтою было вернуться в Россию и уж никак не для того, чтобы ее снова покинуть...

Екатерина заметила эту усмешку и немного поморщилась. Незачем было возвращаться назад, это повело бы только к ненужным длинным объяснениям, он мог сам хорошо понять это...

— Если вы желаете остаться в России, — проговорила она, — то, я полагаю, к этому не может предвидеться никаких затруднений; дело вам и здесь найдется, мне нужны способные люди. Или, может быть, вы желаете переменить службу? Скажите мне прямо, мы это обсудим.

— Ваше величество, — отвечал Сергей, — относительно службы у меня нет никаких желаний. Я вовсе не высокого мнения о своих способностях и ни на что не рассчитываю. В ответ на милостивые слова ваши я в настоящее время могу только просить вас позволить мне хоть временно освободиться от каких бы то ни было служебных обязанностей. Мне необходимо подумать о своих личных делах, оглядеться...

— Что же, разве вы хотите совсем выйти в отставку? Зачем же это? Я понимаю, что у вас могут быть по возвращении в Россию после столь долгого отсутствия различные семейные дела и тому подобное. Пожалуйста, устраивайте их; вам будет дан отпуск на какое хотите время.

И вдруг она что-то вспомнила, сообразила и снова внимательно взглянула на него, а на губах ее появилась улыбка, тонкая, привлекательная улыбка прежнего времени.

— Я не спросила вас еще об одном: ведь вы единственный представитель вашего рода, вам пора подумать о том, чтобы род этот не угас, пора думать о женитьбе.

Сергей смутился, он никак не ожидал подобного вопроса. Во время разговора Екатерина несколько раз, несмотря на всю свою внимательность к нему и милостивое обращение, придавала своим словам некоторый оттенок холодности. А в этом вопросе и в тоне, каким он был сделан, уже не было холодности, напротив, сказывалось такое отношение к нему императрицы, на которое он никак не рассчитывал. Она же, со своей стороны, сделала этот вопрос совсем неожиданно для себя, она была так занята сама все это время брачным вопросом... Все это вышло невольно, просто и естественно. Во всяком случае, следовало отвечать.

— До сих пор мне не было никакой возможности жениться, — проговорил Сергей. — Теперь же, ваше величество, придется подумать об этом.

— Да, подумайте, вам пора жениться.

Но тут она окончательно позабыла разговор с Зубовым, все сомнения, родившиеся в ней относительно Сергея. Она все вспоминала прежнее, совсем было позабытое ею время. И эти воспоминания заставили ее принять с Сергеем совсем уже новый, милый тон, при котором окончательно забывалась величественная императрица и оставалась только женщина. С каждой секундой она все более и более отдалялась от настоящего и уходила в прошлое. Вот вспомнилась ей во всех мельчайших подробностях ее прогулка под руку с Сергеем по береговой дорожке царскосельского озера, вспоминалась тогдашняя ее тоска, сердечная тревога и молодое мечтательное лицо ее спутника. Понимал ли он в тот вечер ее мысли и чувства? Ее что-то кольнуло в сердце, ей захотелось в чем-то оправдаться — не то перед ним, не то перед самой собою.

— А ведь давно-таки мы не видались! — сказала она тем задушевным голосом, который в ее устах был памятен Сергею и когда-то возбуждал в нем к ней чувство благоговейного юного обожания. — Давно не видались, я вот совсем состарилась, да и вы теперь уже

далеко не юноша. Опять повторяю: пора вам жениться. И знаете, что я вспомнила? Одну из последних бесед наших восемь лет тому назад. Да, так... Это восемь лет тому назад было! Помните, я была нездорова и вышла пройтись вечером в сад, думала освежиться; думала, что никто не помешает моей прогулке... и вдруг столкнулась с вами; но вы мне нисколько не помешали, напротив, я так утомилась, вы мне помогли тогда дойти. Право, вы были совсем ребенком, вы мечтали под соловьиные песни, и я заставила вас проговориться. Видите, я клеплю на себя — у меня все еще хорошая память! Я узнала от вас, что вы влюблены, что у вас где-то там, в деревне, невеста. Может быть, это очень нескромно с моей стороны, но я старуха — старость, как и юность, бывает любопытна. Однако я не из простого любопытства спрашиваю, а из участия к вам... Куда делась эта ваша невеста и ваша любовь к ней?

Сергей был изумлен. Он мог ожидать чего угодно, только не этого. Екатерина заметила его изумление. Однако он должен был отвечать, а правду ему отвечать не хотелось.

— Ваше величество, — наконец проговорил он, — меня глубоко трогают слова ваши, я и надеяться не смел на такое с вашей стороны милостивое участие. Но мне трудно отвечать на вопрос ваш, с тех пор столько прошло жизни...

Он не знал, как кончить начатую фразу. Екатерина сама помогла ему.

— Столько прошло жизни, — перебила она его, — столько встречалось женщин, что та юная любовь давно забыта... Конечно, я должна была сама догадаться об этом... Теперь вы встретите здесь прекрасных девушек, — они без вас выросли. Вам будет из кого выбрать, и когда выберете которую-нибудь, скажите мне: я буду вашей посаженной матерью. Как старая бабушка, я очень люблю свадьбы!

— Я не нахожу слов благодарить ваше величество, — пробормотал Сергей, все продолжая изумляться.

— До свиданья же! — сказала Екатерина, протягивая ему руку.

Выходя, он думал: «Как она изменилась! И зачем она так говорила со мною?»

Ему было тяжело. Этот тон, это милостивое внимание возвращали его к прежнему времени. А между тем он не мог забыть восемь лет

безрадостной жизни вдали от родины, не мог забыть и Гатчины, где его ждали, может быть, в настоящую минуту.

В соседней комнате Сергей чуть не столкнулся с Зубовым, но тот шел быстрыми шагами, опустив голову и глядя себе под ноги. Он сделал вид, что совсем не замечает Сергея. Он боялся, что если тот и поклонится ему, то, во всяком случае, не таким поклоном, к каким он уже давно привык. И дал Сергею возможность совсем не поклониться.

Только что Зубов вошел к императрице, она живо заговорила:

— Вот вы и оказались неправы, я долго беседовала с Горбатовым, и сама убедилась, что вы неправы. Теперь для меня не может быть сомнения, что ваши известия ложны и выдуманы его врагами. Он сообщил мне много интересного и, уверяю вас, он порядочный человек, неспособный на измену — вольнодумства в нем тоже никакого не заметила.

Лицо Зубова перекошилось. Неужели ему приходится бороться с этим Горбатовым, как с равным себе?..

— А он не сообщал вашему величеству, — проговорил Зубов, делая ударение на каждом слове, — не сообщал он о том, как весело проводит теперь время в Гатчине?

— В Гатчине?

— Да, каждый день с раннего утра туда ездит.

— Что ему делать в Гатчине?.. Что общего?

— Не знаю, но, вероятно, общего много. И уж эти-то мои сведения, я надеюсь, вы не заподозрите в неверности... Это-то ведь уже легко проверить.

— Да, конечно, легко, я спрошу великую княгиню...

Какая-то тень мелькнула по лицу Екатерины. Она поморщилась и резко спросила его:

— Есть ли у вас какие-нибудь новости по нашему делу? Видели вы вчера вечером короля?

— Видал.

— Расскажите, пожалуйста!

XXV. ТОНКИЙ ДИПЛОМАТ

Герцог Карл Зюдерманландский с очевидными признаками волнения ходил взад и вперед по своему кабинету в доме шведского посольства.

Если петербургские жители, восторженно встречавшие дорогих гостей, бывали поражены ничуть не величественным, а скорее ничтожным видом герцога, то теперь, взглянув на него, вряд ли бы кто мог удержаться от улыбки. Чувствуя устремленные на себя взгляды толпы, герцог все же придавал себе некоторую важность, под пышным нарядом старался скрыть недостатки своей фигуры. Теперь же у себя, наедине с самим собою, ему нечего было заботиться о внешности. Домашний костюм без всяких знаков отличия выставлял всю угловатость этого маленького, более чем некрасивого человека. К тому же теперь на подвижном лице его, которому он в обществе умел по желанию придавать всевозможные выражения, отпечатавались волновавшие его мысли и чувства. Он то как бы в недоумении моргал глазами и приподнимал плечи, то потирал себе лоб указательным пальцем и вертел перед собою рукою, то очень комично сжимал губы, то хитро улыбался, то пригорюнивался. Он походил на обезьяну, на хитрую обезьяну, поставленную в затруднительное положение и искавшую из него выхода.

Он действительно был поставлен в затруднительное положение и должен был все осмотрительно обдумать, чтобы выпутаться из неприятных для него обстоятельств и уяснить себе свои дальнейшие ходы. Для него наступило такое время, когда нужно было держать ухо очень остро, чтобы не очутиться на мели, чтобы не потерять всего, что было им приобретено отчасти случаем, отчасти мелкой, дешевой хитростью. Пройдет несколько недель, и своенравный мальчик потребует от него уступки всех прав, всего значения, какими он до сих пор пользовался. И он знал заранее, что этот своенравный и холодный мальчик не выразит ему благодарности за годы его регентства, что он просто-напросто спихнет его с занимаемого им места и затем, если и не будет стараться вредить ему, то, во всяком случае, никогда не позаботится об его интересах...

— Да нет, конечно, и вредить будет! А по какому праву? — вдруг разводя руками, выпрямляясь и чуть не становясь на цыпочки, прошептал герцог. — По какому праву он столкнет меня и сядет на трон шведский? Этот трон моя законная собственность, а не его, потому что он не сын моего брата!.. И вот я должен уступить Швецию этому бесправному ребенку только потому, что брату угодно было, неизвестно по каким соображениям, признать его своим сыном. Да, я вижу хорошо теперь, что следовало выяснить истину тотчас же после кончины брата, а теперь это уж трудно, неловко, чересчур рискованно!

Он предался поздним сожалениям. Дело было в том, что мысль о разоблачении истины уже не в первый раз приходила ему в голову; напротив, она приходила именно тогда, когда, как он решил сейчас, было самое время поднять вопрос о законности происхождения Густава IV, то есть немедленно после трагической смерти короля. Он тогда в первую минуту готов уже был решиться на это; но затем тотчас же одумался. Его остановили не уважение к королеве, не любовь к мальчику, остановила его трусость. Густав III был изменнически убит во время маскарада. Герцог Карл боялся королевского титула, ему показалось безопаснее прикрыться за малолетним королем — менее ответственности, а власти столько же. К тому же этот мальчик был мягким воском в руках его, и ему казалось, что он мог вылепить его в какую угодно форму и не бояться даже времени его совершеннолетия, оно ни в чем не должно было изменить их отношений. Но теперь он ясно видел, что сильно ошибся в этих расчетах. Мальчик вышел совсем не таким, каким он желал его видеть, — мальчик становился ему поперек дороги.

Что же предпринять? На чем же остановиться, чтобы обезопасить свое будущее, для того чтобы в один прекрасный день по капризу взбалмошного ребенка не оказаться в безвыходном положении?

В течение своего регентства герцог достиг одного — он обеспечил себя материальными средствами, успел скопить очень даже значительную сумму. Он был неразборчив, не щекотлив и, как рассказывали тогда люди, которым не доверять не было основания, принял, например, четыре миллиона от французской директории. Он во все время своего регентства только и думал о том, как бы дороже, как бы выгоднее продать свои ненадежные услуги. Этими расчетами объяснялся и его странный образ действий с Екатериной по поводу

сватовства племянника. Но все его хитрости все же завершились тем, что он, помимо своей воли, по капризу племянника, очутился в Петербурге и теперь должен был окончательно решить вопрос о браке короля с великой княжной.

И он видел, что нечего ему было восставать против этого брака, вооружать против себя императрицу, напротив, хорошо, что дело так повернулось, — племянник, не подозревая этого, оказал ему важную услугу. Екатерина, по-видимому, позабыла все прежние недоразумения, она убеждена, что все зависит от него, герцога, поэтому его так и ласкают. Он может воспользоваться обстоятельствами, приготовить себе здесь отступление в случае невзгоды. Он может заручиться благодарностью русского двора.

«Да, нужно женить их непременно, это будет самое лучшее, — решил наконец герцог. — Мальчик, кажется, влюблен, но на его страсть нельзя полагаться. Теперь я внушил ему, чтобы он не поддавался на ласки, чтобы он не делал больших уступок — и вот уже он начинает ломаться, привередничать. Это хорошо! Извлечем как можно больше выгод из этого брака, благо, что его здесь так желают. Дело поставлено так, что нас не могут выпустить, следовательно, надо воспользоваться этим. Пусть Штединг с компанией требуют как можно больше для Швеции. А... я буду требовать как можно больше для себя. Но этот брак необходим, в этом не может быть сомнения!»

И только что герцог решил это, как в дверь его кабинета тихонько постучали. Он отпер — ему доложили о приезде князя Зубова.

— Просить, просить! — оживленно, крикливым голосом приказал герцог.

Вошел Зубов во всем блеске своей красоты и расшитого мундира. Он стал извиняться в том, что потревожил герцога, но объяснял свой визит необходимостью окончательно установить некоторые пункты в деле, которое их так занимает. Герцог рассыпался в любезностях и принял на себя добродушный вид.

— Ах, Боже мой, — говорил он, — да неужели вы до сих пор не видите, что этот брак составляет мою мечту, мое самое горячее желание. Если у меня прежде и могли быть какие-нибудь сомнения, то теперь этих сомнений не может быть с тех пор, как я здесь, с тех пор, как я имел удовольствие, имел счастье лично познакомиться с императрицей и другими членами ее августейшего семейства. Да и,

наконец, помимо моих человеческих чувств я хорошо знаю, что родственный союз с Россией нужен для Швеции. Мне кажется, я уже ясно высказал все это как императрице, так и вам, князь, и повторяю еще раз только потому, что мне кажется, будто вы не вполне доверяете моей искренности.

— О, ваше высочество, я вполне доверяю ей, иначе и быть не может. Но согласитесь, несмотря на всеобщее наше желание устроить как можно скорее это дело, мы до сих пор еще не решили его окончательно. А между тем пора — вы сами знаете, что пора. Ее величество не любит проволочек, она, как вам, конечно, и самим известно, воплощение решительности, энергии. Она так все ясно видит и, раз решив вопрос в своем уме, любит тотчас же и приступить к исполнению его на деле. Вы могли убедиться в искренности ее чувств и в ее твердом желании способствовать всеми мерами к тому, чтобы Швеция считала себя совершенно удовлетворенной. До сих пор ее величество не отказала вам ни в одном вашем требовании, она согласна принять на себя все обязательства, которые вы выставили. Таким образом, остается только один вопрос, по-видимому незначительный, но которому вы, однако, придаете первостепенное значение. Я говорю опять о том же, о чем говорил с вашим высочеством в последний раз, — о вероисповедании великой княжны, и теперь мы должны окончательно решить этот вопрос. С нашей стороны тут не может быть уступки, этому не было примера, великая княжна не может и не должна отказаться от вероисповедания, в котором родилась и в которое крещена. В течение этой недели необходимо назначить обручение; но ведь вы хорошо знаете, что обручение может быть только тогда, когда этот вопрос будет решен в окончательной форме. Итак, ваше высочество, я жду вашего прямого ответа для того, чтобы передать его моей государыне!

Глаза герцога так и забегали. Он пожевал губами, поморгал глазами и, наконец, ответил;

— Вы сейчас сказали, князь, что вопрос незначительный и что это я его выставляю на первый план. Мне кажется, вы немного ошибаетесь. Если его кто выставляет на первый план, то это не я, а вы — на мой взгляд, он не более как второстепенность. Вы хотите вписать этот вопрос огненными буквами в брачный контракт, и в этом-то заключается, как мне кажется, ошибка. Если его нельзя обойти, то не

следовало бы выставлять его на первый план, тогда все обошлось бы безо всякой помехи. Никто в Стокгольме и не стал бы упрекать великую княжну за то, что она молится по обрядам своего вероисповедания; от нее имели бы только право требовать, чтобы она не относилась с пренебрежением к нашим религиозным обрядам и обычаям. Конечно, она не стала бы этого делать и никаких недоразумений не могло бы произойти. Но вы непременно желаете, чтобы прежде всего на вероисповедание невесты — будущей королевы Швеции — было исключительно обращено внимание как вашего, так и нашего народа. Таким образом мы сталкиваемся с народными воззрениями...

— Иначе и быть не может, — перебил его Зубов, — если бы вы больше знали Россию, как из ваших же слов оказывается, и шведский народ вовсе не индифферентен в этом отношении. Одним словом, ваше высочество, рассуждать и спорить нам тут нечего, нужно решить — да или нет!

Герцог развел руками.

— Все, что в нашей власти, будет исполнено.

— А в вашей власти — все! — сказал Зубов. — Это дело зависит от короля, а вы, его уважаемый дядя и регент, имеете на него такое влияние!..

— О! Вы в этом очень и очень ошибаетесь, — крикнул регент, — прежде, может быть, я и имел на него влияние, когда он был ребенком, теперь же он совсем от рук отбился. И мне даже очень грустно, если императрица находится в таком заблуждении относительно моих отношений к племяннику. Если бы я имел больше на него влияния, то нам теперь не о чем было бы рассуждать, все было бы исполнено по желанию ее величества. А в этом-то и дело, что тут не я, а он, и от меня не все зависит, как вы говорите.

— Так постарайтесь, ваше высочество, и главное, не теряйте времени, потому что в нашем распоряжении дня два, три — не больше. Неужели это дело, которое теперь так далеко уже подвинуто и в необходимости которого мы все так уверены, не состоится?

— О, это было бы ужасно! — с пафосом воскликнул герцог.

— Да, это было бы ужасно! — повторил Зубов. — Поэтому вы должны решительно повлиять на вашего племянника, если до сих пор не сделали этого. Вот вы говорили мне, ваше высочество, о том

впечатлении, которое произвела на вас императрица и ее семейство, я со своей стороны могу вам засвидетельствовать, что впечатление это взаимно, что вы можете рассчитывать на искреннюю дружбу государыни, и она никогда не откажется доказать вам ее самым очевидным образом. Вам известно, что я пользуюсь доверием государыни, она часто откровенно беседует со мной, и то, что я теперь говорю вам не фразы, а вещь очень серьезная. Но позвольте мне, ваше высочество, на мгновение отойти от интересующего нас вопроса, позвольте мне не в качестве лица официального, а в качестве частного человека, искренне вам преданного, высказать некоторые мои соображения?

— Ах, князь, я так рад буду выслушать все, что вы мне скажете!.. Поверьте, я так ценю и уважаю вас! — любезно говорил герцог Карл, пожимая Зубову руки.

Зубов едва сдерживал презрительную усмешку, почти даже брезгливо отвечал на рукопожатие герцога и заговорил довольно неумело, делая ударения на некоторых словах, но, очевидно, проникнутый сознанием своей тонкости, своих дипломатических способностей.

— Я возьму на себя смелость указать вашему высочеству, что настоящий ваш приезд в Петербург может и для вас лично доставить немало выгод в виде тех отношений, установившихся между вами и государыней и которые, надеюсь, не будут нарушены. Мы живем в тревожное время, и вы знаете это лучше, чем мы, потому что только Россия гарантирована от смут, происходящих почти во всей Европе. Швеция уже отчасти попала в водоворот, вы испытали следствия этого. Чувствуете ли вы, уверены ли вы, что и впредь не может повториться то, что было? Да и, наконец, я уже не стану говорить о политической безопасности, о политических неприятностях, которым вы можете подвергнуться. Уверены ли вы, что у вас не может быть неприятностей другого рода, каких-нибудь столкновений с вашим племянником?

Герцог широко раскрыл глаза, но тотчас же почти совсем закрыл их и приготовился жадно ловить каждое слово Зубова. Между тем Зубов остановился на несколько мгновений — он припоминал урок, данный ему Екатериной, припоминал все, что он должен был сказать герцогу, чтобы окончательно заморозить его.

— Вот вы изволили упомянуть о том, что молодой король начал выходить из-под вашего благотворного влияния... — вспомнив, начал он.

— Да, это правда, — прошептал герцог.

— Следовательно, необходимо нам быть вполне обеспеченными от разного рода случайностей, от разных недоразумений. Брак великой княжны с королем представляет в этом отношении уже значительные гарантии, ибо ее влияние на супруга всегда будет в вашу пользу. Она, подобно своей августейшей бабке и своим родителям, окажется вам самой преданной родственницей. Наконец, я позволю себе говорить совсем откровенно, в случае каких-нибудь временных недоразумений вы всегда найдете здесь, в России, в Петербурге, в лице государыни и ее семейства, самых преданных друзей. Затем вы можете сблизиться с Россией еще больше!

Зубов остановился и наблюдал за впечатлением, которое произвели его последние слова. Герцог слушал его очень внимательно, наклонившись вперед и то и дело моргая глазами, а при последнем слове даже привскочил на своем кресле.

— Каким образом? — невольно проговорил он.

— Мне кажется, конечно, это только мое мнение, — протянул Зубов, — мне кажется, что титул вашего высочества несколько не будет унижен, если к нему будет прибавлен титул великого герцога Курляндского?

Герцог Карл вторично привскочил на своем кресле. Об этом он еще не думал, этого он не ожидал, Зубов открывал ему новые горизонты. Конечно, он говорил неспроста. Так вот та награда, которая его ожидает. Благоприятные обстоятельства сами идут ему навстречу. Ведь вот только что перед приездом Зубова он сам все решил, а теперь оказывается, что он прав, более чем прав. Да разве он когда-нибудь ошибается? Он так хитер, дальновиден, так умен! Да, нужно устроить этот брак непременно. Да, он уедет из России вполне успокоенный насчет будущего.

— Ну, мой дорогой князь, — проговорил, он, принимая равнодушный тон, — то, что вы сейчас сказали — это фантазия, я об этом никогда не думал. Перейдемте же к нашему делу. Передайте ее величеству, что я не имею минуты покойной, пока все благополучно не кончится. Я сегодня же переговорю с племянником и все меры

употреблю, чтобы заставить его на все согласиться. Сегодня вечером или, самое позднее, завтра утром я напишу вам. Да, в течение этой недели необходимо обручить их. Будьте спокойны, я уверен, что никаких новых осложнений и недоразумений уже не будет.

Он говорил теперь таким уверенным, решительным тоном. И даже не подозревал этот хитрый, дальновидный человек, что с головою выдает себя Зубову.

В начале разговора оказывалось, что он ничего не может, что все зависит от короля, а король вышел из-под его влияния, теперь же он уверял, что никаких недоразумений больше не будет.

Если бы Зубов был поумнее и повнимательнее, он бы потом мог вспомнить эту внезапную перемену, все подробности этого разговора; но он ни о чем не задумывался, он спешил только теперь известить государыню, что дело улажено, что магические слова возымели свое действие. Он простился с герцогом и помчался в Таврический дворец, где с нетерпением ждала его Екатерина.

XXVI. ОПАСНЫЙ СОПЕРНИК

Зубов так спешил, что даже не заметил, отъезжая, как с ним повстречалась карета, из которой на него выглянуло хорошо знакомое ему лицо и тотчас же скрылось, очевидно, не желая быть им замеченным. Карета остановилась у подъезда шведского посольства, и через минуту герцогу Карлу докладывали об английском посланнике Чарльзе Витворте. Герцог поморщился.

«Чего ему от меня нужно? Почти каждый день стал являться... и главное, мне-то он уж совсем теперь не нужен... Все решено, и отступить от решенного было бы глупо».

А между тем не принять лорда было неловко. Витворт пользовался в Петербурге большим почетом. Он был принят при дворе самым лучшим образом, успел обворожить всю петербургскую знать, находился с Зубовым в дружеских отношениях, угождал ему, когда было нужно. У него была давно установившаяся репутация очень ловкого дипломата, и до сих пор он всегда отлично устраивал свои дела.

По приезде молодого шведского короля и регента в Петербург он, еще прежде знавший герцога Карла, тотчас же явился, успел оказать шведам несколько приятных услуг, да и сам герцог Карл счел необходимым обласкать его, так как с Англией все же необходимо было поддерживать добрые отношения, в особенности в случае неприятного оборота дела с Россией. Теперь герцог Карл полагал, что обстоятельства изменились, но, несмотря на свое нерасположение, он все же счел необходимым немедленно принять посланника. Он встретил англичанина совсем не в таком настроении духа, в каком встречал перед тем Зубова. Теперь маленький герцог был оживлен, сиял удовольствием, глазки его то и дело самодовольно и лукаво щурились.

— Очень рад, любезный лорд, видеть вас. Что нового?.. Не сообщите ли мне какое-нибудь интересное известие? Садитесь, пожалуйста... вот сюда, тут вам будет удобнее.

Он указал ему на покойное кресло.

Лорд Витворт был человек еще далеко не старый, прекрасно сохранившийся, имевший всегда такой вид, как будто бы он только что вышел из холодной ванны. От него дышало свежестью, здоровьем. Сухое, малоподвижное лицо его было всегда розового цвета, светлые глаза ясно и холодно блестели, губы были сложены в неопределенную улыбку. Движения его были плавны, медленны, и только иногда казалось, что он чувствует как будто некоторое затруднение сгибать руки и ноги и поворачивать туловище. Впрочем, в нем не было никакой угловатости и резкости, вообще он производил приятное впечатление и нравился многим женщинам. Лорд опустил в указанное ему кресло, подогнул одну ногу, принял свою обычную позу, которой никогда не изменял, и, откинув голову в сторону и с улыбкой глядя на герцога, проговорил несколько густым, хотя звучным голосом:

— О, ваше высочество, какие же у меня новости! Я к вам явился за новостями, так как теперь все здешние новости сосредоточены в руках ваших. Не сообщите ли мне что-нибудь? Как идут дела, улаживаются ли недоразумения, о которых вы изволили говорить мне в последний раз?

Герцог решил, что скрывать ему особенно нечего, да и потом захотел посмотреть, какое впечатление произведут слова его на англичанина.

— Конечно, каждый день приближает нас к окончательной развязке, — сказал он.

— Благополучной? — процедил Витворт.

— Надеюсь. Ведь если мы сюда приехали, то, разумеется, не с целью уехать, не решив в утвердительном смысле того, за чем приехали. Эта поездка была сопряжена с большими затруднениями — мы их преодолели. Затруднения встретились и здесь — и их преодолеть необходимо... необходимо решиться на некоторые уступки... Какое же дело может устроиться без взаимных уступок!

— Но, судя по словам вашим, — заметил Витворт, — я полагал, что вопрос о вероисповедании будущей королевы шведской не такая уступка, на которую легко решиться. Это, действительно, вопрос первой важности: такое или иное решение его может повести к значительным последствиям. Я полагал, что, во всяком случае, придется уступить императрице, а между тем не далее как вчера еще князь Зубов говорил мне, что в этом смысле с русской стороны

уступок быть не может. Так неужели вы решились, ваше высочество?.. Это крайне важно и интересно.

— Приходится решиться, — сказал герцог, пожимая плечами.

— И Зубов уже получил ваш окончательный ответ? — на мгновение оживившись, но тотчас же снова и застывая, спросил англичанин.

— То есть... ведь это же не от меня одного зависит. Решить должен король... я обещал Зубову... я постараюсь... Тянуть с этим дольше нельзя, так как дня через три, четыре должно совершиться обручение.

И говоря это, герцог думал:

«А, любезный друг, тебя все это сильно затрагивает за живое! И понимаю я, как тебе должно быть это неприятно. Но все твоё красноречие пропадет даром — ведь из-за того, что Швеция породнится с Россией, не может же Англия объявить нам войну!»

Витворт несколько мгновений сидел в задумчивости. Но вот глаза его засветились, на губах показалась и исчезла улыбка. Он успел в несколько свиданий и разговоров хорошо разглядеть герцога Карла, он видел, что с этим человеком нечего особенно церемониться. Он понял, что регент с удовольствием продаст и Швецию, и своего племянника тому, кто больше за это предложит. Он решился не церемониться и говорить прямо.

«С этим человеком незачем даже хитрить, с ним не нужно быть умным!» — презрительно подумал он, в то время как лицо его выражало добродушную любезность.

— Я от души желаю, — сказал он, — чтобы все ваши начинания увенчались полным успехом, чтобы важные уступки, на которые вы теперь решились, оказались действительно полезными, но, откровенно говоря, я не могу избавиться от чувства некоторого недоверия к тому, что эта уступка так неизбежна.

— Помилуйте, — отвечал герцог, — я сделал все, что мог, но теперь наконец вижу, что уступить необходимо, потому что в противном случае брак не может состояться. А если мы уедем, не устроив этого дела, то нам грозит разрыв с Россией.

— Вряд ли! Императрица очень осмотрительна, и теперь ей крайне невыгодно начинать военные действия с кем бы то ни было из западных соседей — её взоры устремлены на восток. Она упорно

мечтает об Азии. Я понимаю, что лично вам, ваше высочество, не следует ссориться с здешним двором, но ведь вы не отвечаете за короля — он накануне совершеннолетия. Вы сами сейчас сказали, что можете только просить его, а дело от него зависит, — представьте себе такой случай, что, несмотря на все ваши увещания, король не согласится на уступку, и дело расстроится.

— Нет, я не могу допустить этого, — даже с некоторым испугом проговорил герцог. — Если бы так случилось, меня во всем бы обвинили и все обрушилось бы на меня. Мое положение вообще очень затруднительно, мое будущее не обеспечено, и прямо говорю вам, я должен заручиться дружбой императрицы, к которой со своей стороны питаю большое уважение.

— Благодарю вас, что вы так откровенно говорите со мною, — сказал англичанин, — благодарю вас за доверие — оно и мне дает возможность прямо высказать мои мысли.

Витворт, истый дипломат, следовал по пути Зубова. Человек дальновзоркий и человек легкомысленный — оба увидели, что к герцогу Карлу нет другого пути...

— Я понимаю, — говорил Витворт, — что положение вашего высочества заставляет вас думать о будущем, но какие же гарантии может вам представить Россия?

Какие гарантии! Он отлично знал — какие, потому что не далее, как вчера вечером, в дружеской беседе, Зубов проговорился ему, что намерен пленить регента обещанием великого герцогства Курляндского. Он отлично понял, что об этом именно был перед этим разговор между регентом и Зубовым, а сияющее лицо Зубова, спешившего из шведского посольства в Таврический дворец, сказало ему, что обещание произвело надлежащее действие.

— Какие гарантии? — повторил он. — О, ваше высочество, я знаю здешних людей лучше, чем вы, я к ним присмотрелся. Здесь имеют обычай обещать что угодно, но очень скоро забывают свои обещания, поверьте — надежно только то, что в руках. Разберемте дело: я надеюсь, что вам никогда не придется лично для себя прибегнуть к помощи России, но если бы такое несчастье случилось, что вы здесь найдете? Я говорю прямо — вы очутитесь в фальшивом положении и слишком поздно убедитесь, что значат здешние обещания. Да и, наконец, хоть императрица и крепка еще, но все-таки

годы ее немалые, мало ли что может случиться; вдруг ее не станет — что тогда?.. Уж тогда ничего не останется от ее обещаний.

Слова англичанина начинали действовать на герцога Карла. Он почувствовал некоторое беспокойство.

«А ведь он прав! Только то верно, что в руках, и гарантировать себя будет очень трудно!»

Мысль о возможности скорой кончины императрицы до сих пор не приходила герцогу в голову; теперь Витворт навел его на эту мысль, и перед ним предстал образ Павла. Павел предупредителен с ним и любезен; он, по-видимому, ничего не имеет против этого брака. Великая княгиня, не менее императрицы, желает этого брака, но ведь Павел — как говорят все здесь — изменчив, очень трудно предугадать заранее, как поступит он в том или в другом случае... Только ведь другого пути все же нет... Если не уверенность, то здесь по крайней мере все же остается надежда... а больше надежды, больше уверенности ведь не даст никто... не даст и этот Витворт.

Между тем англичанин понял его мысль и отвечал:

— Поверьте, ваше высочество, что не один русский двор искренне расположен к вам лично, не один русский двор желает представить вам доказательство этого. Я могу вам сказать одно: рассчитывайте на Англию. Если, несмотря на ваше желание и на ваши усилия, король вдруг оказался бы неуступчивым и дело о браке расстроилось бы, вы можете рассчитывать, что Англия не останется безучастной. Ввиду возможного недоразумения между Россией и Швецией, ввиду личного затруднения вашего высочества вы можете тотчас же получить от нас поддержку.

— Поддержку! Какую же? — наивно спросил герцог.

— Англия может поддерживать своих друзей только деньгами. Видите, я говорю прямо, если, паче чаяния, брачный контракт не будет заключен и обручение короля с великой княжной не состоится, в тот же час ваше высочество можете получить через меня значительную сумму, которая находится в моем распоряжении. Размер ее вы сами определите — слава Богу, наши фонды в исправности, и за лишний миллион мы не постоим, чтобы доказать вам наше истинное расположение и участие, чтоб облегчить вам затруднения, которые могли бы возникнуть у вас с Россией.

Герцог Карл сидел совсем растерянный, в нем заговорила вся его природная жадность. Он не ожидал этого предложения: оно было чересчур соблазнительно. То, что за час до этого, во время разговора с Зубовым, казалось ему величайшим для него благополучием, то теперь уже являлось в несколько ином свете. Там обещания, положим, и заманчивые, но только обещания, а здесь — прямо деньги в руки, и большие! Деньги ему очень нужны. Он собрал их достаточно, но ведь вот представляется возможность, может быть, почти удвоить свой капитал. Ведь это успокоение от всех забот и тревог! Пусть совершится самое худшее, пусть он совсем разойдется с племянником и должен будет покинуть Швецию — деньги в кармане. Европа велика, где угодно найдется прекрасный уголок... можно будет прожить в свое удовольствие. Но все же картина мирной жизни его не удовлетворяла, у него была другая еще страсть — честолюбие. Он уже привык к власти, к значению. Англия ничего этого не может дать ему.

— Ваше доброе, дружеское предложение меня сердечно трогает, — проговорил он. — Я всегда питал и питаю глубокие симпатии к вашему королю и правительству. Но разрыв с Россией!.. Мысль о том, что мои личные отношения к императрице и ее семейству будут навсегда испорчены, тяжела мне.

«Рассчитал и взвесил, — подумал Витворт, — и обещания Зубова все же перетягивают!»

— Я решительно не могу понять, — сказал он, — чего вы опасаетесь, ваше высочество. Я понимаю, что ваши личные отношения к здешнему двору могли бы испортиться, если бы вы высказались против брака, если бы вы убеждали вашего племянника быть неуступчивым — но ведь тут совсем наоборот, вы желаете этого брака, вы его уговариваете, вы делаете все, что от вас зависит, и если ваши советы, убеждения, настояния не действуют на молодого короля, кто же может вас обвинять в этом?

— А между тем обвинят, обвинят непременно!

— Да, обвинят, если заподозрят неискренность с вашей стороны, но ведь от вас зависит, чтобы этого не заподозрили. Молодой король произвел в Петербурге сразу сильное впечатление. С первого же дня я всюду слышал неисчерпаемые похвалы ему. Начиная с императрицы, он представлялся всем без исключения чудом совершенства человеческого — теперь в эти последние дни его восхваляют все так

же, но между тем среди этого восхваления я подмечаю новые ноты. Его совершенства оказываются относительными, у него уже находят недостатки: он своенравен, упрям... «Своенравен и упрям», — это слова императрицы. Вчера Зубов прямо сказал мне, что он боится его своенравия и упрямства. Видите, они сами находят это, так чем же вы будете виноваты, если опасения их оправдаются?

Герцог Карл не мог усидеть на своем кресле. Он вскочил и несколько раз нервно прошелся по комнате. Витворт открыл ему новые горизонты. Ведь он умен, этот англичанин, и он опять прав, он понимает дело, нужно только осмотрительно действовать — и можно одновременно получить и английские деньги, и сохранить русское расположение. Да, обо всем этом надо хорошенько подумать. Герцог ощутил в себе вдруг большой прилив энергии; он не думал, что так сложатся обстоятельства. Он находился все время в удрученном состоянии духа, и вот в один час какой-нибудь все изменилось. Да, Витворт открывает новые горизонты!

— Тяжелые дни, — жалобно заговорил он, — просто страшно и подумать о том, как придется вывернуться из всех этих затруднений. И вся ответственность на меня падает, а я, говорю откровенно, более чем когда-либо не уверен в племяннике. Уж если здесь эти слепые люди подметили в нем упрямство и своенравие, то что же мне-то сказать? Я знаю его со дня его рождения, я следил за ним. Вы думаете, мало усилий употребил я для того, чтобы воспитать его как следует, но есть натуры, с которыми никакое воспитание ничего не сделает. По дружбе скажу вам откровенно: мой племянник приводит меня в отчаяние, я ни в чем не могу на него положиться... И вот я говорил вам, что надеюсь на устройство нашего дела, а ведь, в сущности, я сам себя обманываю — я ни на что не надеюсь. Я буду хлопотать, но состоится ли обручение или нет — Бог знает, дня через три-четыре вы увидите это.

— Если не состоится, то я прошу только ваше высочество не забывать того, что я сказал вам. Мы горячо примем к сердцу эту вашу неприятность.

— Еще раз благодарю вас! — проговорил герцог, протягивая руку Витворту.

Тот встал, такой же свежий, розовый, с блестящими глазами, с неопределенной улыбкой, и, откланявшись герцогу, вышел из его кабинета своей мерной тихой походкой.

Оставшись наедине с самим собою, Карл Зюдерманландский опять превратился в обезьяну, как-то нелепо подпрыгнул, заметался неровными шагами по комнате, потирая себе руки. Глаза его моргали, рот кривился. Нет, это непременно нужно будет устроить, это неожиданный и лучший выход. И отчего же не устроить? «О, я проведу их всех, начиная с этой православной, мудрой императрицы! Меня никто не называет ни мудрым, ни великим, но дело не в названии... О, я оберну их всех вокруг пальца!»

И он опять с удовольствием потер себе руки. Он был очень доволен собою.

XXVII. РЕГЕНТ ДЕЙСТВУЕТ

Императрица успокоилась; ей казалось, что все затруднения наконец улажены. Из разговора великой княгини с Густавом она должна была убедиться, что молодой король, влюбленный и, естественно, желающий скорейшего соединения с предметом любви своей, не может выставить никаких препятствий, если не будет к тому вынужден настояниями своего дяди. Значит, нужно было поладить с регентом — и вот это исполнено.

Торжествующий и самодовольный Зубов объявил, что регент сдался, что он одержал над ним полную победу благодаря своему дипломатическому искусству.

Подтверждение этому не замедлило.

Шведский посланник Штединг просил особой аудиенции у императрицы и сделал формальное предложение, заявив при этом, что от великой княжны не потребуется отречение от ее вероисповедания. Императрица, едва скрывая свою радость, удовольствовалась этой фразой. Обручение было назначено на 11 сентября. Это было в понедельник, 8 сентября. Во дворце был небольшой танцевальный вечер, на котором присутствовали все члены императорской семьи, за исключением цесаревича, уже несколько дней не приезжавшего из Гатчины. Вечер казался необыкновенно оживленным, на всех лицах выражалось удовольствие, чувствовалось, что тучи, начавшие было как будто собираться в последние дни, совсем рассеялись.

Молодой король почти не отходил от своей невесты, танцевал с нею беспрестанно, шутил и смеялся. Она сияла счастьем и детской ясной красотой. Императрица, чувствовавшая себя все время очень нехорошо, внезапно оживилась, казалась такой бодрой, несколько раз в течение вечера призывала «малютку», целовала ее, говорила ей, что не будет теперь уже видеть ее грустного личика. «Малютка» улыбалась, благодарила бабушку, ласкалась к ней и опять спешила к поджидавшему ее жениху. Не меньше дочери чувствовала себя счастливой и великая княгиня, все эти дни находившаяся в Петербурге и переживавшая большое волнение. Узнав о том, что обручение назначено через три дня, она поспешно было собралась в Гатчину к

цесаревичу, чтобы успокоить его и обрадовать этой новостью. Но императрица задержала ее, сказав, что она должна переночевать здесь, с тем чтобы на следующий день утром присутствовать на завтраке, к которому будет приглашен и молодой король для свидания с невестой в семейной обстановке.

Мария Федоровна подчинилась этому требованию, и, так как танцы кончились на этот раз рано и король уже уехал, простилась с императрицей и отправилась устраивать себе ночлег. Она уже привыкла к этой бивуачной жизни, — ей приходилось ночевать то здесь, то там. На этот раз она попросила великого князя Александра Павловича уступить ей свою комнату. Она чувствовала себя утомленной; но прежде чем уснуть, ей предстояло еще исполнить одно дело. Она не могла оставить цесаревича без известия. Она присела к письменному столу и принялась писать, с тем чтобы тотчас же отправить письмо свое, — таким образом оно застанет цесаревича при раннем его пробуждении. Вот что она писала:

«Добрый и дорогой друг мой, благословим Господа: обмен обещаний назначен в понедельник вечером в бриллиантовой комнате. Он будет происходить в присутствии нашем, при детях, при посланнике, будут еще Эссен, Рейтергольм, Остерман, Зубов, Салтыков и генеральша Ливен. Свидетелем обещаний будет митрополит. Все это решилось достаточное время спустя после ужина. Обручальные кольца будут золотые с их вензелями. После обручения назначен бал в тронной зале. Ее величество поручила мне все это вам передать, любезный друг, и прибавила, что затем обрученные могут прийти к нам ужинать. Она мне сказала: „Будет ли вам достаточно времени, чтобы приехать?“ Я отвечала, что, конечно, будет, так как нам надобно всего пять часов на переезд из Гатчины...»

Великая княгиня положила перо, откинулась на спинку кресла и закрыла свои утомленные глаза.

«Ничто так не раздражает его, как эти постоянные переезды, — думала она, — но теперь он не станет раздражаться; он больше всего боялся, что, несмотря на все эти хлопоты и мучения, дело не уладится... он боялся унижений... Пусть же успокоится — с нашей стороны не было и быть не может никакого унижения, никаких излишних уступок... мы настояли на своем... О, он будет рад, будет счастлив так же, как и я...»

Она снова взялась за перо и продолжала письмо свое:

«Итак, благодаря Бога, первая половина дела сделана. Король нимало не затрудняется присутствием митрополита. Покончив с этим, императрица немного спустя подошла ко мне и приказала ночевать здесь, а завтра пригласить короля на завтрак, чтобы он мог увидаться с малюткой. Тотчас после завтрака я сяду в карету и отправлюсь прямо в Гатчину. Они явятся ко мне между 10 и 11 часами и останутся до часу. Я прикажу взять в карету холодной говядины, чтобы не останавливаться в дороге для обеда и поскорее свидеться с вами, мой дорогой друг. В час я, без сомнения, буду в карете, в пять — надеюсь быть уже в Гатчине. Король и регент в среду приедут к вам в Гатчину. Штединг все ждал вас, чтобы иметь честь вам это сообщить. Они выедут в восемь часов утра и, вероятно, приедут около часа пополудни. Надеюсь, мой милый друг, все это доставит вам удовольствие; я очень рада, сообщая вам эти добрые вести...»

Ее глаза слипались, она едва водила пером. Эти постоянные тревоги, хлопоты, все, что она испытывала в последние дни, — все это довело ее до большого утомления. Вся жизнь вышла такая тревожная — не то, так другое. Всегда что-нибудь улаживать, стараться: примирить непримиримое, всегда куда-нибудь торопиться... Прекрасное здоровье, кроткий характер, доброе сердце спасали ее. Но все же время делало свое дело — видно, силы уже не те, что прежде! Давно не испытывала она такого утомления, такого желания отдохнуть, забыться, понежиться немного... Но какой уж теперь отдых! Четыре-пять часов сна, а потом опять за дело, — нужно быть бодрой, осмотрительной, наблюдательной, нужно взвешивать каждое свое слово, каждый шаг свой!..

«Конечно, мой дорогой друг, — писала дальше великая княгиня, — вы не будете против того, чтоб я здесь ночевала, так как это приказание есть следствие счастливого устройства дела, о котором я говорила выше, за что нельзя достаточно возблагодарить Бога. Признаюсь вам по совести, что я очень устала сегодня вечером, чуть не заснула на балу. Знаете ли, любезный друг, что у меня здесь нет ничего. Александр уступил мне свою постель, генеральша (Ливен) дала ночной чепчик, и где-то нашла для меня ночная кофта. Я приказала моим камер-юнгферам, которые все в Павловске, не

приезжать сюда, а отправиться в Гатчину. Довольствуюсь Прасковьей, а за Бренной пошлю завтра утром»...

Нет, она решительно не в силах больше писать, хотя и хотелось бы еще поговорить с ним... Он там один... Всегда один! Он говорит, что так любит ее письма!.. Ей представилось мрачное и скорбное лицо мужа, этого человека, плохо понимаемого и ценимого, в котором почти все видели только недостатки и не хотели видеть добрых качеств. Но ведь она-то знала его, она умела глядеть на него совсем иначе. В ее сердце дрогнуло нежное и грустное чувство, слезы навернулись ей на глаза.

«Доброй ночи, любезный друг, — дописывала она, — спите хорошо; желала бы, чтоб уже настало завтрашнее утро для того, чтобы иметь известия о вас. Обнимаю вас от всего сердца и прошу вас хотя немного думать о вашей Маше».

В то время как великая княгиня писала это письмо, в доме шведского посольства тоже еще не спали. Молодой король и дядя-регент вели между собою беседу. Густав, еще в бальном костюме, которого он не успел снять по приезде из дворца, ходил большими шагами по комнате. Маленький герцог съезжился в кресле и не спускал глаз с племянника.

— Итак, мой друг, вас наконец можно поздравить окончательно? — говорил он. — Вы счастливы, все ваши желания исполнены. У вас будет прелестная жена, в которую вы, кажется, влюблены без памяти, до самозабвения, до ослепления...

— Влюблен! — перебил юноша, вдруг высоко поднимая голову и принимая тот неестественный, напыщенный вид, который, по его мнению, делал его как две капли воды похожим на Карла XII. — Влюблен! — повторил он. — Я не знаю, что значит это слово. Оно довольно глупо, и я полагаю, что на влюбленность я не способен. Великая княжна прелестна — думаю, вы согласны с этим? Конечно, более милой невесты мне не найти во всей Европе; но ее красота свести с ума меня не может. И вы меня оскорбляете, дядя, говоря, что я ослеплен.

Герцог лукаво усмехнулся.

— Оскорбляю! — зачем так играть словами, дорогой мой? Вы не хотите сознаться, вам неприятно слышать правду, а это нехорошо.

Конечно, ослеплены, как и всякий молодой человек в ваших обстоятельствах, и я сейчас докажу это. Насколько мне помнится, вы уверяли меня, что не дадите себя одурачить, что не сделаете никаких уступок в ущерб вашему достоинству и достоинству вашего государства. А между тем, мой друг, эти уступки уже сделаны.

— Что за пустяки, какие уступки, что такое? — перебивая его, крикнул Густав.

— Вопрос о вероисповедании вашей невесты решен так, как желала императрица, а не так, как вы желали и должны были желать. И вот как я предполагал, так и случилось, — мы пойманы, нас испугали тем, что если мы не уступим, то можем вернуться в Швецию без великой княжны. Но мы об этом и подумать не можем! Берите все, на все согласны, подавайте только нашу дорогую невесту! А что скажет вся Швеция — о том мы забываем, мы забываем нашу отечественную историю, которую, кажется, хорошо изучали; наши обычаи, освященные веками, укоренившиеся в народном понятии! Как взглянет народ на то, что на шведском престоле будет королева, исповедующая чуждую религию? До этого нет нам никакого дела. Пусть говорят все, что внучка российской императрицы снизошла до нас; но что она все же презирает страну, на трон которой восходит, не хочет быть шведкой, остается русской...

Яркая краска вспыхнула на щеках Густава. Он зашагал еще скорее.

— Какой вздор! Какой вздор! — почти кричал он. — Зачем вы это говорите? Ведь вы сами хорошо знаете, что это не так. Я желал бы посмотреть, как это нас презирают и снисходят до нас! Мы, кажется, видели противное, и вы сами очень хорошо знаете, что скорее мы снисходим, нас желают.

— Я ничего этого не знаю, — невозмутимым и твердым голосом сказал герцог. — Я знаю только, что мы уже нарушили все обычаи, приехавши сюда. Здесь для достижения нашей цели мы соглашаемся на все — и народ будет иметь полное право рассуждать так, как я говорил сейчас.

— Совсем нет. Народ не будет даже и знать, к какому вероисповеданию принадлежит она. Мы обойдем этот вопрос, вот и все. Она никогда не захочет, а если и захотела бы, то не посмеет выказать презрения к нашей религии. О, за это я вам отвечаю! И

наконец, вы говорите о моем ослеплении, вы полагаете, что я способен унижаться, что я ни о чем не думаю, кроме как о красоте ее, — и вы жестоко ошибаетесь. Не далее еще как сегодня, во время бала, я имел с нею разговор относительно религии. Когда она будет моею женою, уверяю вас, что она переменит вероисповедание. Моя воля будет для нее законом.

— Вы фантазируете, мой друг, ее отпустят именно с тем уговором, чтобы не принуждать к перемене религии, и если вы думаете это потом сделать, то возникнут большие неприятности, которых допустить невозможно.

— Это вы так думаете, дядя, а я думаю совсем иначе. Никаких неприятностей не будет, все обойдется тихо. Я сказал ей, что она во время коронации должна будет приобщиться вместе со мною.

— А, вы сказали ей это? Что же она вам ответила?

— Она ответила, что с удовольствием исполнит мое желание.

— В самом деле? Так и ответила?.. И ничего не прибавила при этом? — приподнимаясь со своего кресла и зорко глядя в глаза племянника, спросил герцог.

Густав несколько смутился.

— Ну, положим, она прибавила: «если бабушка на это согласится»...

Герцог, начинавший несколько смущаться, внезапно успокоился.

— Вот видите, а «бабушка» никогда на это не согласится...

— Да, но поймите же, ведь это теперь говорится так потому, что она еще ребенок, потому что у нее не было до сих пор иного авторитета, кроме «бабушки».

— Я очень верю, что вы окажетесь скоро высшим для нее авторитетом, но дело не в том. Очень может быть, что она будет страстно хотеть исполнить ваше желание, но она будет связана обязательствами, и если вы станете заставлять ее нарушать эти обязательства и станете сами нарушать их, то вас обвинят в неблагородном образе действий, в обмане, и вы не будете иметь никакой возможности оправдаться.

Но Густав не смущался.

— Какие обязательства? Что вы мне все говорите об обязательствах! — повторял он. — Тут только слова... Слова — и ничего больше. Мы обойдем этот вопрос. И что мы обещаем?

Обещаем, что не будет никакого насилия и никто не станет принуждать великую княжну — и так оно и будет. Принуждать ее я и не подумаю, конечно.

— А если в брачный контракт будет прямо включено это условие?
Густав остановился и сверкнул глазами.

— Они никогда этого не сделают, они должны хорошо понимать, что это невозможно.

— Им тут понимать нечего, с их стороны высказывается требование — мы на него соглашаемся. Пункт такого рода очень льстит самолюбию России и очень унижает Швецию! Конечно, они включают этот пункт в контракт — я почти не сомневаюсь в этом.

— Я бы им этого не посоветовал!

— А что же вы сделаете! Или унижение Швеции и ваше собственное унижение — или вам придется отказаться от невесты! Вот как поставлено теперь дело.

— Я и откажусь.

— Друг мой, как вы обманываетесь — это вам теперь, в разговоре со мною, кажется легким, а дойдет до дела — и вы пожертвуете всем, чтобы только не расстаться с великой княжной.

Юноша опять весь вспыхнул; но вдруг выпрямился во весь рост, закинул голову и проговорил обиженно:

— Я вижу, что вы меня мало знаете, дядя, а, кажется, могли бы знать; но теперь говорить об этом нечего. Я очень устал, и мне спать хочется... Прощайте!

Он пожал руку герцогу и вышел из комнаты. Регент долго смотрел ему вслед с радостной улыбкой.

«Не знаю я тебя, еще бы; где же мне тебя знать! Это так трудно, а я так прост!.. Но по крайней мере я знаю теперь, что мне надо делать. Да, теперь все ясно, и ошибки, кажется, быть не может!..»

XXVIII. ГРЕЗЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Великая княжна проснулась рано, все еще полная ночных грез, волшебного тумана, среди которого она заснула после вечера, проведенного с женихом. Она подумала, что уже пора вставать, так как знала, что король и герцог приедут не позже, как к часам десяти, но сквозь спущенные занавесы едва пробивался свет, солнце еще не всходило. Великая княжна тихонько зажгла свечку, взглянула на часы, прислушалась — все было тихо. Она задула свечку и легла снова, но заснуть уж не могла. Какой тут сон! Сердце так шибко бьется, мысли одна за другой стучатся в голову. Есть о чем подумать, не до сна теперь.

Разом вставали и повторялись перед нею все эти дни, неожиданные, странные, мучительные и блаженные дни, в которые все так быстро изменилось в ней и вокруг нее. То, что было до этих дней, до приезда короля, казалось ей таким далеким, все это она едва помнила. Теперь она была совсем другая, жила новой жизнью, горячей лихорадочной жизнью, среди которой некогда было очнуться, некогда было спокойно подумать, уяснить себе свое положение. А между тем, несмотря на то, что великая княжна была почти еще ребенком, она уже умела думать и обдумывать, она чувствовала потребность в этом.

«Я невеста, — думала она, — теперь уже кончено, бабушка сама сказала: послезавтра обручение! Я невеста — какое счастье! Я скоро буду его женою, и уже никогда, никогда мы не разлучимся с ним — всегда вместе... вместе!.. Милый, какое счастье! О, не будет он уже хмуриться, а нахмурится — я его поцелую, и он улыбнется. Я ни в чем никогда не буду ему перечить, он будет доволен мною. Да и разве могут у меня быть теперь какие-нибудь желания, кроме его желаний? Мне кажется, я скоро научусь угадывать все его мысли, я уж теперь очень часто знаю, только взглянув на него, о чем он думает, чего желает, — он сам мне еще вчера сказал это».

«Милый!..» — почти вслух пролепетала она, блаженно улыбнувшись и даже протягивая вперед свои тонкие, будто из мрамора выточенные руки. Ей казалось, что она видит его перед собою. И она

манила его к себе, она мысленно прижимала его к груди своей, в которой горячо билось ее счастливое сердце.

«Милый, навсегда с тобою, там в новой, чудной стране... в твоей стране! О! Как должно быть все хорошо, как хочется мне скорее туда!..»

Но вдруг ее нежный шепот прервался, по прелестному лицу ее скользнула легкая тень.

«Я счастлива, — подумала она, — но вот мне и грустно! Неужели на свете нет полного счастья? Да, я должна грустить, я не смею быть такой счастливою, ведь я уезжаю надолго, быть может, навсегда, я расстанусь со всеми!..»

Она начинала упрекать себя в холодности, в эгоизме. Ее все так любят, и родители, и бабушка, и сестры, и братья. Ее с тех пор, как она себя помнит, окружают ласки, все желания ее исполняются. Положим, она никогда не желала ничего неисполнимого, она всегда старалась быть доброй и ласковой со всеми, всех любила, всех жалела... Так что же это теперь с нею? Неужели она, полюбив одного, нового, едва появившегося перед нею человека, вдруг разлюбила всех, кого всегда знала, кто был ей всегда дорог, кто заботился о ней и ласкал ее. Неужели это правда, неужели у нее такое злое сердце?

«Нет, нет, неправда, я люблю их, я, верно, буду очень тосковать по ним. Это только так теперь... сама не знаю, что со мною! Верно, так всегда бывает!.. Нет, я люблю их, я не злая!..»

Но вдруг она позабыла опять всех, она опять только думала о нем одном. Ей начинала представляться ее будущая жизнь с ним, там, далеко, в иной земле, среди иной обстановки, среди иных людей, которых она не знала.

«Будут ли там любить меня? Что меня ожидает?»

Она серьезно задумалась, пристально глядя в полутьму своими большими светлыми глазами, будто старалась разглядеть таинственное будущее.

«Я знаю, о многом, о многом мне нужно подумать... Мне нужно постоянно думать о том, как жить и что делать... Я буду молиться Богу, горячо буду молиться, чтобы Он вразумил меня... чтобы я могла исполнять свои обязанности... а у меня много этих обязанностей!..»

И вспомнились ей разговоры, которых часто она была свидетельницей в комнате бабушки, вспомнились ей бабушкины слова

о том, что первую заботу правителей должно быть благо их подданных. Вот она станет королевой, значит, она должна будет хорошенько познакомиться с этой новой страной, которая сделается ее второй родиной. Она должна узнать все: как там живут люди, чем они занимаются, чего им надо, Она должна будет узнавать, не может ли помочь кому-нибудь. Ее щеки разгорелись, глаза блестели, грудь высоко поднималась.

«О, она, конечно, будет много работать, она все силы употребит для того, чтобы сделаться достойной всеобщей любви, она заставит любить себя, а главное, его, милого, дорогого Густава! Она сделает так, что вокруг них не будет горя, нужды и отчаяния. Никто не уйдет от нее без помощи, она будет все узнавать тихонько, осторожно; она придумает, как это устроить. Ее помощь будет приходить неожиданно, и бедные, добрые люди не узнают даже, откуда пришла эта помощь. И, конечно, он, ее милый Густав, во всем будет помогать ей. Как счастлива такая жизнь, и как она должна благодарить Бога за то, что Он дает ей возможность делать добро, много добра».

И она мечтала, не замечая времени, не замечая, как мало-помалу в комнату прорывался утренний свет, как уже начинали раздаваться дневные звуки. Она мечтала с блаженной улыбкой, и ей почти казалось, что у нее вырастают крылья и что на этих крыльях, незримая и счастливая, она летает всюду, где человеческая нужда, горе и слезы ждут ее. Она никогда не видала ни горя, ни слез, ни нужды; но она хорошо знала, что они есть на свете, о них ей говорили. Говорила и бабушка, так хорошо, горячо говорила о нужде человеческой, как будто сама ее испытала.

«Да, счастливая будет жизнь, и будут меня любить люди, потому что я сама стану любить их, стану для них делать все, что только в моей власти. Нужно будет поговорить об этом с Густавом, мы еще об этом никогда не говорили. Он, наверное, думает так же, как и я, и, наверное, будет рад, что я так думаю».

— Cher enfant, levez-vous, — il est bien temps! ^[6] — раздался ласковый голос.

Великая княжна очнулась от своих мечтаний. Перед нею стояла ее воспитательница, госпожа Ливен.

И вот великая княжна, позабыв в миг все свои думы, все волновавшие ее ощущения, при звуках этого давно знакомого голоса,

при виде несколько чопорной и строгой фигуры воспитательницы, которую она изрядно побаивалась в те минуты, когда чувствовала себя в чем-нибудь провинившеюся.

— Pardon, pardon, je serai prête à l'instant [7],- испуганно проговорила она и быстро начала одеваться с помощью подоспевшей камер-медхен.

Одевшись, она знаком удалила девушку и, оставшись одна, стала горячо молиться перед образами. На сердце у нее сделалось спокойно и ясно, на губах заиграла детская, счастливая улыбка, и, свежая и прелестная, она поспешила к матери. Великая княгиня уже была готова. Но на ее лице можно было различить признаки утомления. Ей немного пришлось поспать в эту ночь, да и сон был тревожный. Она то и дело просыпалась, принималась думать свои думы, а уж как придут они — от них трудно отделаться, забыться, и заснуть снова...

Король и регент не заставили себя ждать, минута в минуту явились к назначенному времени. Великая княжна так и впилась глазами в Густава, в то время как он, здороваясь с нею, целовал ее руку.

— Здоровы ли вы? — тревожно спросила она.

Ей показалось, что лицо его не совсем такое, каким было вчера вечером.

Великая княгиня подметила взгляд дочери и тревожный тон ее вопроса.

— На этот раз вы можете не отвечать ей, Густав, — улыбаясь, проговорила она, — ваше лицо за вас отвечает! Разве с таким сияющим лицом можно быть нездоровым? — обратилась она к «малютке».

Но «малютка» глядела на жениха еще тревожнее и опять спрашивала:

— Здоровы ли вы, что с вами?

Несмотря на этот сияющий вид, она ясно замечала в молодом короле уже понятные ей и изученные ею признаки чего-то такого, что ее очень смущало и чего никак не должно было быть в нем сегодня, когда все заботы и недоразумения были окончены.

— Разумеется, я чувствую себя очень хорошо, — отвечал король, еще раз целуя ее руку. — Я только заспался и очень спешил, боялся опоздать.

Он говорил правду. Он спал как убитый после своего позднего разговора с дядей. Никакие мечтания не нарушали сна его, и не грезился ему даже прелестный образ невесты. Ее красота, обаяние ее детской чистоты и кротости действовали на него, когда он был с нею; но едва она исчезла, исчезало и ее обаяние, он погружался в восхищение самим собою, в самообожание.

Скоро все, кто должен был принять участие в этом семейном завтраке, оказались в сборе: братья и сестры невесты, некоторые из самых приближенных лиц. Все были довольны, веселы. Великая княгиня, со свойственной ей простотой и грацией, исполняла обязанности хозяйки. Велась оживленная, но не шумная беседа, время от времени прерываемая звонкими голосами и смехом младших членов царского семейства. Даже король, сидевший рядом с невестой и уже начинавший поддаваться ее обаянию, оживился и мало-помалу перешел к любимой теме своих разговоров — к своим охотничьим похождениям. Великая княгиня внимательно и с восхищением вслушивалась в каждое его слово; но, впрочем, он говорил теперь не для нее, ему хотелось главным образом поразить этими рассказами молодых великих князей, Александра и Константина, показать им, как они должны быть счастливы, приобретая в его лице такого родственника. Они должны преклониться перед его достоинствами и почувствовать его превосходство.

Великий князь Александр слушал его с любезным вниманием; но напрасно бы юный король стал искать на лице его признаков удивления и восторга — женственно-прекрасное и мечтательное лицо великого князя не выдавало его ощущений.

Рассказчик отвел глаза в другую сторону — и вдруг недоговоренное слово замерло на губах его, он вспыхнул и с недовольным взглядом резко оборвал рассказ, склонился к невесте и стал что-то невпопад у нее спрашивать. Дело в том, что его глаза встретились с другими глазами, в которых слишком ясно искрилась самая задирательная насмешка. Это были глаза великого князя Константина, который в начале завтрака сидел насупившись, почти не принимая участия в разговоре. Живой, порывистый, всегда придумывавший какую-нибудь новую шалость, иногда непослушный, чересчур резкий на словах, — великий князь Константин доставлял немало забот как бабушке, так и отцу с матерью.

Вот и теперь, после новой какой-то шалости, им были недовольны, и, не далее еще, как вчера, он должен был объясняться с бабушкой и матерью. Он сознавал свою вину, искренне и со слезами обещал матери исправиться. Великая княгиня сказала ему одну фразу, которая его глубоко тронула:

«Хоть бы теперь ты пожалел меня! У меня столько забот, тревог, я так устала за это время, а ты еще меня мучаешь!.. Ты доказываешь этим, что совсем меня не любишь!..»

Но он любил ее, и эти слова глубоко отозвались в его сердце. Он чувствовал себя таким виноватым, униженным в собственных глазах; он провел плохую ночь и проснулся с угрызениями совести. Ему было теперь неловко и стыдно глядеть на мать. Поэтому он сидел хмурый и молчаливый.

Но вот молодой король начал свои хвастливые рассказы — и природная насмешливость поднялась в великом князе. Он не совсем доверял этой храбрости и мужеству, его возмущал этот напыщенный тон и оттенок какого-то даже пренебрежения, с которым жених сестры относился к нему и его брату.

В его голове уже складывались язвительные и насмешливые фразы, которыми он мог бы ответить сомнительному герою. В другое время он не стал бы стесняться, но теперь чувствовал, что должен сдержать себя, должен молчать. И все, что рвалось у него с языка, он выражал в своем насмешливом взгляде, так смущавшем Густава.

«Ага, понял, любезный друг! — подумал он. — Понял, что не всех удастся морочить!.. Замолчал! Ну, и хорошо, только это и нужно...»

И он перенес свои насмешливые наблюдения на маленького регента, который рассыпался в любезностях перед великой княгиней. Регент в это утро играл роль счастливейшего из смертных, он шептал великой княгине, что это один из лучших дней его жизни, что, так как соединение молодых людей наконец решено бесповоротно, все горячие желания его исполнены. Великая княгиня ему верила, — теперь уже не в чем было сомневаться.

Завтрак был кончен. Всеобщее оживление усиливалось. Юная невеста оказалась в некотором отдалении, рядом с женихом. Ее тихий, нежный голос нашептывал ему о тех мечтаниях, которым она предавалась рано утром. Она рисовала ему фантастическую картину блаженной жизни, исполненной добра и радости, она вся горела от

волнения и восторга и в этом восторге не замечала даже, что он относится к ее мечтаниям вовсе не так, как бы должен был относиться, как она того желала.

Он глядел на нее, любуясь ее красотой, блеском ее глаз, ее доброй, счастливой улыбкой; но то, что она говорила, казалось ему неинтересным, и он пропускал мимо ушей слова ее, не придавая им значения. Все это были только грезы, воплощение которых почти невозможно в жизни; но это были грезы молодой, благородной души, стремившейся к добру и свету. Эти грезы наполняли ее, составляли весь ее нравственный образ. Но он конечно, не мог понять этого, они казались ему милой детской болтовней — и только. Его сердце на них не откликнулось. И хоть он был юноша, едва вступавший в жизнь, но в нем ничего не было юного, кроме самонадеянности, ему никогда не суждено было жить сердцем и понять счастье и муку такой жизни...

А великая княжна все говорила и только время от времени, прерывая поток своей восторженной речи и обдавая жениха ласкающим взглядом, спрашивала его:

— Ведь да? Ведь я права?.. Вы согласны со мною, Густав?

— Конечно, согласен, конечно, вы правы, всегда правы! — рассеянно отвечал он.

Он начинал уже скучать и был доволен, когда в комнате показалось новое лицо. Вошел князь Зубов, прямо от императрицы. К его манере и тону давно уже все привыкли, и никого не поражало, что он держит себя вовсе не так, как бы следовало; он вовсе не намерен был выказывать особую почтительность. Он развязно подошел к герцогу, взял его под руку и увел в соседнюю комнату.

— Вот все и улажено, — сказал он, — императрица очень довольна; она только что выразила мне чувства самого искреннего родственного расположения к вашему высочеству... Итак, послезавтра вечером обручение!

— А брачный договор? — спросил регент. — Вы его составляете?

— Да, императрица поручила составление его Моркову. Он будет готов завтра.

— Зачем же уж так торопиться! — сказал регент. — Лишь бы он поспел послезавтра к вечеру. Король может подписать его перед самым обручением! Только, пожалуйста, не забудьте чего-нибудь. Каждый пункт должен быть выражен подробно и ясно.

— Об этом не тревожьтесь, ваше высочество! — ответил Зубов. — Морков человек осмотрительный и прекрасно пишет.

«Увидим, много ли выйдет из его писания!» — подумал регент.

Они вернулись в комнату, где находилась великая княгиня.

XXIX. ГДЕ ТОНКО — ТАМ И РВЕТСЯ

Обручение должно было совершиться с необыкновенной торжественностью и пышностью. Все лица, имевшие проезд ко двору, получили приглашение. В числе этих лиц находился и Сергей Горбатов.

После своей аудиенции у императрицы он не выезжал из Петербурга, дожидаясь известия от Тани и, несмотря на все свое нетерпение, твердо решившись не показать малодушия, не явиться к ней без ее зова. Он так уже был уверен теперь в своем благополучии, он так хорошо знал, что пройдут еще дня два-три — и Таня непременно позовет его; он видел, что их роли переменились — и в нем заговорило какое-то любовное злорадство, какая-то любовная жестокость.

«Довольно ей мучить меня своей гордостью! — блаженно думал он. — Пускай сама теперь немного помучается, пускай переломит свою гордость! Ни за что не поеду, пока сама не позовет меня...»

И он, этот уставший, разочарованный человек, превращался в капризного ребенка, ощущал в себе такой прилив молодости, какого, пожалуй, не было в нем и восемь лет тому назад, во время первого пребывания его в Петербурге.

Он за эти дни объездил всех своих родственников, всех своих старых знакомых. Будь он в ином настроении духа, ему пришлось бы многим возмущаться, на многое негодовать; но теперь он не был способен на негодование. Он наблюдал проявления людской пошлости, мелочности и дрянности совсем спокойно, с легкой, даже более добродушной, чем насмешливой улыбкой. Ему забавно было видеть, как многие из его знакомцев и родственников смущались при его появлении, не зная, как его встретить: с распростертыми ли объятиями, или сдержанно и холодно. Его положение, его шансы на успех или неуспех были пока еще для всех загадкой.

Императрица милостиво его встретила и потом к себе призывала — это отлично было известно всем и каждому; но, с другой стороны, было также известно враждебное к нему отношение всесильного Зубова.

И вот знакомцы и родственники начали играть очень трудную роль: в одно и то же время и простирали к нему свои объятия, и боялись его. Но, во всяком случае, он был слишком богат, носил слишком громкое имя, — и, покуда положение его не выяснилось окончательно, никто не решался пренебрегать им. Все поспешно, хоть и с большой опаской, возвратили ему визит. Сергей решил, что требование приличий с его стороны исполнено, и положил как можно реже показываться в обществе, ограничивая свое знакомство двумя-тремя домами, где ему был оказан действительно радушный прием. В числе этих домов был, конечно, дом Нарышкина.

Во дворец, на обручение, Сергей поехал с большим удовольствием. Ему предстояло увидеть там цесаревича, великую княгиню, быть может, от кого-нибудь из них услышать про Таню.

В седьмом часу вечера дворцовые залы уже наполнены разряженной толпой. Мужчины в парадных мундирах, дамы в роскошных туалетах, украшенные всеми драгоценностями, какие только заключались в фамильных укладках и шкатулках. Оживленный гул ходил по залам. Все лица казались такими довольными, почти счастливыми. Все хорошо понимали значение этого дня, этого события, так долго ожидавшегося, после стольких колебаний долженствовавшего, наконец, совершиться.

Царское семейство не заставило себя ждать. Одновременно из внутренних покоев появились — императрица, цесаревич, великая княгиня и все их дети. Императрица была в самом роскошном своем наряде, в котором показывалась весьма редко. Она вся так и сияла бриллиантами.

«Игра сих драгоценных камней теряется от блеска ее глаз и ее улыбки!» — слова эти были сказаны Державиным и быстро облетели присутствовавших.

Певец Фелицы допустил, конечно, некоторое поэтическое преувеличение; но все же замечание его было верно — давно, давно никто не видал государыню с таким сияющим лучезарным лицом. Она будто помолодела, она забыла все недуги последнего времени, все свои заботы и каждым своим движением, каждым взглядом выражала горячую, сердечную радость.

Она вышла к собравшимся придворным, ведя под руку юную невесту, такую же сияющую, как и она, прелестную более чем когда-

либо, стыдящуюся своего счастья и этих со всех сторон устремленных на нее, восторженных взглядов.

Все были довольны, даже лицо цесаревича не хмурилось. Он ласково здоровался направо и налево, ища глазами людей более или менее ему симпатичных и обращался к ним с милостивыми словами.

Прошло минут десять, толковали о том, что вот сейчас должен приехать жених.

«Митрополит уже приехал; в бриллиантовой комнате все уже приготовлено... Сейчас, сейчас прибудет король!» — говорили в толпе.

Между тем, минуты шли за минутами. В зале, где находилась императрица, показался Зубов. Он остановился недалеко от Сергея, и тот невольно был поражен, взглянув на лицо его.

«Что это с ним такое, он будто чем-то поражен, глядит как-то растерянно, смущенно?..»

Императрица, очевидно, искавшая его, подошла к нему. Сергей был от них так близко, что невольно, вовсе не желая быть нескромным, расслышал слова их разговора.

— Что это значит? — сказала она. — Ведь уж семь часов, даже больше, а его все еще нет?

— Я сам не понимаю, — отвечал Зубов. — Морков отправился к нему в половине шестого, как было условлено, для подписания контракта и статей брачного условия.

— Что же это значит? Не случилось ли чего-нибудь? — уже с тревогой в голосе спросила императрица.

— Ничего не может случиться, наверно, он сейчас будет.

Но говоря это, Зубов не мог скрыть своего волнения, и она отлично поняла, что он встревожен не менее ее.

— Сейчас же поезжайте, скорей... Я должна успокоиться!

Зубов даже ничего не ответил и быстро исчез из залы. Он почти выбежал на подъезд, крикнул первую попавшуюся придворную карету, бросился в нее и приказал кучеру как можно скорее ехать в дом шведского посольства. Подъезжая, он увидел несколько дожидавшихся там экипажей и в том числе экипаж короля.

Значит, он еще здесь, да и не мог он проглядеть его дорогой!

Войдя в первые комнаты, он уже заметил что-то странное; тревожное предчувствие тяготило его. Он быстрыми шагами шел

дальше к комнатам, которые занимал король. Вот он перед дверью его кабинета. Дверь заперта, но до слуха его ясно донеслись громкие, резкие звуки раздраженного голоса. Он узнал голос Густава, и в то же время дверь отворилась — перед Zubовым очутился Морков.

Этот дипломат новой школы в последнее время, благодаря расположению к нему Zubова, почти заменивший Безбородку, поражал противоположностью со своим предшественником. Безбородко, толстый, неуклюжий, всегда неряшливо одетый, совсем не думавший о своих манерах и о впечатлении, которое он производил, был похож на медведя. Морков, красивый, тонкий, изящный, изучавший каждый свой жест, каждое слово, представлял собою очень удачную копию с французского маркиза дореволюционного времени.

Но теперь, выйдя из кабинета короля, он, очевидно, позабыл всю свою изящность, всю свою заученную грацию, лицо его было красно, ноздри раздувались, он сердито отплюнулся.

— Черт возьми, что же теперь делать? — произнес он отчаянным голосом.

— Что такое, что случилось? — испуганно спросил его Zubов. — Контракт... статьи... подписаны?

— Вот контракт, вот статьи! — почти задыхаясь, говорил Морков, потрясая перед собою портфелем. — И ничего не подписано!

— Как не подписано? — крикнул Zubов.

— Не хочет подписывать, все убеждают... заупрямился — не подпишу, да и только!

— Господи, да ведь это невозможно! — заломив руки, простонал Zubов. — Понимаешь, ведь четверть восьмого, все в сборе, давно ждут — что же это такое?

— Я за вами хотел ехать, хорошо, что вы здесь. Вот пойдите, может, уговорите!

Zubов кинулся в кабинет. Там у письменного стола, развалясь в кресле, с признаками сильнейшего раздражения, сидел молодой король, комкая в руках какую-то бумагу. Тут же был регент, Штединг, некоторые члены шведского посольства.

При входе Zubова регент подбежал к нему и отчаянным голосом прошептал:

— Это просто припадок какой-то — он не хочет подписывать!

— Ваше величество, что все это значит? — спросил Зубов, подходя к королю и кланяясь ему. — Меня прислала императрица, она очень тревожится, все готово для обручения... вас давно ждут... ради Бога, поспешите!

Король горделиво поднял голову и, смерив Зубова вызывающим взглядом, проговорил:

— Мне очень жаль, если я заставляю ждать, но не моя в этом вина — вина ваша, господа, — я не ожидал такого поступка!

— Какого поступка, ваше величество?

— Вы хотели воспользоваться обстоятельствами и в последнюю минуту заставить меня подписать такие обязательства, которых я подписать не могу. Где контракт, где ваши статьи? Дайте мне, — обратился он к Моркову.

И когда тот подал бумаги, он быстро перелистал их.

— Вот смотрите, что это такое тут сказано? Что у шведской королевы в моем дворце должна быть особая часовня и особый причт. Кроме того, еще другое, совсем для меня новое, но достаточно и этого. Скажите, пожалуйста, разве я когда-нибудь договаривался с императрицей об этом, разве я обещал что-нибудь подобное?

— Ваше величество, — сказал Зубов, едва сдерживая себя, едва заставляя говорить себя спокойным голосом и в приличных выражениях, — да ведь именно в этом заключалось главное затруднение, и обручение было назначено только после того, как вы изволили обещать не стеснять совести великой княжны.

— Да, я сказал это и теперь не отступаю от слов своих. Конечно, я не намерен стеснять ее совести, конечно, она может исповедовать свою религию, но никогда я не обещал позволить ей иметь в моем дворце часовню и причт. Напротив, я говорил, что в публиче и во всех церемониях она должна будет следовать нашим религиозным обрядам. Ничего другого я не мог говорить, и скажите мне наконец, от имени ли императрицы мне докладывают эти бумаги? Она ли требует моей подписи под ними?

— Конечно, — прошептал Зубов.

— В таком случае нужно передать ей, что она требует от меня невозможного, я ни за что не подпишу таких условий.

Зубов совсем растерялся. Он чувствовал, что почва под ним начинает колебаться, и тщетно искал, за что ухватиться. Ему все

казалось легко, он был так уверен в своем уме, в своей ловкости, он был так избалован своими ничем не стоящими ему успехами, что еще за минуту, несмотря даже на невольное беспокойство и какое-то предчувствие, сжимавшее его сердце, никак не предполагал возможности такого поражения. Со свойственной ему самонадеянностью он постоянно уверял императрицу, что все обойдется, чтобы только она на него положилась... В эти последние дни, после официального предложения, когда императрица сказала ему, что обещание, данное королем, во всяком случае, нужно оформить и включить в брачный контракт, — он ответил ей:

— Конечно, мы это сделаем!

Он даже ни минуты не задумался о том, что об этих статьях контракта, во всяком случае, надо обстоятельно и вовремя договориться с королем. Когда Морков принес ему составленный им проект статей и, прочтя их, заметил:

— А вдруг король, который, кажется, очень упрям и самолюбив, выставит новые затруднения в последнюю минуту?

Зубов горделиво поднял голову и, презрительно усмехаясь, проговорил:

— Очень может быть, от него это станется; но мне хотелось бы знать, что он сделает в последнюю минуту?... Ты поднесешь ему контракт для подписания перед самым обручением, во дворце все будут уже в сборе, невеста будет уже ждать жениха!.. Ах, Боже мой, да в таких обстоятельствах он должен будет подписать все что угодно, каково бы ни было его упрямство!.. Разве может он когда-нибудь осмелиться сделать такую неслыханную дерзость? Может быть, он станет просить об изменении того или другого; но мы объявим, что изменить невозможно ни одного слова, что для этого уже нет времени — и он волей-неволей подпишет... Что он рассердится на нас с тобою — это верно, но ведь мы не смутимся! Контракт будет подписан, их обручат — и только ведь этого и нужно...

Морков пожевал губами, потом сделал глубокомысленную мину, потом тонко усмехнулся.

— Да, — проговорил он, — это правда! Мы его запрем со всех сторон.

— То-то же! — самодовольно сказал Зубов.

Он заранее наслаждался делом рук своих, своей хитрой уловкой; заранее торжествовал победу. И вот все совершилось так, как он желал: невеста ждет жениха, король уже должен быть во дворце, контракт и статьи перед ним, и он не хочет их подписывать. Все, что можно было сказать, сказано, а он ничего не хочет слышать и твердит:

«Не подпишу!»

В его тоне чувствуется решимость.

«Что же это такое? Ведь это такой ужас, такой позор, о каком еще до сих пор не слыхано! Ведь это настоящее несчастье!..»

И Зубов вдруг ослабел, вдруг ощутил в себе сознание полной беспомощности. Вся его самонадеянность, весь апломб исчезли. Он быстро, с побледневшим лицом и трясущимися губами, подошел к Моркову и шепнул ему:

— Скорей, как можно скорей привези Безбородку! Может быть, он уговорит, найдет резоны... Скорей, ради Бога, а я здесь останусь... Скорей, каждая минута дорога!..

В его голосе слышались мольба и отчаяние. Морков исчез из кабинета, а он снова подошел к королю. Он был на себя не похож, он почти не понимал, что такое говорит.

— Ваше величество, ради Бога, успокойтесь! — шептал он. — Не гневайтесь... войдите в наше положение, мы никак не могли предвидеть подобного недоразумения, мы основались на словах ваших, официально переданных императрице господином Штедингом...

— О чем это вы мне говорите, князь? — запальчиво крикнул Густав. — Я очень хорошо знаю, что я обещал и что от моего имени было передано императрице. Повторять мне теперь все одно и то же нечего. Мне никто не заявлял до этой минуты, что я должен буду подписывать такие обязательства. Зачеркните эти статьи, и я с удовольствием подпишу все остальное и еду во дворец — вы видите, я совсем одет... совсем готов. Задержка происходит не от меня, а от вас!

— Но разве я могу изменить что-нибудь из того, что утверждено и решено императрицей? — отчаянно проговорил Зубов.

— Так доложите ей!

— Как же можно теперь докладывать, она уже в тронном зале, окруженная всем двором. Митрополит давно ждет... Уже около часу,

как ваше величество должны быть там... Ваша невеста... подумайте же о ней, ваше величество!..

— Я о ней очень думаю, — нахмутив брови, сказал король, — но и для нее я не могу сделать невозможного.

— Да ведь это что же?.. Это разрыв... величайшее оскорбление, которое вы наносите императрице, великой княжне, ее родителям, равно как и всей России!

Король сделался совсем мрачным и вдруг поднялся со своего места, выпрямился во весь рост, яркой краской заалели его щеки, и бешеным голосом он крикнул:

— Оскорбление! Что такое вы мне говорите? Это мне наносится величайшее оскорбление. Меня хотели поймать! Меня хотят силою принудить на унижительный для моего достоинства поступок, но я не поддамся вам, будьте в этом уверены, князь Зубов!.. Я докажу, что вы ошиблись в расчетах!

И он, оттолкнув от себя ногой кресло, гневно вышел из комнаты.

Зубов несколько мгновений стоял как окаменелый. Но вот он заметил регента, который совсем съежился в своем кресле и смущенно поглядывал по сторонам.

— Ваше высочество, — подбегая к нему, проговорил Зубов, — ведь вы же меня уверяли, вы мне обещали... я больше всего на вас рассчитывал... Да пойдите же, уговорите его!

Регент съежился еще больше.

— Что же я тут могу сделать? — глухо проговорил он, разводя руками. — Неужели вы думаете, что я его не уговаривал... Но вы сами видите, с ним нельзя сладить. Я могу просить, доказывать, убеждать; но если ничего не действует — я не могу силой его принудить.

— Так пойдите же... пойдите же, уговорите его! — отчаянно повторял Зубов, почти силою поднимая регента с кресла. — Пойдите, ведь вы понимаете положение... Ах, Боже мой, вы сами заинтересованы в этом, — прибавил он, понижая голос. — Ваше высочество, все что угодно, все ваши желания будут исполнены, только уговорите его!

— Я пойду, я буду просить, я постараюсь его успокоить, — грустным тоном проговорил регент и пошел к той двери, за которой скрылся племянник.

Зубов огляделся. В кабинете теперь находился только Штединг, который подошел к столу и мрачно разглядывал разложенные бумаги. Зубов хотел что-то сказать, но не сказал ничего, только раздраженно махнул рукою и принялся быстрыми шагами ходить по комнате.

«Господи, хоть бы скорее Безбородко!»

Он взглянул на часы — был уже давно девятый час. Холодный пот выступил на лбу его.

«Что там теперь? Что она думает? И если он не подпишет... если я не приведу его... О, нет, это невозможно!»

Безумное, бессильное бешенство запертого в клетке зверя охватило его, он сжимал кулаки, он уже совсем метался по комнате.

А минуты шли за минутами, и стрелка все ближе и ближе подвигалась к девяти.

XXX. БЕДА

Наконец в кабинете короля появилась неуклюжая фигура Безбородки. Он вошел, переваливаясь и запыхавшись. Пухлое, всегда веселое и беззаботное лицо его на этот раз было грустно.

— Граф, наконец-то вы! — кинувшись к нему, заговорил Зубов. — Ведь девять часов... поймите — девять часов, а он не подписывает!

— Если уж вы не сумели уговорить его, ваша светлость, — медленно произнес Безбородко, — то я тем более не уговорю. Я только сейчас, дорогою сюда, узнал от него, — он указал на сопровождавшего его Моркова, — все подробности. На мой взгляд, дело безнадежно.

И, наклонясь к Зубову, он прошептал ему:

— Я полагаю, что это не случайность, не внезапный каприз, все это, наверно, подготовлено заранее.

— Вы думаете? — простонал Зубов, пораженный этой мыслью, еще не приходившей ему в голову. — Но кто же мог это сделать, кого вы подозреваете?

— Я еще ничего не знаю, потом можно расследовать, потом выяснится, а теперь что же...

— Но ведь нельзя же допустить такого несчастья... Постарайтесь, граф, ради Бога, вы всегда так спокойны, так красноречивы... Может, вам удастся... на вас только одна надежда!

И он, не любивший Безбородку, нанесший ему немало оскорблений, всеми мерами, хотя часто безуспешно, старавшийся стереть его с лица земли, выставивший ему соперником своего угодника Моркова, — он теперь засматривал ему в глаза, готов был ему льстить. Он говорил с ним таким тоном, каким до сих пор никогда еще не говорил.

— Ради Бога, граф, на вас одна надежда, — повторил он, — только ваш ум может нас выручить!

— Напрасно так просите, ваша светлость, — с легкой саркастической усмешкой проговорил Безбородко.

«Ваша светлость» его устах, при его малороссийском выговоре, звучало как-то особенно насмешливо.

— Напрасно просите, я для императрицы и России буду стараться, но ни на что не надеюсь. Я не причастен к этому делу, и если бы вы раньше захотели меня выслушать, то я никогда бы не посоветовал такого риска.

Он отошел от Зубова и обратился к Штедингу, прося доложить королю о том, что он просит дозволения переговорить с ним.

Штединг вышел, и через минуту Густав появился в кабинете. Он, очевидно, несколько успокоился, в нем уже незаметно было недавнего бешенства.

Зубов заметил это, у него явилась слабая надежда на то, что регент успел уговорить племянника.

— Что вам угодно, граф? — обратился он к Безбородке. — Вы, верно, от императрицы? Если она согласна вычеркнуть известные статьи, я тотчас же подпишу и немедленно еду во дворец.

Но Безбородко не имел никаких полномочий, он даже не успел переговорить с государыней, Морков увлек его без всяких объяснений.

Безбородко мог только повторять королю то, что ему говорил Зубов, указывать на то, что теперь нет никакой возможности договариваться, что каждая минута промедления есть прямое оскорбление со стороны короля императрице и ее семейству.

— Подумайте о последствиях, ваше величество, — говорил Безбородко. — Может быть, действительно произошло недоразумение; но всякое недоразумение впоследствии легко выяснится в личном объяснении вашего величества с нашей государыней. Подумайте о последствиях!..

— Хорошо, — перебил его король, — если это недоразумение, которое, как вы говорите, легко может быть объяснено и улажено, я готов сейчас же ехать во дворец, пусть нас обручат. Я поверю вашему торжественному удостоверению в том, что излишние статьи будут вычеркнуты, и завтра подпишу все, что могу подписать.

— Как? Обручение без подписи? Но ведь это совершенно невозможно! — невольно крикнул Зубов.

— А, вы это находите невозможным! — снова быстро багровея, проговорил король. — Вы непременно хотите моего унижения... Я не подпишу!

Он театральным жестом махнул рукою и стал быстро ходить по комнате.

Зубов умоляюще глядел на регента.

Герцог Карл подошел к племяннику и стал шепотом говорить ему:

— Мой друг, положим, вы правы, и я очень понимаю ваше негодование, но сообразите, уже два часа, как ждут вас, вы ставите всех в невероятное положение — подпишите!

И в то же время регент думал:

«Если бы я стал громко теперь доказывать, что подписать невозможно и что я, как регент, не могу допустить этого, — он бы подписал. Да мне стоит только указать ему на мое регентство, настаивать — и он подпишет. Но я прошу его подписать. Пусть все видят, что я прошу его, что я сам в отчаянии».

— Подпишите, друг мой, обстоятельства этого требуют, — умолял он.

— А шведский народ? А мои обязанности как государя — вы о них забываете? — повторил король недавние слова дяди. — Нет, нет, не хочу, не могу, не подпишу! — громко крикнул он.

Регент махнул рукою и отошел от него.

Между тем двери кабинета то и дело открывались, из дворца один за другим прибывали русские сановники, к ним присоединились члены шведского посольства и королевской свиты. Все друг перед другом упрашивали короля подписать. Часы показывали три четверти десятого. С каждой новой просьбой, с каждым новым доказательством кого-либо из присутствующих о невозможности такого поступка, такого неслыханного оскорбления, король раздражался все больше и больше.

— Это все то же, все ясно, нечего повторять! — несколько раз проговорил он, продолжая мерить комнату большими шагами.

Вдруг он остановился, топнул ногою и крикнул:

— Наконец, это скучно! Что бы ни случилось, я не имею права нарушать основных законов моей страны и ничего не подпишу... Прощайте!

Он кивнул головою, вышел из комнаты и заперся в своей спальне. Регент упал в кресло со всеми признаками отчаяния. Безбородко стоял насупившись, опустив голову, тяжело переводя дыхание. Зубов, раздраженно махнув рукою, выбежал из кабинета. Он спешил во дворец. В виски его стучало, в голове путались мысли, он весь дрожал. Он понимал, что теперь все кончено — несчастье совершилось.

Между тем дворцовые залы, ярко освещенные бесчисленными лампами и кенкетами, пестревшие разряженной толпой, представляли все то же праздничное и торжественное зрелище. Но стоило только попристальнее взглядеться и вслушаться — и впечатление изменялось. Каждый из этой многолюдной толпы отлично сознавал, что совершается нечто неожиданное и крайне важное, что вот-вот разразится удар. Сначала каждый оставлял при себе свои замечания и предчувствия; но, наконец, уже перестали стесняться. По залам шел глухой говор — все перешептывались. Неизвестно, откуда пронеслась весть; все уже хорошо знали, в чем дело, знали, что Зубов поехал к королю, что туда отправились и Безбородко, и Салтыков, и другие.

«Король не хочет подписать контракта: обручения не будет... Свадьба не состоится... Его все уговаривают; но он ничего не хочет и слышать... он идет на разрыв!.. Что это такое будет? Чем все разрешится?..»

«Да нет, не допустят! — рассуждали другие. — Как же это возможно? Он никогда не осмелится так оскорбить императрицу!.. Нет, уговорят, конечно... Поломается, а все же подпишет!..»

А между тем время шло. Все взоры искали государыню и членов ее семейства. Екатерина появлялась несколько раз, проходила по залам. Она крепилась сколько хватало силы, она все так же величественно несла свою красивую, старческую голову: на ее губах по-прежнему блуждала благосклонная улыбка; она делала вид, что спокойна, бросала несколько слов то тому, то другому...

Но не трудно было заметить, как дрожат ее руки, не трудно было заметить, даже сквозь белила и румяна, покрывавшие ее щеки, как лицо ее то смертельно бледнеет, то делается вдруг багрового цвета.

Великой княгини и невесты не видно. Они удалились из зала и ожидают в маленькой гостиной, куда не смеют проникнуть посторонние. Великие князья показываются то там, то здесь, тоже стараются делать вид, что все благополучно, любезно разговаривают; но их молодые лица выдают смущение. Вот и цесаревич. Перед ним расступаются; он идет, очевидно, никого не видя, мрачный, как туча, с нахмуренными бровями. Его ноздри нервно раздуваются; глаза потемнели и только изредка вспыхивают зловещим блеском. На щеках выступили красные пятна. Он идет, судорожно сжимая одной рукой

эфес своей шпаги, в то время другая бессознательно, нервно перебирает пуговицы камзола. Но вот он очнулся, огляделся кругом и прямо перед собою заметил Сергея Горбатова, заметил тревожный взгляд его.

Цесаревич подошел к нему, положил ему на плечо руку и порывисто проговорил:

— Здравствуй!

Они были несколько поодаль от толпы, у глубокой амбразуры окна, почти прикрытые от посторонних взоров широкими складками бархатной драпировки. Цесаревич еще раз взглянул на Сергея, грустно и презрительно усмехнулся. Он забыл свою руку на плече этого преданного, всегда так симпатичного ему человека. Он почувствовал сильную потребность облегчить душу, высказаться. Он заговорил:

— И ты здесь! Сейчас ты будешь свидетелем позора, которому мы подвергнемся... вот что мы себе приготовили! Мы получаем жесточайший урок от своенравного, бессердечного ребенка...

— Ваше высочество, — прошептал Сергей, — неужели вы думаете, что здесь что-нибудь, кроме недоразумения, которое должно разъясниться?

— Недоразумение!.. Никакого недоразумения тут нет! Его хотели поймать, застать врасплох, заставить экспромтом принять все условия... Вздумали хитрить, затеяли скверную игру — и кто же? Зубов! Этот безнравственный дурак, считающий себя гением!

Он огляделся — никто не мог его слышать.

Он продолжал:

— Она не привыкла к этому, никогда никто не осмелился бы так поступить с ней... Ты видел ее... она на себя не похожа... как она перенесет это? Но кто же виноват!.. Я предчувствовал заранее... Он сразу не понравился мне, этот мальчик... и сразу перед ним стали унижаться... На меня сердились за то, что я держался в стороне, за то, что я не восхищался, как все восхищались... Я говорю — у меня было предчувствие, я не хотел брать на себя ответственности... Теперь видно, кто прав — я или они...

Едва он успел договорить это, как мимо них, почти шатаясь, прошел Зубов. Вся его фигура выражала какое-то неестественное утомление, не то отчаяние, его бледное, искаженное лицо было слишком красноречиво.

— Вот, — проговорил цесаревич, смертельно бледнея, — вот он — вестник нашего позора!

Он сделал несколько шагов вперед, за ним последовал и Сергей.

Навстречу Зубову шла императрица.

— Что? — расслышал он ее слабый голос.

— Ничего нельзя сделать, — заикаясь, почти шепотом проговорил Зубов. — Все уговаривали... он не хочет подписать... заперся и никого не впускает... Надежды нет никакой...

Екатерина не произнесла ни слова. Несколько мгновений она стояла неподвижно, с остановившимися глазами, недоумение выразилось на лице ее.

Но вдруг она вся вздрогнула.

— Позор... оскорбление! — прошептали ее побелевшие губы.

Еще мгновение — все лицо ее сделалось багровым, глаза закатились, она покачнулась... Цесаревич и Сергей кинулись к ней, подхватили ее под руки и кое-как довели до первого попавшегося кресла.

Ужас изображался на всех лицах. Все невольно стали пятиться, не зная, что делать.

Зубов совсем растерялся. Цесаревич выхватил у него из рук пузырек со спиртом.

— Матушка! — прошептал он, поднося к ее лицу пузырек.

Она открыла глаза, вдохнула спирт и потом через несколько мгновений провела рукой по лицу, тяжело вздохнула и приподнялась с кресла. Она сделала над собой страшное усилие, прошла несколько шагов вперед и дрожащим голосом проговорила, обращаясь к толпе перепуганных и смущенных гостей:

— Король заболел внезапно и, несмотря на все свое желание, прибыть не может.

Как ни тихо произнесла она слова эти, но в зале стояло такое гробовое молчание, что каждый их расслышал. Она обернулась, оперлась на руку цесаревича и, едва передвигая ноги, вышла с ним из залы. Зубов поспешил за нею. Она кое-как дошла до гостиной, где находилась великая княгиня, безуспешно старавшаяся в течение целого часа успокоить свою дочь. Едва императрица показалась у порога, как великая княжна кинулась к ней навстречу и вдруг, взглянув на лицо бабушки, она отшатнулась и всплеснула руками.

— Бабушка, дорогая, что случилось? Ради Бога, скажите! Что такое случилось? — крикнула она, задрожав всем телом.

Но императрица не в силах была проговорить ни слова. Тяжело дыша, опустилась она в кресло.

Великая княжна, в своем наряде счастливой невесты, вся усыпанная бриллиантами и цветами, упала на колени перед креслом бабушки, сжимая ее холодные руки.

— Бабушка, да что же такое? Не мучьте меня, скажите... Не то я умру!..

— Дитя моя, успокойся! — прошептала наконец Екатерина. — Большие неприятности, но все поправится... Его нет, он не может приехать... Обручение не состоится сегодня... успокойся!..

Но великая княжна уже поняла.

«Если бы была только неприятность, если бы только обручение было отложено и должно было состояться не сегодня, а в другой день, если бы возможно было поправить то, что совершилось, разве бабушка была бы такая?..»

— Он отказался от меня... он меня не любит! — простонала великая княжна.

Отчаянные рыдания вырвались из груди ее. Она упала головой на колени бабушки и рыдала... рыдала неудержимо.

«Он меня не любит! — повторялось в ее сердце. — Он ненавидит меня, если решился нанести мне такое оскорбление. Зачем же он не сказал мне этого прежде? Зачем не сказал прямо. Чем я заслужила такую жестокость... Что я ему сделала?! Зачем он так обманывал меня все это время?.. Зачем уверял, что меня любит?..»

Ей вспомнилась каждая минута из свиданий. Ей вспоминались пожатия его руки... горячие пожатия, его украдкой сорванные поцелуи, которые каждый раз сладостно и больно отдавались в ее сердце.

«За что Бог так наказал меня? Чем я провинилась?..»

Он, как живой, стоял перед нею. Она еще чувствовала его присутствие, этот горячий трепет, который каждый раз сообщался ей, когда она его видела и о нем думала.

«Он воплощение всех совершенств человеческих! Он ведь выше его, благороднее... честнее она никого никогда не знала — разве он мог поступить так?.. Разве он мог лгать... обманывать ее, когда она ни

разу, ни одним словом, ни одной мыслью не обманула его. Что это такое?»

Она ничего не понимала.

«Ведь этого быть не может... Он не в состоянии поступить так!»

Она подняла голову, широко раскрыла заплаканные глаза. Сдерживая рыдания, она взглянула на лица бабушки, матери, отца. Эти три близких лица не сказали ей ничего утешительного.

«Что же это, сон, ужасный сон? Но нет, она не спит. Она не грезит — все это наяву. Это страшное несчастье действительно случилось с ней. Он обманул ее, он ее не любит!..»

Ей стало душно, ей казалось, что она сходит с ума. Она уже перестала совсем думать. Она чувствовала только, как замирает мучительной болью ее сердце. Тоска, страшная тоска ее охватила. И она опять уронила свою голову на колени бабушки и опять залилась слезами.

Все было тихо. Императрица сидела неподвижно, с лицом, будто окаменевшим, только грудь ее высоко и нервно поднималась. Великая княгиня тихо и горько плакала, закрыв лицо руками. Цесаревич стоял за креслом матери — бледное, с трясущимися губами лицо его было страшно... Но вот он сделал над собою усилие, провел рукою по лбу, будто отгоняя тяжелые мысли. Он опустил глаза, склонил голову. Он нашел в себе силы для молитвы, которая всегда подкрепляла его в трудные минуты жизни...

XXXI. ПЕЧАЛЬНЫЕ ДНИ

Не в характере Екатерины было поддаваться слабости. Она чувствовала себя совсем разбитой, больной, измученной; в ее сердце было много томительных ощущений, в голове много печальных и мучительных мыслей; но никто из посторонних не должен был знать того, что она чувствует, не должен был видеть, как она упала духом. Она и так не справилась с собою в первые минуты, чего с ней никогда не бывало; но довольно, впредь этого не будет!.. Все ее члены будто разбиты, она едва может двигаться, голова будто налита свинцом, тяжело дышать. Но она ласково поцеловала рыдавшую внучку и обратилась к великой княгине.

— Полноте, дочь моя, — сказала она ей, — успокойтесь и успокойте малютку, что отложено, то еще не потеряно!.. Я завтра же распутая это дело, и все обойдется... А теперь прощайте! Я устала... поеду к себе.

— Je vous prie de m'accompagner, mon ami ^[8] — обратилась она к цесаревичу.

Страдание выразилось на лице ее, когда она поднималась с кресла, но она ни одним звуком себя не выдала, выпрямилась насколько могла и величественно вышла из комнаты, опираясь на руку сына.

Залы были еще полны народом. Бал не был отменен. Веселые звуки музыки неслись с эстрады, почти незримой за маскировавшими ее тропическими растениями и цветами. Любопытные, встревоженные и недоумевающие взоры встречали и провожали императрицу и цесаревича. Екатерина привычным жестом кивала направо и налево головой, она даже силилась улыбаться; но улыбка на этот раз ей не удавалась...

По выходе императрицы великая княгиня кинулась к дочери, но не нашла в себе сил ни самой успокоиться, ни ее успокоить. Она только крепко обняла ее, и так они долго вместе плакали.

«Малютка» хоронила свое внезапно пришедшее и еще внезапно исчезнувшее счастье. Великая княгиня страдала страданиями дочери и в то же время жестоко себя упрекала.

«Он был прав, — думала она, вспоминая слова цесаревича, — его предчувствия не обманули. Не нужно было доверяться этому бессердечному, ужасному мальчику, не нужно было допускать между ними короткости! Тогда разлука не была бы для нее так мучительна, а теперь она успела страстно к нему привязаться. Но можно ли было это предвидеть? Можно ли было ожидать с его стороны такого возмутительного поступка?..»

«Да нет, нет! Дело уладится!» — успокаивала она себя и никак не могла успокоить.

Она уже не верила ни во что хорошее... Бессонную ночь провела она, не отходя от постели великой княжны, которая совсем заболела: стонала и металась. Заснет на несколько минут, а потом вдруг вскочит, зарыдает, говорит несвязные фразы...

На следующий день было рождение великой княгини Анны Федоровны, супруги юного Константина Павловича. По этому случаю во дворце должен был состояться бал и отменить его не было возможности, так как это возбудило бы излишние толки.

Великая княжна не в силах была подняться с постели, и сама Мария Федоровна чувствовала себя совсем больной.

Между тем из Таврического дворца, от императрицы, пришло известие, что на балу все непременно должны присутствовать, что сама она приедет и что шведский король также появится.

«Боже мой, да как же это возможно! — с отчаянием подумала Мария Федоровна. — Бедная девочка не выдержит. Они не должны встречаться. Да и я, хороша я буду на этом балу с таким лицом!..»

Она подошла к зеркалу и взглянула на свои опухшие от слез глаза.

«Нет, пусть сыновья с женами отправляются, а я с нею останусь».

И она поспешно отправила императрице такую записку:

«Признаюсь вам, дорогая матушка, что у меня глаза опухли и красны; все увидят, что я плакала, и станут глядеть на меня. При этом я кашляю. Если бы мне было позволено не выходить, то вы мне оказали бы большую милость».

Но посланный вернулся из Таврического дворца с клочком бумаги, на котором рукой Екатерины было наскоро написано:

«О чем вы плачете? Что отложено, то еще не потеряно. Вытрите ваши глаза и уши льдом, примите бестужевских капель... Никакого разрыва нет... Я вчера была больна — и только. Вы досадуете на

замедление, вот и все. Из-за этого ваша дочь больна; а впрочем, ваш супруг передаст вам, что я ему писала».

С этой запиской Мария Федоровна отправилась в покои цесаревича, который на этот день остался в Петербурге.

— Ты видишь, в каком я положении, — сказала она ему, — а Alexandrine!.. пойди, сам взгляни на нее! И матушка требует, чтобы мы присутствовали сегодня на балу! Вот прочтите!..

Цесаревич, нахмурившись, пробежал глазами записку императрицы.

— Да, она крепится, — сказал он, — хочет выдержать, все сгладить и поправить... сердится!.. Ну, что же, конечно, нужно не подавать виду, соблюсти приличия... Будьте на балу!

— А о чем же это матушка пишет, что вы должны сообщить мне? — спросила великая княгиня.

Цесаревич пожал плечами.

— Она уверяет, что вся беда произошла от того, что в статье о вероисповедании сказано: «православная, апостольская, греческая!..» Будто они всего-навсего просили изменить так: «исповедание, в котором она родилась и воспитана». Будто в этом заключается все недоразумение и, следовательно, его легко разъяснить и уладить. Не понимаю, зачем надо себя обманывать? Ясное дело, что этой свадьбе не бывать, и нужно теперь только одно — чтобы он скорее уехал отсюда. Это такое испытание — встречаться с ним, быть с ним любезным!.. Я просто не могу их видеть, и главным образом не его, а этого герцога. Я уверен, что все это его рук дело. Так я и матушке сказал, и она, кажется, согласна со мною... Постарайтесь успокоиться, мой друг, все это тяжело и возмутительно, но, кто знает, может быть, и к лучшему. Малютка наша, наверно, была бы с ним несчастна, быть может, это Господне милосердие!.. До свиданья, мой друг, идите к ней, постарайтесь внушить ей мысль, что Бог устраивает все к нашему благу, что часто думая, что теряем, мы только приобретаем.

Цесаревич поцеловал руку жены и ласковым кивком головы отпустил ее. Великая княгиня вышла от него несколько успокоенная. Она боялась большой бури с его стороны; она боялась, что он не в силах будет сдержаться. Но вот он оказывается спокойнее всех, он даже почти доволен, что дело не состоялось.

«Опять предчувствие? Она кончит тем, что будет верить его предчувствиям безусловно — они так часто сбываются!..»

Однако успокоить малютку, внушить ей покорность воле Божией было нелегко. В ее годы, при первом пробуждении страстного чувства, о Боге думают мало, а если и думают, то в этой мысли не находят того утешения, которое является потом, в иные годы, после многих битв жизни...

Во всяком случае, и великой княгине, и «малютке» пришлось последовать совету императрицы: они вытерли себе глаза и уши льдом, приняли бестужевских капель и появились на балу.

Это был очень печальный бал: приглашенных оказалось немного, оживления никакого. Танцы совсем не клеились. Вот приехал король, на него все глядели с негодованием; но он ни на кого не обращал внимания. На его тонком, холодном лице нельзя было прочесть никакого смущения. Он как ни в чем не бывало поздоровался с великой княгиней, подошел к великой княжне с приветственной фразой. И не заметил он даже, что при его приближении она смертельно побледнела и едва удержалась на ногах.

— Мaman, мне дурно, — прошептала она великой княгине, — ради Бога, уведите меня.

Пришлось исполнить ее требование.

Появилась и императрица. Она уже за этот день окончательно справилась с собою, и даже внимательный наблюдатель не мог бы заметить в ней ничего особенного. Правда, она довольно холодно приветствовала короля, она мало кого удостоила своим разговором и уехала очень скоро, сказав перед отъездом великой княгине:

— Поговорите с ним, мне любопытно, что он вам скажет. Известите меня запиской.

По ее отъезде великая княгиня подошла к Густаву.

— Объясните мне, — сказала она ему, — что все это значит? Как следует понимать ваш поступок с нами?.. Извините, я говорю прямо, я иначе не могу, — что вы сделали с моей дочерью? Если бы кто-нибудь мне сказал, что вы способны поступить так, я бы назвала такого человека клеветником. Неужели вы так бессердечны? Неужели вы ее совсем не любите? Но в таком случае зачем было заставить всех нас поверить?

— Ваше высочество, — отвечал король, несколько смущенный ее тоном, замечая ее волнение, слыша сдерживаемые слезы в ее голосе, — ваше высочество, упреки ваши несправедливы. Мне очень тяжело все это, но я не мог поступить иначе...

Он стал объяснять и оправдываться и закончил красивою фразою:

— Если мне предстоит разбить свое сердце, я разобью его, но только исполняя свои обязанности короля Швеции. Я не могу изменить этим обязанностям, хотя бы мне пришлось умереть; но я надеюсь, что дело еще уладится! Да, оно должно уладиться!

— Я бы хотела верить этому, — ответила великая княгиня, — уладить это дело необходимо для вашего счастья. Но скажите мне откровенно: действительно ли вы имеете какую-нибудь надежду?

— Я храню небольшой луч ее! — проговорил он, замолчал и стал угрюмо глядеть по сторонам.

Великая княгиня отошла от него и скрылась во внутренние покои. Король несколько раз прошелся по зале, особенно любезно раскланялся со всеми и уехал. Это было его последнее появление перед двором Екатерины...

Прошло несколько дней. Во дворце не было ни балов, ни приемов. После целого ряда блестящих празднеств наступило затишье. Со шведами шли переговоры, которые не вели ни к чему. Регент употреблял все усилия для того, чтобы убедить императрицу и великую княгиню в своей к ним преданности и своем отчаянии по поводу того, что случилось. Густав выказывал необыкновенное упорство. Он то и дело повторял:

— Что я сделал, то сделал, что сказал, то сказал, и никогда не изменю сделанного мною и сказанного!

Наконец, решили на конференции, что ратификация короля последует через два месяца, то есть после его совершеннолетия. Императрица дала понять, что теперь делать больше нечего и что она не задерживает гостей своих в Петербурге. Отъезд их был назначен.

Так как прямого разрыва не было и все еще толковали о том, что дело может уладиться, то были соблюдены всякие любезности: обменялись богатыми подарками. Однако и тут Густав сделал непристойность. Он не только не поехал лично в Гатчину проститься с цесаревичем и великой княгиней, но даже не послал им прощального письма. Он только приказал секретарю шведского посольства

Женнингсу съездить в Гатчину и словесно передать его прощальные приветствия. Ему ответили тоже словесно.

Но регент написал цесаревичу и великой княгине самые любезные, льстивые и даже трогательные письма. Цесаревичу он писал между прочим:

«Каковы бы ни были обстоятельства, я всегда пребуду вам предан и еще не отчаиваюсь иметь счастье обнять вас как родственника, вдвойне дорогого и уважаемого».

В письме к великой княгине заключались такие фразы:

«Как ни печальна для меня эта минута, я, однако, не теряю надежды видеть вскоре осуществление моих желаний в счастливом союзе, который упрочит счастье двух наций; это будет предметом моих забот и целью всех моих желаний. Благоволите сохранить меня в вашей памяти. Эта драгоценная надежда будет единственной отрадой, которая одна может смягчить печаль, мною испытываемую в минуту удаления от вашей августейшей особы».

Ему ответили очень любезно, но несколько сдержанно.

Несмотря на все его уверения, его подозревали в неискренности решительно все, начиная с самой императрицы.

Наконец, шведы уехали. Великая княжна бродила как тень, на нее жалко было смотреть. Цесаревич замкнулся в Гатчине. Императрица чувствовала себя очень нехорошо и почти не выходила из своих комнат. Зубов был взбешен до крайних пределов. К нему все это время никто не мог подступиться. Уже не говоря о том, что он ошибся в расчетах, так как на следующий день после обручения должен был получить звание фельдмаршала, он наедине с самим собою сознавал свою ошибку, чувствовал себя униженным этим неожиданным фиаско, которое потерпел его дипломатический гений. Он должен был во что бы то ни стало свалить свою вину на кого-нибудь. Должен был оправдать себя в глазах императрицы. И вот он вспомнил слова Безбородки о том, что это дело, наверно, было заранее подготовлено, — и занялся исследованиями. Он напал на следы сношений регента с Витвортом, и вдруг неожиданная для него мысль пришла ему в голову. Он вспомнил еще о чем-то или, вернее, о ком-то. Глаза его злобно блеснули. Он позвал Грибовского и дал ему какое-то таинственное поручение.

В тот же день Грибовский вернулся к нему со своими отметками.

Зубов быстро прочел их и усмехнулся.

— Ты ручаешься мне, что эти сведения верны? — спросил он Грибовского.

— Ручаюсь, ваша светлость.

— Так он три раза был у Витворта? И именно в эти дни и часы? А Витворт заезжал к нему прямо от регента, из шведского посольства?

— Точно так, ваша светлость.

— Хорошо.

Грибовский удалился, а Зубов отправился к императрице.

XXXII. БОГ НАКАЗАЛ

Наконец Сергей получил известие от Тани из Гатчины.

Это была маленькая записочка, заключающая в себе всего-навсего несколько слов.

«Serge, приезжайте завтра, я жду вас. Таня».

Больше ничего. Но разве какое-нибудь длинное и красноречивое послание могло быть более ясным, более красноречивым, чем эта лаконичная фраза?

Она зовет, она ждет, она подписалась просто «Таня»! Недоговоренного уже ничего не осталось.

Сергей ждал именно такой вести. Она не сказала ему ничего нового. А между тем он как юноша, в первый раз в жизни получивший любовную записку, перечитал раз двадцать эти слова:

«Serge, приезжайте завтра, я жду вас. Таня».

На него нахлынул поток такого счастья, такого восторга... ему казалось, что у него вырастают крылья.

Это было вечером.

«Отчего же завтра, отчего она не прислала раньше, чтобы выехать тотчас же по получении записки? Ждать целую ночь; но делать нечего, нужно подчиниться необходимости!»

Он прошел в свою спальню и велел позвать к себе Моську. Карлик появился тотчас же, запер за собою дверь, мелкими шажками подошел к Сергею, заглянул в глаза ему. Он все эти дни, после последней поездки Сергея в Гатчину, находился в возбужденном состоянии. Он не понимал, что это значит:

«Сергей Борисыч весел, доволен, очевидно, дело совсем наладилось, а между тем он не едет в Гатчину и оттуда нет никакой присылки!»

Ему смертельно хотелось узнать, в чем дело, но расспрашивать Сергея Борисыча он не решался и только ждал — авось, сам призовет да скажет. Он знал теперь, что приехал из Гатчины посланец, привез конвертик. Вот и его позвали... наконец-то!

— Что прикажешь, батюшка? — пропищал он.

— Прочти, Степаныч! — тихо сказал Сергей, подавая ему записку Тани.

Карлик схватил записку, подбежал к столу, вскарабкался на кресло, поближе к лампе, прочел и несколько мгновений остался неподвижен.

Две тихие, радостные слезинки скатились по сморщенным щекам его.

— Слава тебе, Господи! — прошептал он наконец и перекрестился.

— Степаныч, понимаешь, что это значит? — спросил Сергей.

— Понимаю, батюшка, понимаю, золотой мой, дождались... Можно, значит, поздравить твою милость?

Он живо соскользнул с кресла и подбежал к Сергею. Сергей наклонился, обнял его. Карлик целовал его руки и радостно всхлипывал.

— Господи, сколько-то лет дожидался я этого, — пищал он сквозь слезы. — Вот что значит — Бог!.. Уж как же я и молился, кажинный день молился!.. Маменька-то как желала этого, вот бы теперь порадовалась, сердечная!..

Сергей любовно вслушивался в слова карлика и все крепче обнимал его. Он понимал в эти тихие минуты, более чем когда-либо, как близко ему это крошечное, старое существо; какое преданное, любящее и золотое сердце бьется под галунами этого старомодного кафтанчика.

— Спасибо, Степаныч, — проговорил он, — спасибо, что радуешься моему счастью, Бог даст, заживем теперь. Пора, давно пора.

Он крепко поцеловал карлика и выпустил его. Моська мгновенно отер свои слезы. Лицо его вдруг стало серьезно и важно, он уселся на бархатную скамеечку перед креслом и заговорил совсем новым тоном, которого Сергей уж никак не ожидал.

— Да, правда твоя, сударь-батюшка, давно пора. Только вот скажи ты мне от души, как перед Богом, приготовлен ли ты?

— К чему приготовлен? Как? — изумленно спросил Сергей.

— А вот приготовился ли, спрашиваю, к новой той жизни, которая, по милости Божьей, тебя ожидает, к супружеской жизни?

— Что за странный вопрос, Степаныч? — улыбаясь, сказал Сергей.

— Странный! Ничего тут нет странного, — даже обидевшись, пропищал Моська. — Дело первой важности... какая тут странность! Супруга давно тебе была приготовлена такая, что краше, добрее и милее ее на всем свете сыскать нельзя, и давно бы ты мог получить ее, кабы приготовлен был. Ну, а ты не был приготовлен — и час твой отдалился... Вот тогда-то, в Париже, и я, грешный человек, ее упрашивал, чтобы не отъезжала, чтобы не покидала тебя, а повенчалась с тобою... И не понимал я тогда, по глупости своей, что не она тут была причиной, не она тебя простить не хотела... И простила бы, так все же тогда ничего не вышло бы. Господь Бог не мог допустить, ибо ты не был приготовлен в чистоте сердечной вступить в жизнь супружескую. Так вот и спрашиваю, теперь-то приготовлен ли, чисто ли твое сердце, твои помышления? Достоин ли ты повести к венцу княжну нашу непорочную, Богом тебе назначенную?

Это был совсем новый взгляд на дело, и Сергею хотелось рассмеяться. Но он все же удержался, боясь оскорбить карлика, который говорил таким убежденным, таким серьезным тоном.

— Кажется, приготовлен, Степаныч!

— А почему ты так полагаешь?

— Потому что никаких дурных мыслей во мне нет, и ничего, кроме любви к Тане, я не испытываю...

— И можешь поручиться, что будешь ей достойным супругом? Ни о ком во всю жизнь не помыслишь, пребудешь ей в неизменной верности до окончания дней своих?

Сергей едва удерживался от радостного смеха.

— Должно быть, «пребуду»! — проговорил он. — А поручиться все же не могу — вдруг, не ровен час, дьявол осилит, и такой соблазн выставит, что никак нельзя будет удержаться! Что тогда, Степаныч?

Карлик вскочил со своей скамеечки, как ужаленный, и замахал руками.

— Что ты? Что ты! Опомнись, безбожник! Я ему дело, а он шутить вздумал, нашел, чем шутить... нашел время... Смотри ты, Сергей Борисыч, — и он пригрозил ему своей ручонкой, — смотри, не шути так, не то опять накажет Господь!.. Ты думаешь, теперь уже все кончено — ан нет, ведь еще не повенчаны. Ты вот Богу помолись хорошенько, хоть теперь-то вспомни о Боге, а то что же это? Вот и киот с образами, и лампадку я каждый день зажигаю, а ты, я чаю, и не

взглянул ни разу на образа, и лоб-то не перекрестил?.. Ты думаешь, я не замечаю? Все, батюшка, вижу, знаю, какой ты безбожник!.. В церкви-то, в церкви когда был? Ну-ка, скажи. А и был, так молился ли? Я вот кажинное утро, кажинный вечер дважды молюсь — за себя и за тебя. Потому — знаю, что ты встал и лег без молитвы. Смотри ты, Сергей Борисыч!.. А тут еще богопротивные шутки вздумал в такое время!..

Сергею становилось все веселее и веселее, глядя на карлика.

— Я вовсе не шучу, Степаныч, — сказал он, — и ничего богопротивного в словах моих нет. А разбери сам, разве человек может за себя ручаться? Ну, вдруг дьявольское наваждение! Чай, знаешь — и угодники не выдерживали, а я грешный человек! Вдруг возьму, да и пленюсь какой-нибудь златокудрой или черноокой...

— Тьфу! Тьфу! Тьфу! — с азартом заплевался Моська. — Кабы знать, не пришел бы на зов твой. Этакий день, этакий час вконец испортил. Ну, сударь, не ждал я от тебя такой дурости. Право слово — беду накличешь!

Сергей совсем превратился в шаловливого ребенка и громко смеялся. Карлик пришел в окончательное негодование.

— В такой день, пред таким делом! — повторял он. — Господи, да что же это такое? Уйти поскорее... Прощай, сударь, засни, авось, сном эта дурь пройдет в тебе. Да Богу-то помолись, помолись хоть раз в жизни!..

Он снова погрозил Сергею ручонкой и направился к двери.

— Ну, прощай! — крикнул ему вслед Сергей. — Распорядись, чтобы пораньше карета была готова. Едешь со мною, что ли?

Карлик остановился у двери и грозно взглянул на Сергея.

— Смотри, сам-то еще поедешь ли! Вот как накажет тебя опять Бог, тогда и увидишь, как грохотать да шутить непотребно... Плохие это шутки!..

И бормоча что-то себе под нос, он вышел из спальни.

Сергей спал крепко и спокойно, как счастливый человек, уже успевший свыкнуться со своим, долгожданным и, наконец, пришедшим счастьем. Но он все же проснулся очень рано, со свежей головой, с ощущением полного довольства. Он не спешил вставать и одеваться, он знал, что еще может понежиться несколько времени, так как карлик непременно придет вовремя разбудить его. И он лежал,

потягиваясь и приятно позевывая, мечтая о том, как в скором времени сложится его жизнь. Конечно, он не станет откладывать свадьбу в долгий ящик. Слава Богу, достаточное время пробыл женихом, больше восьми лет! И, конечно, она сама ничего не будет иметь против того, чтобы немного поторопиться. А если даже и заупрямится, он теперь сумеет уговорить ее...

Он не оставлял мысли о том, чтобы поступить на службу к цесаревичу. Он во что бы то ни стало добьется этого; но поселиться окончательно в Гатчине вряд ли будет удобно. Да и, наконец, хотя этот год цесаревич и намерен долго прожить там, но все же зимой переедет в Петербург.

«Придется часто ездить в Гатчину, так что же, это не трудно, уж если вот великая княгиня чуть ли не каждый день совершает такие прогулки, так ему о чем же заботиться!.. Итак, значит, он поселится с Таней здесь, в своем доме. Необходимая меблировка нескольких комнат не потребует много времени — недели в две все можно будет сделать».

Он забылся на несколько мгновений в дремоте; но внезапно очнулся и опять продолжал мечтать об этой будущей, близкой жизни.

«Мы не станем жить открыто. Таня привыкла к уединению, она скучать не будет. Мы ограничимся небольшим кружком близких родных и знакомых, на расположение которых я могу еще кое-как положиться... Вот нужно будет завести знакомство с Державиным, он заинтересовал меня. Он умен и оригинален... Он чуть ли не единственный живой человек, которого я заметил в здешнем обществе...»

«Как хорошо жить! — кончил Сергей своей любимой теперь фразой, которую мысленно повторял по многу раз в эти дни. — Что же, однако, не идет Моська?»

Но Моська был легок на помине. Только он вошел в комнату не на цыпочках, не осторожно, как всегда это делал, а вкатился кубарем. Подбежал прямо к кровати Сергея, быстро отдернул полог и завизжал, что было в нем голосу:

— Сергей Борисыч, вставай... беда приключилась. Беда, слышь ты... вставай, ради Бога!..

Испуг и тоска были в его голосе. Сергей вскочил и сам испуганный.

— Что такое? Пожар, что ли?.. Горим мы?

— Какой пожар, хуже... Одевайся-ка!

Зубы карлика стучали, и руки так и тряслись, когда он подавал Сергею одеваться.

— Ведь говорил я тебе: не искушай ты Господа Бога!.. Говорил, покарает Он тебя за твое богохульство!.. Так оно и случилось... как пописаному... Говорил: неведомо еще — поедем ли мы в Гатчину?.. Ну, и что, батюшка... ну, и не поедем!..

«Что это за горе такое? Никак бедный Степаныч рехнулся?» — подумал Сергей, внимательно вглядываясь в перепуганную и дрожащую фигуру Моськи.

— Степаныч, голубчик, да приди ты в себя, опомнись!.. Что за вздор ты болтаешь? Или ты не выпался, наяву гредишь?

— Ах, кабы вздор-то был, сударь-батюшка! Ах, кабы грезил я али спьяна болтал!.. Да нет, правду говорю, не едем мы в Гатчину, а что дальше будет — ума не приложу!.. Творится такое, что никак понять невозможно... разум отшибло. Одевайся вот поскорее. Дай я тебе подам умыться... Вот сам посмотри, что у нас такое деется!..

Сергей рассердился.

— Да будешь ты наконец говорить по-человечески? — крикнул он, топнув ногой.

— Батюшка, как же мне говорить еще, тут и говорить-то нечего... Проснулся это я, оделся, умылся. Богу помолился... закладывать велел карету... Хотел на крыльцо выйти, посмотреть, какова погода — тепло али холодно... какой плащ велеть подать тебе... Схожу с лестницы... глядь... а в больших-то сенях у нас два солдата на карауле поставлены... Иваныча, швейцара, спрашиваю: что такое?.. А он с испуга и говорить не может... от лакеев уже добился: постучались... вошли солдаты с ружьями... во всей амуниции и встали на караул... С ними офицер... а то чуть ли не генерал... в приемной дожидается... и распоряжение отдал никого не выпускать из дома...

Сергей не мог прийти в себя от изумления. Он ничего не понимал.

— Что же ты, морочишь меня, что ли? Карлик всплеснул руками.

— Пойди, батюшка, посмотри, морочу ли я тебя!.. Этот самый офицер, не то генерал, разбудить тебя велел... Я с ним уже заговаривал... подошел и говорю: Сергей Борисыч, мол, почивают, а как встанут — тотчас же из дому выедут, и карету, мол, уже велело

закладывать... Так что же он мне на это: «Ну, — говорит, — карету-то отложить придется, никуда твой барин не поедет, чучело ты гороховое!..» Обругал ни за что, ни про что чучелой гороховым!..

Сомневаться в правдивости рассказа карлика не было более возможности. Сергей был вне себя от негодования.

«Что же это, арестовать его пришли, что ли? Конечно, в этом не может быть сомнения... И ведь он должен был давно уж подготовиться к этому. Государыня была с ним милостива, но Зубов не дремал. Цесаревич предупреждал его, чтоб он ожидал всяких неприятностей... Однако ведь есть же всему предел и мера! Должен быть предел и власти этого бессовестного человека. Он мог на него клеветать; но ведь для такого образа действия, для такого оскорбления, для ареста в его собственном доме нужно же иметь что-нибудь в руках, какие-нибудь доказательства. Какие же доказательства могут быть? Он вел себя осторожно, он ничем себя не скомпрометировал. Он во все это время не позволил себе лишнего слова, говорил откровенно и по душе только в первые два-три дня по своем приезде, когда еще не огляделся. Да и с кем говорил? С Нарышкиным. Ведь не станет же дядя выдавать его, не такой человек!..»

Как бы то ни было, он поспешно оделся и вышел к ожидавшемуся его офицеру.

Ему навстречу поднялась толстая, высокая фигура. Лицо было ему незнакомо; но он сразу понял, что имеет дело с одним из высших представителей петербургской полиции.

— Что вам угодно? — спросил Сергей.

— Милостивый государь мой, — с легким поклоном отвечал незванный гость, — прежде всего я должен объявить вам, что вы арестованы и впредь до дальнейшего распоряжения обязаны не выходить и не выезжать из дома, никого не принимать, ни с кем не сноситься и не переписываться.

— Что такое? На каком основании? По чьему приказанию?

— По высочайшему повелению! — был ответ.

— Но в таком случае потрудитесь объявить мне мою вину.

— На это я не уполномочен. Я прошу вас провести меня в ваш кабинет и передать мне ваши бумаги.

Сергей побледнел от подступившей к его сердцу злобы. Все это было так дико, возмутительно и неожиданно. Но несмотря на

волновавшие его чувства, он все же нашел в себе силы остаться спокойным. Он сообразил, что рассуждать с этим господином ему не приходится, что для него даже унизительно вступать в какие бы то ни было объяснения. Следует подчиниться всему этому безобразию. Ну, что же, пускай роется в бумагах! Что же он найдет?

Он припоминал, что именно могло находиться в его бюро и письменном столе...

«Копии интересных дипломатических бумаг; но как чиновник иностранной коллегии я имею право держать их у себя. Затем что же?»

Он вспомнил вдруг, что между бумагами находится и его дневник, который по старой, с детства приобретенной стараниями Рено привычке он вел до сих пор, хотя и с большими перерывами.

«Что же, пусть читают, пусть читает негодяй Зубов!..»

Затем переписка: старые и милые письма Тани, два-три письма цесаревича, несколько писем Нарышкина, Рено.

«Пусть все читают, увидят, какой я вольтерьянец, быть может найдут многое для моего обвинения... в какие руки попадет все это!..»

— Сделайте милость! — проговорил он, приглашая толстяка следовать за собою.

Войдя в кабинет, он отпер бюро, письменный стол, книжные шкафы.

— Распоряжайтесь! — сказал он.

И присев к камину, он стал тоскливо следить за тем, как этот неизвестный ему человек перебирает то, до чего еще не касалась посторонняя рука, все эти тетради и листочки, в которых хранились следы его протекшей внутренней жизни.

«Таня, — думал он, — вот как я к ней еду. Эх, кабы он убрался поскорее!.. Напишу ей, пошлю со Степанычем. Наверно, цесаревич поможет мне в беде этой!..»

Он совсем позабыл, что ему только что было объявлено о запрещении с кем бы то ни было пересылаться или переписываться.

Между тем посетитель выбрал из всех ящиков все письма, все рукописи и обратился к Сергею:

— Нет ли у вас такого портфеля или шкатулки, чтобы уложить все это?

— Вы так все и возьмете с собой?

— Конечно!

— Послушайте, ведь тут есть многое такое, например, некоторые письма... их отбирать у меня нет никакого основания, и мне очень бы хотелось, чтобы они были оставлены!

— Это невозможно, я должен взять все.

— В таком случае вот шкатулка, вот портфель, там вот еще другой — выбирайте что угодно.

Толстяк живо распорядился.

— Теперь я удаляюсь, — сказал он. — Так помните же, государь мой, все, что я объяснил вам. Я надеюсь, что вы не вздумаете нарушить предписание?

— Не тревожьтесь, пожалуйста, я никуда не тронусь до тех пор, пока это странное недоразумение не выяснится.

Толстяк как-то повел плечами и вышел из кабинета. По его уходе Сергей тотчас же присел к столу и написал записку Тане. Он обернулся, возле него уже стоял Моська.

— Вот, Степаныч, отвези княжне, да скорей!

— Мигом, золотой мой, ни минутки медлить не стану.

Он тяжело вздохнул, сложив записку, сунул ее в кармашек камзола и вышел.

Минут через пять он, уже совсем одетый, спускался с лестницы во двор. Он хотел исчезнуть незаметно, не хотел, чтобы его видели солдаты, караулившие в парадных сенях. Он поедет на почтовых. Он уже спустился с лестницы и хотел отворить дверь, как вдруг чья-то крепкая рука схватила его.

Он поднял голову — перед ним рослая фигура солдата.

— Куда, обезьяна? Назад, никого выпускать не приказано.

Карлик взвизгнул от такой неожиданности. «И здесь поставлены! Весь дом оцеплен!»

— Пропусти, голубчик! Как это меня не выпускать приказано? Кто же такой приказ дал? Я, батюшка, по своему делу... я-то что же?

Он не знал, что и говорить, он совсем спутался.

— Назад, слышь ты, назад! Нечего тут болтать попусту. Не приказано никого выпускать, да и полно! Ну, направо кругом — марш!.. Поворачивайся!..

Карлик понял, что все пропало и что рассуждать с этим солдатом ему действительно нечего. Он побрел назад, тяжело подымаясь по ступеням и в отчаянии думая:

«Так вот оно как! Вот какие порядки заведены! Чтобы такого большого боярина, да в собственном доме оцепить, как медведя в берлоге! Где же такое видано?.. У нехристей, у басурман поганных, в дьявольском ихнем Париже, всяких ужасов пришлось навидаться, так это им, окаянным, впору!.. Вот думал: „Когда бы домой? Когда бы домой добраться, у нас не то, у нас народ христианский“, — а тут это что же такое? А Танечка! Танечка ждет, сердечная! Господи, вот так подлинно наказал Ты! И чего же ждать теперь? Что делать, ничего не придумаешь... Одно и осталось, ложиться да и помирать... Одно и осталось!..»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. ОПЯТЬ ВИНОВАТА

Прошло около недели с тех пор, как Таня послала Сергею свою лаконическую и красноречивую записку.

Весь первый день она с трепетом ждала его, но он не приехал. Значит, приедет завтра... значит, задержало его что-нибудь неотложное, что-нибудь важное. Но прошел и следующий день, а Сергея нет, и нет от него никакой вести.

Таня стала тревожиться, не знала, как объяснить такой поступок с его стороны. Час проходил за часом, еще день кончился, прошел и другой. Таня не спала ночей, бродила как тень, побледнела, похудела. Теперь одна тяжелая мысль не давала ей покоя: она решила, что случилось то, чего она вдруг испугалась в ту ночь, когда, после последнего свидания с ним решила внезапно восставшие перед нею вопросы.

«Да, так и есть — это наказание. Он вернулся только затем, чтобы обвинить ее, чтобы доказать ей, что она сама — единственная причина своего несчастья... Он вернулся, чтобы отомстить ей... он ее не любит... Теперь она навсегда уже его потеряла!»

Она так боялась возможности этого, что вдруг совершенно поверила в такую несообразность. Она как будто сразу потеряла свой рассудок, она забыла, что не имеет никакого права считать Сергея способным на такой поступок, что она оскорбляет его этим подозрением. Если бы кто из посторонних ей находился в подобных обстоятельствах, она, конечно, рассудила бы все как следует, она бы просто посмеялась над таким нелепым предположением, но в своем собственном деле она запуталась. В ней поднялись все муки внезапно вспыхнувшей и всю ее охватившей страсти, вся тоска разлуки. Таня негодовала на подобный поступок с его стороны, чувствуя оскорбление и в то же время, безнадежно опустив голову, она шептала:

— Я заслужила это. Так мне и следует... так и следует!

Прошел еще день, но она уже перестала ждать Сергея. Она знала, что все кончено, ей даже не пришло на ум, как это ни странным может показаться с первого раза, что с Сергеем случилось какое-нибудь несчастье, что он, может быть, серьезно болен, что, одним словом, у

него нет физической возможности приехать к ней, известить ее. Она упорно оставалась со своим объяснением: все теперь было ясно, все кончено! Она жила как в тумане и заботилась только об одном, чтобы никто не замечал ее мучительного состояния. Она ни с кем не намерена делиться своим горем. Она выдержит его одна.

Между тем, она так истомилась за это время, что ее измученный, больной вид должен был обратить, наконец, на себя внимание. Как-то утром великая княгиня сама была измучена не менее ее. Она только что вернулась из Петербурга, она оставила императрицу мрачной и больной, оставила свою дочь, хотя на ногах, по-видимому, успокоившуюся, но такой бледной, такой грустной. Она была погружена в свои мысли, в свои собственные тревоги и страдания, но все же, взглянув на Таню, тотчас же заметила происшедшую в ней перемену.

— Милое дитя мое, что с вами? — сказала она своим тихим, ласковым голосом. — Посмотрите на меня... да вы больны! Что у вас болит? Отчего вы не скажете? Нужно поговорить с доктором... нельзя медлить... Разве возможно так пренебрегать своим здоровьем?

— Я вовсе не больна... я совсем здорова, ваше высочество, — ответила Таня.

— Как не больны, вы решительно больны! Дайте вашу руку.

Она взяла руку Тани, рука была холодна. На лице Тани выражалось такое утомление, даже ясные великолепные глаза ее как-то потухли!

— Сядьте сюда! — указала великая княгиня на место рядом с собою на маленьком диванчике. — Смотрите прямо на меня, и если вы не больны, то скажите, что такое случилось с вами? Какое несчастье? Ведь есть же что-нибудь, ведь не могло же у вас сделаться такое лицо без всякой причины. Я просто не узнаю вас. Все это время мы редко виделись, я почти здесь не бывала, я вся была в своих заботах, но не думайте, моя милая, что я к вам равнодушна, вы знаете, что я люблю вас. Будьте откровенны со мною, говорите.

Она наклонила к себе голову Тани и нежно ее поцеловала.

— Говорите, — еще тише, еще ласковее прошептала она.

Таня не была приучена к подобным ласкам — она видела их очень редко, и потому они не могли на нее не действовать, а теперь, когда ее нервы были так натянуты, когда она чувствовала себя такой

несчастной, измученной, нежный поцелуй великой княгини, пожатие ее руки, ее тихий голос, произвели на нее почти потрясающее действие. Она хотела что-то сказать, но не могла произнести ни звука и вдруг громко, истерически зарыдала. Великая княгиня перепугалась, стала ее успокаивать, и когда, наконец, Таня овладела с собою и перестала рыдать, она сказала ей:

— Послушайте, друг мой, я вижу, что вы очень страдаете, но поэтому-то и прошу вас быть откровенной. Дайте мне узнать, в чем дело и решить самой: быть может, все совсем не так важно, как вам кажется. Я начинаю догадываться, но все же ничего не знаю. Я не знаю, что тут было во время моего отсутствия? Чем так огорчил вас ваш жених?

Таня даже вздрогнула.

— Он вовсе не жених мне, — прошептала она.

Великая княгиня взяла ее руку одной своей рукой, а другой обняла ее за талию и привлекла к себе.

— *Voyons, ma chère* [9], — на ухо прошептала она ей, — будьте умница, расскажите все спокойно. Поверьте, вам, во всяком случае, станет легче, когда вы выскажетесь.

Таня была совсем покорена и все рассказала, как на исповеди. Внимательно ее выслушав и задумавшись на несколько мгновений, Мария Федоровна подняла на неё свои светлые глаза и сказала:

— Вот я и была права! Хорошо, что вы мне все рассказали — это следовало бы сделать раньше. И знаете, мой друг, вы меня очень изумили; вы — такая разумная, такая рассудительная — и вдруг превратились совсем в маленькую дурочку. Откуда взяли вы все это? Зачем вы так обижаете вашего жениха, это очень нехорошо с вашей стороны! Я уверена, что он никогда бы не был способен заподозрить вас в том, в чем вы его подозреваете. Разве порядочные люди так поступают? Мне стыдно за вас, я говорю серьезно, и, пожалуйста, никогда никому не говорите того, что вы мне сказали — вам самим скоро будет стыдно за подобные мысли... Таня изумленно на нее глядела.

— Но, ваше высочество, да какое же другое объяснение может быть его поступку? Ведь вот целая неделя прошла, а его нет... Он даже не написал мне, даже не прислал карлика.

— Конечно, это очень важно, — сказала великая княгиня, — и, конечно, вы имеете полное основание очень тревожиться. Я тоже начинаю тревожиться. Мне кажется, вам уже несколько дней тому назад следовало постараться узнать, что с ним.

Таня мало-помалу начинала понимать свое безумие. Великая княгиня продолжала:

— Я полагаю, что с ним случилось что-нибудь не совсем обыкновенное. Что он жив, в этом не может быть сомнения, потому что иначе я бы слышала.

— Господи! Да что же могло случиться? — крикнула Таня, хватаясь за сердце.

Ее мысли сразу прояснились и, наконец, пришло ей в голову то, что должно было прийти давным-давно.

— В этом весь вопрос: что такое могло случиться? Это загадка, это очень странно и нам нужно как можно скорее разрешить эту загадку. Может быть, цесаревич знает, я спрошу его. Я сейчас пойду к нему, подождите меня.

Великая княгиня ушла, но скоро вернулась и сказала Тане, что, к сожалению, цесаревича она не застала, что он уже два часа как выехал из дворца.

— Я велела доложить мне, как только он вернется. Успокойтесь, мы сегодня же все узнаем и, конечно, ни минуты не промедлим.

Таня возвратилась в свои комнаты совсем в лихорадке.

«Да, что же это такое, — отчаянно думала она, — ведь я в самом деле сошла с ума! Что я за несчастное, за дрянное существо — всегда поступаю именно так, как поступать не следует... Во всю жизнь только делаю глупости, а ведь я считала себя умной, я дура... дура... несчастная, сумасшедшая дура!»

Она схватилась за голову, она себя ненавидела, презирала.

«Может быть, с ним Бог знает, что случилось, у него враги... этот ужасный Зубов, мало ли что может быть! Но что же, что может быть с ним?»

Она не могла ничего придумать.

«Знает ли цесаревич? А если знает, зачем же он молчит? Зачем он ничего не скажет? Он добрый... нет — какой он добрый! он жестокий, он мой мучитель... А если и он ничего не знает? Что же мне ждать — я должна ехать в Петербург...»

Она остановилась на этой мысли и решила только дожждаться возвращения цесаревича, услышать, что он скажет, и немедленно же ехать. Объяснение было гораздо ближе, чем она думала.

Едва успела она решить свою поездку, как ей доложили, что приехал карлик из Петербурга и просит принять его.

— Карлик! Скорей, Скорей!.. Где он? Моська уже входил, запыхавшийся, мрачный.

— Степаныч, откуда ты? Где Сергей Борисыч? Что у вас такое случилось?

Моська поцеловал ее руку и запищал:

— Дай только дух перевести, золотая барышня, — все расскажу. Думал, уж не доеду, не увижу тебя. Ох, дела-то у нас какие!

— Какие дела?

Он развел руками. Таня так и впилась в него глазами, силясь прочесть на лице его.

— Что же, наконец, такое случилось? Где Сергей Борисыч? Жив он, здоров? Скажи ты мне хоть это.

— Жив... здоров, матушка.

— Говори правду. Ты меня не обманывай! Ты ничего от меня не скрываешь?

— Для чего скрывать... стану я скрывать от тебя! Говорю — жив, здоров... только от этого не легче. Такие дела! Такие дела!.. Ой, дай дух перевести! Голова идет кругом.

Он вскарабкался на стул, вынул свой свернутый в клубочек платок, вытер себе лицо и несколько раз тяжело перевел дыхание.

— Ведь я как сюда попал, матушка, ведь я убежал... из-под караула... ведь, может, теперь меня как поймают, в Сибирь сошлют.

— Степаныч, ты хочешь свести меня с ума! Неужто же ты никак не можешь сказать, в чем дело... Потом все расскажешь подробно... Какой караул? Отчего Сергей Борисыч до сих пор не приезжал? Где он?

— В Петербурге, матушка, золотая барышня... в Петербурге Сергей Борисыч... в доме своем.

— Так что же?

— А отчего сюда не приехал, отчего ждать-то тебя заставил, да еще неведомо когда и выберется, так я скажу тебе отчего, — от безбожия, матушка, от безбожия все!

Таня рассердилась не на шутку.

— Нет, это невыносимо! — крикнула она. — Я тебя, Степаныч, за доброго человека всегда считала, я так полагала, что ты любишь нас, а это что же, ты пришел издеваться надо мною!.. Ты видишь, что я сама не своя, и только томишь меня больше... запутываешь... Что я могу понять из слов твоих!.. Да и слушать-то я тебя не хочу! Я уже решила, я еду в Петербург — я должна видеть Сергея Борисыча.

— Поймай, золотая, не торопись... не сердись ты ради Бога, ваше сиятельство. Всему свое время будет... и в Петербург захочешь поехать... и поедешь, а торопиться-то так уж нечего. И за что ты это на меня так осердилась? Я тебе говорю то, что надо, что можно сказать, и сама ты увидишь, что иного ничего и говорить я не могу. Как тут говорить, когда такие дела вышли... Одно слово — Божеское наказание!

Таня в изнеможении упала на кресло. «Ну, что с ним делать!»

— Да говори же ты, говори... — сквозь слезы повторяла она.

— И говорю, и говорю, золотая, сама ты меня перебиваешь. Вот посиди-ка смирненько, да послушай, все и узнаешь. Тогда и увидишь сама, что ничего другого не мог я и сказать тебе по-первоначально. Вот как получил это Сергей Борисыч твою записочку, призвал это он меня, велел распорядиться, чтобы пораньше утром карета была готова, что едем мы, дескать, в Гатчину. Так и решили, да тут он... как тебе сказать... ну, нечистый его попутал, такого он наговорил... Я ему сказывал, что Бог накажет — так и случилось! Утром — ехать нам — ан ехать-то и нельзя! В сенях-то, вишь, часовые поставлены... в своем-то собственном доме... и не пускают нас — ни его, ни меня, карету отложить и пришлось. Да вот с той поры и сидим взаперти: ни нас не пускают, ни к нам никого, никуда цидулки послать невозможно — перехватывают... под караулом мы.

— Да за что же, Степаныч? Я все же таки ничего не понимаю.

— А ты думаешь, голубка, мы-то много понимаем!.. Офицеры приехали, потом высшее петербургское начальство... сам набольший над всею полицею — как его прозвище-то, вот запомятовал — говорят, вишь ты, по царицыному указу. Вишь ты, в чем-то Сергей Борисыч провинился... Из Англии будто бумаги вывез какие-то, да с англичанином, с петербургским послом переговоры что-ли имел... Наплели и невесть чего! Разобидели, осрамили, оклеветали Сергея

Борисыча... будто изверга какого, будто преступника... срам такой, что и не изживешь такого сраму... Плачу я, матушка, плачу, да слезами-то горю не поможешь.

И, говоря эти последние слова, карлик начал всхлипывать.

Таня сидела пораженная, едва веря ушам своим.

— Да, вот дела какие! — продолжал карлик сквозь слезы. — Весь кабинет Сергея Борисыча опечатали, в бумагах его рылись, потом взяли несколько пачек бумаг, увезли, да вот с той поры и сидим мы под караулом. Я не раз просился: выпустите, мол, — нет, не пускают — так полагаю, что и меня-то приплели — и я ведь в Англии-то был с Сергеем Борисычем, так, может, тоже какие бумаги вывез... Ах, Боже ты мой милостивый! И нашлись же такие гадины, что наклепали! И чем это кончится, как тут быть — ничего не понимаю.

— Как же ты, наконец, вырвался?

— Да как? Обманом. В первые-то дни ничего не действовало — сторожили нас ровно зверей диких. Я улещать... я то, другое, ничего не помогает... ну, а сегодня вырвался. Еще вчерась вечером из погреба достал бутылочки, все в плесени, а вино в них такое... чудно действует... Ну, известное дело, двоих чертей этих, прости Господи, что меня сторожили, и угостил, — такую я даже историю читал где-то, не помню, как из-под караула убегают, напоивши стражников. Так вот и я, матушка, сделал, напоил их да и убег. Только что со мной за это будет, этого уж я не знаю; разве вот его высочество, государь всемилостивый, цесаревич за нас вступится, на него одного только надежда. Авось, Бог милостивый, на сей раз простит, не продолжит своего наказания.

— Какое тут божеское наказание? Что ты такое говоришь, Степаныч?

— А то, что не провинился бы Сергей Борисыч, так Господь такой беды и не попустил бы.

— В чем он провинился?

— Ну, уж я про то знаю. Лучше ты меня не спрашивай. А вот на-ко, ваше сиятельство, прочти, вот Сергей Борисыч тебе пишет... а тут письмо к цесаревичу... как бы это повидать его, похлопочи, матушка, слышал я — он в Гатчине... на него, говорю, только одна и надежда... он, может, выручит.

Таня схватила письмо Сергея.

— Что ж ты, Степаныч, креста на тебе нету! Да ты бы начал с того, что письмо мне отдать.

Но ей некогда было бранить карлика, она жадно пробежала строки Сергея. Впрочем, это письмо ничего нового не сказало ей относительно обстоятельств нежданного и странного ареста.

Сергей писал, глубоко возмущенный, измученный и оскорбленный. Зубов оговорил его перед государыней, а в чем — он и сам хорошенько понять не может, у него произведен обыск, взяты многие бумаги — конечно, в них не найдется ровно ничего предосудительного. Но, между тем, дни проходят за днями, а он все под арестом, в своем собственном доме, под унижительным, невозможным строжайшим арестом, оторванный от сообщения с кем бы то ни было. Когда к нему кто-нибудь приезжает, объявляют, что его нет дома, что его нет в Петербурге.

«И все это должно было случиться именно тогда, когда я рвался к вам, — заканчивал Сергей свое письмо, — когда я считал себя счастливейшим человеком в мире. Что должны были вы думать? Я совсем болен от этих мучений. Мне кажется все это невероятное приключение каким-то сном. Когда же, наконец, все это разъяснится? Я пишу цесаревичу — авось, он меня выручит! Но что может быть ужаснее — находиться в руках первого клеветника и негодяя. Я, право, боюсь сойти с ума!..»

— Пойдем, пойдем скорее! — торопливо шепнула Таня, схватила карлика за руку и почти побежала с ним в комнаты великой княгини.

II. РАЗЪЯСНЕНИЕ

Между тем, великая княгиня уже успела переговорить с возвратившимся цесаревичем и узнала от него, что ему неизвестна судьба, постигшая Сергея.

— Да и откуда же мне знать, — сказал он, — я в эти дни не выезжал из Гатчины. Ты была в Петербурге и скорее могла бы слышать. Конечно, это очень серьезно, — прибавил он, — и дело это никак нельзя оставить. Напрасно княжна не сказала раньше... Вот мы так поглощены своими делами, своими неприятностями, что забываем о других. Я виноват, я даже почти не видел княжны в эти дни, не думал о ней и о Горбатове... Нет, это немедленно же нужно выяснить... Конечно, я понимаю, в чем дело — это, наверное, штука Зубова.

— Но что он мог придумать?

— Э! разве трудно погубить человека! Но Горбатова я не могу оставить, я завтра же нарочно съезжу в Петербург и все узнаю.

Он в волнении стал ходить по своему кабинету.

— Когда же, наконец, окончится власть этого отвратительного человека! Когда на него откроются глаза! Успокой, Маша, нашу милую княжну, скажи ей, что мы не оставим ее дела. Я решусь на все, чтобы устроить их счастье — она и так чересчур долго ждала — я обещал ей и исполню свое обещание.

Великая княгиня едва успела вернуться к себе, как к ней вбежала Таня в сопровождении Моськи.

Запыхавшийся и перепуганный карлик расшаркивался по правилам старого этикета.

— Вот... вот, ваше высочество... — говорила в волнении Таня, — вот он приехал, привез письмо, и все объяснилось. Вы были правы... но все это так дико, невероятно, возмутительно...

И она наскоро, почти изнемогая от волнения, передала все, что узнала от Моськи.

— Так пойдем сейчас же к нему, — сказала Мария Федоровна. — Он ничего не знал до сих пор и очень огорчен, ему нужно рассказать подробно. И ты, любезный, пойдем с нами, — ласково обратилась она к карлику.

Цесаревич внимательно, насупив брови, выслушал рассказ Тани, прерываемый пояснениями Моськи, прочел письмо Сергея, где тот умолял его за него вступить и верить его полнейшей невинности во всех возводимых на него преступлениях, о которых он не имел ни малейшего понятия.

— Будьте покойны, — мрачно проговорил цесаревич, обращаясь к Тане, — завтра же я буду в Петербурге, узнаю все подробности и сообщу вам, что можно сделать.

— Но я не могу ждать до завтра! — уже не владея собою, уже не находя необходимости скрываться, прошептала Таня. — Он в отчаянии, он так оскорблен, он пишет, что с ума сходит — и есть от чего сойти с ума. Я решилась, ваше высочество... я сейчас еду, я должна быть с ним, должна его успокоить.

— Пустое, — сказал цесаревич. — Это будет совсем неприлично, сударыня.

— Ваше высочество, есть обстоятельства, когда нельзя думать об условных приличиях, — твердо ответила Таня.

— Сегодня таких обстоятельств я еще не вижу. За одну ночь он еще не сойдет с ума и ничего с ним не случится. Да и, наконец, как видно из объяснений этого героя (он указал на Моську), вас и не пропустят. Вы сами виноваты: зачем вам было столько дней скрываться и ничего не предпринимать? Теперь, может быть, уже все было бы выяснено, и он оказался бы на свободе. Сударыня, вы поступили очень неразумно и теперь желаете завершить ваш способ действий новым неразумием, я запрещаю вам формально такой скандальный поступок. Не далее как через сутки вы обо всем узнаете.

Но с Таней невозможно было теперь уже сладить: у нее явилась своя логика.

— Тем более, если я виновата, если я по своей глупости пропустила столько времени, — сказала она, — то я должна быть с ним и его успокоить.

Цесаревич пожал плечами и сердито от нее отвернулся.

— Ваше императорское высочество, благодетель вы наш, — прошептал карлик, — а мне-то что теперь делать? Надо бы известить Сергея Борисыча, — да как я вернусь? Меня схватят как беглого... в дом-то не впустят, а упекут куда ни на есть, и никто меня не сыщет.

— Да, пока тебе нечего возвращаться. Оставайся-ка здесь, да вот сторожи ее, чтобы она тоже куда-нибудь не убежала — от нее станется!

Весь этот день великая княгиня и карлик не покидали Таню, уговаривали ее успокоиться и терпеливо дожидаться результата поездки цесаревича. Сначала она было хотела ехать во что бы то ни стало, потом должна была сдаться на представляемые ей резоны.

Несколько придя в себя и собравшись с мыслями, она и сама поняла, что такая поездка очень неблагоприятна, а главное, пожалуй, не приведет ни к какому результату. Но ей было так тяжело знать, что он один, она чувствовала такую потребность быть теперь с ним, сказать ему, что каждая минута ее жизни принадлежит ему, исповедать перед ним свою новую тяжкую вину — это глупое, возмутительное подозрение, которое закралось в нее и превратилось даже в уверенность, из-за которого она несколько дней оставляла его среди опасностей, среди оскорблений. Теперь она, как ребенок, считала часы и минуты, и только карлик своими рассказами о житье в Лондоне несколько сокращал ей время...

Цесаревич исполнил свое обещание: на следующее утро очень рано выехал в Петербург.

Сначала он хотел было отправиться прямо к императрице, но затем раздумал- сперва нужно было собрать кое-какие справки, узнать, в чем состоят обвинения, взведенные на Сергея. К кому же обратиться? Он заехал к Нарышкину, но тот изумленно выслушал его вопрос о Горбатове и сказал, что ничего о нем не знает, полагал, что он неожиданно выехал из Петербурга, а куда — не сказался.

Цесаревич не стал медлить ни минуты, велел везти себя в Зимний дворец, спросил, дома ли великий князь Александр Павлович и, узнав, что дома, велел просить его. Великий князь тоже ничего не слышал о Сергее.

— Здесь Ростопчин? — спросил цесаревич.

— Должно быть, здесь, я его видел с полчаса тому назад, — отвечал великий князь.

— Так вот что, мой милый, я тебя не задерживаю, только найди мне Ростопчина и пришли его.

Через несколько минут к цесаревичу входил молодой еще человек, очень некрасивый, с неправильными грубыми чертами; но это почти безобразное лицо освещалось такими умными глазами, представляла такую игру физиономии, что дурнота его скоро забывалась; оно начинало нравиться, делалось приятным.

Из первых же фраз, которыми обменялись цесаревич с Ростопчиным, было видно, что между ними существует значительная близость, было видно, что цесаревич очень жалуется этого человека.

— Как ты полагаешь, сударь, зачем я сюда приехал, когда ехать вовсе не предполагал, и какие мне нужно справки?

— Я полагаю, что вашему высочеству нужна справка относительно того, что случилось с господином Горбатовым, — ответил Ростопчин.

— Да, это верно, и тебе не трудно было догадаться, так как великий князь сказал тебе, что я его об этом спрашивал. Но весь вопрос в том, можешь ли ты мне сообщить что-нибудь? Знаешь ли ты что-нибудь об этом деле?

— Знаю, ваше высочество.

— Так говори все, что знаешь.

— Господин Горбатов подвергнут аресту у себя в доме по настоянию князя Зубова. Его бумаги отобраны и находятся на рассмотрении князя. Дело держится в большом секрете.

— Все это я и сам знаю! — раздражительно перебил его Павел. — Мне нужно знать — в чем его обвиняют.

— Обвинения тяжкие, его обвиняют в сношениях с английским посольством по поводу...

Ростопчин немного замаялся, но затем тотчас же и закончил:

— По поводу шведского короля, или, вернее, герцога Зюдерманландского.

— Что? Что такое? — изумленно переспросил цесаревич.

— Насколько я мог узнать, — продолжал Ростопчин, — князь Зубов хочет доказать государыне, что господину Горбатову было дано секретное поручение из Лондона, по поводу которого он имел неоднократные объяснения с лордом Витвортом, и будто следствием всего этого был известный образ действий герцога Зюдерманландского.

— Довольно! — крикнул Павел. — Спасибо, сударь, теперь я все понимаю. Я узнал, что мне нужно. Хитро придумано, даже хитрее, чем можно было ожидать. Оставайся здесь, я сейчас съезжу в Таврический дворец, а потом ты мне, может быть, будешь нужен.

Сказав это, Павел поспешно встал и поехал к императрице. Екатерину уже более недели не видел никто, кроме самых приближенных к ней людей. Она не только не выезжала из Таврического дворца, но даже не выходила из своих комнат. Она не могла оправиться после дурноты, случившейся с ней 11-го сентября, чувствовала постоянную головную боль, у нее усилились припадки болезни, которою она страдала в течение нескольких лет — ноги ее сильно опухли, на них открылись раны.

Между немногими лицами, с которыми она виделась в это время, шли рассуждения о том, что она находится в очень мрачном настроении духа, что она постоянно озабочена, молчалива и выказывает признаки такого раздражения, какого в ней прежде никогда не замечалось. Цесаревич знал обо всем этом от великой княгини, и ему было очень трудно теперь решиться на свидание с императрицей, на объяснение с нею. Но это объяснение он считал долгом своей совести; у него не было другого выхода.

Он велел доложить о себе государыне и о том, что он просит ее немедленно принять его. Его не заставили ждать. Он застал Екатерину в маленьком кабинете перед маленьким письменным столиком, за которым она, месяц тому назад, принимала Сергея Горбатова. Но если уж тогда она имела больной и утомленный вид — теперь она казалась еще более больной и утомленной.

— Очень рада вас видеть, мой друг, — проговорила она, протягивая руку сыну, — я не ожидала вас. Вы так редко приезжаете, верно, какое-нибудь особенное дело привело. Что вам угодно? Я слушаю.

— Вы правы, дорогая матушка, я по делу, — смущенно проговорил Павел, целуя ее руку. — Матушка, будьте снисходительны, позвольте мне узнать от вас, что такое случилось с Горбатовым? Почему он арестован? В чем его обвиняют?

Екатерина подняла брови с видом изумления.

— А, так вот дело, которое заставило вас приехать из Гатчины! А я и не знала, что вы принимаете в Горбатове такое участие... Впрочем

— нет, мне говорили, что он у вас бывает... Но откуда же эта близость? Что общего между вами?

Цесаревич закусил губу. Он был готов вспыхнуть, но тотчас же совладел с собою и проговорил:

— Этот молодой человек мне всегда очень нравился, я всегда чувствовал к нему влечение. Он действительно был несколько раз в Гатчине, потому что он жених фрейлины моей жены, княжны Пересветовой.

— Да?.. Этого я никогда не слышала. Впрочем, я совсем не знаю княжну Пересветову — я видела ее всего, кажется, один раз. Очень красивая девушка, но мне говорили, что она какая-то странная, какая-то недотрога, невидимка. Впрочем, дело не в этом, мне все равно, если она нравится великой княгине, если великая княгиня довольна ею, то больше ничего и не надо... Так Горбатов ее жених! Жаль!

— Почему же жаль, матушка?

— Если она честная и хорошая девушка, то мне жаль, что она выбрала такого недостойного человека.

— Недостойного? Этот-то вопрос и нужно разрешить — действительно ли он недостойный человек?

— Видите ли, мой друг, — резким тоном перебила его императрица, — я сама считала Горбатова когда-то прекрасным юношей, я готова была прощать ему многое... Он очень плохо вел себя за границей, но я ему простила это, он остался на службе. Наконец, и теперь, когда он вернулся сюда, я, уже имея некоторые основания не совсем доверять его благонадежности, все же не хотела верить ничему дурному, что мне на его счет передавали. Я приняла его так, как, конечно, он не заслуживал, и что же — он оказывается изменником.

— Изменником? Это неправда! — горячо, резко крикнул цесаревич, весь багровея и вскакивая со стула.

— Неправда? Значит, я лгу?.. — протянула Екатерина. — Впрочем, прошу тебя успокоиться, я понимаю, что тебе трудно этому поверить, — я сама с трудом поверила, но обвинения слишком тяжки, да, наконец, все легко и объяснить: он оказался человеком честолюбивым. Он был недоволен своей службой, своим начальством, ему хотелось быстрых повышений. Он, может быть, считал себя обиженным, наконец, может быть, он даже имел какое-нибудь основание быть недовольным...

Цесаревич хотел сказать что-то, но остановился. Екатерина заметила это.

— Что вы говорите? — спросила она, пристально взглянув на него.

— Ничего, матушка, я слушаю.

— Ну, и вот он вздумал нам мстить. Он сошелся в Лондоне с людьми, враждебно относящимися к моему правительству. Вы должны знать, что Англия теперь торжествует после неудавшегося сватовства шведского короля. Этот брак вовсе не в видах Англии: она должна была постараться его расстроить. Теперь для меня все ясно: регент принял английские деньги — ему это не в первый раз! Он самым низким, самым наглым образом обманул наше доверие, насмеялся над всеми нами, поставил нас в такое тяжелое положение... Вы видите — дело не шуточное... вы видите — тут не одна я, тут мы все... Это так же должно быть вам близко, как и мне.

Лицо ее побагровело, глаза налились кровью. В волнении она хотела было подняться с кресла, но тут же и опустилась опять с тихим стоном.

— Матушка, и вы считаете Горбатова замешанным в это скверное дело?

— Да. Через него из Лондона переписывались с Витвортом... Он приехал как раз вовремя для того, чтобы устроить все это. Вот кого я ласково встретила! Вот кого я принимала на этом самом месте, — с кем я беседовала откровенно, как с человеком, достойным моей беседы! Какая же измена может быть хуже этой? Какое преступление найдете вы отвратительнее? О, он достоин примерного наказания! Я едва сдерживаю свое негодование. Я бы в двадцать четыре часа заставила Витворта выехать из Петербурга, но у нас руки связаны. Мы не можем сделать теперь разрыва с Англией... Но наших изменников карать мы обязаны.

Цесаревич побледнел.

— Ужасные обвинения, — проговорил он, — и если только есть в них хоть доля правды, несмотря на все свое расположение к Горбатову, я первый готов явиться его обвинителем, но, матушка... а если это клевета его врагов? Если он как есть ни в чем не повинен, а между тем, обвиняется в таком тяжком преступлении и должен понести за него наказание?..

Екатерина тяжело дышала.

— Разве я когда-нибудь была кровожадной и свирепой? Разве я на деле не доказывала, что следую моему правилу, что лучше оправдать несколько виновных, чем обвинить одного невинного? Я без явных доказательств обвинять и карать не стану.

— Где же эти доказательства?

— Они в руках у князя Платона Александровича.

Цесаревич стиснул зубы.

— Вы их видели?

— Нет еще. Платон Александрович представил мне достаточно улики для того, чтобы иметь право арестовать Горбатова и конфисковать его бумаги.

— Улик... В чем же состоят эти улики?

— Получено несколько писем из Лондона, удостоверены постоянные сношения, переговоры между Витвортом и Горбатовым в последнее время до 11-го сентября. Есть несколько свидетелей, которые утверждают, что слышали со стороны Витворта и со стороны Горбатова очень двусмысленные фразы.

Цесаревич едва сдерживал свое негодование.

— Все это недостаточные улики для того, чтобы так поступить с человеком, который никогда не подавал ни малейшего повода подозревать себя в таком тяжком преступлении, как измена. Если улики могут быть, то только в бумагах Горбатова, и эти бумаги нужно пересмотреть с полным беспристрастием, без предвзятой мысли...

— Так оно и делается, — сказала Екатерина.

Цесаревич несколько раз прошелся по комнате. Неужели он обманулся в Горбатове? Нет, этого быть не может! Нет, стыдно останавливаться на этой мысли.

Но он видел, что Зубову пришел в голову адский план. Он нашел именно тот способ, каким всего удобнее мог погубить ненавистного ему человека. Пущенное им название «вольтерьянец» не подействовало, так он воспользовался обстоятельствами, и обвинения его были ужасны. Ко всему бы императрица отнеслась осторожно и хладнокровно, во всяком бы деле была беспристрастна, но в деле, с которым было соединено неудавшееся сватовство Густава, она не могла быть беспристрастной. Для того, чтобы подвигнуть ее на всякую несправедливость, для того, чтобы заставить ее поступать так, как она

никогда не поступала, нужно было именно коснуться этой ее раны, которая заставляла ее претерпевать невыносимые мучения, — и Зубов сделал это.

— Матушка, — проговорил, наконец, Павел, останавливаясь перед императрицей, — умоляю вас исполнить одну мою просьбу.

— Что такое?

— Прикажите передать вам все бумаги Горбатова и дозвольте мне рассмотреть их вместе с вами. Ради Бога, не отказывайте мне! Я чувствую, я уверен, что тут, по меньшей мере, недоразумение. Но если мы должны будем убедиться в виновности этого человека, то чем больше я ему верил, чем больше я был расположен к нему, тем вина его будет для меня ужаснее. Это дело, как вы справедливо выразились, — наше общее дело, и я могу быть защитником Горбатова только до той минуты, пока не увижу первого ясного намека на вину его, а увижу — я превращусь в его обвинителя. Матушка, исполните эту мою просьбу — вы мне окажете этим большую милость!

Императрица подумала несколько мгновений и потом уставшим голосом проговорила:

— Хорошо, я согласна, рассмотрим вместе его бумаги.

— Еще одно, матушка: могу я к нему съездить — я хочу его видеть.

— Делайте, что вам угодно, — произнесла Екатерина.

Она едва владела собой, она чувствовала в ногах такую страшную боль, что готова была кричать, но ей не хотелось показать своих страданий сыну.

Цесаревич поцеловал ее руку и вышел из комнаты.

III. ДОРОГИЕ ГОСТИ

Цесаревич вернулся к себе значительно успокоенный. Он сам, вследствие своей болезненной раздражительности, которая усиливалась в нем с каждым годом, был способен на быстрое необдуманное решение, но стоило этой раздражительности утихнуть, стоило его гневу пройти (а гнев его проходил быстро), и он тотчас же признавал ошибку и спешил ее исправить. Перед ним всегда стоял идеал справедливости, которому он страстно поклонялся. Его сердце способно было чутко понимать такие тонкости, которые были совсем недоступны для многих людей, всегда спокойных, считающихся добрыми и справедливыми. При этом почти всю жизнь, чувствуя себя несчастным, он пуще всего любил быть устроителем чужого счастья. Внезапная радость на человеческом лице, за минуту перед тем грустном и страдающем, радость, причиною которой был он, составляла его любимое зрелище, и вот, когда ему предстояло доставить себе такое зрелище, он забывал все собственные тревоги и заботы, отгонял свои мрачные мысли, входил в чужую жизнь и деятельно работал над благом ближнего.

Уединенная жизнь, почти полное отсутствие живой деятельности, в которой он не принимал участия не по своей вине, развили в нем большую мечтательность; его нервность, его с детства пылкое и яркое воображение способствовали этому. Перед ним постоянно носились красивые картины блаженной жизни, и поэтому он любил форму, любил эффекты... Но ведь эффекты несколько не мешали благополучию близких ему людей: они тешили его, ничего не отнимая от доброго дела, которого он был устроителем. Так и теперь, он уже нарисовал себе яркую картину и, тотчас же возвратясь в Зимний дворец, присел за письменный стол и написал великой княгине:

«Друг мой, успокойте княжну и немедленно приезжайте с нею в Петербург».

С этой запиской был послан в Гатчину нарочный. Великая княгиня не заставила себя ждать. Она тотчас же пустилась в путь в сопровождении Тани и карлика. Но записка цесаревича была

доставлена часов в шесть и, хотя сборы были недолги, все же они приехали только поздно вечером.

Цесаревич встретил их очень довольный.

— Благодарю, — сказал он великой княгине, — я не ожидал вас ранее завтрашнего утра, хорошо сделали, что не испугались позднего времени. Карлик с вами? Нужно позвать его.

— Я не стану томить вас, княжна, — обратился он к Тане, — у вас слишком усталое и бледное лицо, но мой рассказ, надеюсь, оживит вас. Потом вы хорошенько выспитесь, наутро будете свежи и прекрасны как всегда и своим блеском озарите несчастного узника.

Таня ничего не спрашивала, она знала цесаревича и видела, что он сейчас сам все расскажет.

В эту минуту вошел Моська. Он зорко всмотрелся в лицо цесаревича и подумал весело:

«Ну, слава тебе Господи, авось, вести не дурные!»

Вести действительно оказались не дурные, а главное, для Тани было то, что теперь явилась возможность увидеть Сергея — покуда ей только это и было нужно. Раз она с ним, она уже ничего не боится.

— А как же мне-то теперь быть? — робко спросил Моська.

— Тебе как быть, сударь? — шутливо обратился к нему цесаревич. — А никуда носу не показывать. Ты опять арестован... здесь, у меня арестован и коли вздумаешь, как вчера, спаивать караульных да замышлять побег, я с тобой разделаюсь как следует. Тогда уж не жди от меня пощады!

— Ваше императорское высочество, окажите божескую милость, — засматривая ему в глаза, лепетал карлик, — успокойте мою душу, скажите — что же теперь Сергею-то Борисычу? Ничего не будет? Арест-то скоро снимут?

— Этого я не могу сказать тебе — я почем знаю! Может, ему что и будет — его еще допросить надо, а коли виноват, то и казнить.

— Да кто же его допрашивать-то будет? — не зная, пугаться или нет, спросил Моська.

— Я буду допрашивать.

Карлик успокоился и с глубочайшим старомодным поклоном вышел из комнаты.

На следующее утро очень рано карета цесаревича подъезжала к дому Горбатова. Быстро распахнулись дверцы, быстро мелькнула

мужская фигура в треугольной шляпе и за нею фигура стройной женщины. Большая зеркальная дверь отворилась, но караульные загородили вход. Цесаревич поднял голову и, взяв Таню под руку, прошел мимо изумленных и вытянувшихся в струнку солдат.

В доме было все тихо, прислуга бродила неслышно, испуганная, недоумевающая, пораженная странными обстоятельствами последних дней. Все имело вид, будто в доме или тяжело больной, или покойник. Такое же впечатление было произведено на Таню, и у нее невольно сжалось сердце. Цесаревич остановил первого попавшегося ему лакея.

— Где Сергей Борисыч? — спросил он.

— Почивать изволят! — отвечал совсем оторопевший лакей.

— Ступай доложи, что его дожидаются по важному делу, что очень спешно и нужно. Только не смей говорить, кто дожидается, а спросит — отвечай: «неведомо, какой господин». Скажи — «генерал», слышишь? Понял?

— Слушаюсь-с ва... ва... ва... — отвечал лакей, имевший случай прежде видеть цесаревича и его узнавший.

— Поздно встает! — заметил цесаревич Тане. — Теперь туалет свой будет делать, избаловался... *petit-maître* [\[10\]](#)... нам дожидаться придется. Смотрите, вы отучите его от такой лености, когда здесь хозяйкой будете.

Таня вся вспыхнула. Она теперь чувствовала себя совсем счастливой, она теперь знала, что он жив и здоров, иначе ведь лакей сказал бы. Цесаревич своим мерным военным шагом прохаживался с ней по большой роскошной зале, в которой они остановились.

— Я в первый раз в этом доме, — говорил он. — Хороший дом, обратите внимание, хозяйюшка. Эх! да и вы тут избалуетесь в такой роскоши после нашего гатчинского убожества!

— Не избалуюсь, — прошептала Таня, едва слушая, что говорит цесаревич.

Она вся была ожидание. Но ждать пришлось недолго. Сергей уже давно встал и был готов, когда ему доложили, что неизвестный генерал его спрашивает по важному, спешному делу.

Шевельнулась, наконец, тяжелая драпировка, и на пороге залы показалась его стройная фигура. Бледный, мрачный, он сделал несколько шагов вперед и с невольным криком кинулся навстречу подходившим к нему цесаревичу и Тане.

— Таня! Ваше высочество!

Он совсем растерялся. Он крепко сжал руку Тани и в невольном порыве припал губами к протянутой ему руке цесаревича.

— Так вы явились спасти меня! — шептал он. — Я ждал вас... я предчувствовал это...

— Теперь не до нежностей, сударь, — принимая на себя суровый тон, сказал цесаревич. — Проводи куда-нибудь, где сесть можно.

И пока Сергей показывал им дорогу, он продолжал:

— Спасать тебя! Я не знаю еще, удастся ли это и заслуживаете ли вы этого, сударь? Знаете ли вы, какие тяжкие на вас обвинения?

— Ничего не знаю, ваше высочество, я знаю, от кого они происходят, кто автор этого нанесенного мне оскорбления, это я знаю, а остальное мне неизвестно. Меня лишили свободы, у меня отобрали все мои бумаги, и только благодаря преданности моего верного карлика, я мог послать вести в Гатчину. Меня стерегут, как зверя, как висельника.

— А вы чувствуете себя невинным, так, что ли?

— Конечно, ваше высочество, никакой вины за собой не знаю.

— Хочу верить, что так, но ведь говорят: нет дыму без пламени, к чему-нибудь да прицепились. Помогите же мне разъяснить вопрос этот.

И цесаревич передал Сергею — в чем состоят возведенные на него обвинения. Сергей слушал с глубоким негодованием. Он ожидал чего угодно, но не этого. Он думал, что на него взведена все та же басня о его вольтерьянстве — вольтерьянстве в том смысле, какой получило это слово в последние годы в России. Он думал, что его обвиняют в сношениях с деятелями французской революции, с якобинцами, что в обвинениях этих фигурирует имя Рено, но такого обвинения он не ждал и сразу понял всю злобу Зубова, все его расчеты.

— Откуда же могло произойти это? — спрашивал цесаревич.

— Откуда? Из того, что я действительно был три раза у лорда Витворта; я ему привез из Лондона письмо от его двоюродного брата, с которым постоянно встречался в лондонском обществе. Лорд Витворт, как вашему высочеству хорошо известно, человек умный, интересный, и я с большим удовольствием с ним беседовал. Я, вероятно, тоже представлял для него интерес, так как долгое время прожил в Лондоне

и только что оттуда вернулся. Он мне был благодарен за доставленные ему мною письма и посылки. Он возвратил мне визит — вот и все.

— Да, конечно, — проговорил цесаревич, — иного я и не думал. Все это очень естественно, но мне нужно спросить тебя, и отвечай мне совсем искренно, — от этого много зависит, — что заключается в отобранных у тебя бумагах? Уверен ли ты, что в них не найдется ничего, чтобы могло повредить тебе, тебя компрометировать?

Сергей задумался.

— Мне очень тяжело, — сказал он, — что эти бумаги попали в такие руки. Из этих бумаг выяснится вся моя жизнь, и все их, от первой до последней, я, без малейшего колебания, мог бы отдать вашему высочеству... но они у Зубова. Между ними находится мой дневник, он не понравится Зубову — я всегда беседовал с собою откровенно.

— Твой дневник... дневник, — нахмурившись, повторил цесаревич. — Очень нужно было писать его! Этим, сударь, только девицы от скуки занимаются, а у вас, слава Богу, могли найтись и посерьезнее занятия. Дневник... Очень нужно было писать его! Бог вас знает, сударь, что вы там наболтали, вот теперь на себя и пеняйте! Как бы этот дневник не погубил вас! Тому бывали примеры...

Мысли его невольно вернулись ко времени его детства, он вспомнил своего первого воспитателя, молодого, талантливого Порошина, который был удален от двора и преждевременно погиб, главным образом, потому, что имел обыкновение откровенно беседовать с собою каждый вечер.

— Я могу только повторить, — сказал Сергей, заметив тревожный взгляд Тани, — что в дневнике моем не найдется ничего преступного. Он может только поднять желчь в господине Зубове, только в нем одном... но ведь он не станет от этого злее. Увеличить его злобу на меня ничего уже не может.

Цесаревич встал со своего места и начал ходить по комнате.

— Ну, заранее сказать трудно, там будет видно...

Он подошел к двери, ведущей из маленькой гостиной, где они находились, в рабочий кабинет Сергея. Он заглянул и увидел обширную комнату, заставленную книжными шкафами.

— Это что же, твоя библиотека, сударь? — обернувшись, спросил он Сергея.

— Да, ваше высочество, половина этих книг собрана мною еще прежде, привезена из деревни, затем много вывезено из-за границы.

Цесаревич поморщился.

— Воображаю, сколько вздора там теперь печатается! Наверное, много сочинений вредных по своему духу.

— Не думаю, ваше высочество, я выбирал книги осмотнительно, да и, наконец, все, что найдено предосудительным, задержано. Три ящика с книгами я так и не получил.

Павел взглянул на часы.

— Еще рано, — сказал он, — я дам вам четверть часа времени, побеседуйте! А я все же сам проценирую твою библиотеку. Давай ключи.

— Шкафы отперты, ваше высочество.

Павел прошел в кабинет, запер за собою дверь. Сергей и Таня остались вдвоем, в тишине маленькой, красивой гостиной.

Добрый волшебник не хотел мешать им своим присутствием. Они это хорошо поняли.

— Таня! Таня! — прошептал Сергей, беря ее руки и покрывая их поцелуями. — Вы здесь, у меня, наконец-то! Вы спасаете меня от отчаяния, которому я невольно стал предаваться. Судьба положительно смеется надо мною, уж теперь-то я не ждал такой беды, я ждал чего угодно, только не ареста в своем доме... и когда! — Ну, как же это не насмешка? В ту самую минуту, когда я собрался ехать к вам по вашему зову. Что вы должны были думать? Как объяснили вы себе мое отсутствие, мое молчание? Впрочем, нет — мне не надо знать это, теперь это не интересно. Вы здесь, все объяснилось, вы здесь, и этим вы отвечаете мне на все мои вопросы. Таня, наконец-то!.. Таня, вы забыли все? Вы простили то, в чем считали меня виновным перед вами? Мы ведь не расстанемся больше? Да? Скажи мне, моя дорогая!..

Она глядела на него совсем бледная, но, несмотря на эту бледность, от нее веяло счастьем, глаза ее блестели, она жадно вслушивалась в слова его.

— Да, да, — шепнула она, склоняясь над ним и улыбнувшись ему с такой лаской, с такой страстью, что он привлек ее к себе, и они долго не могли оторваться от жаркого, столько летжданного поцелуя.

— Но постой, — вдруг сказала Таня, отстраняясь от него, но не выпуская его рук и продолжая сжимать их. — Постой, ты сказал

сейчас, ты спросил меня, что думала я о твоём молчании, о твоём отсутствии?.. Тебе это не интересно теперь, а все же я должна сказать тебе, что думала, я должна признаться тебе в своей новой вине перед тобою!..

И она рассказала ему все, все свои глупые мысли. Она беспощадно относилась к себе, превратилась в немилосердную обвинительницу.

— Вот что я думала, вот в чем я была уверена до самого появления Степаныча, вот до какого безумия, до какого оскорбления тебя я дошла! Простишь ли ты меня? И стою ли я твоего прощения?

Сергей укоризненно качал головою, а лицо его все улыбалось. Куда девалась его бледность, его усталый вид, его холодная усмешка. На щеках его вспыхнул румянец, он совсем преобразился, он помолодел на несколько лет.

— Так вот как, Таня! Вот ты какого обо мне мнения! Да, это большая вина, это преступление и не следует прощать тебе! Но я глуп — и прощаю от всего сердца, только с одним условием, Таня, чтобы больше таких недоразумений, таких ошибок никогда не было между нами.

Она прижалась головой к груди его и шептала:

— Конечно, не будет! Этот долгий, мучительный сон прошел безвозвратно.

Она замолчали на несколько мгновений, и эти мгновения молчания были чуть ли не самыми счастливыми в их жизни.

— Значит, все решено, все кончено, значит, назло судьбе мы все же вместе и уж навсегда? — сказал Сергей.

— Навсегда, — повторила Таня.

— Значит, вычеркнем восемь лет из нашей жизни, я теперь вижу, что это возможно! Мне кажется теперь, моя дорогая, что я заснул, там, далеко, в голубой беседке твоего знаменского парка, помнишь, в тот ужасный и счастливый день, который начался нашим свиданием и кончился для меня так страшно, неожиданной смертью отца моего? Да, мне кажется, что я заснул тогда и что вот теперь только сейчас проснулся. Ты та же, ты так же доверчиво на меня смотришь.

Он разглядывал ее прелестное лицо, он чувствовал, как бесконечно она дорога ему.

Но вдруг какая-то тень мелькнула по ее лицу.

— Та же! — грустно проговорила она. — Нет, Сережа.

И когда она произносила его имя, мило не выговаривая букву «р», ему действительно показалось, что он вернулся к давно позабытому времени. Она точно так же называла его, как тогда, в беседке, и он почему-то, как и тогда, обратил внимание на этот недостаток ее выговора.

— Та же! Та же! — восторженно шептал он.

— Нет, много прошло времени, — перебила она, доканчивая свою мысль, — а время никогда не проходит бесследно. Я постарела, я изменилась, я уже не та, что была прежде.

— Ты постарела? Ты изменилась? — изумленно и улыбаясь говорил он. — Да, ты права — время не прошло бесследно, разница есть. Разница в том, что ты несравненно красивее, лучше прежнего, и что я горячее люблю тебя, мы уже не дети — вот, в чем разница!..

Но им пора было несколько отстраниться друг от друга и принять более сдержанный вид — ручка из кабинета начала шевелиться, за дверью послышался громкий кашель. Охранявший их любовь волшебник предупреждал их о своем появлении. Цесаревич вошел, держа перед собою часы и в то же время окинув Сергея и Таню зорким взглядом.

— Однако пора! — сказал он. — Я долго возился с твоими книгами. У тебя есть некоторые издания, с которыми я незнаком, кое-что интересное — ты потом мне дашь эти книги для прочтения. Поедемте, сударыня! — обратился он к Тане.

— Я готова, ваше высочество.

— Готовы? И что же, ничего не забыли сказать ему? Если забыли, так припомните, потому что не известно теперь, когда увидите — он узник и до каких пор будет продолжаться его заключение, я не знаю.

Сергей подошел к цесаревичу.

— Ваше высочество, — сказал он дрогнувшим голосом, — довершите все ваши благодеяния, благословите нас как жениха и невесту.

— А! порешил! Ну, что ж, хоть и не время и не место — Бог с вами! Будьте счастливы!

Он движением руки подозвал к себе Таню, набожно перекрестил ее и Сергея, потом обнял и поцеловал их.

— Будьте счастливы! — повторил он. — Я рад! Я всегда знал, что вы этим кончите, так должно было совершиться... Теперь, Бог даст, ждать вам недолго! Я буду у вас посаженным отцом на свадьбе. Но теперь толковать об этом рано, прежде нужно освободить тебя, сударь. Пойдемте!

На глазах цесаревича стояли слезы, все лицо его улыбалось.

IV. СОРВАЛОСЬ

В это же самое утро Зубов явился со своими обычными докладами к императрице.

Исполненный печальных мыслей о постигшей его неудаче, силившийся подобрать нити английской интриги и никак не достигший этого, занятый погибелью ненавистного ему Сергея Горбатова более чем государственными делами, изливая свою злобу на приближенных, Зубов не замечал в это последнее время перемены, происшедшей в Екатерине. Каждый раз, входя к ней, он привычною фразой осведомлялся о ее здоровье, и на ответы, что она нехорошо себя чувствует, высказывал приличные случаю сожаления и утешения — этим все ограничивалось.

Но в это утро ее утомленный и страдальческий вид не ускользнул даже от его рассеянного взгляда. Он вдруг озабоченно взглянул на нее и уже не прежним, равнодушным тоном, а с оттенком испуга спросил: лучше ли она себя чувствует?

— Нисколько не лучше, — ответила она. — Сегодня мне совсем плохо — ноги замучили. Искусство Роджерсона оказывается бессильным. Он меня успокаивает, но не приносит мне никакого облегчения, и я по лицу его вижу, что он озабочен.

Роджерсон так давно лечил императрицу, так давно находился в числе близких к ней людей, которым она оказывала свое расположение и доверяла, что Зубов не мог его не ненавидеть. Он сумел в восемь лет своего влияния отдалить от нее многих, но почтенного медика отдалить не мог, и это только усиливало его к нему ненависть. Он пользовался каждым удобным случаем, чтобы задеть его, чтобы пустить на его счет язвительную фразу. Он все выжидал минуты, когда можно будет пошатнуть доверие к нему императрицы. Такая минута, наконец, наступила.

— Роджерсон! — презрительно проговорил он. — Я давно замечаю, что он гораздо ниже репутации, которую ему сделали, — он вовсе уж не такой проникательный и искусный доктор, как многие полагают.

— Во всяком случае, он хорошо знает мою натуру, — сказала Екатерина.

— К чему же поведет его это знание, если он не в силах помочь вам, если он не может даже облегчить ваши страдания?

— Ах, Боже! Человеческому искусству и знанию положен предел. Видно, подходит время, когда уже никто и ничто помочь мне не будет в состоянии! — печально заметила Екатерина.

— Зачем же такие ужасные мысли? Эти мысли — следствие ошибки Роджерсона. У вас такая крепкая организация, вы так сильны и бодры. Нужно найти только средство уничтожить эти временные страдания, вместе с ними пройдут и печальные мысли.

Екатерина грустно усмехнулась.

— Укажите мне такие средства.

— Я указать не могу, я не занимался медициной; но я знаю человека, который смыслит, наверное, больше Роджерсона и делает просто чудеса, излечивает самые сложные и опасные болезни.

— Кто же этот чудодей? — насмешливо спросила Екатерина.

— Я говорю очень серьезно, ваше величество, — если я решаюсь указать вам на этого человека, так потому, что имею много доказательств его искусства.

— Назовите его.

— Это Ламбро-Качиони, грек, о котором, вы, верно, слышали.

— Он, кажется, участвовал в последнюю войну против турок?

— Он самый, я хорошо его знаю и убежден, что он в самом скором времени поможет вам. Не далее еще как вчера я призывал его и рассказывал ему признаки вашей болезни. Он уверяет, что у него было много подобных случаев и что он ручается в скором и полном выздоровлении вашем, если вам угодно будет последовать его советам.

Екатерина задумалась. Она бодро выносила свои страдания, но мысль о серьезности и неизлечимости ее болезни, мысль о возможности близкой смерти начинала ее преследовать, а она еще хотела жить. И чем чаще приходили мрачные мысли, тем жажда жизни усиливалась в ней больше и больше. Она с ужасом замечала задумчивость Роджерсона. Она предчувствовала, что он не может ее вылечить, и готова была испробовать всякие средства, сулившие ей спасение. И вот Зубов называет ей грека Ламбро-Качиони, таким

уверенным тоном говорит о его необыкновенном искусстве. Она уже слышала об этом греке.

— Если вы так в нем уверены, то призовите его ко мне, я готова испробовать его лечение. Только это нужно сделать осторожно, мне никак не хотелось бы обижать старика Роджерсона.

— Сегодня же Ламбро-Качиони здесь будет! — сказал Зубов.

Он был очень доволен и решился как можно скорее довести до сведения Роджерсона о том, что грек будет лечить императрицу.

— Какие у вас нынче дела? — спросила Екатерина. — Я хоть и больна, но все же не настолько, чтобы забывать о делах. Дайте мне ваши бумаги и принесите очки — вон, я их оставила на том столике.

Они принялись за работу, но на этот раз дел было мало — скоро все было кончено.

Екатерина сняла очки, понюхала табак, приласкала завертевшуюся у ее ног собачонку. Зубов хотел уже удалиться, но она его остановила.

— Пойдите, скажите мне, разобрали вы бумаги Горбатова?

— Нет еще, государыня, у меня столько дел...

— Так вот что, немедленно пришлите мне их, я сама займусь ими. Зубова так и покорило.

— Зачем же? Зачем вам беспокоиться? Я взялся за это, я и исполню. Наверно, в этих бумагах много пустяков и вздора, и это только затруднит вас. Я сделаю выборку и если найдется что-нибудь интересное, если окажутся даже письменные доказательства его виновности — я все это привезу.

— Ах, Бог мой! Но если я хочу сама разобрать эти бумаги! Я говорю вам, пришлите мне их немедленно, все без исключения. Я свободна сегодня... не выйду весь день из этой комнаты... Мне делать нечего... я и займусь...

Зубов пожал плечами.

— Это каприз больной, и его следует исполнить, мой друг! — улыбаясь, прибавила Екатерина.

Возражать было нечего.

— Желание вашего величества будет исполнено! — стараясь любезно улыбнуться, сказал Зубов.

Он был очень раздосадован. Он, конечно, уже хорошо ознакомился с бумагами Сергея, и не нашел в них никаких признаков

его виновности в том преступлении, которое он взводил на него. Он не далее еще как сегодня утром принялся за чтение его дневника. Он встретил в этом дневнике и свое имя, и свою характеристику, доведшую его до крайних пределов бешенства. Он глотал страницу за страницей, жадно ища какой-нибудь чересчур резкой фразы, какого-нибудь непочтительного рассуждения об императрице, и, к досаде своей, не находил ничего подобного. У него уже мелькала мысль: нельзя ли подделаться под почерк Сергея, включить в дневник кое-что. Нельзя ли, с другой стороны, вырвать некоторые страницы. Но это оказалось довольно трудно и, во всяком случае, требовало много времени, требовало большого искусства и осторожности.

Переслать бумаги императрице было необходимо, если она так настаивает, но, конечно, дневник он оставит у себя, он не может отдать его в таком виде. Как ни был он уверен в своей силе и в своем влиянии, но все же там было немало такого, чего бы он ни за что в мире не мог показать императрице. Этот проклятый дневник может навести ее на мысли, которые заставят ее кое-чем заинтересоваться. Нет, об этом и думать нечего, она не должна увидеть этого дневника. Нужно будет придумать какое-нибудь новое доказательство виновности Горбатова. Если же это окажется невозможным, если не удастся окончательно погубить его, добиться его ссылки, то ведь, во всяком случае, он изрядно отомстил ему. Он прошел через всю его жизнь и испортил самое лучшее время этой жизни. И теперь, теперь ведь разве это не мщение? Он, этот гордый человек, чуть ли не единственный, осмелившийся не признать его величия, умеющий смущать его своим взглядом, он, представитель знаменитой старой фамилии, владетель огромного состояния — он уже целую неделю пленник в своем собственном доме. И хотя, по настоянию императрицы, это дело не разглашается, все же, конечно, многие о нем знают, а кто еще не знает, узнает в скором времени!..

«Воображаю, что с ним делается! — думал Зубов, и злорадная усмешка показалась на губах его. — Можно себе представить, как он обливается желчью в сознании своего бессилия, и ведь он отлично понимает, кому он всем обязан!..»

«Кидай мне свои презрительные взгляды, подымай передо мною голову, а все же я делаю с тобой все, что мне угодно. Все же ты в руках моих! Все же я заставлю тебя вспомнить тот час, когда ты осмелился

оскорбить меня! Ну, что же, пускай тебе возвратят свободу, не думаю, чтобы ты ушел от меня... Одно не удастся, найду другое, отравлю каждый день твоей жизни. А теперь пусть она читает твои бумаги, может, и найдется в них такое, что и не понравится. А дневник не дам. Дневник я сохраню для себя!..»

И он не понимал, этот «дней гражданин золотых», что Горбатов будет только торжествовать, узнав, что некоторые страницы его дневника прочитаны и удержаны тем, о ком в них говорится. Он не догадался, что ему пуще всего нужно скрыть от Горбатова свое знакомство с дневником его.

Как бы то ни было, бумаги Сергея были доставлены императрице, и она, верная своему обещанию, известила об этом цесаревича, который тотчас же явился в Таврический дворец.

И вот, что случилось редко, Екатерина с Павлом за общей работой.

Они перебрали все, Екатерина внимательно прочла письма цесаревича к Сергею и только проговорила:

— Не знала, не знала я, что вы так с ним близки и так его любите!

— Надеюсь, матушка, что в этих письмах нет ничего предосудительного. Я писал ему только то, что мне диктовало желание принести ему нравственную пользу.

— Конечно, конечно! — поспешно проговорила Екатерина. — А это какие письма?

Это были милые, почти детские письма Тани. Цесаревич вдруг покраснел и нахмурился. Императрица заметила это.

— Что с вами? — спросила она.

— Мне пришло в голову, что мы заняты нехорошим делом, — это письма его невесты. Зачем вам читать их, надеюсь, не они заключают в себе доказательства виновности Горбатова.

— Я согласна с вами, отложим их в сторону. Что дальше? Теперь пропускать не будем. Во всяком случае, Горбатов должен простить нам нашу нескромность. Мы нескромны для его же блага.

— Да, приходится удовольствоваться этим оправданием.

Но как бы они ни желали быть придиричвыми (а они этого вовсе не желали), трудно было найти в этих бумагах, в этой переписке что-либо предосудительное. Напротив, когда чтение было окончено, перед ними выяснилось только несколько интересных фактов из жизни Сергея; из писем Рено, уже страстного деятеля контрреволюции,

обрисовывалось несколько подробностей страшных событий французской истории — и только.

— Матушка, был ли я прав, прося вас быть осмотрительнее в этом деле и лично просмотреть его бумаги?

— Конечно, и очень благодарна. Но что же это значит? Откуда взялись эти тяжкие обвинения?

Цесаревич передал то, что он услышал от Сергея по поводу его сношений с лордом Витвортом. Екатерина была взволнована.

— Как же это?.. Такой ошибки быть не может! — смущенно проговорила она. — Я потребую объяснений от Платона Александровича.

Павел молчал, опустив глаза в землю.

— Да, я немедленно же потребую объяснений. Все это произошло от излишнего усердия, но я, во всяком случае, могу оправдывать такую неосмотрительность. Вам, конечно, будет приятно сообщить Горбатову о том, что он свободен. Объясните ему, что тут произошло недоразумение, о котором я искренно сожалею... Ограничьтесь этим, прошу вас. Да, сегодня же он будет свободен!

Цесаревич задумался на мгновение, соображая что-то. Потом вдруг решился и проговорил:

— Мне кажется, что теперь ему будет неудобно оставаться на службе в иностранной коллегии... Матушка, вы ничего не будете иметь против того, если я предложу ему какое-нибудь занятие при себе?

Екатерина нахмурила брови, неудовольствие выразилось на лице ее.

— Вы желаете, чтобы он перешел к вам, недовольный мною? Если и не в иностранной коллегии — ему найдется деятельность, и я именно должна загладить свою невольную ошибку, уничтожить в нем всякое неудовольствие... Я подумаю и найду ему назначение, которым он останется доволен...

— Не было бы жестоко в настоящее время разлучать его с невестой, а она у нас!

— Я, конечно, не стану мешать ему проводить время с невестой! — сухо заметила Екатерина.

Павел уже стал прощаться, но вдруг остановился.

— Ах, Бог мой, я и забыл совсем! — проговорил он. — Если эти бумаги не могли послужить к обвинению Горбатова, то есть еще кое-что... и очень важное. Горбатов сказал мне, что в числе отобранных от него бумаг находятся несколько тетрадей его дневника... Где же они?

Цесаревич вовсе не забыл о дневнике, он сразу заметил, что его недостает. Но сначала не хотел говорить об этом, теперь же он был раздражен. Он сообразил, что дневник вряд ли повредит Сергею, императрица, очевидно, к нему расположена. А, между тем, то обстоятельство, что Зубов осмелился скрыть дневник и не прислал его вместе с другими бумагами, было возмутительно, и он решился вывести это наружу.

— Дневник? Какой дневник? Вы уверены?.. Если был его дневник, то это, конечно, самое интересное в смысле оправдания или обвинения. Вы уверены, что у него эти тетради отобрали?

— С какой же стати ему было лгать?

— Да, конечно! Вероятно, Платон Александрович забыл прислать его... Я спрошу... и тогда все вместе нужно будет вернуть.

Цесаревич простился и вышел. Екатерина долго сидела с недовольным и сердитым лицом. Она даже забыла свои страдания. Как ни постарела она в последнее время, как ни была слаба относительно Зубова, влиянию которого бессознательно подчинялась, которому доверяла безусловно, к ней все же возвращалось иной раз ее беспристрастие, ее любовь к справедливости и прямому образу действий. И она не могла не видеть теперь, как много в деле Горбатова натяжки и фальши.

«Излишнее рвение! — успокаивала она себя. — Конечно, все это происходит и от легкомыслия... это нехорошо!..»

Но внутренний голос твердил ей, что здесь вовсе нет излишнего рвения, вовсе не одно легкомыслие. Здесь вражда, желание погубить человека, здесь обман и ложь.

И не в первый раз, не по поводу модного этого дела говорит ее внутренний, обвиняющий голос, он часто указывает на самые дурные, всегда ненавистные ей в людях свойства человека, которого она хотела считать безупречным. И ей тяжело... ей горько... Сколько раз готово было у нее сорваться гневное, обвиняющее слово и замирало невыговоренное, и она молчала, скрывала свое негодование, — она, которая прежде никогда не молчала в подобных случаях. Но теперь она

должна все высказать. Он должен объяснить, должен оправдаться. Она дрожащей рукой написала несколько слов Зубову, раздражительно позвонила и приказала как можно скорее отвезти эту записку светлейшему князю.

Он не заставил себя ждать и явился очень скоро.

— Я уже переговорил с Ламбро-Качиони, сегодня к вечеру он здесь будет, если ваше величество найдете возможным принять его, — заговорил Зубов, входя.

— Хорошо, об этом после, — сухо сказала императрица. — Вы привезли с собой дневник Горбатова, который забыли прислать с этими бумагами?

— Дневник? Какой дневник? — растерянно прошептал не приготовленный к подобному вопросу Зубов.

— Его дневник! Разве он не был доставлен?

— Я не видел никакого дневника... я не знаю...

— Не знаете, странно! В таком случае, призовите того, кто доставил вам бумаги, и потребуйте от него объяснений. Я знаю, что дневник должен был находиться в числе бумаг... я наверно это знаю!..

Зубов пожал плечами.

— Вы понимаете... дневник! Это очень важно! Пожалуйста же, скорее разьясните...

Екатерина упорно отгоняла от себя мысль о том, что он лжет перед нею, что он скрыл от нее дневник. И, между тем, ей любопытно было, зачем бы он это сделал? Ей стало так тяжело, так неловко, ей трудно было взглянуть на него.

— Я должна иметь этот дневник как можно скорее... Слышите?

— Неужели я стану скрывать его от вас? — совсем уже невозмутимым и уверенным тоном сказал Зубов. — Только мне невольно приходит мысль, что вряд ли он существует. Может быть, вам ложно сообщено о нем. Если бы он существовал, как же бы осмелились мне его не представить...

— Он существует и взят вместе с остальным, — по-прежнему, не смотря на него, сказала Екатерина. — Теперь все дело в этом дневнике, потому что если он так же невинен, как эти бумаги, которые я тщательно просмотрела, то нужно немедленно извиниться перед Горбатовым. Вы ошиблись, и я очень сожалею об этом... я очень огорчена, что возможна подобная ошибка.

— Эти бумаги имеют мало значения, — горячо возразил Зубов, — но я позволяю себе сомневаться в том, что я ошибся. Что же такое, что в его бумагах нет никаких следов? Это доказывает только его осторожность. Бумаги необходимо было просмотреть, конечно, но я и не предполагал найти в них что-нибудь особенное. Интрига велась очень тонко, я с трудом собираю ее нити. Но дело поручено опытным людям, и я надеюсь в скором времени иметь возможность доставить вам что-нибудь серьезное...

— Что интрига существует, что Витворт был в сношениях с регентом — я в этом почти уверена, но не нахожу никаких оснований подозревать участие Горбатова. Вы очень легкомысленно приплели его к этому делу... Я говорю, меня это огорчает.

Зубов побледнел и едва себя сдерживал.

Императрица продолжала:

— Вы поступаете несправедливо, вы подозреваете человека без достаточных доказательств, вы делаете меня участницей в нехорошем деле. Разве это не правда?

— Если бы даже я и ошибался, то мне есть оправдание: при таких обстоятельствах подозрение на кого-нибудь не может быть поставлено в вину...

— Пустое! — горячо произнесла императрица. — Вы ненавидите Горбатова, я уже слышала это...

— Я вынесу всякие обвинения, потому что моя совесть чиста, я забочусь только об интересах вашего величества, я себя забываю...

— Оставьте меня, я совсем больна, я попробую заснуть... — упавшим голосом проговорила Екатерина, с трудом поднялась с кресла и тихо вышла из комнаты.

Зубов стоял бледный, его губы тряслись.

«Да что же! — думал он. — Колдун он, что ли, этот проклятый Горбатов! Нет, она действительно нездорова, она от этого и раздражена... Завтра будет другая... она сама будет на себя досадовать за этот тон!...»

V. ОСВОБОЖДЕНИЕ

На следующее утро Сергей получил записку от цесаревича такого содержания:

«Дело твое приведено к окончанию благополучно, в чем убедишься нынешний же день, когда тебе будет объявлена свобода. Государыня к тебе милостива и сожалеет о происшедшем недоразумении. Спешу в Гатчину, где из-за тебя оставил много дел неотложных. А ты, сударь, как освободишься, приезжай к нам, ты найдешь у меня всех в сборе».

После свидания с Таней Сергей уже не мог поддаваться отчаянию. Он забыл все, что его томило в дни нежданного заключения, забыл оскорбление, ему нанесенное, и свое справедливое негодование. Но все же, пока он чувствовал себя запретным в своем доме, сознание неволи, никогда еще им не испытанное, действовало на него томительно.

«Когда же, наконец, это кончится!» — повторял он себе каждый час.

И вот записка эта известила его о том, что испытание, наконец, прекратилось. Он вздохнул полной грудью, оживился и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Появился тот же толстяк, который объявил ему об его аресте и конфисковал его бумаги. Теперь этот толстяк держал себя совсем иначе, раскланивался и расшаркивался, даже некоторое подобострастие было заметно в его обращении. Он в самых отборных выражениях объявил Сергею о том, что арест снят.

— А мои бумаги, разве вы не привезли их?

— Никак нет-с, относительно бумаг я не имею никакого поручения. Вероятно, они будут доставлены вам иным путем.

Сергей поклонился толстяку, и тот вышел из комнаты.

«Что же это значит! Зачем удерживают мои бумаги? Впрочем, вероятно, все объяснит мне цесаревич».

Он сидел и обдумывал свое положение.

«Ну, вот, я и свободен, недоразумение разъяснилось. А оскорбление все же нанесено, я подвергнут позору, о котором все

знают, конечно, о котором говорят... Э! да что об этом думать! Пусть говорят что угодно!»

Он окончательно успокоился. Его мысли всецело перенеслись теперь в Гатчину, к Тане и к цесаревичу, который завершил все свои милости истинным благодеянием, который стал его спасителем.

И не расслышал он, поглощенный этими мыслями, шагов в соседней комнате и очнулся только тогда, когда раздался знакомый голос. Перед ним стоял Моська.

— Здравия желаю, золотой мой! — радостно говорил карлик. — Нет солдат в сенях... и вот и я освободился из-под ареста... отпустил меня его императорское высочество, а уж как пугал-то, говорит: Сергей Борисыч будет свободен, а ты за твой тяжкий поступок, за побег, за ослушание царскому указу, потерпишь наказание. Да ведь как говорил-то! Я сначала и не верил, а потом думаю: как же так, ведь оно и доподлинно ослушание царскому указу, что ни говори. И что же бы ты думал, батюшка, ведь довел он меня... меня своею милостью, похлопотал, видно, и за меня. Сам в Гатчину уехал, а мне объявлено: иди на все четыре стороны, нигде дороги не заказаны. Вот я и тут!

Карлик был окончательно счастлив. Несмотря на свою старость, он как ребенок быстро переходил от отчаяния и горя к радости. Он был, как и в прежние годы, бодр и подвижен.

— А ты тут, батюшка, без меня, слышал я, дорогих гостей принимал, — продолжал он. — Подивился я только: на мой взгляд, не стоишь ты такого посещения. Ну, и скажи ты мне хоть теперь-то, — вдруг переменяя тон и строго взглядывая на Сергея, шепнул он, — хоть теперь-то будешь ты меня слушаться, перестанешь богохульствовать? Видишь теперь, что Господь Бог, несмотря на все свое милосердие, за грехи и наказание посылает, ведь явное было, явное указание... Ну, чего ты молчишь, отвечай, батюшка, неужто не уверился?

Сергей, улыбаясь, глядел на него.

— Да, успокойся, Степаныч, что ты пристаешь! Конечно, уверился... во всем уверился. Ишь ведь у тебя язык какой, словно мельница, заговорил ты меня совсем, не успел я тебе и спасибо сказать за то, что ты так ловко обделал дело, не попался в руки солдатам и доставил в Гатчину мои письма.

Моська даже обиделся.

— Вот нашел, за что спасибо сказывать! Да нечто ты видел когда, Сергей Борисыч, чтобы я сплеховал в трудную минуту? Хотя я человек и темный, и разума большого Господь мне не дал, а все же смекалка кое-какая есть... да и люди глупы, Сергей Борисыч, ой, как легко провести их — сами во всякую ловушку так и лезут. Чем больше живу на свете, тем больше вижу глупость людскую. Мало умных людей на свете, Сергей Борисыч, много негодных, а глупым и счета нет!..

— Верно, Степаныч, и остановимся на этом, а теперь прикажи-ка скорей лошадей запрягать — едем в Гатчину.

— Это дело, сударь, так и его императорское высочество наказывать изволил.

Вечером Сергей был в Гатчине, и явился он туда обновленным человеком. Он прямо прошел к Тане.

Но они еще не успели досыта наговориться, как Тане доложили о цесаревиче. Он появился в самом веселом настроении духа, и вслед за ним внесли и поставили шкатулку, заключающую в себе отобранные бумаги Сергея.

— Вот твое достояние, сударь, — сказал цесаревич, с удовольствием выслушав выражение искренней благодарности Сергея.

— Вот и ключ! Сделай милость, немедля пересмотри, все ли в порядке, все ли цело?

— Зачем же, ваше высочество, еще успею.

— Пересмотри, говорю.

Сергей исполнил его приказание, перебрал бумаги.

— Не все цело, ваше высочество, — я не нахожу того, что потерять мне очень бы не хотелось: здесь нет моего дневника, о котором я говорил вам.

— И ты, конечно, полагаешь, что я из любопытства его оставил у себя, чтобы прочесть на свободе? Во-первых, без твоего разрешения я бы этого не сделал, а, во-вторых, его у меня нет. Его нет и у государыни, с которой я вместе переглядывал твои бумаги.

— Что же это значит?

— Догадывайся сам. Князь Зубов объявил, что никакого дневника у тебя не было отобрано.

— Так, значит, это он читает на досуге! Мне это очень досадно, но я нахожу, что такой поступок, не говоря о другом, просто глуп с его стороны.

— Я нахожу то же самое, — отвечал цесаревич. — Я этого не забуду, и нужно будет постараться добыть твой дневник, но теперь оставим это дело! Довольствуйся тем, что ты на свободе, что ничего особенно неприятного тебе, как кажется, уже не предстоит. Чтобы ты служил мне — этого пока не желают, тебе готовят какое-то назначение, которое должно показать, что сожалеют о случившемся и тебе по-прежнему доверяют. О том, что ты жених — уже известно, ты можешь бывать здесь так часто, как тебе вздумается, — полагаю, на этом можно успокоиться покамест. К тому же, собственно говоря, ведь я был бы поставлен в затруднение приискать тебе у себя какое-нибудь подходящее занятие. Осмотрись хорошенько здесь, тогда выяснится. Я всегда рад тебя видеть. Я уже распорядился относительно того, чтобы тебе было у меня постоянное помещение на случай, если придется заночевать.

Сергею оставалось только опять благодарить. Ему в тот же день пришлось воспользоваться любезностью цесаревича и переночевать в Гатчине. Великая княгиня, пожелавшая его видеть, была добра по своему обыкновению, со слезами на глазах целовала Таню, поздравляла ее невестой и первая заговорила о том, когда будет свадьба. Сергей, конечно, выразил свое желание устроить все как можно скорее. Таня ничего не возражала, но в разговор вмешался цесаревич, который именно вошел в это время к великой княгине.

— Конечно, откладывать этого дела не следует, но и торопиться чересчур было бы смешно, — сказал он. — Ведь, вероятно, тебе, сударь, предстоят кое-какие переделки в доме?

— Да, конечно, ваше высочество, но на это потребуется немного времени: недели две, самое большее — три.

— Возьми пять, и помиримся на этом. Свадьбу будем справлять в первых числах ноября, а до тех пор приезжай чаще сюда, гости, сколько душе твоей угодно. Эти пять недель пройдут так быстро, что и не заметишь ты их, а потом, уверяю тебя, ты еще будешь пенять мне, зачем я не настаивал отложить свадьбу на дольший срок... И не возражайте, пожалуйста! — прибавил он, заметив недовольную мину Сергея, — я от своих слов не отступлюсь: раньше первых чисел ноября не бывать вашей свадьбы! Ах, Боже мой, да ведь это самое лучшее время в жизни человека, на вас обоих и глядеть-то завидно!

— Ведь так, ведь я правду говорю, Маша? — обратился он к великой княгине.

— Конечно, — сказала она, улыбаясь Сергею и ласково беря Таню за руку.

VI. НОВЫЙ ПРИЯТЕЛЬ

Сергей скоро убедился, что цесаревич был прав, настаивая, что со свадьбой нечего особенно торопиться. Время проходило совсем незаметно, и к тому же и переделки, задуманные Сергеем в его доме, шли не так уж быстро, как можно было ожидать. Сергей почти все дни проводил в Гатчине, возвращаясь в Петербург только на самое короткое время. Скоро ему предстояло убедиться и в том, что императрица действительно желает изгладить тяжелое впечатление, которое должен был в нем оставить его арест: он был пожалован званием камергера. Но лично благодарить Екатерину ему пока не было возможности: она продолжала себя дурно чувствовать и не выходила из своих комнат.

Желание Зубова осуществилось: грек Ламбро-Качиони был принят государыней, сумел ее уверить, что отлично понимает ее болезни и что у него есть самое действительное средство для того, чтобы в скором времени избавить ее от всех ее страданий. Она согласилась подвергнуть себя его лечению. Старик Роджерсон считал себя крайне оскорбленным. Он не доверял знаниям Ламбро-Качиони, почитал его шарлатаном. Он пробовал было уговорить Екатерину быть осторожной, но она так утомилась страдать, так боялась смерти, так вдруг поверила всем чудесам, какие Зубов рассказывал про Ламбро-Качиони, что Роджерсон должен был замолчать. Однако он говорил направо и налево о том, что дело плохо, что шарлатан-грек не только не излечит императрицу, а может очень легко погубить ее.

— Он предписал ей ставить ноги в соленую воду. Это страшный риск в ее положении, и я ничего хорошего не предвижу, — повторял Роджерсон.

Его слушали, пожимали плечами, но дни проходили, во дворце начали поговаривать о том, что императрице несравненно лучше, что Роджерсон устарел...

Сергей почти все время проводил в Гатчине. Приедет на несколько часов в Петербург, иногда переночует — и снова в обратный путь. Теперь он окончательно уже начал осваиваться с гатчинской жизнью, мало-помалу сближался со всеми гатчинцами, которые,

конечно, выказывали ему знаки особого внимания, видя милости к нему цесаревича.

Сергею пришлось особенно сблизиться с Ростопчиным, человеком его лет, с которым он уже встречался в обществе до своего ареста.

Ростопчин ему понравился. Живой, остроумный, образованный, он был всегда душой общества, он умел оживить всякую беседу. Цесаревич, по-видимому, очень любил его и как-то выразился о нем в разговоре с Сергеем, что придет время, когда он окажет государству большие услуги.

— Иной раз у него язык, как бритва, но сердце золотое, и в его преданности ко мне я уверен.

Но и без рекомендации цесаревича Сергей очень заинтересовался Ростопчиным и несколько раз так устраивал, чтобы им вместе возвращаться из Гатчины в Петербург. Ростопчин, так же как и он, проводил время в разъездах. В Петербурге у него была молодая жена, в которую он был, очевидно, влюблен. Над этой любовью иногда добродушно подшучивали в Гатчине, называли Ростопчина «Отелло» (в этом названии был намек и на его крайне некрасивое, но энергическое смуглое лицо с блестящими глазами).

Как-то раз во время поездки из Гатчины, Сергей и Ростопчин между собой дружески разговорились... Ростопчин, проницательный, уж умевший отлично понимать людей с первого же свидания, расположился к Сергею.

«Не орел — никогда не сыграет большой роли, честолюбия нет никакого, но человек не без ума, а главное, истинно благородный человек, не способный ни на какую интригу, человек с чистым сердцем, независимый, гордый хорошей гордостью». — Так он охарактеризовал Сергея в разговоре с их общим приятелем Кутайсовым, и с каждым днем приятельские отношения между ними упрочивались.

Теперь, в этот дождливый осенний вечер, они весело и оживленно беседовали в удобной карете Сергея, которая мягко подбрасывала их на размытом дождем шоссе гатчинской дороги.

— Вы очень счастливый человек, — говорил Ростопчин, — и я, пожалуй, завидовал бы вам, Сергей Борисович, если бы раньше познакомился с вами, но теперь мне нечего завидовать — я тоже

счастлив. И если вы станете доказывать мне, что моя жена в чем-нибудь уступает вашей прелестной невесте — я поссорюсь с вами. Шутки в сторону! Если вы прошли через тяжелую школу, то ведь и это должно принести вам пользу. Как бы то ни было, ваша юность протекла не бесследно — вы набрались-таки всяких впечатлений. У вас много воспоминаний.

— Это так со стороны кажется! — ответил Сергей. — Если бы только знали вы, Федор Васильевич, как томительно и однообразно до сих пор проходило мое время, моя жизнь! Но теперь я не хочу и вспоминать об этом. Я слишком истомился этой скукой жизни, теперь уж я ее не испытываю.

— Я совсем не понимаю, как можно скучать жизнью? — перебил Ростопчин. — Я никогда не скучаю. Я всегда занят, меня интересует все, но истинное благополучие и счастье я испытываю только у себя дома, с моей милой женою. Да, меня все интересует, я принимаю деятельное участие в общей жизни, мне нет времени скучать. Но иной раз желчь вскипает, ах, если бы вы знали, как иногда я бываю зол. Впрочем, теперь злюсь меньше, я решил, что злиться не стоит, нужно смеяться над людской глупостью. Ах, как глупы люди, и какое курьезное зрелище представляет их глупость! Ах, как глупы люди!

— Это же самое мне недавно доказывал мой карлик Степаныч, — улыбаясь, заметил Сергей.

— Он совершенно прав. Он-то не глуп, я сразу это увидел, он очень милое и интересное существо, ваш карлик... Вот императрица называет меня не иначе как «сумасшедший Федька», и нисколько не обижаюсь, но не согласен с этим определением и смею думать, что я, во всяком случае, менее сумасшедший, чем прочие умники. Я, по крайней мере, ясно вижу то, чего они не видят. Я отдаю себе отчет в том, что творится и здесь, и там, и, во всяком случае, должен сказать, что если где можно отдохнуть, то единственно в Гатчине — в Петербурге теперь настоящая вакханалия. И главное, приходится удивляться, глядя на некоторых умников, которые совершенно забывают самые простые истины. Никто даже и не задумывается о том, что на свете все изменяется, что нельзя уподобиться птицам и не думать о завтрашнем дне; напротив, теперь более, чем когда-либо о завтрашнем дне следует думать. Я теперь совсем почти не у дел, я только сумасшедший Федька, но полагаю дожить до того времени,

когда и от меня понадобится большая работа, значит, нужно к ней подготовиться.

— В Гатчине, кажется, и готовятся к будущей работе, — заметил Сергей.

— Далеко не все, и не так, как следует, — сказал Ростопчин. — Вот приглядитесь побольше к нашим людям и увидите, что многого и у нас нельзя одобрить. Я всем моим сердцем предан цесаревичу, я понимаю все прекрасные его свойства, которых большинство не хочет видеть, но я вижу и его недостатки. Он порывист, увлекается! Он иногда может легко поддаться дурному влиянию, и меня в нем поражает одна черта: кажется, уж его-то жизнь должна была приучить не легко доверяться людям, а между тем он остался удивительным идеалистом. Вы, вероятно, заметили, что я нахожусь в числе, так сказать, его любимцев: он мне доверяет, хотя я полагаю, что может легко прийти день, когда вследствие какой-нибудь моей неловкости, он на меня разгневается. С ним этого легко можно опасаться. Теперь он должен видеть, что я действительно ему предан, что могу принести ему кое-какую пользу, но знаете ли, ведь если бы я был человек негодный, если бы я желал только его обманывать, мне это было бы очень легко. Он продолжал бы верить моей преданности.

— Я не знаю, правы ли вы, — сказал Сергей. — Мне приходилось несколько раз замечать в цесаревиче большую прозорливость и понимание людей.

— Да, иной раз, но далеко не всегда, и я могу доказать вам это историей моего с ним сближения.

Он задумался, но вдруг веселая улыбка скользнула по лицу его, он весело и доверчиво взглянул на Сергея.

— Да, я вам расскажу — это интересная история. Я уверен, что все останется между нами, уверен, что вы не заставите меня раскаиваться в моей откровенности, и в то же время я докажу вам мое доверие, мое искреннее к вам расположение, Сергей Борисыч. Вот послушайте, друг мой, как было дело. Этому уже несколько лет — я, надо вам сказать, вовсе не родился для придворной жизни, по крайней мере, мало было к тому задатков. Отец мой небогат, но спасибо ему — он постарался о моем воспитании, о моем образовании. Я еще в детстве был записан в службу, а лет двадцати уже имел чин поручика. Отец собрал денег и отправил меня оканчивать мое образование за

границу. Изъездил я всю Германию, кое-чему научился... Хотя, признаться, учился я немного, но зато много веселился, по-студенчески... Славное было время! Прогостив изрядно по разным городам немецким, поселился я, наконец, в Берлине, и тут пристрастился к картежной игре, да так пристрастился, что теперь могу изумляться только, каким образом удалось отвыкнуть. Играл я, нужно вам сказать, искусно, а главное, счастливо, так что почти всегда был в большом выигрыше. Как-то собрались мы у одного знакомого немецкого офицера, картеж был такой, что упаси Господи! Засел я с прусским старым майором. Старик азартный, красный как рак, глаза налиты кровью, но добродушный малый, за картами все забывает, игрок, однако, плохой. Я стал выигрывать, он горячится и проигрывает все больше и больше. Часа в три, в четыре я в пух и прах обыграл его: между тем, поздно... Все мы утомились. Я встал из-за стола и говорю: «Довольно, господин майор, не угодно ли расплатиться!» Вижу — старик мой сидит как истукан, покраснел еще больше, потом вдруг таким сконфуженным голосом обратился ко мне и говорит: «Херр льютенант, ich habe kein Geld [\[11\]](#). Мне нечем заплатить вам мой проигрыш, но вы не беспокойтесь — я честный человек. Будьте так добры, пожалуйста завтра ко мне, вот мой адрес. Денег нет, да есть у меня некоторые интересные вещи — может быть, они вам понравятся, и вы согласитесь принять их за деньги...» Я был раздосадован, деньги мне были крайне нужны в то время, и я находил недобросовестным со стороны этого майора садиться за игру, не разочтя вперед, может ли он заплатить свой проигрыш. Но вид у него был такой сконфуженный — и мне оставалось только ответить ему, что хорошо, приду завтра посмотреть его вещи. Так я и сделал, разыскал его. Он жил в старинном домике, квартирка у него была такая уютная, чистенькая, какая может быть только у немца. Встретил он меня, извиняется, совсем сконфуженный. Провел меня в маленькую комнатку, а в ней — по всем стенам шкафы расставлены и в этих шкафах за стеклами разложено, в маленьком виде, всевозможное оружие и воинское одеяние: латы, шлемы, щиты, мундиры, каски, шляпы, кивера, всевозможные ружья, пистолеты, алебарды, ну, словом, наиредчайшая коллекция оружия, воинских доспехов и костюмов всех времен и всех народов, начиная с глубочайшей древности. У меня просто глаза разбежались — так все это было мило, разнообразно, с таким вкусом

разложено. А майор говорит: «Извольте смотреть дальше. Вот и воины в полном вооружении! А затем обратите внимание на этот стол»... Он подвел меня к столу, стоявшему посредине комнаты. На столе было расставлено целое войско. Каждая фигура была сделана с большим искусством. Майор тронул пружинку, и маленькое войско принялось делать правильные построения и передвижения. Это была самая занимательная игрушка, какую только я когда-либо видел, да и к тому же игрушка со значением. А коллекция заняла бы видное место в каком угодно музее. «Вижу, хер льетенант, — сказал майор, — что все это вам очень нравится, я так и полагал. Это наследство, доставшееся мне от моего покойного отца — большого любителя военного дела. Он всю свою жизнь собирал эту коллекцию. Он сам выдумал механизм, приводящий в движение маленькое войско. Примите все это в уплату моего вчерашнего долга. Я честный человек, хер льетенант, и не хочу, чтобы русский офицер мог упрекнуть меня в неблаговидном поступке, — возьмите, пожалуйста...» Я стал было отговариваться — мне жалко было лишать добродушного немца его сокровища, но, с другой стороны, сокровище это меня пленило, и, наконец, я рассудил: так вольно же было ему играть, не имея денег! Одним словом, хорошо ли, дурно ли я поступил, но я забрал все с собою, уложил в ящики и, по возвращении в Петербург, расставил и разложил все в том порядке, в каком оно было у майора. Мою коллекцию и маленькое маневрировавшее войско приходили смотреть все гвардейские офицеры: много забавлялись и восхищались... Вот однажды докладывают мне об адъютанте цесаревича. Он говорит мне, что великий князь слышал про мою коллекцию, очень желает ее видеть, и для этого намерен ко мне приехать. Само собою, я поспешил отвечать, что его высочеству нечего беспокоиться, что я все сам привезу к нему. Привез, расставил и жду... До этого времени я почти не знал великого князя: он не обращал на меня никакого внимания. Доложили ему, что все готово... выходит... Я все показываю, объясняю, завел пружинку... Цесаревич в полном восторге, глаза блестят, рассматривает каждую малейшую вещицу, не может нахвалиться... А маленькое войско так совсем его растрогало. «Как правильно! Как правильно! — повторял он. — Да, по этой модели просто можно учить наших солдат! Каким образом вы могли составить подобную коллекцию — ведь жизни человеческой мало, чтобы исполнить это!» Ну-с, Сергей Борисыч,

теперь я признаюсь вам как на духу в грехе своем. То есть я-то, нераскаянный грешник, и грехом сего не почитаю, а уж вы, наверное, почтете. Слушайте-ка, сударь мой, вы полагаете, я рассказал цесаревичу всю историю? — Ничуть не бывало. Я опустил глаза, принял скромный вид и с чувством проговорил. «Ваше высочество, усердие к службе все преодолевает: военная служба моя страсть». «Удивительно! — воскликнул он. — Вы, сударь, как я вижу, большой знаток военного дела, поздравляю вас!» Он снова принялся разглядывать мою коллекцию и затем обратился ко мне: «Продайте мне все это, сударь, я постараюсь выплатить вам такую сумму, какую вы сами назначите. Не стесняйтесь цифрой, я хорошо понимаю, что такие вещи дешево не продаются!» «Ваше высочество, — ответил я, — продать эту коллекцию я не могу никаким образом — она непродажная». Он нахмурил брови, покраснел, но я поспешно прибавил: «Я почту для себя за великое счастье, если вы позволите мне поднести все это вашему высочеству». Цесаревич сконфузился, покраснел еще больше, но по его глазам я сразу заметил, какое приятное впечатление произвели слова мои. Он горячо поблагодарил меня, обнял крепко, поцеловал, — и вот, Сергей Борисыч, с тех пор начались его ко мне милости, и уже вы не разубедите его в том, что я знаток военного дела!..

Сергей внимательно слушал этот рассказ, и по выражению его лица Ростопчин мог заметить, что он произвел на него не особенно приятное впечатление.

«И зачем это я выбалтываю, — подумал он. — Конечно, он меня не выдаст, но ведь он так благороден... наивно и детски благороден... У него такое фантастическое понятие о жизни!» Но, несмотря на это размышление, он все же был доволен, что высказался. Он испытывал особенное наслаждение от своей циничной откровенности: в нем кипела желчь. Ему хотелось смеяться, смеяться надо всеми и в том числе и над самим собою.

— Так вот-с, какими способами очень часто выходят в люди! — заговорил он снова, видя, что Сергей молчит и уныло смотрит в сторону. — И поверьте, так всегда было, есть и будет, и иначе быть не может. Все дело случая, ловкой фразы, подходящей минуты... И если подобный случай выдвинет действительно достойного человека, с

достаточным талантом и доброй волей, то это будет только опять-таки случай и, к несчастью, очень редкий.

— Я надеюсь, — проговорил Сергей, — что ваш случай будет именно таким счастливым и редким случаем, но все же вы испортили мое веселое и радостное настроение.

— Что делать! — отвечал, пожимая плечами, Ростопчин. — Я это понимаю, но я чувствую истинное к вам расположение, мне кажется, что нам предстоит много соли съесть вместе, и мне не хотелось бы, чтобы вы на мой счет заблуждались. Полюбите, Сергей Борисыч, нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит! Если начало моего сближения с цесаревичем не в вашем вкусе, то я зато надеюсь, вы не сделаете мне упрека в том, что я злоупотреблял его доверием, что я недостоин этого доверия. Видит Бог, как я искренно расположен к нему, и видит Бог, как я теперь работаю, чтобы приготовить себя к полезной деятельности! В деле военном я не считаю себя знатоком — это не моя сфера — меня гораздо более занимают иные вопросы, и над ними-то я работаю. Я стараюсь добросовестно следить за всем, но, воля ваша, с каждым днем я больше и больше убеждаюсь, что нужно хитрить, что нужно быть ловким эквилибристом, что нужно за хвост ловить каждую удобную минуту для того, чтобы не оказаться не у дел, для того, чтобы не уступить свое место кому-нибудь, кто будет совсем уж не достоин занимать его.

— Да что ж... вы правы с практической точки зрения, — сказал Сергей, — я с вами спорить не буду, но это очень печально, во всяком случае.

— Ах, это уж другой вопрос, — живо перебил Ростопчин. — В годы юности и я представлял себе счастливую Аркадию, но, по счастью для себя и, может быть, для дела, я рано забыл эти юные грезы. Советовал бы и вам, Сергей Борисыч, отгонять их как можно чаще. Жизнь имеет свои права и выставляет свои требования — мы забыть этого не можем, если желаем сыграть свою роль в жизни.

— Я хорошо знаю, что не сыграю никакой роли, — сказал Сергей, — и даю вам слово, не страдаю от такого сознания. В жизни есть, быть может, иные задачи и иное удовлетворение.

— Да, конечно, конечно! — горячо повторил Ростопчин. — Но найти удовлетворение в том, что вас удовлетворяет, я не в силах. Я не могу ограничиться созерцанием — у меня сердце кипит, меня желчь

душит. Я должен усиленно двигаться, я должен работать, бороться. Я пропаду, если окажусь в уединении, вдали от этой толпы, — я ее презираю, я над нею смеюсь, но она дает мне тот воздух, которым дышу я!..

Они уже въезжали в город.

VII. ГАТЧИНЦЫ

Такой человек, как Сергей, являлся вовсе не лишним в среде гатчинцев, и немудрено, что в Гатчине у него не нашлось недоброжелателей, что, напротив, не один Ростопчин, но и все к нему относились искренне и приветливо.

Никто не стал завидовать тому расположению, которое оказывал ему цесаревич: новый любимец никому не становился поперек дороги. Каждый из гатчинцев решил, что этот мешать не станет, ничего не отобьет, не будет высоко заноситься. Он не опасен, а человек милый, душевный... Жена вот у него будет красавица... большим домом заживет... Нет, к нему надо поближе — не в том, так в другом пригодится!

Особенно любил его Кутайсов. Более чем кто-либо человек случая, Иван Павлович очень чувствителен был к своему прошлому; вступая в сношения с новым человеком, он тщательно в него вглядывался, вслушивался в каждое его слово; он боялся себе обиды, неприятных для него напоминаний, и если замечал что-либо подобное, то считал себя глубоко оскорбленным, делался невольно врагом своего обидчика. И уже, конечно, пуще всего следил он за людьми родовитыми.

И вот знатный барин, Сергей Борисыч Горбатов, с первого своего появления в Гатчине еще тогда, восемь лет тому назад, несмотря на всю мнительность Ивана Павловича, ни разу не заставил его поморщиться, обидеться. Он всегда держал себя с ним как с равным, беседовал с ним просто и искренне, выказывал ему даже знаки уважения. Иван Павлович ему нравился как человек хотя несколько грубый, но бесспорно умный, а главное, беззаветно преданный цесаревичу, которого так почитал он. Сословных же предрассудков и чванства у Сергея, под влиянием его старого воспитателя Рено и собственного житейского опыта, не было. Иван Павлович в последние дни особенно чувствовал себя расположенным к Сергею. И вот почему. Во время одной из откровенных бесед он мимоходом высказал некоторые свои семейные затруднения, происшедшие от недостатка денег. Цесаревич дал бы, но Иван Павлович не смеет и заикнуться ему

об этом, потому что знает, что у него у самого денег теперь совсем нет. Сергей заинтересовался, расспросил подробнее и, со свойственной ему простотою и добродушием, предложил Кутайсову нужную сумму.

— Батюшка, Сергей Борисыч, только как же это — ведь раньше, как года через два я вам не в силах буду выплачивать.

— Хоть десять лет не выплачивайте, Иван Павлыч, — улыбаясь, сказал Сергей, — я, слава Богу, не беден, такая ничтожная сумма стеснить меня нисколько не может. Все равно деньги часто лежат у меня без всякого употребления, и я сердечно доволен, что могу услужить вам.

— Ну, батюшка, в таком разе большое вам спасибо! Истинное, можно сказать, благодеяние оказываете, из беды выручаете. Спасибо, сударь, вовек этой услуги не забуду, позвольте вас, золотой мой, обнять да расцеловать попросту, по-русски.

Сергей расцеловался с Кутайсовым, и оба они остались крайне довольными друг другом.

Кутайсов не мог нахвалиться:

— Душа человек! Золотое сердце! Вот бы таких людей нам побольше! — говорил он про Сергея.

Сергей нередко, выходя от Тани, заходил к Кутайсову, заставлял его в скромной обстановке, обыкновенно за чаем, до которого Иван Павлович был большой охотник.

— Что, батюшка, невеста-то, видно прогнала? — сказал он раз Сергею, вставая ему навстречу. — А минутами пятью раньше бы пришли, не застали бы меня — сам только что вернулся. Задал мне нынче работы его высочество, ух, как устал! Чайку вот напейтесь, нынче ром у меня первый сорт! Взгляните-ка в бутылочку, подарок это от приятеля большого, да и вашего, кажется, тоже приятеля, от Федора Васильевича Ростопчина. Не выпьете ли чашечку с ромком, коли минутка есть свободная?

— С большим удовольствием, Иван Павлыч, затем и пришел, чтобы посидеть с вами. Татьяну Владимировну великая княгиня звать приказала, ну, а одному что мне там делать, вот и захотелось вас провести.

— Спасибо, сударь, что не забываете. Присядьте-ка сюда вот, к печке поближе, тут тепленько. Я, знаете, тепло люблю, и уж две недели, как у меня топится — холода что-то рано начались нынче.

Они уселись, принялись за чай. Ром действительно оказался отличный, и Иван Павлович то и дело похваливал.

— Спасибо Федору Васильичу, — говорил он, — и в каждом-то деле знаток он. Умная голова, нечего сказать! И помните мое слово, придет время, покажет он себя. Большому кораблю большое плавание.

— Да, он человек умный и с богатыми способностями.

Кутайсов утвердительно кивал головою.

— Будет из него прок, будет! А и хитер он, ловок... Иной раз смеху с ним сколько.

— А что? — спросил Сергей.

— Шельмоват, ох, как шельмоват! Ну, да что же, оно ничего — простачком-то зачем быть? А вы, батюшка, на шпаге-то у него крестик анненский заметили?

— Нет, не заметил. Как это анненский крестик на шпаге?

— Тут целая история, да и препотешная, вот прислушайте-ка, а потом и решайте сами: шельмоват он али нет? Конечно, вам, сударь, ведомо, в каком уважении у цесаревича орден святой Анны.

— Ну да, это голштинский орден, и великий князь, в качестве герцога голштинского, один имеет право им жаловать.

— Так-то оно так, да не совсем. Грамоты подписывает великий князь, а жаловать без дозволения государыни он не может. И в том все у нас дело! Захочет великий князь пожаловать анненским орденом кого-нибудь, а государыня и не разрешает. Так и со мной не раз было, и по сию пору я без ордена. Ну, известно, оно и досадно великому князю. С полгода тому будет, вдруг призывает как-то он меня и приказывает заказать несколько маленьких анненских крестиков без колечка, а с винтиком посредине. Я спрашиваю, зачем такие крестики понадобились, а он даже рассердился. «Не твое, — говорит, — дело!» Замолчал я и никак не могу сообразить, на что те крестики вдруг навинчивать. Заказал, изготовили, принес я великому князю. Он принял, запер к себе в стол. Только вот потом и открылось: призывает он Федора Васильевича Ростопчина, дает ему крестик с винтиком и говорит: «Жалую тебя анненским кавалером! Привинти этот крестик к шпаге, только на заднюю чашку, а то, мол, узнает государыня и не разрешит тебе — она тебя не любит». Ростопчин взял, поблагодарил в приличных выражениях; а сам потом ко мне. Рассказывает: так и так, говорит, что я теперь стану делать? Узнает императрица — большие

мне будут неприятности, а не исполнить приказа его высочества не могу — разгневается. «Ну, уж, — говорю ему, — батюшка, сам выпутывайся, а от милости, известное дело, не отказываются...» Что ж бы вы думали сударь, он сделал? Протасова Анна Степановна ему сродни приходится, а у государыни она в большой силе, так он прямо к ней. Рассказал ей, выставил свое трудное положение и просил ее доложить в удобную минуту государыне, что он очень опасается носить орден, между тем, боится оскорбить цесаревича. Так госпожа Протасова и сделала, выбрала удобную минуту и шуткою все передала императрице. Императрица выслушала, улыбнулась и говорит: «Вот он какими игрушками занимается! Ну, да пусть его тешится! Скажи ты Ростопчину, чтобы носил он свой орден, не боялся — я замечать не стану». Как узнал об этом Федор Васильевич, тотчас же взял, привинтил свой крест, только не к задней, а к передней чашке шпаги, и в таком виде является во дворец на выход. Цесаревич как увидел его, взглянул на шпагу — а крест-то и на самом видном месте — подходит к нему и говорит шепотом: «Что ты делаешь, сумасшедший! Я тебе приказал к задней чашке, а ты привинтил к передней... увидит государыня... вот сейчас пройдет и увидит, и тебе, и мне достанется». А Федор-то Васильевич наш вытянулся в струнку и говорит: «Милость вашего высочества так мне драгоценна, что и скрывать ее я не в силах». — «Да ты погубишь себя!» — «И погубить себя готов, но тем самым докажу свою преданность вашему высочеству!» Вам, сударь, известна чувствительность сердца цесаревича и его доверчивость: даже прослезился он, так его слова эти тронули. Ну, и носит он с тех пор крест на шпаге, а цесаревич за него опасается. А уж кабы знал всю истину, намылил бы он ему голову! Да зачем ему знать? Мы выдавать не станем... Худого тут ничего нет, а что шельмоват Федор Васильевич, это теперь, сударь, сами решить можете.

— Я не могу оправдать такого поступка, — сказал Сергей, — и все это кажется мне недостойным.

— То-то вот кажется, батюшка, мало вы нагляделись! Потерпите, вот поживете с нами, так и сами увидите, что с цесаревичем иной раз трудно ладить, — поневоле на всякие хитрости пустишься. Добрый человек, уж такой добрый, что и на всем свете не сыщешь, а не так сказал, оплошал малость — и невесть как накинется. Что ни год — то хуже. Совсем его раздражили, совсем замучили! Иной раз к нему и

притронуться невозможно, вот ровно к человеку, у которого все болит... А Федора Васильевича вы не браните, да шельмоватостью не упрекайте — оно смешно только, а он человек хороший, доброжелательный.

— Я в этом не сомневаюсь, — сказал Сергей. — Мне Ростопчин самому очень нравится, и я вместе с вами полагаю, что ему его хитрость простить еще можно, а вот я хотел вас спросить, по старому приятельству нашему, что вы думаете о другом человеке, с которым я здесь познакомился и который, как мне кажется, в большом доверии у великого князя.

— О ком вы это сударь?.. Ну да уж по лицу вашему вижу о ком — об Аракчееве?

— Угадали! Но при чем тут лицо мое?

— Гримаску, батюшка, сделали — не по нраву вам наш Аракчеев. Я уж это не впервой замечаю.

— Я, видите ли, мало знаю его, могу ошибаться, только действительно он как-то не внушает к себе особенного доверия.

Кутайсов улыбнулся.

— Да, этот другого сорта. Этого, признаться, и я недолголюбиваю. И уж не знаю, как сказать: достаточно ли в нем качеств, чтобы забыть о его дурных свойствах. Только по нраву он нам, или не по нраву, а этому человеку тоже предстоит большая роль: цесаревич о нем — ух, какого мнения! И ничем того мнения поколебать невозможно. А что такое Аракчеев — мужик, как есть мужик! Ума в нем нельзя сказать, чтоб было много. Он вот хвастается — я, мол, учился на медные гроши, а лучше всяких ученых да умников свое дело знаю!.. И врет он, извините вы меня, и хвастаться тут нечего — я вот тоже на медные гроши учился, так вижу, что нечем тут хвастаться, и, напротив, так полагаю, что кабы вот времени у меня было теперь довольно, так снова за указку бы принялся. Ищешь, как бы что узнать полезное, да с умным, ученым человеком потолковать, вот хотя бы с вами, Сергей Борисыч! Узнать: как, что и почему, как о том да о другом в науке сказано. А он, вишь ли — «наука вздор, одно усердие нужно!» Ну, и выезжает этим усердием. И так цесаревич полагает, что усерднее полковника Аракчеева никого и не найти ему. Чем взял — ума не приложу! Медведь неотесанный, ни кожи, ни рожи, только и знает свою маршировку, а смотрите, он и инспектор здешней пехоты, и

губернатор гатчинский. А уж людей-то как мучает! Что слез из-за него пролилось! Солдаты-то еле живы — по двенадцати часов в день на ученье их держит. Из сил солдат выбьется — так его палкой! Аракчеев только и повторяет — «где ученье, там и палка!» А потом и то заметьте: ни до кого до нас ему нет никакого дела, ни с кем не сходится и все равно ему, любим мы его, али нет. «Я, — говорит, — свое дело знаю и больше знать ничего не хочу».

— Да что же, ведь в этом он совершенно прав, — заметил Сергей. — Это ведь, в сущности, есть настоящее отношение к службе.

— Так точно. Оно так, сударь, да ведь это слова только! Жестокий он человек, Аракчеев! Ему солдат все равно, что кукла. Он жизнь человеческую ни в грош не ставит: хоть перемри все, лишь бы его высочество сказал ему «спасибо» — так уж это что ж! Это уж не служба... Это уж зверство называется.

— Ваша правда! Так вот, значит, я и не виноват, что гримаса у меня выходит, когда думаю об Аракчееве. Значит, вы согласны со мною?

— Как, батюшка, не согласиться! Да тут только ничего не поделаешь — не избавимся мы от этого лютого зверя, и много еще он бед понаделает, увидите.

Так сидели они и беседовали.

Осенние сумерки уже быстро набегали. Из окон слышались далекие звуки военной команды, мерно постукивал маятник, сверчок чикал где-то за печкой.

Беседа вдруг смолкла. Иван Павлович зевнул и отклонился на спинку кресла.

— Засните-ка, — сказал Сергей, — отдохните, а и мне пора, чай, уж меня поджидают.

И с горячо забившимся сердцем он поспешил в комнаты Тани, где его действительно ждали.

VIII. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Ламбро-Качиони, по-видимому, намеревался оправдать рекомендацию Зубова, — по крайней мере, императрица объявила всем приближенным, что чувствует себя несравненно лучше.

Она переехала из Таврического в Зимний дворец и, хотя не показывалась перед публикой, но продолжала вести свою обычную трудовую жизнь: каждое утро рано вставала, внимательно выслушивала доклады, писала, интересовалась самыми разнообразными делами и не покидала своей любимой мысли устроить-таки в конце концов бракосочетание короля Шведского с Александрой Павловной.

По вечерам иногда собиралось в Эрмитаже, как в прежние годы, ее интимное общество.

Она появлялась, — по-видимому, бодрая и свежая, шутила с Львом Александровичем Нарышкиным, садилась за карточный стол с Зубовым и Безбородко. Даже Морков, подвергшийся было сильному с ее стороны неудовольствию и на одном себе выносивший все последствия неудачи одиннадцатого сентября, снова стал получать знаки ее внимания. Она была с ним любезна и ни одним намеком не возвращалась к недавним событиям. Она так держала себя, будто ничего не случилось, и, одобренные ею, все мало-помалу стали успокаиваться и возвращаться к прежней жизни.

Одна только Марья Саввишна Перекусихина, эта простодушная и скромная старуха, бывшая, однако, в течение долгих лет чуть ли не самым близким другом Екатерины и ее наперсницей, с каждым днем все казалась задумчивее и печальнее. Иногда ее заставляли в слезах; но на вопросы о том, что означают эти слезы, она упорно молчала, поспешно вытирала глаза и заговаривала о чем-нибудь постороннем. Только она одна, по многим несомненным для нее признакам, не доверяла этому внезапному улучшению в здоровье императрицы, этому нежданно вернувшемуся благоденствию. Но на Марью Саввишну, пока не требовалось прибегать к ее доброте и всегдашней готовности услужить ближнему, обращали мало внимания.

К концу октября стала зима, выпало много снега, мороз держался от трех до пяти градусов. Екатерина объявила, что желает выехать прокатиться в санках. Однако намерения этого она не выполнила.

Второго ноября, утром, она никого не принимала. По дворцу разнеслась весть, что у императрицы всю ночь были сильные колики, так что она заснула только под самое утро. Однако к обеду она вышла из спальни и на тревожные вопросы внуков и внучек отвечала, что чувствует себя хорошо, что действительно были колики, но совсем прошли и что это пустое...

В эти дни у Сергея Горбатова было много хлопот. Все приготовления к принятию новой хозяйки были сделаны в его доме. Он сам все осматривал, совещался с Моськой, закупал богатые подарки своей дорогой невесте. Свадьбы теперь уже недолго осталось дожидаться, она должна была совершиться на днях в Гатчине. Цесаревич и великая княгиня благословят жениха с невестой, и после венца молодые отправятся прямо в Петербург. Не так предполагалось сначала: свадьба должна была отпраздноваться со всею пышностью, но цесаревич вдруг решил, что будет так. И, конечно, ни Сергей, ни Таня не стали с ним спорить. Они были очень рады избежать в такой торжественный для них день пышности, присутствия людей совсем посторонних.

Четвертого ноября Сергей совсем было собрался в Гатчину, как вдруг к нему заехал Лев Александрович Нарышкин.

— Куда это ты, друг любезный? — спросил он, входя и видя дорожные приготовления Сергея. — Опять в путешествие! Но на сегодня моя будущая племянница тебя подождать должна, сегодня тебе в Гатчину ехать никоим образом невозможно...

— Что же, я опять арестован, что ли? — улыбаясь, сказал Сергей. — С вами, дядюшка, с полчаса побеседую, если угодно, а уж потом не задерживайте...

— Не поедешь ты нынче в Гатчину. Слушай-ка, государыня пожелала тебя видеть, ведь ты еще не представлялся ей после твоего пожалования в камергеры?

— Да ведь не было приемов, дядюшка!

— Знаю, знаю, и не нужно тебе официального приема, государыня приглашает тебя нынче вечером в Эрмитаж... Понимаешь, ведь это такая милость, которою теперь кроме нас, стариков, никого не

удостоивают. И представь ты себе, как перекосит твоего друга, светлейшего князя Платона Александровича, он ничего не знает. Это в некотором роде сюрприз для него готовится. Мы с тобой вместе приедем, так приказано. Помнишь, как когда-то, давно, когда я в первый раз представлял тебя?

Как ни был теперь Сергей равнодушен ко всему, что не касалось до Тани, но все же он почувствовал некоторое удовольствие.

— Да, в таком случае поездку в Гатчину действительно отложить придется... Поедет один Степаныч, — сказал он.

— Вот и хорошо, и невеста не будет беспокоиться. А ты сегодня у меня пообедаешь, и вместе мы после обеда во дворец поедем... Ну, что, племянник, не говорил ли я тебе, что нечего кипятиться, ничего с тобой не поделает господин Зубов...

— Да, хорошо это говорить после того, как я больше недели просидел здесь в качестве преступника и изменника...

— Кто старое помянет, тому глаз вон... Да и, наконец, это к твоей же пользе послужило... о тебе заговорили с самой выгодной стороны... Зубова за тебя бранят еще пуще прежнего... А она... сегодня она доказывает тебе, как ей хочется загладить эту ошибку. Твоему положению наши царедворцы только завидовать могут — государыня в долгу у тебя и начинает расплачиваться — чего же лучше!..

Тихий свет ламп, прикрытых абажурами, озаряет несколько строгую, но величественную обстановку одной из обширных комнат Эрмитажа. Со стен глядят, выступая из-за золотых рам, произведения кисти знаменитых художников. Сцены религиозного содержания сменяются сценами неги и наслаждений золотого века. То выступают на темном фоне кроткий, одухотворенный лик Богоматери и загадочная улыбка божественного ребенка, то сверкает, озаренная полосой рефлектора, классическая нагота греческой богини. Но все эти разнородные образы, созданные в минуту вдохновенного трепета, запечатленные никому не ведомыми муками и восторгом их творцов, не обращают на себя ничьего внимания.

Тихие, сдержанные разговоры ведутся в обширной комнате. Партия только что окончена. Толстяк Безбородко то и дело утирает

платком свое красное, лоснящееся лицо. Зубов с небрежным и скупающим видом чертит что-то мелком на сукне карточного столика.

Императрица отклонилась на спинку своего кресла, полузакрыла глаза и не то дремлет, не то погружена в размышления. Резко обрисовывается глубокая складка между ее бровями, губы крепко сжаты, нижняя часть лица скрыта за кружевами, покрывающими ее высокую грудь, которая по временам колеблется от тяжелого дыхания.

Вот звуки шагов достигают ее слуха. Она открывает глаза и видит входящих Нарышкина и Горбатова.

Зубов не удержался, дернул свой стул, и мелок сломался от нервного движения руки его. Но Екатерина не замечает этого. Она с благосклонной улыбкой кивает головой входящим, она протягивает им для поцелуя свою руку, обменивается несколькими шутливыми фразами с Нарышкиным и, сделав ему почти незаметный знак, указывает Сергею на стул рядом с собою.

Зубов вне себя; он даже и не скрывает своего бешенства. Он шумно встает и быстрыми шагами выходит из комнаты. Нарышкин вступает в разговор с Безбородко, отводит его в сторону. Сергей и императрица одни перед карточным столиком.

Сергей благодарил государыню за пожалование. Она улыбнулась ему еще ласковее.

— Я давно думала об этом, — сказала она. — Но ведь это совсем не та служба, которую бы хотела поручить вам, мой друг. Время терпит, конечно, я вовсе не желаю стеснять вас теперь... Но постойте! Ведь у нас есть счета и их прежде всего надо кончить. Вы имеете право на меня очень сердиться, но я прошу вас, навсегда забудьте об этом.

— Я так и сделал, ваше величество.

— Знайте, мне очень грустно, что случилось такое печальное недоразумение. Я, может быть, менее виновата в нем, чем вы полагаете, да и вообще, если разобрать хорошенько, то виноватых, пожалуй, и не окажется. Случаются иногда очень странные недоразумения. А теперь довольно об этом, тем более что вы сами несколько виноваты передо мною, вы сами хитрили, скрытничали и обманули меня.

— Когда же? В чем, ваше величество? — смущенно проговорил Сергей.

Но он уже понимал, в чем дело.

— Я хотела вам сватать невесту, а вы скрыли от меня, что невеста была уже у вас готова и именно та особа, о которой я вас спрашивала.

— Я это очень хорошо помню, ваше величество, но дело в том, что в тот день у меня не было невесты, и я сам не знал, чем кончится это дело. Я боялся сам обмануться и нисколько вас не обманывал.

— Да, я понимаю. Конечно, я шучу... я хочу сказать вам, что очень за вас рада. Я, признаюсь, имею мало сведений о вашей невесте, но то немногое, что я о ней знаю, очень говорит в ее пользу. Recevez mes félicitations, mon cher, soyez heureux, je vous le souhaite de tout mon coeur [\[12\]](#).

— От глубины души благодарю ваше величество и смею надеяться, что добрые пожелания ваши исполнятся.

— И я тоже надеюсь. Скажите, когда ваша свадьба? Как вы намерены устроиться? Мне это нужно знать именно ввиду мыслей о предстоящей вам новой службе, которую мне хотелось бы поручить вам.

Сергей передал ей все, о чем она его спрашивала.

— Вот и прекрасно, это ничему не помешает, и, во всяком случае, будьте уверены, что я не желаю стеснять вас. Я все нездорова, — хотя теперь мне гораздо лучше, — но, во всяком случае, я желаю, чтобы вы представили мне вашу жену немедленно после вашей свадьбы.

— Она почтет для себя величайшим счастьем эту милость вашего величества.

— Лев Александрович, — обратилась Екатерина к проходившему в эту минуту невдалеке от них Нарышкину, — что это ты прихрамываешь?

— Ревматизм одолел, матушка государыня.

— Смотри ты, совсем стариком становишься, того и жди — умрешь. Я про тебя уж и сон дурной видела.

— Ах, матушка, ради Создателя, не стражайте, — скорчив испуганную мину, аффектированно крикнул Нарышкин, — я смерти до смерти боюсь.

— Да уж боишься либо нет, а она за тобою. Я вот тоже было испугалась, как прихворнула, так и думала — умирать приходится. Вон и гроза была в конце сентября, а это редкий ведь случай. Помнишь, когда такая поздняя гроза была?

— Не помню что-то, государыня, — ответил Нарышкин, который отлично помнил и слышал от Марьи Саввишны Перекусихиной, что Екатерина не раз заговаривала о грозе этой.

— Не помнишь? Так у тебя, знать, память коротка, я-то помню: в год кончины тетушки, императрицы Елизаветы Петровны была такая гроза. Вот и я, старуха, перепугалась. Только нет, я еще не умру, а вот ты — другое дело, и гроза-то эта, может быть, к тебе относится.

— Чтобы сферы небесные да о таких людишках, как я, помышляли... И-и! Нет, матушка, они там своими делами заняты и не токмо что нас грешных, да и ваше величество в грош не ставят.

И таким образом, переговариваясь и перешучиваясь с «матушкой», старый Левушка исполнял свою вечную должность шутника и забавника, а сам не без грусти поглядывал на своего неизменного державного друга и, отшучиваясь, думал:

«Не ладно что-то: меня страшает, а сама боится, уже и в знамения начинает верить; прежде этого не бывало. Да и глаза не хороши, совсем другая стала. Не вылечил ее грек-мошенник».

Зубов не возвращался. Безбородко предложил было еще игру, но Екатерина ответила, что на сегодня довольно, что у нее, еще до отхода ко сну, есть работа.

С помощью Левушки она приподнялась с кресла, простилась с обществом, ласково улыбнулась Сергею и тяжелою, не прежней поступью, вышла из комнаты.

Сергею вдруг стало почему-то неловко и даже грустно, что-то сдавило сердце, будто духота и тягость чувствовались в воздухе. Унылым светом горели лампы, уныло и безжизненно глядели со стен грезы старинных художников.

Но он не стал предаваться этому внезапному чувству, он поговорил несколько минут с Безбородко и в сопровождении Нарышкина вышел из Эрмитажа.

IX. ОБЕД НА МЕЛЬНИЦЕ

Сергей еще до рассвета выехал в Гатчину. Погода стояла прелестная, день начинался ясный, ветру никакого. Небольшой морозец. В гатчинцах было заметно особенное оживление. Цесаревич вышел в самом лучшем настроении духа, ничто его не раздражало, он всем был доволен и объявил, что в такой день грешно сидеть на месте, что следует непременно прокатиться и, самое лучшее, пообедать на гатчинской мельнице.

До мельницы от дворца было всего верст пять.

Великая княгиня приказала сделать нужные распоряжения. Сергей, конечно, получил приглашение участвовать в этой *partie de plaisir* ^[13], и в двенадцатом часу несколько троек, впряженных в широкие сани, выехали из дворца по сверкавшей на ярком зимнем солнце, еще не наезженной дороге.

Жениху и невесте оказывались всевозможные знаки внимания, и в первые четырехместные сани поместились цесаревич, великая княгиня, Сергей и Таня. Павел шутил всю дорогу, поддразнивал Сергея, уверяя его, что свадьбу нужно еще отложить, так как он ни за что не отпустит княжну в город, пока стоит такая прекрасная погода — пусть она надышится напоследок чистым воздухом.

— Вы считаете себя очень счастливой, княжна, и ошибаетесь. Вы еще будете вспоминать Гатчину.

— Не придется, ваше высочество, — отвечала Таня, — мы часто сюда будем возвращаться.

— На это не рассчитывайте, — посмотрите, каким зверем он взглянул сейчас. Все они хороши, пока еще не чувствуют своей власти, заберет он вас в руки и запрет в четырех стенах.

— В таком случае я вам пожелаю, и вы должны будете явиться моим спасителем, ваше высочество.

— Извините! Вы от нас отказываетесь, вы нам изменяете, и нам до вас никакого не будет дела. Вы отдаетесь во власть его, помните это, время еще есть, одумайтесь... Вот теперь я еще могу защитить вас, хотите сейчас его из саней выброшу?

Но Таня этого не хотела. Они подъезжали к мельнице.

— Что же, готово обедать? — крикнул цесаревич, входя на крыльцо. — Мы проголодались, живо!

Ему доложили, что можно садиться за стол, что все готово. Веселое общество разместилось, цесаревич сам разливал и подавал мужчинам водку в маленьких рюмках. Присутствовали Плещеев, Кушелев, граф Вьельгорский, камергер Бибилов и неизменный Кутайсов. Все это были люди, считавшиеся в Гатчине своими. Недоставало только Аракчеева, который никогда не покидал своих служебных обязанностей, да Ростопчина.

— Жаль, недостает нашего Федора Васильевича, — проговорил вдруг Павел, — он бы повеселил нас, наверное, рассказал бы что-нибудь смешное: всегда является с целым запасом. Скажи, Горбатов, не видал ли ты его вчера? Я так полагал, что он нынче утром приедет.

— Как же, ваше высочество, я с ним встретился вчера утром, и он сказал мне, что будет здесь завтра и на несколько дней.

— Обидно! А я даже хотел спросить у него разъяснение моего нынешнего сна — ведь он на все руки мастер: и дело делает, и сны разъясняет. Но шутки в сторону, господа, я видел нынче ночью очень странный сон, и почему-то этот сон не выходит у меня из головы.

Великая княгиня, говорившая в это время что-то своему соседу, Плещееву, вдруг замолчала и стала прислушиваться. Лицо ее сделалось серьезным, даже озабоченным. Между тем, великий князь продолжал:

— Да, собственно, это и не сон, а какое-то странное ощущение, мне казалось, что вдруг будто меня разбудили и какая-то неведомая сила подхватила меня и понесла все выше и выше. Кругом будто сиянье, лазурь небесная, звезды со всех сторон яркие...

Великая княгиня слабо вскрикнула. Но все внимательно слушали, и никто не обратил на это внимания.

— Я проснулся, — говорил Павел, — потом снова заснул, и опять тот же сон, то же ощущение, опять неведомая сила подхватывает меня, поднимает, и опять бесконечное небесное пространство и, поверите ли мне, так было всю ночь. Несколько раз я просыпался, засыпал и опять видел то же самое. Не правда ли, странно?

— Друг мой, — сказала взволнованно великая княгиня, — вы изумитесь еще больше, когда узнаете, что я испытала то же самое. Я

ничего не могу прибавить к словам вашим, мне придется только повторить их.

— Не может быть! — воскликнул Павел, даже приподнимаясь со своего места. — Как, и вы то же видели? Зачем же вы мне раньше этого не сказали?

— Я не хотела вас беспокоить понапрасну, я знаю, какое вы придаете значение таким вещам, о которых, по моему убеждению, следует как можно меньше думать... но сегодняшний случай действительно кажется мне странным.

Цесаревич не то насмешливо, не то печально улыбнулся.

— Вот видите, значит, я не напрасно придаю значение подобным вещам, и очень естественно, что все таинственное, необъяснимое, выходящее из сферы нашей повседневной жизни, останавливает мое внимание, интересует меня. Иначе быть не может, я хорошо знаю, что в каждом из нас наряду с жизнью нашего тела есть иная, душевная жизнь. Есть в душе нашей предчувствие высших законов, действующих в иной, высшей сфере, откуда мы явились и куда рано или поздно вернемся из нашего временного странствования.

Он совсем изменился. Веселость исчезла с лица его, глаза приняли задумчивое, мечтательное выражение.

— Рано или поздно... — повторил он глухим голосом, уходя в свой внутренний, никому не ведомый мир. — Мне уже недолго ждать этого возвращения, я уверен, что мое странствование прекратится скоро.

— По крайней мере, сегодняшний сон вашего высочества никак не указывает на это, и, если придавать ему значение предзнаменования, то он, вероятно, предвещает величие и блестящую жизнь, а не смерть! — невольно проговорил Сергей, вспоминая свои ощущения в Эрмитаже.

— Величие, блестящая жизнь! — отвечал ему Павел. — Разве здесь может быть истинное величие и истинный блеск! Жизнь настоящая начинается только с того мига, когда временная жизнь тела окончилась.

Все как-то приумолкли, шутки прекратились. Конец обеда прошел вовсе не оживленно.

Сергей тихо беседовал с Таней; цесаревич молчал, и одна великая княгиня, борясь с невольным волнением, в котором даже не отдавала

себе отчета, всеми мерами, как и всегда, старалась поддерживать роль любезной хозяйки.

После обеда решено было тотчас же возвратиться в Гатчину.

На полдороге к саням, в которых ехал цесаревич, подлетел на всем скаку гатчинский гусар, быстро осадил свою лошадь и объявил о том, что во дворец приехал из Петербурга шталмейстер граф Зубов с каким-то очень важным известием.

— Что такое? Что? — тревожно спросил Павел.

— Не могу знать, ваше высочество, граф Зубов не рассказывает. Мне приказано только доложить, что очень важно.

— Пошел скорей! — крикнул Павел кучеру.

— Что такое может быть? — обратился цесаревич к Сергею. — Ты вчера не слыхал ничего? Ведь ты говорил, что был вечером в Эрмитаже?

— Ровно ничего особенного не знаю, ваше высочество.

— Государыня была здорова?

— По-видимому. Она сама изволила говорить мне, что чувствует себя несравненно лучше.

— Что же бы это могло быть? *Que pensez — vous?* [\[14\]](#) — обратился Павел к великой княгине.

— Не могу придумать, — тревожно ответила она, — разве...

— Что разве?

— Быть может, получены известия из Швеции.

— Да, пожалуй... конечно... может, он пришел в себя и решился, наконец, действовать, как следует... Да, вероятно! Так оно и есть!.. Скорей, скорей! — несколько раз повторил он.

Но кучер и так изо всех сил гнал тройку. Другие далеко отстали, их не было и видно.

По приезде во дворец цесаревич тревожно спросил, где дожидается граф Зубов, велел звать его к себе в кабинет. Граф Николай Зубов, брат Платона Александровича, был самым порядочным членом этого семейства; он не отличался никакими способностями, но в то же время и не воображал о себе очень много, держался более или менее в стороне, никому не мешая, и цесаревич не чувствовал к нему такого невольного отвращения, как к его братьям Платону и Валерьяну. Граф Зубов вошел в кабинет цесаревича с таким растерянным, испуганным

видом, был так бледен, что Павел сразу понял, что он привез ему какое-нибудь необычайное и в то же время печальное известие.

— Что такое? — спросил он упавшим голосом.

— Ваше высочество, государыне худо.

— Как? Что?

Павел остановился неподвижно.

— Жива она? — наконец, прошептал он.

— Жива, ваше высочество, но надежды мало. Государыня чувствовала себя целый день хорошо, и нынче утром в семь часов Марья Саввишна вошла к ее величеству, спросила, каково она почивала, государыня изволила ответить, что давно не проводила такой приятной ночи...

— Ну, скорей, дальше!

— Затем государыня, встав с постели, оделась, выпила кофе, прошла в кабинет, затем...

Зубов запнулся на мгновение, но потом продолжал:

— ...Вышла в гардероб и более получаса не выходила оттуда... так полагали, что она изволила пойти погулять по Эрмитажу... Между тем, встревожились...

— Ну?

— Нашли лежащую на полу в гардеробе. Медики не могут привести в чувство.

— Боже мой! — прошептал Павел, хватаясь за голову. — Скорей велите закладывать.

Он кинулся в комнаты великой княгини.

— Маша, она умирает, может быть, ее уже нет на свете... — мог только проговорить он. — Собирайся и едем!

Великая княгиня вскрикнула и залилась слезами, а он, ничего не видя перед собою, бросился опять к себе и, пока подавали экипаж, заставил Зубова рассказать все подробности. Оказалось, что камердинер Зотов, видя, что происходит что-то неладное, решился отворить дверь гардероба. Дверь была не заперта, но отворить ее почти не было возможности — мешало что-то. Это что-то было тело императрицы, лежавшее на полу в самом неудобном положении. Место было узкое, дверь затворена, она не могла упасть на пол и почти сидела с закинувшейся головой, с подвернутой ногой. Пришлось позвать несколько человек камердинеров, которые с большим усилием

подняли императрицу и перенесли ее в спальню; но она так была тяжела, что не могли ее поднять на кровать и уложили на полу на сафьянном матраце.

— Господи! Да что же говорят медики? — спрашивал цесаревич. — Что сказал Роджерсон?

— Все согласны в том, что это удар в голову и, как я уже докладывал вашему высочеству, имеют мало надежды, — отвечал Зубов.

В это время доложили о том, что карета подана.

— Едем, едем! Скорей! — повторял Павел, обращаясь к вошедшей в комнату великой княгине.

— Я готова.

Проходя коридором, они столкнулись с Сергеем, который уж знал, в чем дело.

— За мной! — сказал ему цесаревич.

Х. ЧТО ЗНАЧИЛ СОН

Сани, в которых цесаревич приехал с мельницы, стояли еще тут же, у подъезда. Сергей поспешно занял в них место и приказал, не отставая, ехать за каретой. В первую минуту он даже не обратил внимания на то, что не один в саних — рядом с ним сидел Николай Зубов.

Карета цесаревича мчалась что есть духу, сани не отставали. Мало-помалу наступили ранние сумерки. Погода была все так же хороша: маленький морозец, ни малейшего дуновения ветра, безоблачное небо. И вот из-за леса выплыла луна и озарила белый путь.

Горбатов и Зубов молчали, обменявшись двумя-тремя фразами. Они совсем не знали друг друга, к тому же Сергей долгое время был поглощен своими думами и чувствами.

«Так вот оно, его вчерашнее несознанное предчувствие в Эрмитаже! Вот оно, странное сновидение цесаревича и великой княгини! Значит, действительно есть в природе нечто такое, о чем он до сих пор мало думал, а если и думал, то единственно, как о сказке, выдуманной легковерным, праздным воображением темного люда. Значит, прав Павел, придавая этой сказке значение действительности!..»

«Она умирает, быть может, умерла, — великая Екатерина... Это в порядке вещей, этого даже следовало уж ожидать. Но между тем, было нечто совсем не совместимое в мысли об Екатерине и о смерти. Казалось диким, невозможным, что ее нет... С нею погибал целый огромный мир, созданный ее силою... Содрогнется Россия, содрогнется вся Европа, услышав страшную новость, и долго не поверят, что не стало Екатерины...»

Однако Сергей не думал теперь ни о России, ни об Европе, — он был просто поражен смертью женщины, которую знал хорошо, которую видел еще накануне. Он вспоминал всякую мельчайшую подробность своего вчерашнего свидания с нею. Он будто слышал каждое ее слово; в его ушах так и звучал ее голос, повторялся ее шуточный разговор с Нарышкиным.

«Нет, я еще не умру!» — говорила она.

И вот она умирает... и вот ее, верно, уже нет на свете!..

«Я хочу, чтобы вы представили мне жену вашу, я искренне желаю вам счастья»...

И при этом ее добрая, ласковая улыбка... Это были прощальные слова ее, прощальные перед вечной разлукой. В этом заключалось так много для Сергея неожиданного, грустного и трогательного. Все, в чем он мог упрекнуть ее относительно себя — теперь забылось... в нем говорило почти с прежнею силой его юное поклонение великой женщине. Она представлялась ему теперь не в слабостях последних лет, а в прежнем блеске и славе...

«И ее нет!.. Что же это теперь будет?..»

Конечно, для него лично не могло быть ничего дурного; но он думал совсем не об этом. Невольные слезы навернулись на глаза его.

— Граф! — обратился он к своему спутнику. — Позвольте беспокоить вас моей просьбою — расскажите мне все подробности...

Николай Зубов сообразил, что имеет дело с одним из любимцев восходящего светила, а потому очень предупредительно поспешил исполнить его просьбу и начал рассказывать. Он был поражен не меньше Сергея и при этом, что можно было легко сразу заметить, сильно упал духом. Он не знал, чего ожидать ему. Он был уверен, что печальная судьба ждет его светлейшего брата, по всем вероятностям, и ему придется разделить судьбу эту... Передав Сергею все подробности ужасного происшествия, он стал поверять ему отчасти и свои грустные мысли; стал оправдываться, доказывать свою невинность, свои искренние чувства к цесаревичу. Он старался всячески задобрить Сергея. Тому сделалось противно это, и мало-помалу разговор прекратился.

Сани несколько отстали от кареты.

— Что же ты отстаешь? — крикнул Зубов кучеру. — Пошел скорее!..

— Да я вовсе не отстаю, — обернувшись, отвечал кучер, — нагнать-то ничего не стоит, лошади добрые, и мигом бы мы карету далече за собою оставили... докатили бы до Софии...

— Так чего же лучше, — сказал Сергей, — перегони карету...

— Давно бы нам следовало догадаться, — обратился он к Зубову, — обгоним, а в Софии прикажем приготовить для его

высочества лошадей, чтобы не было никакой остановки.

— Конечно, конечно! — изумляясь своей недогадливости, подтвердил Зубов.

«Ведь теперь одно спасенье, — подумал он, — угадывать, услужить вовремя, попадаться на глаза и заставить обратить внимание на свою распорядительность... Зачем только этот любимчик привязался!..»

Кучер поправился на своем сиденье, передернул вожжами, гикнул — и быстрая тройка сильных лошадей, как стрела, помчалась по снежной дороге... Вот промелькнула карета и затем опять тишина... Все мелькает, рябит перед глазами... все будто крутится в вихре и уносится куда-то... встают на мгновение новые предметы и исчезают как призраки.

Промчались несколько курьеров, спешивших навстречу к цесаревичу с вестями из Зимнего дворца.

— Едет!.. за нами!.. в карете!.. — кричал им Зубов.

— Теперь до Софии рукой подать, — самодовольно осклабясь, докладывал кучер.

Еще несколько минут — и тройка подлетела к станции.

— Ну, теперь нужно как можно скорее распорядиться относительно лошадей!.. Вы извольте остаться в санях, а я мигом заставлю этих негодяев расшевелиться... Мне это дело привычное!

Так говорил Зубов, внезапно оживляясь и выскакивая из саней. Может быть, он и Сергею желал показать свое усердие. Он побежал к крыльцу станционного дома и столкнулся с выходившим из дверей каким-то человеком в шубе.

Это был заседатель, ехавший из Петербурга и не имевший ни о чем никакого понятия. Заседатель этот, очевидно, с утра находился в самом приятном расположении духа, а за обедом сильно выпил и теперь начал спускаться со ступенек очень нетвердым шагом, покачиваясь во все стороны. Зубов принял его за смотрителя, и, по привычке обращаться грубо со всеми, кого считал ниже себя, он бесцеремонно остановил его рукою.

— Эй, ты! Узнаешь меня, что ли?..

Заседатель взгляделся и действительно узнал его. Неизвестно, был ли он храбрым человеком в трезвом виде, но теперь, под влиянием винных паров, своего хорошего настроения и ясной морозной ночи, он

был очень храбр и не чувствовал никакого смущения при окрике такого важного человека, каким почитался брат «его светлости».

— Узнаю, ваше сиятельство, — любезно, но с трудом ворочая языком, отвечал он, — только за что же, ваше сиятельство, изволите трясти меня?.. Пропустите!..

— Что! — закричал Зубов. — Что за околесную несешь ты? Лошадей! Слышь ты, лошадей, чтобы вмиг были готовы!..

— Кому лошадей? Каких лошадей?.. — лепетал заседатель.

— Император едет! Лошади должны быть готовы... Ну, поворачивайся, не то я тебя самого запрягу под императора!..

Заседатель отстранился от Зубова, покачнулся, а потом вдруг стал фертom и, очень комично раскланиваясь, проговорил:

— Ваше сиятельство, оно точно — запрячь меня не диковинка, да какая из того польза выйдет? Ведь я не повезу, хоть до смерти извольте убить — не повезу! И что такое император? Если есть император в России, то дай Бог ему здравствовать... Буде Матери нашей не стало, то ему виват!.. А я не повезу... хоть на месте убейте — не повезу!..

— Да что ты, пьян совсем? Что ты, о двух головах, что ли? — окончательно взбешенный и все еще не понимавший своей ошибки, заорал Зубов.

Сергей, слышавший весь этот разговор, хотел уже выйти из саней, чтобы поспешить на помощь бедному заседателю, как вдруг к крыльцу подъехали сани. Быстро выскочивший из них человек подбежал к нему.

— Ах, дорогой мой Сергей Борисыч, это вы! Едет цесаревич? Где он?

Сергей узнал Ростопчина.

— Сейчас должен быть здесь. Что, жива еще?

— Когда я выехал, была жива... теперь не знаю...

— Да что же — неужели никакой надежды?

— Какая надежда! Все это кончено, Сергей Борисыч!.. Но что это за крик? Что такое тут происходит?

Он вслушался, и на его взволнованном, некрасивом лице с блестящими глазами мелькнула улыбка.

— Ах, это граф Николай Зубов напоследях свою власть показывает! — проговорил он.

— Да, — отвечал Сергей, — но дело в том, что цесаревич сейчас будет, а о лошадях еще никакого распоряжения не сделано... Пойдемте скорее...

Они поспешили отыскать не мнимого, а действительного смотрителя. Когда они вернулись на крыльцо, отдав нужные приказания, карета цесаревича уже подъезжала. Ростопчин закричал кучеру, чтобы он скорее отпрягал, что лошадей сейчас выведут. В окне кареты показалась голова Павла.

— Ah, c'est vous, mon cher Rostopschine! ^[15] — проговорил он и вышел из кареты.- Quelle nouvelle m'apportez vous? ^[16]

Ростопчин мог только дополнить очень немногим то, что уже было известно цесаревичу из слов Зубова и из донесений высланных курьеров:

— Государыня жива, но без движения и без сознания...

Павел, выслушав, опустил голову и несколько мгновений стоял неподвижно. Между тем, лошади, благодаря сбежавшимся ямщикам, были уже впряжены. Кто-то крикнул, что все готово. Павел пошел к карете, но вдруг обернулся, подозвал жестом Ростопчина и Сергея и сказал им:

— Faites — moi le plaisir de me suivre ^[17], вы оба должны быть со мною, можете мне понадобится.

Карета тронулась. Ростопчин и Горбатов сели в сани и помчались за нею.

— Стой! — вдруг крикнул Ростопчин. — Поворачивай назад на станцию!..

— Зачем? Что такое? — изумленно спросил Сергей.

— А вот сейчас увидите. Мы мигом догоним карету.

Когда они снова подъехали к станции, Ростопчин как стрела вылетел из саней и через минуту вернулся, держа что-то в руке.

— Ну, теперь догоняй, мчись что есть духу!.. Видите, это фонарь, — запыхавшись, говорил он, обращаясь к Сергею, — теперь на каждом шагу будут курьеры, и если окажутся письма, то с помощью этого фонаря он будет иметь возможность прочесть их в карете.

Предположение Ростопчина скоро оправдалось: первый же курьер был с письмом от великого князя Александра. Ростопчин подбежал к карете и подал зажженный фонарь цесаревичу.

— Merci, mon ami! — сказал Павел. — Я именно думал о том, как хорошо бы читать письма так, чтобы не было остановок. Весьма благодарен! — повторил он, ласково кивнув головою.

Снова помчалась карета, за нею трое саней. Но этот кортеж с каждой верстой все прибавлялся, потому что навстречу один за другим попадались курьеры. Цесаревич приказал не останавливаясь их опрашивать и, если с ними не было писем, ворочать обратно. Прочтя письмо сына, он увидел, что нельзя терять ни минуты, и то и дело стучал в переднее окно кареты, давая этим знать кучеру, чтобы он гнал лошадей. Однако все же пришлось остановиться. Попался курьер с новым письмом, и в то же время одна из лошадей как-то зацепила за постромки. Письмо не заключало в себе опять ничего нового: «Она еще жива».

Пока прислуга возилась около лошадей, Павел Петрович вышел из кареты и подошел к саням, в которых находились Ростопчин с Сергеем.

— Ваше высочество! — сказал Ростопчин. — Обратите внимание на красоту ночи... Как светло и тихо, какая игра облаков вокруг луны! Стихии будто пребывают в ожидании важной перемены и торжественно молчат...

Цесаревич поднял голову, взглянул на луну. Сергей ясно различил, как крупные слезы блеснули на глазах его и тихо скатились по щекам.

Вдруг Ростопчин, действительно растроганный, но в то же время верный себе, то есть не упускавший без расчета ни одной минуты, довольно резким движением схватил цесаревича за руку и каким-то вдохновенным голосом проговорил:

— Ah, quel moment, monseigneur, pour vous! [\[18\]](#)

Павел ответил ему крепким пожатием и тихо, не отрывая взгляда от неба, сказал:

— Attendez, mon cher, attendez. J'ai vécu quarante deux ans. Dieu m'a soutenu; peut-être, me donnera — t'il la force et la raison pour supporter l'état, auquel il me destine. Espérons tout de sa bonté... [\[19\]](#)

Затем он поместился в карету, из которой на мгновение выглянуло заплаканное лицо великой княгини.

Остановок больше не было, и в половине девятого весь поезд уже мчался по петербургским улицам.

Дворец был наполнен народом. На всех лицах изображались ужас и волнение. Несмотря на эту толпу, мелькавшую по всем комнатам, не было слышно почти никакого шума; шепотом передавались вопросы и ответы, касавшиеся только одного предмета — «что с нею?..»

Цесаревич взял под руку жену и, обернувшись к приехавшим вместе с ними, сказал:

— Идите туда, мы сейчас будем...

Все поспешили на половину императрицы. У дверей спальни была целая толпа, но немногие решались войти. Однако никто не остановил Ростопчина и Сергея, когда они входили.

Императрица по-прежнему лежала на матраце, на полу, возле кровати. Роджерсон и несколько других докторов стояли на коленях вокруг нее, следя за ее дыханием и за ее пульсом. Марья Саввишна Перекусихина, с распухшим от слез лицом, то и дело прикладывала к губам Екатерины и отнимала потом платки.

Сергей подошел ближе и невольно содрогнулся. Лицо Екатерины было темно-багрового цвета, глаза закрыты, а изо рта текла черноватая материя. Явственно слышна была хрипота, которая одна только и являлась для окружающих признаком жизни, не покинувшей еще это неподвижное тело.

В нескольких шагах от матраца, на кресле, придвинутом к кровати, сидел Зубов. Он бессильно уронил платок, весь смоченный слезами, в лице его не было кровинки, красные, распухшие глаза его были устремлены на одну точку, на лицо Екатерины. Время от времени судорога пробегала по чертам его. Весь его вид выражал отчаяние и ужас.

Вот вошел цесаревич в сопровождении великой княгини. Мария Федоровна склонилась над Екатериной, упала на колени и прижалась губами к ее руке. Послышались ее сдерживаемые рыдания. Цесаревич, бледный, но, по-видимому, владеющий собою, ласково поклонился на все стороны, потом обратился к Роджерсону, и спросил его:

— Неужели нет решительно никакой надежды?

— Все во власти Божьей! — грустно ответил Роджерсон. — Мы только что отняли шпанские мухи... Государыня открыла глаза, попросила пить, но вот снова началось забытие... Медицина не имеет средств бороться с таким недугом...

Павел опустил голову, взглянул на императрицу. Губы его задрожали, он хотел спросить еще что-то, но голос его оборвался, глаза наполнились слезами, и он вышел из спальни.

Как ни был взволнован Сергей, он замечал, однако, что в этой комнате, наряду с действительным отчаянием, уже начинается и игра в отчаяние, прикрывающая собой совсем иные чувства.

Марья Саввишна Перекусихина, князь Зубов, Протасова, пожалуй, Роджерсон — эти не притворялись. С Екатериной они теряли все. Но из них у одной Марьи Саввишны печаль не имела ничего эгоистичного, одна только она думала не о себе, а о той, которая лежала теперь перед нею почти без признаков жизни, которой она посвятила многие, многие годы, за кем ухаживала как за малым ребенком, о ком она думала ежеминутно, кого она знала лучше и вернее, чем кто-либо на свете.

Все же остальные только изображали более или менее искусно на своих лицах печаль, в которую повергало их состояние императрицы. Но их печаль была иного сорта — они уже рассчитали все шансы своей близкой гибели или своего успеха.

Подметил Сергей как его приятель Ростопчин зорко оглядывается, наблюдает и обдумывает каждое свое движение. Вот Ростопчин подошел к нему и шепнул:

— Сергей Борисыч, выйдемте отсюда, посмотрим, что там делается...

Сергей за ним последовал. Толпа, наполнявшая соседние комнаты, расступилась, чтобы давать им дорогу. Все глядели на них с видимым интересом. Все уже знали, что эти два человека, до сих пор не имевшие никакого влияния, вероятно, не далее как завтра окажутся большой силою.

Это гатчинцы! Это любимцы Павла Петровича!

Несмотря на всеобщее внимание, несмотря на благоговейную тишину, теперь соблюдавшуюся, об этих людях почти все уже успели перешепнуться, о них уже знали подробности, которые вдруг неведомо откуда явились. Многие уже подумали, как бы обратить на себя их внимание, заговорить с ними, понравиться, заручиться чем-нибудь для близкого будущего.

На лице Ростопчина несколько раз мелькнула презрительная, насмешливая улыбка. Он отлично понимал, что значит эта всеобщая

предупредительность, эти внимательные и ласковые взгляды. Понимал и Сергей, и ему вдруг так стало все противно, так захотелось ему скорей отсюда, из этой удушливой атмосферы.

— Федор Васильевич, я уеду, — сказал он, обращаясь к Ростопчину.

— Зачем? — изумленно спросил тот.

— Я не вижу никакой причины оставаться. Что же тут я буду делать?

— Боже вас избави уезжать!.. Ради Бога, останьтесь, ведь вы же видите, это может кончиться с минуты на минуту. Во всяком случае, вам незачем подвергать себя его неудовольствию. Он, наверно, будет вас спрашивать, и что же мне придется отвечать за вас? Нет, я вас не выпущу — как хотите. Да и, наконец, ведь он прямо приказал вам быть здесь и ожидать его распоряжений — быть может, он желает дать вам какое-нибудь поручение...

— Но в таком случае поищем такой уголок, где бы можно было отдохнуть. Я давно не чувствовал такой усталости.

— Вот это дело другое, отдохнуть и мне не мешает. Нам непременно надо поберечь силы.

Он хорошо знал расположение этих комнат и провел Сергея в небольшую приемную, где почти никого не было и где они поместились на большом удобном диване.

— Если можете уснуть, — сказал Ростопчин, — засните. Я разбужу вас, когда будет нужно.

— Да вы и сами, пожалуй, заснете?

— Я-то? Нет, я не засну, я отдохну и не засыпая. Между немногими качествами, которые я признаю за собою, у меня есть одно, а именно: я умею отдыхать и даже дремать, не забываясь окончательно, продолжая все слышать и соображая, когда надо очнуться и встать на ноги.

Сергей действительно был так утомлен, что прислонился головой к подушке дивана и через минуту уже спал. Его сон продолжался несколько часов. Ростопчин разбудил его.

— Однако какой вы счастливый человек, в такую ночь и спать можете! Я тоже отдохнул, но три раза был там и сейчас оттуда. Ее положение не улучшается нисколько. Пойдем туда.

Сон значительно освежил Сергея. Он уже мог теперь ясно отдать себе отчет во всем.

— Пойдем, пойдем! — живо проговорил он, вскакивая с дивана и чувствуя, как охватывает и его интерес этих торжественных и печальных минут.

Они снова направились к спальне императрицы. Там ничего не изменилось, будто прошло не несколько часов, а несколько минут с тех пор, как Сергей вышел. Все были на своем месте.

Екатерина лежала все так же неподвижно, окруженная все теми же самыми лицами. Зубов сидел на своем кресле, с искаженным лицом, с блуждавшими глазами. Ежеминутно в комнату входили новые лица, беззвучно затаив дыхание, оставались несколько мгновений, прислушивались и так же неслышно уходили. В соседней комнате была та же толпа народа, и каждый старался стоять на виду, попасться на глаза кому нужно. Минуты проходили за минутами, утро приближалось. Вот в толпе произошло некоторое движение.

«Идет!» — расслышал Сергей несколько голосов.

Он оглянулся — входил цесаревич.

Павел шел своей прямой, военной походкой, ни на кого не глядя. Он прошел в спальню, подозвал к себе Роджерсона и других докторов и спросил:

— В каком она теперь положении?

— Все в том же, ваше высочество! — ответили ему.

— И решительно никакой надежды?

— Никакой!..

Цесаревич вышел из спальни, заметил Сергея и обратился к нему:

— Пожалуйста, призови преосвященного Гавриила с духовенством, скажи, что нужно прочесть глухую исповедь и причастить государыню Святых Тайн.

Сергей поспешил исполнить это приказание. Через несколько минут в спальню входило духовенство. Екатерина не приходила в себя. Ее причастили. Цесаревич и великая княгиня горячо молились. Зубов не удержался и громко зарыдал. По лицу Марьи Саввишны катились тихие слезы. Павел несколько минут еще постоял возле государыни, а затем вышел. Возле него оказался Ростопчин.

— Тебя мне и надо, — сказал Павел. — Позови Горбатова и идите за мною в кабинет.

Ростопчин сделал знак Сергею. Завистливые и подобострастные взгляды провожали их. Придя в кабинет и заперев за собою двери, Павел обратился к Ростопчину и Сергею:

— Господа, — сказал он, — я знаю вас такими, каковы вы есть, и на ваш счет не обманываюсь... Я на вас рассчитываю. Скажи мне, Ростопчин, скажи откровенно: чем ты при мне быть желаешь?

— Ваше высочество! — спокойно и в то же время несколько торжественно проговорил Ростопчин. — Истребление неправосудия — вот то, к чему я всегда стремился... вот та цель, к достижению которой послужить мне бы хотелось!.. А посему, отвечая на милостивый вопрос ваш, я, не задумываясь, могу просить: сделайте меня секретарем для принятия просьб!

Павел промолчал несколько мгновений, прошелся по комнате и сказал:

— Тут я не найду своего счета; знай, что я назначаю тебя генерал-адъютантом, но не таким, чтобы прогуливаться по дворцу с тростью, а для того, чтобы ты правил военною частию. Ты смыслишь в этом деле, ты от юности им занимаешься и питаешь к нему страсть — ты хорошо доказал мне это. А самое важное — приурочить человека к тому занятию, которое составляет его призвание.

Ростопчин немного поморщился и молчал. Сергей удерживал невольную улыбку, которая так и просилась на его губы, несмотря на торжественность минуты:

«Вот она, удивительная коллекция оружия! Попался сам в свои сети!» — невольно подумал он.

Но Павел, задумчиво ходивший по комнате, не заметил неудовольствия своего любимца.

— Итак, я назначаю тебя своим генерал-адъютантом! — проговорил он, останавливаясь перед Ростопчиным.

Тот отвесил глубокий поклон.

— А ты чего же попросишь? — обратился цесаревич к Сергею. — Впрочем, я знаю — ты ничего просить не станешь. На первое время жалую тебя в гофмаршалы!

И, не дослушав благодарности Сергея, он прибавил:

— Теперь, господа, позовите ко мне камер-пажа Нелидова, мне нужно спросить его о Катерине Ивановне, может быть, он видел ее сегодня...

XI. СВЕРШИЛОСЬ

Сергей уже не помышлял о том, чтобы ехать к себе домой. Он мало-помалу, незаметно для самого себя, входил в эту общую тревожную жизнь. Между тем, несмотря на томительное ожидание, время шло как-то незаметно. О времени даже совсем забывалось. Наступило утро, не принеся никакого изменения в положении императрицы, — ее могучая натура все еще боролась с неизбежной смертью. По-прежнему все члены царского семейства, за исключением цесаревича, который оставался у себя, почти неотлучно находились в спальне вместе с докторами, князем Зубовым и другими приближенными Екатерины.

Все забыли о сне, не сознавая усталости и голода.

Генеральша Ливен почти силою увела великих княжен, заставила их выпить чаю и уложила спать, дав им слово, что разбудит их, когда будет нужно.

— Вам необходимо поберечь свои силы, — решительным, не допускающим возражений тоном, сказала она им. — Своим присутствием в спальне бабушки, своими слезами вы ничему не поможете. Помолитесь Богу и положитесь на Его милосердие. Каждому человеку суждено умереть, и мы должны смиряться перед Божьей волей. Будьте же благоразумны!..

Великие княжны горько плакали. Они искренне любили бабушку и знали ее только как бабушку, подчас строгую и взыскательную, но гораздо чаще ласковую и добрую. Им, конечно, нечего было возражать на рассуждение воспитательницы, и они подчинились ее требованию — разделись, легли и долго горько плакали, спрятав свои милые детские лица в подушки. Но природа взяла свое — они заснули.

Между тем, во дворец все прибывало и прибывало народу. Почти весь Петербург уже знал о несчастье, которое вот-вот должно было совершиться, и всякий, кто имел только возможность проникнуть во дворец, спешил туда.

Цесаревич несколько раз призывал к себе то одного из сыновей, то Ростопчина, то Сергея. Все они заставляли его сосредоточенным, задумчивым. Он спрашивал, нет ли какой перемены и, узнавая, что все

по-прежнему, движением руки отпускал их и погружался снова в свои думы.

Таким образом, для того чтобы получить возможность иметь самые точные сведения на случай нового зова цесаревича, Ростопчин и Сергей должны были часто заглядывать в спальню и, выходя из нее, им приходилось отвечать на вопросы, со всех сторон к ним обращаемые.

К Сергею то и дело подходили новые лица, из которых очень многих он совсем даже и не знал. Ему отрекомендовывались, изыскивали все способы указать на общих родных, общих знакомых. Но в этой толпе часто приходилось ему сталкиваться и с более или менее близкими ему людьми, на которых он, так сказать, отдыхал от окружавшей его фальши и лицемерия. Так он должен был употребить большое усилие, чтобы хоть несколько успокоить Льва Александровича Нарышкина, который, подобно многим, со вчерашнего дня не покидал дворца и выказывал признаки истинного горя.

Этот вечно веселый и шутливый человек теперь был совсем неузнаваем. Он то и дело вытирал глаза, наполнявшиеся слезами.

— Господи, кто бы мог это думать? — говорил он прерывающимся голосом Сергею. — Вчера-то, вчера... то есть третьего дня вечером... не даром мне щемило сердце!.. Надо мною она шутила... меня страшила смертью... а смерть уже подкарауливала ее... была уже у нее за плечами... Я чувствовал, что плохо ее здоровье, что долго не протянет она... Но что это несчастье случится так скоро — не ожидал... никак не ожидал!..

Он зарыдал, как ребенок. Чем было его утешать? Сергей хорошо понимал, что всякие слова бессильны.

Он ласково взял дядю под руку, увел его подальше от толпы, усадил на диван и дал ему возможность выплакаться. Это было единственное средство его успокоить. Перед посторонними он должен был невольно сдерживаться, и это было чересчур тяжело ему. Действительно, Нарышкин облегчил себя слезами.

— Глупо плакать старику! — проговорил он. — Чуть ли не в первый раз в жизни плачу... Да, что же, не ее одну оплакиваю — и себя оплакиваю вместе с нею... Скоро и мой черед... ведь мы сверстники... почти всю жизнь прожили друг против друга... Ах, мой милый, я все шутил, все смеялся... да не всегда же!.. Я помню

многое... под шуткой, под смехом бывало и другое... Вот я бранился, я часто сердился на нее в последние годы, негодовал даже... Я перед тобою жаловался... Но теперь я этого ничего не помню, знать не хочу... все это пустое — она иная передо мною!.. Разве вы знали ее?.. Разве понимали?.. А ведь я помню ее юной, оскорбляемой... унижаемой... Какое величие!.. Какая глубина характера! Нет, никогда не было такой женщины на свете и не будет!.. Там разве одна она умирает... с нею умирает слишком много... с нею вместе умирает и жизнь моя!..

Он поднялся с дивана, глаза его горели, и снова вдруг хлынули слезы.

— Не могу, не могу!.. Пойду еще взглянуть на нее!..

И он быстрыми шагами удалился по направлению к спальне. Сергей хотел за ним следовать, но в это время в уединенную комнату, где они находились, вошел граф Безбородко. У того уже все лицо опухло от слез, он тоже не выходил из дворца. Но кроме горя в нем была заметна и иная тревога. Вот и теперь, увидав Сергея, он подошел к нему, взял его за руку и заставил сесть рядом с собою.

— Сейчас говорил с Роджерсоном, он изумляется этой непостижимо долгой агонии; но она уже не придет в себя... она никого из нас не узнает, мы не слышим ее голоса. Сергей Борисыч, вы когда видели цесаревича?

— С полчаса тому назад я был у него...

— Каков он?

Безбородко так и насторожился.

— Он, очевидно, искренне огорчен и в то же время поглощен важностью этого страшного события... Он очень задумчив...

— Да, ему есть о чем подумать: час, другой — и он император... Боже мой, что-то будет? Чего ожидать нам? Тяжело, проработав всю жизнь, под старость чувствовать себя накануне того дня, когда будешь выброшен за борт, как ненужный балласт...

— Мне кажется, — перебил Сергей, — что это сравнение ни как уже не может относиться к вам, граф, и вам такой участи нечего бояться.

— А между тем, я именно и боюсь, голубчик, я откровенно говорю с вами. Он меня не любит, а за что — не знаю.

— Я никогда не слыхал от цесаревича ничего, что указывало бы на его к вам нерасположение.

— Не слыхали, так услышите, я это наверное знаю. Но, видит Бог, вины за собою перед ним не чувствую!.. Вот вас он любит, и я рассчитываю на вас... Заболчите за меня доброе слово!..

Сергею стало тяжело. И граф Безбородко наравне с другими заискивает перед ним, как перед будущим любимцем.

— Да, я прошу вас, — между тем, продолжал Безбородко, — сослужить мне большую службу... Помогите, я прошу немногого... Я стар, здоровье мое очень плохо, я устал, мне ничего не надо, у меня больше четверти миллиона годового дохода — только одну милость может оказать мне новый император: пусть отставит меня от службы без посрамления.

— Вы меня изумляете, граф! — смущенно проговорил Сергей. — Я решительно не понимаю, откуда у вас такое опасение? Конечно, если я буду иметь какую-нибудь возможность, вы можете на меня рассчитывать. Но не заблуждайтесь, не предполагайте, чтобы я имел большое влияние. И если действительно у вас есть основание беспокоиться, то я вам могу указать на человека, который может быть вам гораздо полезнее, чем я.

— Кто это?

— Ростопчин.

— Да, да! — оживленно повторил Безбородко. — Ваша правда. Ростопчин прекрасный, умный человек, я всегда был искренне расположен к нему...

И, боясь упустить минуту, этот меценат, этот государственный человек, имевший за собою неоспоримые заслуги, несмотря на свое волнение, на свои годы, болезнь и тучность, почти побежал отыскивать молодого человека, которого до сих пор, по примеру Екатерины, не иначе называл, как «сумасшедшим Федькой».

Часа через два Сергей столкнулся с Ростопчиным и спросил его, видел ли он Безбородко.

— А, так это вы его ко мне направили! — насмешливо улыбнувшись, отвечал Ростопчин. — Впрочем, я так и думал. Я заметил, как он сначала искал вас и видел, что вы с ним беседовали...

Когда он все успевал замечать и видеть? Он весь день, несмотря на бессонную ночь, был на ногах, появлялся то здесь, то там, исполнял

поручения цесаревича; выслушивал всех, кто к нему обращался, а к нему обращались очень многие, — и с каждым часом казался все оживленнее, все бодрее.

— Как же вы отнеслись к его просьбе ходатайствовать перед цесаревичем? — спросил Сергей.

— Как отнесся? Конечно, с полным желанием ему услужить... и уже успел в этом. Безбородко человек хитрый, и высоких нравственных качеств я что-то вовсе не наблюдал в нем. Он вздумал теперь уверять меня в своей дружбе; но эта дружба только что началась, потому что до сих пор раза два, три он даже делал мне большие неприятности. И уже, во всяком случае, относился ко мне свысока, как к ничтожному мальчишке. Но дело в том, что я равнодушен к этому, и мне нет дела до его нравственных качеств. Я знаю одно — это самый способный человек из всех, кого нам здесь оставляет императрица; без него мы не обойдемся, он крайне нужен России...

— Но чего же он боится? Разве это правда, что он в такой немилости был у цесаревича?

— Правда, был, но мне уже удалось изменить это...

— Каким образом?

— Выслушав его, я отправился к цесаревичу и так навел разговор, что оказалось удобным описать отчаяние Безбородки. Я выставил все значение этого человека, все его достоинства как государственного деятеля: его опытность, познания, невероятную память. Цесаревич внимательно меня выслушал, очевидно, согласился со мною и велел мне уверить Безбородку, что он не питает к нему особенного недовольствия, просит его забыть все происшедшее, полагается на его усердие и ждет его помощи. Если бы вы знали, как просиял наш граф, даже позабыл о своем горе, а ведь горе его искреннее... О, как много золота и грязи может вестись в одном и том же человеке!.. Впрочем, теперь, мой друг, не до философии... вон уже опять меня, кажется, ищут... верно, опять к нему... Ну, денек!..

Он отошел от Сергея.

Скоро цесаревич потребовал к себе Безбородку и приказал ему изготовить указ о восшествии на престол. После этого начались распоряжения. Графу Остерману было велено ехать к графу Моркову, взять у него все бумаги, запечатать их и привезти во дворец. Это

приказание сделалось всем известным, так как растерявшийся Остерман не мог сообразить, как бы ему как можно обстоятельнее исполнить возложенное на него поручение, и решился собственноручно принести все бумаги цесаревичу. Он увязал их в две скатерти и тащил эти огромные тюки через все дворцовые комнаты, едва двигаясь под своей ношей.

Затем Ростопчин получил повеление запечатать кабинет государыни.

Было уже три часа. Между медиками, окружавшими тело Екатерины, произошло движение. Пульс умиравшей начал слабеть. Она лежала по-прежнему недвижно с закрытыми глазами. Хрипота в горле усиливалась с каждой минутой, так что даже в соседней комнате можно было ее слышать. Вся кровь ударяла в голову, и лицо багровело.

Зубов с громким рыданием выбежал из спальни. Он дрожал всем телом и несколько раз хватался за горло, ему нечем было дышать, у него пересохло во рту.

— Воды, ради Бога! — простонал он.

Вокруг была толпа народу, и если бы дня два тому назад он потребовал воды, то каждый, конечно, тотчас же бросился бы исполнять это желание, каждый считал бы себя счастливым, если бы ему удалось первым преподнести стакан его светлости. Теперь же никто даже не обратил внимания на него, никто не шевельнулся, чтобы его напоить; напротив, все от него отстранялось, как от зачумленного. Он несколько раз повторял:

— Воды, ради Бога, воды!

Наконец, нашелся человек, который над ним сжалился — человек этот был Ростопчин. Он приказал лакею принести воды, сам налил в стакан и напоил Зубова.

Время шло. Давно уже наступил вечер. Часы показывали девять. Царское семейство собралось в соседнем со спальней кабинете. Вдруг у дверей этого кабинета из спальни появился Роджерсон и глухим голосом проговорил:

— Государыня кончается!

Все бросились в спальню, окружили Екатерину.

Торжественная тишина царствовала в комнате и нарушалась только уже слабой теперь хрипотой умиравшей. Все как будто застыло,

устремив взгляды на ту, которая давно уже никого не видела и ничего не сознавала.

Целый час прошел в этом томительном ожидании. Но вот последний вздох, слабое содрогание всего тела — и ни звука... ни движения...

Глухой стон вырвался из груди Марии Саввишны. Великая княгиня и княжны громко зарыдали. Крупные слезы одна за другою текли по щекам цесаревича.

Через минуту из спальни к притихшей в ожидании толпе царедворцев вышел граф Самойлов и с легким поклоном торжественно провозгласил:

— Милостивые государи! Императрица Екатерина скончалась, а государь Павел Петрович изволил взойти на Всероссийский престол!

Этой фразой возвещено было о событии, значение которого никто из присутствовавших, несмотря на долгое его ожидание, не мог уяснить себе в ту минуту.

В придворной церкви делалось приготовление к присяге.

XII. СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ

Ночь. Тишина в царицыной спальне, только однозвучно раздаются слова напутственных молитв. Неподвижно лежит Екатерина — вся в белом, и огромные восковые свечи обливают ее печальным светом. Спокойно и величественно лицо ее, отхлынула от него кровь в последнюю минуту, и оно теперь бледно. Смерть не исказила его, а напротив, придала ему новую прелесть.

Все муки последних дней, все земные скорби, страсти и волнения отлетели и унесли вместе с собою ту печаль, которую они клали на лицо это. Блаженная улыбка, улыбка освобождения, застыла на устах, сгладилась даже резкая черта между бровями, и только один высокий, прекрасный лоб сохранил отблеск глубоких мыслей, рождавшихся, созревающих и приносивших богатые плоды в этой тесной оболочке, уже предающейся тлению.

Все совершилось по вечным и неизменным законам природы. С одной стороны, произошел обычный физиологический процесс, который легко было подвергнуть точному анализу — одна форма материи переходила в другую. Но рядом с этим видимым процессом произошел другой, невидимый, таинственный, отвергаемый слабым рассудком, находящим жалкое удовлетворение в сознании человеческого ничтожества, признаваемый рассудком, умеющим всесторонне наблюдать связь и развитие жизненных явлений, но, во всяком случае, неспособный стать предметом анализа, предметом человеческого знания... Екатерины не стало... Но разве могло это могучее, феноменальное существо исчезнуть, уничтожиться, превратиться в прах? Уничтожилось тело, но это тело было совсем не то, что означало собою понятие: Екатерина...

Екатерина... маленькая немецкая принцесса из бедного дома, воспитанная дурною матерью, которая не могла дать ей и хорошего примера, которая не позаботилась и о развитии ее ума и сердца. С первых же лет своей жизни она сама должна была о себе заботиться, сама должна была так или иначе воспитать себя. Какое же воспитание, какое же развитие даст она себе? Очевидно, в основе их должно лечь то, что представляет ей окружающая жизнь, те впечатления, которые

она встречает, та среда, в которой она живет. Ее окружают жалкие интриги, мелкая хитрость, ложь и обман.

Из своего бедного, родного дома обстоятельства переносят ее в чужую страну почти ребенком. И здесь снова, только еще в большей степени, интриги, обман и фальшь. Хитрить и притворяться с утра и до вечера, вечно рассчитывать, вести ловкую игру — вот что ей предстояло с первых же дней.

Затем союз с человеком, который очень мало говорил ее сердцу, не любил ее и начал семейную жизнь с оскорблений ей, грубых и бессмысленных оскорблений, ею не заслуженных. Она была одинока, в самом жалком положении. До нее не было никому дела, ею пренебрегали. Она могла дойти до отчаяния, зачехнуть и безвременно умереть, как уже было и будет со многими в подобных обстоятельствах. Но она не сделала этого.

Наблюдая в огромном большинстве окружавших ее людей самые низкие свойства и видя к себе почти всеобщую несправедливость, она могла бы начать относиться к людям с презрением и ненавистью, а между тем, она сохранила в себе любовь к человечеству, веру в то, что есть настоящие люди, и впоследствии она умела отыскивать таких людей.

Плохо воспитанная и еще плоше образованная, среди всеобщего невежества, прикрывавшегося только внешним лоском, она могла забыть и то, что знала, и всецело уйти в животную жизнь. А между тем, каждый новый день приносил ей новое умственное приобретение. Покинутая и оскорбляемая, она не падала духом, она училась, думала и наблюдала.

Все были против нее, все сулили ей печальную будущность, но она сказала себе, что ее будущность не такова, как всем казалось, и что она должна себя подготовить к ней...

И все перенося, ничем себя не проявляя, умаляясь, насколько это возможно, она вдруг, в один день, с помощью нескольких неопытных молодых людей, которые повиновались ее приказаниям, из загнанной, отверженной женщины превратилась в самодержавную русскую императрицу. Твердо и не оглядываясь, переступала она через все преграды и вдруг появилась во всей своей силе, во всем своем величии.

Маленькая немецкая принцесса стала русской женщиной. И эта женщина твердо и сознательно; мощной рукою приняла бразды правления с тем, чтобы не выпускать их до последней минуты жизни, с сознанием, что только ее крепкая рука может с честью их выдержать.

Окруженная блеском и всеми соблазнами самодержавной власти, она не забывалась ни на минуту. Перед нею был пример великого труженика, наследие которого она сделала своею собственностью наперекор природе. Она чувствовала свое близкое духовное родство с русским великаном и только его могучую тень признавала судьей своих деяний. Она принялась за работу и работала не покладая рук, изумляя мир силою своего разума, своих неслыханных способностей. Не было сферы, которую бы она признавала себе чуждой. И все, за что ни бралась она, поддавалось ей.

В ней было два существа, по-видимому, противоположных друг другу: разносторонне гениальный человек и страстная женщина. Но она умела примирить непримиримое. Предаваясь страстям своим, она никогда не забывалась и каждую минуту готова была воспрянуть духом, чтобы спешить навстречу своему высшему призванию.

И она имела великое счастье видеть плоды трудов своих.

Ее сравнивали со знаменитой царицей древнего мира, и она, ненавистница лести, спокойно принимала это сравнение. Ей самой казалось, что в ней воплотился дух Семирамиды.

Древние авторы приписывают владычице Ассирии такую эпитафию:

«Природа дала мне тело женщины, мои деяния сделали меня подобной самым крепким мужам. Я владычествовала над государством, распространенным во все концы света; до меня ни один ассириянин не видал моря — я видела четыре моря, до которых не достигал еще никто — и я подчинила эти моря моим законам. Я принудила реки изменить по моей воле течение, для блага подвластных мне народов. Я сделала плодоносною пустыню, оросив ее моими реками. Я воздвигла грозные твердыни. Я проложила дороги через недостижимые утесы. Я вымостила моим серебром пути, на которых до меня виднелись только следы диких зверей. И совершая все это, я находила время для своих наслаждений и для наслаждений друзей моих!»

Подобную же эпитафию могла начертать себе Екатерина, с тою только разницею, что новой Семирамиде было доступно многое, о чем и не помышляла древняя.

Ввиду такой деятельности, ввиду такой славы долгих лет знаменательного царствования, невольно забывались слабости женщины. Еще вчера Екатерину можно было судить, как дряхлеющую старуху; но теперь, когда ее тело лежало неподвижно, озаренное печальным светом погребальных свечей, — старухи уже не было больше, оставалась только великая женщина со своим законным, неотъемлемым правом на бессмертие...

Торжественная тишина стояла по дворцовым комнатам; только время от времени едва слышно раздавались боязливые шаги; как тени, мелькали люди, делавшие какие-то приготовления к завтрашнему утру.

Все утомились в течение двух дней ужасной агонии императрицы, и все теперь спали, забыв свои тревожные ощущения, забыв свое горе и страх за близкое будущее.

Не спал только один человек — человек этот был Павел. Он ходил быстрыми шагами по своему рабочему кабинету, озарявшемуся слабым отблеском двух догоравших свечей. При первом взгляде на него можно было заметить, что он находится в том особенном состоянии, когда человек совершенно не замечает окружающей обстановки, когда он движется и действует бессознательно. Глаза Павла, широко открытые, были устремлены в пространство, его губы то и дело шептали что-то. Иногда он схватывался рукою за сердце, иногда сжимал себе руками голову; иногда по щекам его катились слезы. Бесконечные вереницы мыслей одни за другими проносились в голове его, вставали целые картины, судорожный трепет пробегал по его членам, холодный пот выступал на лбу его. Вспоминалась вся жизнь.

Вот наступил, наконец, этот день, которого ждал он долгие годы, день, к которому он себя постоянно готовил! И с ужасом чувствовал он, что все же остался неприготовленным, что этот день застал его неожиданно и порашил своим появлением...

Он — русский император! Он надевает на себя корону, которая со дня его совершеннолетия принадлежит ему по законнейшему праву!

И он содрогается под тяжестью этой незримой короны, его охватывает благоговейный трепет, соединенный с невольным ужасом.

— Достоин ли я, — шепчет он, — того, что выпало мне на долю? Снесу ли я эту тяжесть? Достойно ли выполню великое и тяжкое призвание? Боже, помоги мне, на Тебя одного мое упование!..

Он падает на колени, простирая перед собою руки. Он рыдает и горячо молится.

И вот, после этой облегчающей молитвы, снова наплывают думы.

— Забыть... забыть себя! — шепчет он. — Забыть все это прошлое, к чему оно теперь?.. Его нет... И, может быть, даже лучше, что оно было!

Но, помимо его воли, многие минуты пережитой тяжелой жизни встают перед ним, и невольная горечь обливает его сердце. Вспоминаются обиды, несправедливости, которые он должен был выносить часто от людей ничтожных. Вспоминается бессилие перед торжествующим злом, перед неправдой, которую он ясно видел и с которой не мог бороться.

— Забыть... забыть! — повторяет он и делает над собой последние усилия. И, наконец, достигает забвения. Его прошлое отходит, и мало-помалу восстает образ настоящего, а за ним и будущего.

«Много неправды внедрилось повсеместно, все распущено, разнуздано, истина скрылась где-то и не смеет показаться наружу. Нужно заставить ее выйти на свет Божий, нужно заставить ее явиться победительницей неправды. Но достанет ли для этого сил одного человека? Нужны помощники, нужны верные слуги, истинные русские люди с неподкупным и любящим сердцем...»

Он стал искать людей этих, вызывал их мысленно перед собою. Но не многие явились на зов его.

«С этими начну, а затем, Бог даст, придут и другие! Они попрятались теперь, им не было хода. Они поймут, что я зову их, что я их жду, и явятся мне на помощь. Я обращусь ко всему, что есть честного и лучшего в моем отечестве. Я каждым моим шагом буду доказывать, что ищу только правды, что не боюсь правды, что ненавижу ложь и бесчестность».

«Меня поддержат, меня поймут. Я дам возможность каждому сказать мне все, что сказать он может. Первое, что я сделаю завтра же

— выставлю перед дворцом ящик, в который каждый свободно будет опускать свои письма. Ключ от ящика буду хранить я и ежедневно сам буду отпирать его и прочитывать все, что там найдется; таким образом я стану узнавать многое, что иначе осталось бы навсегда мне неизвестным»...

«А эти развратные, разнузданные люди — пусть они меня ненавидят! Мне не нужна их любви, — она была бы для меня позором. Я заставлю их дрожать перед собою от страха, этих развратителей народа, этих служителей лжи и обмана!.. Их ненависть будет лучшим моим украшением. Я очищу этот новый Вавилон, я превращу его в христианский город... И никто не осмелится сказать мне, что я плохой учитель, потому что каждому я буду подавать пример собой, своей добропорядочной жизнью...»

Мало-помалу трепет и страх за будущее, неуверенность в своих силах отходили, являлось спокойствие. Широкое чувство наполняло Павла, в нем заговорили все заветные стороны души его, в нем выступал в полном блеске последний истинный рыцарь, честный и бесстрашный, бьющийся за правду.

Мало-помалу все грезы, которыми он наполнял однообразные дни гатчинского досуга, возвращались и улыбались ему. Приходили на ум все планы государственного устройства и внутренней политики, которые он разрабатывал вдали от действительной жизни, в тишине своего гатчинского кабинета.

«Нет, не даром прожиты эти годы! — решил он. — Все же многое подготовлено».

Он вспомнил свое войско, дисциплинированное, выносливое, прошедшее тяжелую школу. Он призовет своих гатчинцев, разместит их по всем полкам.

«Пусть они научат этих солдат, этих офицеров, которые только срамят имя русского солдата и русского офицера!»

«Да, его гатчинцы в короткое время сумеют создать настоящее войско, и с ним не стыдно будет глядеть в глаза Европе. С хорошим войском можно будет поддерживать свое влияние, свое значение. Но он вовсе не ищет военной славы. Он без крайней необходимости не станет водить русских людей на убой. Он начнет с того, что покончит ненужные военные действия. Россия не нуждается в приобретениях; прежде нужно подумать о внутреннем благосостоянии; нужно

устроить внутреннюю свою жизнь на честных и законных основаниях»...

«Но с чего же начать? О, он должен начать с утверждения справедливости, он должен удовлетворить всех обиженных в последнее время и щедро наградить их за претерпленные невзгоды. С другой стороны, он должен наказать тех, кто злоупотреблял своим временным значением»...

«Наказать!..»

«Начнем с кары, с наказаний. Нет, я не хочу этого. Достаточно будет, если я лишу злых людей возможности творить зло, если я отберу от них оружие. Да и какое наказание могу я придумать больше того, какому они должны будут сами себя подвергнуть, увидя свое бессилие?»

«А своих личных врагов?..»

В нем закипело сердце, но он быстро успокоился.

— Я должен простить врагам своим! — прошептали его губы.

Утомленный, обессиленный, он упал в кресло и долго сидел неподвижно, опустив голову. На него напало тихое раздумье. Мысль переставала работать, но зато в сердце просыпалось новое ощущение. Тоска какая-то начинала давить его. Это была знакомая ему тоска, уже не раз им испытанная, приходившая неведомо откуда и, по-видимому, без всякой причины. Это была тоска, которую он называл предчувствием...

Он вздрогнул.

«Беда грозит, новая беда!»

Но ведь он знал, что не на счастье дана ему жизнь; он знал, что эта жизнь — тяжкое бремя, и он должен нести его со смирением до последней минуты.

— Прочь предчувствие! — почти громко крикнул он и встал, будто отгоняя от себя мрачные призраки.

«Да будет воля Божья надо мною, а я должен нести крест свой и понесу его, не заглядывая, что ожидает меня на пути моем!»

Снова загорелись глаза его, снова по всем членам пробежал вдохновенный трепет. Он чувствовал, как и двое суток перед тем, во время своего странного сновидения, будто какая-то невидимая сила поднимает его, наполняет его новым избытком жизни. Торжественное спокойствие теперь нисходило в его душу.

— Господи, благослови труд мой! Благослови путь мой! — прошептал он, широко осеняя себя крестным знамением.

Все тревоги, все сомнения отлетели. В нем не было уже места тяжелым или злым воспоминаниям, в нем было только одно могучее, честное чувство — любовь к правде, любовь к родине, одно сознание своего высокого призвания.

XIII. ПЕРВЫЕ ДНИ

Зимний, ясный день светил в окна. Сергей Горбатов, склонившись над письменным столом в своей обширной рабочей комнате, быстро писал инструкцию одному из своих управителей. Он пользовался свободной минутой и спешил окончить письмо, чтобы кто-нибудь или что-нибудь ему не помешало. У него совсем не было свободного времени; дни проходили так быстро и разнообразно, что даже трудно было отмечать их.

Уже около трех недель прошло с кончины императрицы. Сколько знаменательного совершилось в это время. Екатерина еще не была похоронена, ее набальзамированные останки находились еще в Зимнем дворце, и рядом с ее пышным гробом стоял другой гроб, такой же пышный, — и на нем лежала императорская корона.

Что же это означало? Кто за это время еще скончался из членов царской семьи? Никто. Все были живы. В этом новом гробу, поставленном рядом с гробом императрицы, для поклонения народа, лежали кости человека, давно окончившего свою жизнь. Корона на гробу являлась символом того, что человек этот не успел короноваться при жизни. Сын вспомнил отца, и из Невской лавры, где были похоронены останки императора Петра III, приказал перенести их со всевозможными почестями в Зимний дворец с тем, чтобы вместе с телом императрицы похоронить в Петропавловском соборе, в фамильном склепе Русского императорского дома.

Такое неожиданное распоряжение императора Павла изумило всех. Об этом было много толков и разговоров. Сам император не распространялся относительно этого предмета и только однажды мрачно проговорил:

— Нужно же, чтоб хоть по смерти человеку была оказана справедливость!

Из числа немногих, кто понимал и одобрял этот поступок императора, был Сергей. Он участвовал в церемонии перенесения костей Петра III, он проследил по лицу Павла Петровича все волновавшие его ощущения и все понял. Он сам бы поступил так на его месте. Вообще следить как можно пристальнее за императором

теперь сделалось невольною потребностью Сергея. Он более чем когда-либо чувствовал себя ему преданным, изумлялся его неустанной, лихорадочной деятельности. Иногда в него закрадывалась тревога:

«Разве так может продолжаться? Он должен утомиться. Теперь еще он возбужден, но возбуждение мало-помалу станет остывать, и тогда он увидит многое, чего пока не замечает. Он увидит, что большая часть его усилий пропадает даром, что часто приходится ему встречать вместо понимания его благих намерений одно недоброжелательство, подавленный страх и злобу...»

Верный своим взглядам и выработанному плану, император, не откладывая ни минуты, приступил, и приступил, по своему обычаю, резко и решительно к изменению многого в существовавшем строе. Гатчинские войска уже были в Петербурге. Гатчинцы явились учителями в гвардейских полках, и в городе уже шел говор, шел ропот. Укоренившейся распущенности полагался конец. Привольная жизнь петербургских гвардейцев быстро изменилась. Теперь уже нельзя было только считаться на службе, получать все права и отличия и не нести никаких обязанностей. Нужно было или служить, или выходить в отставку. И при Екатерине многие дворяне находили службу тяжелою, хотя она и не заключала в себе никакой тяжести. Теперь же служба становилась действительно тяжелою. Теперь в привилегированных полках водворилась суровая, чересчур суровая дисциплина, ревностным блюстителем которой был Аракчеев. Изящный, блестящий костюм, дорогие шубы и муфты офицеров превращались в приятное воспоминание. Стояла морозная зима, но ни шуб, ни муфт уже не существовало; нужно было по морозу в одних мундирах являться на ученье. Изнеженные, не привыкшие к суровой школе люди отмораживали себе уши и руки.

Петербург издавна привык обращать ночь в день, теперь и этого уже нельзя было делать. День начинался рано, еще до света, когда государь, уже давно вставший и принявшийся за работу, принимал своих докладчиков. День кончался рано, когда государь, утомленный разнообразной дневной деятельностью, прощался со своими домашними и приближенными и удалялся в опочивальню. В десять часов вечера на улицах Петербурга должно было прекращаться движение. Огни в домах должны были гаснуть.

«Ночью надо спать — днем надо дело делать», — так говорил император и на себе показывал пример этой аккуратной, размеренной жизни. Он надеялся, что его доброму примеру будут следовать добровольно. Он требовал от людей, имевших с ним соприкосновение по своим обязанностям, чтобы они согласовались с его привычками и правилами. Он несколько раз повторял, что мало-помалу, видя строй придворной жизни, и все петербургское общество изменит свои обычаи.

Но нашлись люди, которые, не получая от него никаких приказаний, сами уже начинали распоряжаться, врываются в частную жизнь. Ежедневно оказывались новые полицейские распоряжения, о которых в большинстве случаев государь не имел никакого понятия. Эти распоряжения строго проводились в исполнение, поселяли в обществе, не привыкшем ни к какому стеснению, неудовольствие и ропот, но об этом ропоте никто из распорядителей не думал. Лишь бы государь был доволен, лишь бы ничто его не раздражало. Одним из таких усердных людей, усердие которых хуже измены, был петербургский губернатор Архаров...

Вообще Сергей видел, что случилось что-то крайне прискорбное и неожиданное. Еще так недавно цесаревич Павел будто не существовал, и никто не обращал на него никакого внимания. Об его взглядах, желаниях никто не заботился. Перечить ему во всем считалось чуть ли не обязанностью. Теперь император Павел, несмотря на свою раздражительность, которая, впрочем, очень скоро проходила, ко всем относился с большой снисходительностью, щедрый, чересчур щедрый, направо и налево сыпал свои милости, требовал только должного, — и, между тем, во всех вселял к себе чувство страха.

Да, все боялись императора, а он хотел именно одного, чтобы его не боялись порядочные люди, чтобы его боялись только негодяи и изменники. Император уже сам начинал замечать это производимое им впечатление, и ничто так не мучило его, ничто так не раздражало, как этот бессмысленный страх. Он даже жаловался на это близким людям, он удесят�ерял свои милости каждому, кто, по его мнению, хоть чем-нибудь мог оправдать эти милости, но ничто не помогало, государь все же являлся одиноким. Его окружала только небольшая кучка людей,

давно ему преданных, а новых людей, способных понять и оценить его, почти не прибывало.

Это было очень грустно Сергею, и он не раз об этом беседовал с Таней, которая переехала из Гатчины в Зимний дворец, и с которой он видался ежедневно. Свадьба их теперь поневоле была отложена до похорон императрицы.

— Знаешь, — раз как-то сказала Таня жениху, когда они толковали о государе, — я ведь имела достаточно времени изучить его характер, я знаю все достоинства его и недостатки, и знаю, как прожил он всю свою жизнь. Он там, в Гатчине, часто откровенно беседовал со мною о разных предметах, многое мне высказывал. У меня даже в моих тетрадях записаны иные наши разговоры. Как-нибудь на досуге я дам их тебе прочесть, найдешь в них много интересного. Так, знаешь ли, этот человек самый несчастный, какого только можно встретить в жизни. Есть люди, которым все дозволено, и все удается, они могут делать какие им угодно ошибки, и каждая из таких ошибок обращается в их пользу. У них может быть пропасть недостатков, но эти недостатки им извиняются; они могут быть, в сущности, почти ничтожными, а их величают. Есть другие люди, которым ничто не удается, которых преследует будто какое-то проклятие, ими не заслуженное; все обращается им во вред и в осуждение, и каждое обстоятельство складывается для них бедою. Малейший недостаток их представляется для всех удесятенным, раздувается и превращается чуть ли не в преступление. Каждое их хорошее свойство не понимается и объясняется в худую сторону. Что бы они ни сделали, и если даже сделают что-нибудь великое, все это оказывается ошибкой. Они питают в себе великие замыслы, они относятся к ближним своим как истые христиане, а, между тем, их считают чуть ли не извергами, их сердце обливается кровью, а их обвиняют в холодности, в себялюбии. Такой вот, такой человек и государь наш. Я давно это уже вижу и давно это меня мучает. Он мне еще в прежнее время говорил, что считает себя самым несчастным человеком; я не находила слов его утешить и разуверить, потому что была с ним согласна. Теперь же, что же это такое? С утра и до вечера приходится мне слышать: «Ах, он увидит, он рассердится, ах, как бы от него скрыть!» Всякий ждет себе от него гибели, а он хочет всем блага.

— Твоя правда, — грустно сказал Сергей. — И что всего ужаснее, что этому ничем помочь невозможно.

— Нет, есть вещи еще ужаснее этого, — быстро перебила Таня. — Я начинаю замечать в нем большую перемену. Это непонимание, встречаемое им почти ото всех, доводит его до изнеможения и до бешенства. Я не могу себе представить, чем все это может закончиться!

— А, между тем, как он сдержан иногда может быть, — заметил Сергей. — Он меня поражает иной раз своим умением владеть собою. В нем, как и в каждом необыкновенном человеке, соединение самых разнородных свойств. Болезненная раздражительность уживается в нем наряду с необычайным, нечеловеческим терпением.

— А откуда берется это терпение? — горячо сказала Таня, и глаза ее блеснули.

Она пристально взглянула в лицо Сергея и, не сводя с него своего взгляда, продолжала:

— Откуда берется у него, как ты говоришь, нечеловеческое терпение? Он черпает его в Евангелии.

Сергей понял этот горячий, пристальный взгляд Тани, от которого ему стало неловко. Он хорошо помнил их давнишние разговоры и споры о религиозных вопросах, вспомнил ужас Тани перед тем, что она называла его неверием. Теперь, со времени их новой встречи, она не поднимала никаких религиозных вопросов. Она все ждала, что, может быть, Сергей сам как-нибудь выскажется и решит ее сомнения. Он подумал, что может ее успокоить.

— Конечно, — сказал он, — в такой великой книге, как Евангелие, каждый человек может почерпать очень многое для своей жизни. В этой книге сосредоточена нравственная философия всех веков.

Таня почти безнадежно махнула рукой.

— Нравственная философия всех веков! — повторила она. — Ах, совсем не в этом дело, и лучше теперь не будем говорить об этом.

— Я не понимаю, — сказал Сергей, — отчего тебя смущает это определение; когда-нибудь поговорим на досуге и, я думаю, мы сойдемся. Сначала мы будем расходиться в словах, но слова, Таня, последнее дело. Я согласен с тобою, что государь проникнут евангельским духом. Разительный пример этого мы могли видеть в его поведении относительно князя Зубова: признаюсь, я никак не ожидал, что он так поступит. Да и никто не ожидал этого, а тем менее Зубов.

— Да и после такого поступка я горжусь моим государем, — сказала Таня. — Но скажи мне прямо и откровенно, Сергей, ты, ты-то доволен, что он так поступил?

Сергей добродушно улыбнулся.

— А ты меня считаешь язычником и думаешь, что я пылаю мщением. Нет, княжна, видно, мои дела перед вами все же очень плохи. Я все еще на самом дурном счету у вас.

Она зажала ему рот рукой.

— Милый, я говорила это тебе не в осуждение и сама сейчас признаюсь, что в первую минуту поддалась очень греховному чувству. Я порадовалась, что негодный человек получит должное наказание.

— Мы имеем самое законное право радоваться тому, что он, во всяком случае, уже лишен возможности делать то зло, которое беспрепятственно делал столь долгое время. Он враг мне, и мстить ему я считаю для себя унизительным. За все ему будет заплачено и без наших стараний, и я так полагаю, что он несет уже очень тяжелую кару. Он уже пережил страшное время, и будь я даже гораздо злее, чем в действительности, я могу считать себя удовлетворенным. Ведь я был там, я видел. Ах, если бы ты знала, в каком он был положении, от него все отшатнулись, как от зараженного. Он был, право, достоин жалости. Он ждал себе неминуемой гибели. Я присутствовал при первой его встрече с императором. Полагаю, его горесть была искренна, на него было страшно смотреть. Он с громким рыданием упал к ногам государя, но тот его милостиво поднял и сказал ему: «Вы верно служили моей матери, вы искренне ее оплакиваете. Продолжайте исполнять ваши служебные обязанности при ее теле. Надеюсь, что и мне будете так же верно служить, как и ей служили». Никто не верил ушам своим, услышав эти милостивые слова. Я ждал, что вот теперь снова все вернутся к Зубову и по-прежнему станут угождать ему. А, между тем, от него продолжали отвертываться. Я раз слышал шепот: «Это он в первую минуту так обошелся с ним, он не хочет начинать с немилости. Но уж, наверно, на этих днях его судьба будет решена. Его будут судить и сошлют в Сибирь, иначе и быть не может». А вот прошло столько времени, и его не судят. Ему пожалован орден Анны первой степени, а это, знаешь, какая важная награда в глазах государя!

— Однако же великодушные имеют свои пределы, — заметила Таня. — Государь так поступил с Зубовым, как с личным своим

врагом, но я считаю Зубова врагом России, и государь не имеет права прощать ему все беззакония.

— В этом отношении не беспокойся, — несмотря на награды и милости государя, Зубов уже не то, что прежде. Он сам должен был отказаться от разных своих почетных должностей. Вся его канцелярия была опечатана и пересмотрена. Великий князь Александр Павлович руководил этим пересмотром. К счастью для Зубова, в его бумагах не найдено было ничего, что могло бы его сильно скомпрометировать. Но, во всяком случае, я предвижу, что дела его довольно плохи. Конечно, мало-помалу будут всплывать наружу очень грязные его проделки. Ожидали его быстрого падения — этого не дождались, но падение, во всяком случае, уже совершилось и будет продолжаться медленно и постепенно. А это, пожалуй, для него еще большее наказание.

— А твой дневник? — вдруг вспомнила Таня.

— Мой дневник у него, но я ручаюсь, что он возвратит мне его. И ты права была, Таня, когда заподозрила меня в жестокости и мстительности. Я намерен отомстить ему. Я заставлю его отдать мне дневник мой из рук в руки. А пока до свидания, моя дорогая, я уж больше недели как получил письмо от моего управителя, он дожидается очень нужных распоряжений, да и, кроме того, вероятно, дома ждет меня много дел. До свидания, увидимся сегодня вечером.

И вот, возвратясь от нее, он спешит закончить нужные письма, будучи уверен, что непременно, кто-нибудь ему помешает. Теперь вдруг оказалось стольким людям до него дело, теперь ежеминутно подкатывают к его подъезду экипажи. Почти весь Петербург выражает ему знаки особого почтения и преданности.

Так и есть — раздается стук в дверь.

Сергей с неудовольствием поднялся со своего места, отворил дверь.

— Я занят, — сказал он. — Никого не принимать. Но камердинер доложил ему, что приехал Ростопчин.

— Господина Ростопчина проси, а всем остальным говори, что меня нет дома.

Через минуту в кабинет входил Федор Васильевич, оживленный более чем когда-либо, и издали дружески протягивал Сергею руку.

XIV. НОВЫЕ ВЕСТИ

— Счастливец, — с видимым удовольствием говорил Ростопчин, развалиясь в кресле, — сидит в своих чертогах, сибаритствует, ему и горя мало, что на дворе мороз и что по такому морозу мы все на разводе чуть не замерзли в мундирах.

— Ну, вы-то не замерзнете, — улыбаясь, сказал Сергей, — я ваш секрет знаю и давно уже собираюсь донести на вас государю, пусть-ка он прикажет вам снять мундир, тогда и увидит тепленькую шкуру, которую вы носите.

— А сделайте милость, пусть велит раздеться, я и из шкурки благополучно выберусь, все на жену свалю. Пусть он с нею ведается. Она меня без этой шкурки ни за что из дому не пускает.

— Да, но не у всех такие настойчивые и предусмотрительные жены.

— Право, эта наша борьба с климатом плохо кончится. На разводе только и раздавалось, что чиханье. У всех насморк, все распростужены. Старики стали на ревматизмы жаловаться, а между тем, каждый друг перед дружкой стараются выказать свое молодечество. Хоть умереть, лишь бы только государь заметил. Вон сегодня, капитан Левашев со своими офицерами даже без перчаток явился. Руки у всех совсем синие, головой поручусь, что отморозили, а своего добились. Государь обратил на них внимание. «Что это, — говорит он Левашеву, — ты в такую стужу без перчаток, к чему так, это уж лишнее». А тот отвечает: «Государь, перчатки у нас у всех в кармане, а мы сделали сие единственно, чтобы вам угодно было. Мы все, — говорит, — государь, вам в угодность сделаем, только не торопите вы нас». Засмеялся государь. «Молодцы!» — говорит. Ну, не кукольная ли это комедия. Сергей Борисович, ведь они сами себе все портят! Сами на свою голову глупости делают... и так все!

— А кроме этого геройского поступка, на нынешнем разводе ничего интересного не было? — спросил Сергей.

— Как не быть. Каждый день прекурьезные обстоятельства случаются. Не будь всех этих комедий, то и взаправду можно было бы замерзнуть, а тут веселость поддерживает. Сегодня презабавная

история случилась, и как бы вы думали, с кем? В жизнь не отгадаете. С самым нашим генерал-губернатором, с господином Архаровым.

— А что такое?

— Я, нужно вам сказать, не из поклонников Архарова, и почти ежедневно, вовсе того не желая, узнаю о нем преплохие вещи. Вот и сегодня одна плохая вещь узналась. Я, признаться, думал, что его проучат хорошенько. Нет, однако ж, сух из воды вышел. Дело, видите, в том, что господин Архаров в долгу, как в шелку, и долгов своих платить не имеет обычая. Должен он тут купцу одному, Сидорову, двенадцать тысяч. Денег не платит. Купец к нему ходит, а он ему только все: «Завтра да завтра». Потом надоело это — выгонять стал. А в последний раз просто-напросто взял да исколотил купца. Тот не знает, что и делать. Да добрые люди его надоумили, говорят ему: государь все просьбы принимает и самолично рассматривает, и каждому к нему доступ с просьбою. Настроил купец просьбу, да нынче на разводе подает эту просьбу государю. Архаров, заметьте, тут же. Обмер, только виду не показывает. Держится, как бы до него не касается. Государь пробежал просьбу, вспыхнул весь; потом, гляжу, вдруг усмехнулся. «Пойдите-ка сюда, Николай Петрович. Вот просьбу, говорит, подали, да у меня что-то нынче глаза слипаются, будто запорошены, прочесть никак не могу. Сделай милость, возьми на себя труд и прочти мне сию просьбу». Архаров позеленел весь. Принял бумагу и начинает читать, и с первых же слов видит, что не пожалели его, отрекомендовывают его как следует, без всякого стеснения. Глядим мы все, видим — наш Николай Петрович совсем на себя не похож. Бормочет себе что-то под нос, ничего расслышать не можно. Ну, думаю я, вот и Архарову конец наступает. Между тем, государь продолжает улыбаться и тихо так, спокойно говорит: «Читай, сударь, громче, я что-то оглох сегодня и ничего не слышу». Архаров жметя к государю, возвышает голос, но все же старается так, чтобы никто не мог расслышать. Вижу, вспыхнул, наконец, государь, крикнул: «Читай громче, так, чтобы все слышали!» Архаров, ни жив, ни мертв, а делать нечего, исполнил повеление, всю просьбу от первого до последнего слова прочел во всеуслышание! То есть так я вам скажу, Сергей Борисыч, — много смешных сцен на веку пришлось мне видеть, а такой еще не видал. Смех так вот и разбирает, едва удержаться мог. Вы представьте себе только Архарова...

И Ростопчин, вскочив с кресла, принял позу Архарова, состроил гримасу и вдруг сделался на него необыкновенно похожим.

Сергей рассмеялся.

— Ну, и что же, чем все это кончилось? Неужели Архаров уволен?

— К сожалению, нет. Его наказание ограничилось только тем, что он был отдан на всеобщее посмешище. Государь находит его полезным. Но, во всяком случае, урок ему хороший. Когда чтение кончилось, государь огляделся, насладился картиной и спокойно спрашивает: «Николай Петрович, что это такое, ведь это на тебя?» — «Так точно, ваше величество»...

Ростопчин опять превратился в Архарова и начал в лицах разыгрывать дальнейшую сцену, так что Сергей смеялся до слез.

«Да, на тебя, неужто это правда?» — «Виноват, государь». — «Но неужели и то все правда, что за его же добро ты, вместо благодарности, не только что взащей выталкивал, но даже и бил?» — «Что делать, должен и в этом признаться, государь, что виноват, обстоятельства мои меня к тому принудили. Однако я в угоду вашему величеству сегодня же и деньги ему уплачу». А у самого на лице смирение, сознание своей вины, раскаяние. Хитрец этот Архаров. Вижу, понял, что только таким способом может выпутаться. Государю это чистосердечное раскаяние, очевидно, понравилось. «Ну, хорошо, — говорит он, — на этот раз Бог тебя простит, и надеюсь, что впредь такого себе не позволишь». Потом подозвал купца и говорит ему: «Друг мой, деньги тебе сегодня же заплатят, ступай себе с Богом, однако, когда все получишь по расчету, приходи ко мне и скажи. Я должен знать, что сие исполнено». А сам в это время на Архарова поглядывает... Вот, Сергей Борисыч, какое было у нас представление.

— Вы меня порадовали, побольше бы таких представлений!

— Только ни к чему они не поведут, — заметил Ростопчин. — Он о людях слишком хорошо думает. Легкими уроками их нельзя выучить, и потом, в каждой хорошей мере есть дурная сторона. Вот хотя бы теперь это, что всякий может обращаться к государю со своей просьбой. Ну, на этот раз просьба оказалась дельною, а ведь уж этой милостью как злоупотребляли стали. Третьего дня что у нас на разводе было, слышали?

— Нет, ничего особенного не слыхал.

— А как же, господские лакеи, тунеядцы негодные, смастерили челобитную и целой ватагой преподнесли ее государю. Кабы только знали, что в той челобитной прописано! Ругаются холопы ругательски, издеваются над своими господами, взводят на них всякие небылицы и кончают так: освободи, мол, нас, милосердый отец, от тиранства наших помещиков; не хотим быть у них в услужении, а хотим только служить тебе одному. Видите, куда метят! И уже наверное эту челобитную не своим умом они сочинили, а нашелся человек знающий. Конечно, легко может случиться, что некоторые из помещиков и виноваты, но, признаться, мы все с трепетом ждали, чем решит государь. Если бы мы начали потакать холопам, могли бы произойти опасные бедственные последствия, но он прекрасно это понял, и дерзкие слуги были наказаны, чтобы впредь не повадно было никому на своих господ жаловаться. Да неужто вы об этом деле не слыхали? Во всем городе говорят, и это чуть ли не первый поступок, который всеми одобряется и прославляется.

Сергей задумался.

— Это чуть ли не первый поступок государя, — проговорил он, — который я не могу прославлять. Мне кажется, что прежде чем наказывать слуг, следовало разобрать, насколько основательны их обвинения.

— И это говорите вы, вы, — русский дворянин? — изумленно воскликнул Ростопчин.

— Да, это говорю я, и иначе говорить не могу. Я нисколько не желаю умалить значение дворянства, нисколько не хочу унижать сословия, к которому принадлежу. Напротив, я желал бы, чтобы это сословие так себя держало, чтобы невозможны были никакие унижающие и позорящие обвинения, а между тем, я знаю, что позволяют себе наши господа со своими слугами. Государь оказал бы великое благодеяние во имя справедливости, если бы так или иначе положил предел всем этим безнаказанным жестокостям.

— Как ставить на одну доску слуг и господ? — все более и более изумляясь, говорил Ростопчин. — Послушайте, Сергей Борисыч, ведь к этому нельзя так легко относиться, ведь тут принцип, и мы знаем, если принцип этот поколеблен, какие наступают результаты. У нас пред глазами Европа.

Но в Сергее уже проснулось старое, совсем было позабытое им раздражение, на него вдруг пахнуло прежним воздухом, пахнуло его юностью.

— «Pereat mundus — fiat justitia» [\[20\]](#) — бессознательно прошептал он.

Ростопчин укоризненно покачал головой.

— Однако, Сергей Борисыч, — сказал он, — ведь запад отравил вас, вы действительно, как я вижу, «вольтерьянец».

— Пускай, называйте меня, как хотите, но есть вещи, которые меня невольно волнуют, и я не могу с собою справиться. Есть вещи, существование которых возмутительно, и они так или иначе, по существу своему обречены гибели. Я так полагаю, что усилия всех честных людей должны быть направлены к тому, чтобы хоть мало-помалу установить правильный порядок вещей. Установить его вовремя, именно ради того, чтобы избежать тех ужасов, какие мы видим на западе. Человека, при каких бы он обстоятельствах ни родился, нельзя лишить человеческих прав и поставить его в зависимость, сделать его вещью другого человека, только ввиду того, что этот другой человек родился при других обстоятельствах, чем он.

— Иными словами, вы хотите сказать, — перебил его Ростопчин, — что нужно освободить наших крепостных и дать им все права, какими мы сами пользуемся?

— Да, я хочу сказать это, и удивляюсь, как вы, при вашем образовании, при вашем уме и развитии, хотите со мною в этом спорить.

Ростопчин задумался.

— Я спорить с вами не буду, — наконец, произнес он, — если мы станем говорить отвлеченно, но все дело в том, что нам трудно понять друг друга. Я уже говорил вам, что мы разные люди. Вы мечтаете — я живу. Я вижу только требования живой действительной жизни и знаю, что прекрасные мечтания о всеобщем счастье никаким образом не могут осуществиться в действительности. Вы — теория, я — практика.

— Положим так, — сказал Сергей, — я согласен с вами, что я человек непрактический, но не злоупотребляйте этим моим признанием. Теория имеет соприкосновение с практикой, и разумная теория, рано или поздно, принимается на практике. И поверьте мне, Федор Васильевич, — голос Сергея поднялся и дрогнул, — поверьте

мне, что придет время, и у нас на Руси когда-нибудь все то, о чем я теперь мечтаю, то, что вы называете моей западной отравой, моим вольтерьянством, перейдет в действительность. Наши крестьяне, крепостные наши будут освобождены, и совершится это без всяких ужасов. Вытечет это из общего сознания, которое окажется заодно с самодержавною волею русского монарха.

— Что же это, вы пророчествуете?

— Да, я пророчествую и твердо верю в свое пророчество!

— Когда же это должно совершиться по вашему мнению? В скором времени?

— Не знаю, это будет зависеть от обстоятельств, а уяснить их себе заранее невозможно. Это могло бы совершиться очень скоро, могло бы совершиться даже теперь, и я был бы самым счастливейшим человеком, если бы такой акт высочайшей справедливости был совершен императором Павлом.

— Это немыслимо, и хотя он сам мечтатель не хуже вас, но до таких мечтаний никогда не может дойти, потому что он отлично понимает, что для него первая попытка осуществить такое мечтание будет гибельна. Кто его поддержит, вы?

Они оба замолчали, Ростопчин думал:

«Век живи, век учись. Я полагал, что понял его и определял верно, и вдруг такое открытие. Да ведь это помешательство, он бредит. Однако надо предупредить его, как бы он этим бредом не сломил себе голову...»

— Сергей Борисыч, — сказал он, — вы никогда не говорили с государем об этом предмете?

— Не высказывал своих мыслей до сих пор, не приходилось.

— Так я, из искреннего расположения к вам, должен просить вас: ради Создателя и впредь ничего подобного ему не говорите.

— Отчего? Я всегда бываю с ним откровенен.

— Все до известной степени. Если бы он присутствовал при теперешнем нашем разговоре, вы были бы погибшим человеком. Ах, как это досадно, как это обидно! — продолжал он, раздраженно шагая по комнате. — Тут столько дела насущного, живого дела, вее, к чему ни прикоснешься, требует работы, нужны так честные, хорошие люди, а эти честные, хорошие люди мечтают, фантазируют, носятся в эмпиреях, знать не хотят действительности!..

— Неужели вы когда-нибудь рассчитывали и полагали мне найти работу? — улыбаясь, перебил его Сергей. — Я сам давно записал себя неспособным, сделайте это и вы, если еще не сделали. Я хорошо знаю, что работы много, я знаю, что вы работаете и будете работать, но представьте себе мое безумие, или глупость, назовите, как хотите — я плохо что-то верю в результаты вашей работы, как добросовестна она ни была. Все это то, что в медицине называют «паллиативы». Вы ходите по поверхности, вы заботитесь о листьях, а до корней вам нет дела. Да и с листьями что вы делаете? Скажите мне откровенно, чем вы теперь заняты, Федор Васильевич?

— Ах, Боже мой, чем я теперь занят! — горячо и внезапно забыв весь предшествовавший разговор, воскликнул Ростопчин. — Чем я занят? Представьте себе, государь упорно продолжает верить в мое знание военного дела, мне поручено составить новый устав для русской армии, конечно, на основании прусского устава.

— И вы взяли на себя эту работу?

— Что же иное мог я сделать?

— Но ведь вы сами говорили мне, что не чувствуете склонности к военному делу и не имеете хорошей подготовки.

— Поэтому я не намерен на себя полагаться. Я, так сказать, буду только редактировать устав. Главную работу сделают более, чем я, опытные люди в этом деле. Я вообще надеюсь заняться в скором времени тем, что меня интересует больше, и в чем я больше понимаю. Я сразу отказываться от назначенной мне государем работы не имею возможности.

Сергей укоризненно покачал головой.

— Вот к чему приводит ваша практичность — и лучше не будем больше говорить об этом, не то еще, пожалуй, поссоримся.

— Я с вами никогда не поссорюсь, Сергей Борисыч, — сказал Ростопчин.

Он почувствовал неловкость своего положения, почувствовал, что проговорился, и что, во всяком случае, не он остался победителем в их споре, а этот непрактичный мечтатель, которого он только что мысленно назвал помешанным. Он рад был перевести разговор на иную тему.

— А ведь я, собственно, к вам за делом, по поручению государя, но прежде чем скажу вам об этом поручении, нужно приступить к

некоторым разъяснениям. Все дело в одном из ваших больших приятелей, даже, так сказать, в самом лучшем вашем друге.

— О ком вы говорите?

— О светлейшем князе Платоне Александровиче Зубове.

— А, извините, я и так должен был догадаться.

— Так вот, видите, Платон Александрович пользуется большими милостями государя...

— Я это знаю, и не изумляюсь нисколько. Я еще сегодня утром говорил об этом с моей невестой, и мы восхищались образом действий государя.

— Восхищаться нужно, — улыбаясь, протянул Ростопчин, — но все же тут есть кое-что совсем для меня непонятное. С этим господином чересчур уже церемонятся.

— Из некоторых слов я могу заключить, что тут действуют действительно христианские чувства.

— Но оказывается, что от некоторых христианских чувств тем, на которых они обращены, бывает не совсем приятно. Если б я не знал хорошо государя, я подумал бы, что он играет с Зубовым как кошка с мышью. По крайней мере, светлейший князь должен пройти через все ощущения мыши... Скажите, пожалуйста, слышали вы, что государь купил на Морской дом?

— Да, я знаю это и знаю этот дом, он великолепен.

— Посмотрели бы вы, как в несколько дней его отделали! Совершенно как дворец, роскошь удивительная. Кроме того, дом снабжен великолепной посудой, золотым столовым прибором, серебром в огромном количестве. Лошади, экипажи. Нанят целый штат прислуги. Для многих, и, в особенности, для придворных дам, это обстоятельство являлось большой загадкой. Любопытство их не давало им ни минуты спокойствия. Кому предназначен этот дом? Кто будет жить в нем? И представьте себе, вчера загадка разъяснилась. Платон Александрович все это время находится в доме у сестры своей, и вот вчера государь посылает к нему Котлубицкого сказать, что дарит ему дом на Морской, просит его немедленно же в него переехать, и что сегодня вечером с некоторыми из близких к нему людей будет у него пить чай на новоселье.

— Неужели? — изумленно проговорил Сергей.

— Да, и согласитесь, что это уж чересчур. Но как бы то ни было, в числе приглашенных сопровождать государя и государыню на вечерний чай к светлейшему князю находитесь и вы. Государь приказал мне известить вас об этом. Вы должны явиться в Зимний дворец к шести часам.

Подобное приглашение было очень неприятно для Сергея, но отказываться не было возможности.

— Не замедлю исполнить приказание государя, — сказал он.

— А за сим, — проговорил Ростопчин, вставая и взглянув на часы, — до приятного свидания. Ох, как я у вас засиделся!..

Оставшись один, Сергей задумался. В мыслях и сердце у него было как-то смутно. Ему вдруг захотелось подальше от всего и ото всех. Захотелось вместе с Таней в тишину и уединение так давно позабытого им Горбатовского.

XV. СЮРПРИЗ

В шесть часов Сергей был во дворце. Его проводили к государю, который встретил его с довольным видом.

— Аккуратен, за это спасибо. Но на сей раз я должен задержать немного. Меня почти с полудня дожидается депутация купцов, и до сей минуты не могу принять ее. Пойдем, любопытно, что будут говорить эти господа. Мне, признаться, очень хотелось бы как-нибудь их усостыжить. Ведь это ужас что такое они себе позволяют. Впрочем, ты, я полагаю, ничего не знаешь, ты не считаешь своих денег. Знаешь ли ты, что бедным людям скоро жить нельзя будет в Петербурге, что цены на съестные припасы поднимаются с каждым днем?

— Может быть, я и не считаю своих денег, ваше величество, но обстоятельство поднятия цен мне очень хорошо известно. Об этом говорят все, и я полагаю, что необходимо найти какой-нибудь выход.

— Полагаю и я, — сказал государь. — До сих пор на это не было обращено никакого внимания. Богатым все равно, а жалобы бедных людей замирают в воздухе. Пойдем.

Но прежде чем выйти из комнаты, он выпил стакан воды и, по-видимому, делал над собой усилие, чтобы успокоиться.

— Нужно попробовать подействовать на них убеждением, — прошептал он.

В одной из зал дворца дожидалась депутация с хлебом и солью на огромном золотом блюде. Несколько человек купцов, все как на подбор, с важным и степенным видом, благообразные собою, почти земно поклонились государю, поздравляя его с восшествием на прародительский престол и прося его принять хлеб-соль.

— Благодарю вас, — отвечал Павел Петрович, ласково к ним обращаясь.

И затем, подходя от одного к другому, спрашивал каждого о его имени и фамилии и о его торговле.

Расспросив всех и несколько отойдя, он проговорил:

— Благодарю вас, мне очень приятно вас видеть. Одно только неприятно, это то, что вы меня не любите.

Купцы совершенно растерялись, вздрогнули. С изумлением и почти с ужасом глядели они на государя. Несколько мгновений продолжалось молчание. Наконец, один из них вышел вперед и прерывающимся голосом проговорил:

— Ваше императорское величество, слова ваши поразили нас, и не можем мы прийти в себя от горести, и не можем понять, чем мы провинились. Как перед истинным Богом можем засвидетельствовать, что привержены мы к вашему императорскому величеству самою искреннею и верноподданническою любовью. Да и как может быть иначе? Мы ведь крещенные русские люди. Кого же нам и любить, как не царя нашего батюшку?

Государь выслушал, покачал головой.

— Нет, неправду вы говорите. Я очень хорошо знаю, что вы меня не любите.

Опять несколько мгновений продолжалось молчание. Купцы, совсем перепуганные и смущенные, переглядывались и тихонько подталкивали того, который говорил с государем. Но тот молчал, не находя слов. Наконец, выискался один из членов депутации и проговорил:

— Почему бы мы были так несчастны, что ваше императорское величество заключаете о нас столь невыгодно?

— А вот я вам сейчас же и изъясню сие, — сказал государь. — Я заключаю о любви каждого ко мне по любви его к моим подданным, и думаю так, что когда кто не любит моих подданных, тот не любит в лице их и меня. А вы-то и не любите их, не имеете к ним ни малейшего человеколюбия. Вы стараетесь во всем и всячески их обманывать. Вы продаете им все ваши товары, беря с них неумеренно высокую цену. Отягощаете их всячески, нередко бессовестнейшим образом, и нередко вынуждаете их платить за товар двойную и тройную цену. Доказывает ли все сие вашу любовь к ним? Нет, вы их не любите, а не любите их — не любите и меня, потому что я пекусь о них, как о детях своих.

Купцы молчали, как убитые. Сергей радостно глядел на государя.

— Так-то, друзья мои, — вдруг сказал Павел Петрович. — Ежели вы хотите, чтобы я был уверен в вашей любви ко мне, то любите моих подданных и будьте к ним человеколюбивее, совестнее, честнее и снисходительнее, и лишнее все оставьте и удовольствуйтесь во всем

умеренными себе прибытками. Одним этим докажете мне любовь свою и заслужите от меня благоволение. Так-то, друзья мои, и не забывают этих слов моих!

Он ласково поклонился купцам и, кивнув Сергею, чтобы тот за ним следовал, вышел из залы.

— Ну, слава Богу, — сказал он, — обошлось благополучно. А уж я боялся за себя. Очень они меня рассердили!

— Ваше величество, — горячо сказал Сергей, — я счастлив, что имел случай присутствовать на этом приеме. Я уверен, что слова вашего величества не пропадут даром и в скором же времени окажутся благие их последствия.

— Ты думаешь? Дай Бог! Только этого я и желаю. Если же они будут продолжать свои беззакония, то придется действовать строгостью. Я не могу потерпеть этого всеобщего разорения. А теперь вернемся к нашему делу. Ведь Ростопчин передал тебе, что ты едешь со мной и государыней к князю Зубову?

— Я явился для исполнения вашего приказания, — отвечал Сергей, — но осмеливаюсь выразить, что мне очень тяжело ехать к князю.

— Пустое, друг, пустое! Одного бы я тебя не послал, а со мною — это другое дело. Разве ты забыл о том, что у него твой дневник, ты должен же получить его. Да и потом, зачем помнить старое. Надеюсь, князь несколько изменился, он уж не тот, что был недавно. Поедем.

Через полчаса государь с государыней и в сопровождении Сергея и двух адъютантов поднимался по широкой, роскошной лестнице заново отделанного великолепного дома. Навстречу гостям вышел новый хозяин. Сергей не видал Зубова в последнее время и невольно изумился перемене, происшедшей с ним. Он похудел, постарел, осунулся, но не в этом заключалась главная перемена. Он казался совсем другим человеком. В нем не было и тени прежнего сознания своего величия, прежних манер. Он казался совсем запуганным, загнанным, казался приговоренным к казни.

Стремительно выйдя на лестницу, он вдруг опустился на колени перед государем.

— Встаньте, князь, — мягко проговорил Павел Петрович.

Затем сам его поднял, взял под руку.

— Кто старое помянет — тому глаз вон. Довольны ли вы моим подарком, нравится ли вам этот дом?

— Ваше величество, — шептал, заикаясь, Зубов, — я не нахожу слов благодарить вас, я чувствую себя недостойным такой милости.

— Очень рад, если дом вам по вкусу.

Они вошли в гостиную, и тут только Зубов заметил, что государь и государыня были не одни. Тут только он встретился со взглядом Сергея. Он робко направился к нему и протянул ему руку. Сергею сделалось тяжело и неловко. Он уже не чувствовал никакой ненависти к этому человеку. В нем заговорила жалость. Но в этой жалости было что-то гадливое. Зубов, трусливый, робкий, как-то весь прижимавшийся, был просто противен.

В это время подали шампанское. Государь взял бокал, поднял его и, обращаясь к Зубову, сказал:

— Сколько здесь капель, столько желаю тебе всякого добра.

И затем, обернувшись к императрице, прибавил:

— Выпей все до капли.

Он выпил свой бокал и бросил его на пол. Зубов снова бросился к ногам его и лепетал:

— Выше величество, благодетель, простите!..

— Ведь я же сказал тебе: кто старое помянет — тому глаз вон, — повторил Павел Петрович, поднимая его и усаживая рядом с собой. — Прикажете-ка скорее подать самовар. Хозяйки у тебя нет, так вот она будет хозяйкой, — он показал на императрицу, — она разольет нам чай.

Очевидно, все распоряжения были сделаны заблаговременно, так как в ту же минуту слуги внесли серебряный самовар и чайный прибор. Мария Федоровна с привычной, грациозной и простой манерой присела к чайному столику и начала хозяйничать. Сергей еще ни разу в жизни не чувствовал себя так неловко, как теперь. Павел Петрович, очевидно, понял его положение и его смущение.

— Послушай, князь, — сказал он, обращаясь к Зубову, — со всем прежним, как я говорю, нужно навсегда покончить. Было много ошибок, прискорбных ошибок. Теперь уже их не должно быть больше. Я, как видишь, от всего сердца помирился с тобой, и ты должен чистосердечно примириться со всеми. Вот я позвал к тебе с собою Сергея Борисыча Горбатова! Вы не ладили. Ты был очень виноват

перед ним. Я должен помирить вас. Он, я уверен в этом, не будет тебе помнить старого, забудь и ты. Помиритесь, господа, и от всего сердца.

Зубов взглянул было на Сергея, но тотчас же опустил глаза. Смертельная бледность разлилась по лицу его. Он хотел говорить что-то, но не в силах был вымолвить ни звука. Он думал:

«Лучше бы сразу сослал меня в Сибирь, лучше бы казнил. Эти милости хуже всякой казни. Этот Горбатов здесь! — свидетель моего унижения, за которое я должен благодарить, которое имеет только вид милости. Горбатов победителем у меня в доме! О, они, знали, какую придумать мне пытку. Я готов растерзать его, я не могу выносить его присутствия!..»

Он просто начинал задыхаться. Бешенство душило его. Ему хотелось кинуться на Сергея, вцепиться в него ногтями. Хотелось задушить его, исцарапать, истоптать, но он оставался неподвижен. Бледнея все больше и больше, он чувствовал, как оставляют его силы, как он, того и гляди, лишится сознания. А государь спрашивал:

— Что же ты молчишь, князь? Неужели не желаешь искреннего примирения? Сергей Борисыч, так сделай ты первый шаг, скажи ему, что прощаешь оскорбления, тебе им нанесенные.

Едва слышный стон вырвался из груди Зубова. Это был первый и последний звук, которым выразилось его истинное чувство. В нем уже заговорили другие инстинкты. Заговорили его природная трусость и низость его натуры. Он нашел в себе силы подняться с кресла, на которое усадил его государь рядом с собою. Он подошел к Горбатову. Жалкая улыбка изобразилась на потускневшем лице его. Он протянул руку. Сергей должен был принять эту холодную, дрожащую руку.

— Ваше величество, — проговорил он, обращаясь к государю, — у меня не было с князем и не может быть никаких счетов.

Недовольная мина мелькнула на лице Павла Петровича.

— Нет, у вас есть счета, и их нужно немедленно окончить. Скажите, любезный князь, ведь вы уже успели, вероятно, все свои вещи перевезти в это новое ваше жилище?

— Точно так, ваше величество, все перевезено, — прошептал Зубов.

— В таком случае, значит, перевезен и дневник господина Горбатова, которым вы, вероятно, очень заинтересовались. Не угодно ли вам немедленно возратить его по принадлежности?

Это было последним ударом. Зубов едва устоял на месте.

— Дневник! Какой дневник! — прошептал он, проводя рукой по лбу, с которого струились капли холодного пота.

Сергей вспыхнул в свою очередь.

— Да, я желал бы получить мой дневник, который был отобран у меня вместе с прочими моими бумагами в тот день, когда я был арестован, не зная, не имея за собой никакой вины.

— Ты говорил, князь, — перебил государь, — ты говорил покойной матушке, что этот дневник тебе не был доставлен, но ты ошибался. Он у тебя. Будь же столь добр, пойдешь, разыщи его и принеси нам.

Зубов поднял глаза на Павла Петровича. Он заметил сверкавший взгляд его, заметил яркий румянец гнева, разливавшийся по лицу его, заметил, как пальцы государя судорожно мяти чайную салфетку. Он понял, что еще миг, одно слово с его стороны — и гроза разразится. Не произнеся ни звука, как пришибленный, едва волоча ноги, он вышел из комнаты.

Императрица закрыла лицо рукой.

— Как это тяжело! — невольно прошептала она.

Сергей чувствовал нервную дрожь. Ему хотелось убежать. Павел Петрович заговорил громко и раздражительно:

— Тяжело! Конечно, не легко. Но каждый человек должен пожинать то, что посеял. Если в нем осталась хоть искра совести, если он способен на раскаяние, если может еще очнуться и понять все свое нравственное падение, то этот урок принесет ему большую пользу. Он унижен, но он гораздо больше унижал многих людей, ни в чем не повинных. Да, я уверен, если он может еще очнуться, то теперь очнется, если же нет, то пусть получит должную кару. Она, во всяком случае, слишком ничтожна в сравнении с его грехами.

— Не нам судить его, — прошептала императрица.

Павел вздрогнул.

— Не нам, конечно! Мы и не судим, но только требуем, чтобы он возвратил человеку его собственность, которую отнял у него самым низким образом. Скажи, Сергей Борисыч, или и ты против этого? Ты не доволен тем, что я за тебя вступился?

— Ваше величество, вы знаете мои отношения к этому человеку и все то зло, которое он мне сделал. Но теперь мне невыносимо видеть

это зрелище унижения. Зачем...

Он не договорил, должен был замолкнуть, так как Зубов показался у двери. Злополучный дневник нечего было искать. Зубов хорошо знал, где он хранится. Он еще в это же утро его перелистывал и не мог решить вопроса, что с ним делать: уничтожить или оставить до востребования. Он предчувствовал, что история с дневником теперь всплывет наружу, что Павел Петрович не забудет этого обстоятельства. И вот, когда он увидал, что гроза может разразиться над ним из-за этого дневника, он счел необходимым как можно скорее вернуться с дневником в гостиную и не заставлять государя дожидаться. Между тем, Павел Петрович был, очевидно, недоволен словами Сергея, он уже хотел резко возразить ему, но, в свою очередь, заметил входившего Зубова. Зубов подошел к Сергею и упавшим голосом проговорил:

— Извините меня, пожалуйста, ваш дневник действительно оказался у меня, благодаря оплошности моего секретаря. Я его тогда не видел. Извините, пожалуйста, и будьте, во всяком случае, уверены, что я не читал его.

Ничего умнее, ничего правдоподобнее он не мог найти в голове своей, да и не задумывался над тем, что говорит. Он помышлял только о том, чтобы как-нибудь избежать грозы, чтобы покончить со своим невыносимым положением.

«Долго ли же они будут меня мучить?» — повторялось в его мыслях.

— О, мы вполне уверены, что ты не читал этого дневника, не имея на то разрешения автора, — с улыбкою сказал Павел Петрович, — да и времени, я думаю, не было. Сергей Борисыч, если ты не отступаешься от своих слов и находишь возможным дать мне для прочтения эти тетради, я буду тебе очень благодарен. В свободную минуту я прочитаю.

Он взял из рук Сергея тетради и положил их к себе на колени.

Пытка Зубова продолжалась еще полчаса, после чего ему предстояло проводить гостей до низу лестницы и остаться наедине со своими мыслями и чувствами.

Он, как сумасшедший, пробежал ряд комнат, заперся в своей новой спальне, и тут припадок бешенства овладел им. Он метался из угла в угол, рвал и ломал все, что ему попадалось под руки, а потом в изнеможении кинулся на постель.

Этот день был самым ужасным днем его жизни.

XVI. ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Павел Петрович, сам постоянно находившийся в движении и работе, не любил оставлять людей без занятия. А уж в особенности своим гатчинцам дал много дела. Не остался без дела и Сергей Горбатов. Он снова оказался занятым в иностранной коллегии, где пересматривались и приводились в ясность дела, запутанные Зубовым. Сергею снова пришлось работать под руководством своего первого учителя, графа Безбородко. Безбородко не потерял времени и сумел не только примирить с собою государя, но и оказать ему существенную услугу своевременной передачей некоторых важных и тайных бумаг.

Теперь Безбородко убедился, что звезда его ничуть не померкла, но разгорается с новою силою. Теперь у него уже не было соперника. Он снова хозяйничал на знакомом ему поприще, и снова работа кипела и спорилась в его искусных руках. Сергей ежедневно в течение нескольких часов с ним работал. Он, как и всегда, удивлялся необыкновенным способностям Безбородко, но часто чувствовал себя на него сердитым: Безбородко то и дело прерывал работу и начинал разговор на свою любимую тему о женщинах. Теперь он был уже совсем старик, расслабленный разгульною жизнью, и в его устах подобные разговоры были очень противны Сергею. С каждым днем между ними рос глухой разлад.

Безбородко, очевидно, был не совсем доволен своим сотрудником; что касается до Сергея, то он, собственно, мало обращал на это внимание и, исполнив свои обязанности, спешил скорее от этого сластолюбца в тихие комнаты отдаленной части Зимнего дворца, где его ждала Таня. Здесь он отдыхал от своих разнородных и часто тревожных мыслей и работы, в которых он не находил себе удовлетворения.

Судьба продолжала подсмеиваться над ним, все отдаляя день его свадьбы. Но, во всяком случае, день этот наступит же, наконец! Время идет так быстро; промелькнули первые недели глубокого траура, и тогда... но что будет тогда? Совсем не о такой жизни мечтал он с Таней. Ему и в первое-то время не удастся прожить с ней как следует. Не удастся отдать ей столько часов, сколько бы ему хотелось.

Служебные обязанности, положение придворного, находящегося в большом приближении у государя, отнимут его и будут постоянно отнимать его у Тани. Вот Ростопчин, несмотря на всю любовь свою к жене, удовлетворяется такою жизнью. Но Ростопчин ему не указка. Он не раз уже начинал поговаривать Тане о том, как хорошо было бы тотчас же после свадьбы уехать в деревню.

— Неужели тебя не томит здешняя жизнь? — спрашивал он ее. — Скажи мне откровенно, думала ли ты о том, как нам придется жить постоянно напоказ, хотя и близко друг от друга, но в вечной разлуке друг с другом, не имея возможности заняться тем, чем бы хотелось, вечно в зависимости от требований света, с обязанностью делать приемы, любезно и ласково улыбаться, говорить на известные заученные темы?

— Я об этом много думала, — отвечала ему Таня, — и меня начинает сильно тянуть в деревню, но я не знала на этот счет твоих мыслей. Я ведь собственно говоря, несмотря на свои года, очень многого еще не понимаю. Ты знаешь, какую уединенную жизнь вела я в Гатчине. Другой жизни я и не знала и поневоле должна была находить себе удовлетворение в том, что меня окружало. Я не могла желать другого, и потом, ах, Боже мой, ведь это были годы забытья какого-то, я не хочу даже вспоминать их. Теперь я будто проснулась и сразу поняла, в чем заключается здешняя столичная придворная жизнь. Я очень счастлива, что вижу в тебе такие же взгляды. Теперь я имею право сказать тебе, что совсем не создана для такой жизни. Но возможно ли нам избежать ее? Ведь у тебя есть обязанности, есть служба, я никаким образом не желаю мешать тебе в чем-либо. У мужчин свое назначение, свое призвание. Тебе, быть может, предстоит большая деятельность.

— Ничего не предстоит мне, — перебил ее Сергей, — и я ничего не хочу, у меня нет такого самолюбия, как у других, и раз навсегда говорю тебе, что я с удовольствием откажусь от всего, чтобы иметь возможность пожить с тобой в уединении. Ты, уединение и книги, — вот все, что мне надо.

— Если бы ты знал, как мне приятно это слышать, но ведь нас не отпустят, ни тебя, ни меня.

— Таня, теперь, конечно, не время поднимать этих вопросов, подождем, потерпим, но знай, что долго терпеть я не стану, я вырвусь

отсюда, насильно держать не будут.

— И ты потом никогда не расквешься, твоему самолюбию не будет тяжело, когда ты будешь видеть, как тебя далеко опередили в значении и почестях люди, стоявшие гораздо ниже тебя и менее тебя достойные?

Сергей улынулся.

— Я надеюсь, что скоро такие вопросы будут уже невозможны с твоей стороны, потому что ты, наконец, узнаешь меня. Пойми же, такого самолюбия, такого честолюбия во мне нет! С меня достаточно быть тем, что я есть, а добиваться чего-нибудь иного — это утомительно и скучно!

— А коли так, — весело перебила его Таня, — будем мало-помалу готовить себе средства к побегу.

— Отлично, давай руку. Итак, мы заговорщики?

— Да, заговорщики, и убежим непременно.

— Где же мы поселимся? В Горбатовском?

— Но знаешь ли, — сказала Таня, — я еще не очень давно получила письмо из Знаменского, в котором мой управитель Потапов — помнишь Потапова, он наш сосед, человек хороший и даже как-то приходится нам сродни. Ему еще матушка поручила главное наблюдение над Знаменским. Так вот, он писал мне, что был в Горбатовском и нашел, что дом приходит в большую ветхость.

— Да, дом старый, нужно будет произвести большие починки, переделки и постройки. Что же, мы можем на первое время и в Знаменском поселиться. Составим план нового дома, будем сами следить за работами. Совсем по-своему, по своим вкусам и фантазиям устроим себе гнездо. Таня, что же может быть лучше этого? Так будем же решительнее работать над скорейшим достижением нашей цели!

— Да, будем, будем, но, Боже мой, как станет сердиться государь! Я знаю его, он никогда не простит нам нашего поступка. Он говорил мне, что на тебя рассчитывает.

— Он скоро убедится, что расчеты его неверны.

— Да ведь ты сам желал служить ему, ты сам добивался этого и еще так недавно.

— Были иные обстоятельства, Таня; тогда он был одинок, в тяжелом положении. Ему каждый преданный человек был нужен. Теперь, слава Богу, все изменилось.

— Изменилось очень мало, и точно так же, как и прежде, ему нужны преданные люди, — сказала Таня. — Я вообще замечаю, Сережа, в тебе что-то странное. Ты стал непоследователен. В тебе разлад. Ты уж не по-прежнему относишься к государю. Что это значит? Объясни мне.

Сергей задумался.

— Да, меня легко обвинить в неблагодарности. Мне самому тяжело, когда я подмечаю то, что во мне творится... Я люблю государя по-прежнему, я хорошо понимаю все то добро, которое он мне сделал... я говорю это искренне, готов умереть за него, но вместе с тем я уже вижу невозможность принимать участие в этой жизни. Я не хочу совсем удалиться. Будем возвращаться. Я полагаю, что эти свидания с людьми, которым мы так многим обязаны, будут нашим благополучием. Но жить здесь, служить... Нет, Таня, это свыше сил моих! Я чувствую себя чужим всему, с чем встречаюсь. Испорчен я, что ли, болезнь во мне, что ли какая, но когда я не с тобою, на меня находит тоска. Я как-то не верю в то, что все делается по-настоящему, как вот нужно. Мне кажется, будто передо мною какая-то комедия, и все играют роли.

— Я понимаю тебя; мне самой иногда кажется, но ведь мы не правы. Во всяком случае, делается большое дело; посмотри на государя, как он борется, что-нибудь да должно же, наконец, выйти из этой борьбы, у которой такая возвышенная цель. Каждый день, каждый час приносят новые доказательства того, что борец не ослабевает; иногда невозможно им не восхищаться. И знаешь, чему больше всего я удивляюсь, это перемене, происшедшей с ним. Как он владеет собой, мы все знаем его раздражительность, а, между тем, с тех пор, как он царствует, еще ни разу не проявил ее. Вот ты мне рассказал этот прекрасный прием депутации. Знаешь ли ты, ведь это произвело-таки должное впечатление. Купцы значительно понизили цены на многие товары.

— Да, я слышал об этом.

— Но что особенно нравится, — улыбнувшись, сказала Таня, — это его способ учить важных господ. Сегодня у императрицы рассказывали очень милую историю, — она случилась этим утром с графом Самойловым.

— Что такое? Я еще не слышал, расскажи, пожалуйста.

— Не слышал еще, так слушай. Тебе, конечно, известно, что приемы для докладов назначены в шесть часов утра. В Гатчине мы все приучены рано ложиться, рано вставать, и для нас нипочем не только в шесть, но и в пять часов быть на ногах. Для здешних же людей это большое наказание.

— И я даже полагаю, — перебил Сергей, — что государю следует несколько смягчить свои требования, не возбуждать излишнего неудовольствия. Во всяком случае, в подобном деле не следовало бы уж так спешить, но это мое соображение, извини, что я перебил тебя, я слушаю.

— Как бы то ни было, — продолжала Таня, — в шесть часов все докладчики должны быть уже во дворце. Сегодня первый доклад был графа Самойлова. Он, говорят, любит поспать и опоздал. Государь выходит, по обычаю, ровно в шесть часов и замечает, что Самойлова нет. Не сказал ни слова, переходит от одного к другому, выслушивает, а сам все на часы поглядывает. Уже половина седьмого, а Самойлова все нет. Государь призывает адъютанта, приказывает встать у крыльца и как только что подъедет Самойлов, тотчас же вернуться и сообщить ему об этом. Наконец, Самойлов приезжает. Адъютант бежит, докладывает. Государь скорым шагом направляется через целый ряд комнат навстречу к Самойлову. Тот, говорят, бегом бежит, красный, перепугался; а государь его встретил милостиво, спросил о здоровье, выразил удовольствие, узнав, что он чувствует себя хорошо. Тот ждет строгого выговора, быть может, немилости. Между тем, государь ласково и, по-видимому, очень спокойно вынул часы, показал ему, — «теперь уже, граф, больше половины седьмого, — говорит, — и все то, зачем вы мне были нужны, я сам за вас сделал, и теперь не стану вас задерживать. Извольте ехать обратно и быть здесь к вечеру в назначенное время». Повернулся и ушел от него. Самойлов долго стоял как пораженный громом, а когда пришел в себя, то, говорят, поклялся, что уже никогда больше не опоздает. Не знаю, как тебе, но мне, право, это очень нравится.

— Это и мне нравится. Таня, но ведь каждый из нас может очутиться в таком же положении. И если государь сдержал себя сегодня, то кто поручится, что он и впредь будет себя сдерживать. Мы знаем, как он иногда бывает раздражителен. А шесть часов — время раннее, особенно, для человека, пожилого и, особенно, если до дворца

предстоит дальняя дорога. Нет, у меня в этом же роде есть рассказ, только лучше. Это случилось несколько дней тому назад на разводе. Так как все знают, что на разводе ежедневно присутствует государь, то для того, чтобы взглянуть на него, собирается всегда много народу. В толпе оказался какой-то чиновник в мундире петербургского наместничества, шел он в должность и остановился посмотреть на государя. Государь по мундиру его приметил и вдруг к нему подходит. «Конечно, вы где-нибудь на гражданской службе здесь служите?» — спрашивает так ласково. Чиновник смутился, однако же, одобренный ласковым голосом государя, отвечает: «Точно так, ваше величество, служу в такой-то палате». Тогда государь вынул часы, показал ему и проговорил: «Вот видите, давно уже одиннадцатый час, прощайте, сударь, мне недосужно. Пора к своему делу». И с минуту простоял чиновник, будто его пригвоздили к месту, потом повернулся и стрелой помчался в свою палату. Как видишь, это почти то же самое, что случилось сегодня с Самойловым, только разница, в часе. Шесть часов и полдень — две вещи разные. Но уж раз мы начали о проказах нашего дорогого государя, так скажи мне, не слыхала ли еще чего-нибудь нового?

— Ах, Боже мой, — смеясь, воскликнула Таня, — нового сколько угодно, но, вероятно, все новости ты не хуже моего знаешь. А вот сегодня государыня не весела. Великие княгини все ей жалуются, говорят, что своих молодых мужей не видят. Если всем вам государь много дела надавал, так сыновьям больше вашего. Заставляет их так работать, что они из сил выбиваются.

— В особенности с непривычки, — заметил Сергей. — При государыне покойной не то было. Ну и что же, ты вот смеешься, Таня, а мне совсем не до смеха, ведь всего должно быть в меру; а меры-то мы не видим. Он прав, и, конечно, с ним нельзя спорить, конечно, все распущено и все следует подтянуть. Конечно, работы много, но крутые повороты всегда приносят больше вреда, чем пользы. Я боюсь, что явится всеобщее неудовольствие, и что же это будет, если в числе недовольных и во главе их окажутся сами великие князья?..

— Сергей Борисыч, я в первый раз вижу и убеждаюсь, что ты ленив больно, — погрозив пальцем и обдавая Сергея горячим, любящим взглядом, проговорила Таня.

И в миг один вылетели из головы его все тревожные мысли. Он видел только эти горящие глаза, притягивавшие его к себе с неудержимою силою. Он поймал руку Тани, он привлек ее к себе и покрыл лицо ее несчетными поцелуями. Его чуть был не застали в этом занятии, когда пришли доложить ей, что ее приказала звать императрица.

XVII. СТАРЫЙ ДРУГ

В то время как Сергей беседовал с Таней, государь вернулся во дворец со своей обычной прогулки. Быстро прошел он ряд комнат, направляясь на половину императрицы. Он шел все дальше и дальше, всматриваясь перед собою, очевидно желая и надеясь кого-то встретить. Наконец, он очутился на пороге маленькой гостиной. Ему навстречу поднялась женская фигура. С радостным восклицанием он кинулся к ней и припал губами к протянутой ему тонкой, почти детской руке.

— Как я вам благодарен, что вы исполнили мою просьбу, — сказал он. — Давно вы здесь? Я не заставил вас ждать?

— Я только что приехала, государь, и еще не видела императрицу.

— Но ведь ее, конечно, известили о вашем приезде. Она, наверное, скоро выйдет. Сядем, поговорим, ведь я давно не видал вас. Столько дела, день проходит за днем. Я хотел к вам ехать, но потом сообразил, что удобнее будет попросить вас. Здоровы ли вы? Вы кажетесь мне бледной! Скажите откровенно, как вы себя чувствуете, Катерина Ивановна?

— Я всегда здорова, и моя бледность ничего не значит, — с тихой улыбкой ответила Нелидова.

Это была она, старый, неизменный друг Павла Петровича, и кто видел ее в прежние годы в Гатчине и в Павловске, тот нашел бы в ней мало перемены. Время щадило ее, хотя и на ней мало-помалу отпечатлевались неизбежные следы его. Екатерина Ивановна была все так же нежна и грациозна. Ее прелестное лицо так же останавливало на себе все взоры своим необыкновенным выражением. Но все же ее тонкая прозрачная кожа успела несколько поблекнуть, вокруг глаз образовались мелкие морщинки, мелкие морщинки легли и кругом рта, придавая лицу выражение усталости.

— Катерина Ивановна, — заговорил Павел, — я по своей старой привычке быть с вами откровенным и сегодня начну прямо. У меня к вам просьба.

— Вы скажите ее, государь, и если только я в состоянии исполнить, я исполню, но заранее не обещаю. Я должна знать, какова

ваша просьба?

— Видите, в чем дело, вы назначены теперь камер-фрейлиной моей жены, вы кавалерственная дама святой Екатерины...

— Я уже благодарила ее величество за эти милости.

— Дело не в милостях, и странно мне, что вы говорите таким тоном, я знаю, как мало вы придаете значения этим отличиям. Я упомянул об этом только к тому, что ваше настоящее положение камер-фрейлины дает мне возможность просить вас убедительно переехать во дворец.

Нелидова вздрогнула.

— Я предчувствовала, что не могу заранее обещать вам исполнить ваше желание, — сказала она, — и я ждала, что рано или поздно вы обратитесь ко мне с этим предложением.

— Оно вам неприятно? — Павел покраснел. — Вы не желаете быть с нами, вы предпочитаете возвращению нашей прежней хорошей жизни ваше скучное уединение в Смольном?

— Нисколько, нисколько, государь, и ваши упреки так несправедливы, что мне тяжело их слышать. Мало ли чего бы я хотела, но вовсе не следует в жизни исполнять только свои желания. Оставьте меня в Смольном, я уже там так привыкла и, уходя туда, я говорила и вам, я дала знать и покойной государыне, что поселяюсь там навсегда, до конца дней моих. Я сама, наконец, дала себе это обещание и не могу его не исполнить — это обет.

— Но ведь вы же не монахиня, чтобы жить в келье, у вас есть другое призвание. Вы здесь нужны и именно теперь.

— Если бы вы знали, как нужны мне, как мне часто недостает вас. Тогда я должен был согласиться на ваше настоятельное требование, я понимал, что иначе невозможно. Теперь обстоятельства изменились. Повторяю, вы не монахиня, вам незачем запереться!..

— Не монахиня только потому, что на мне нет монашеского платья, — ответила она все с той же тихой, кроткой улыбкой, — но я веду жизнь монахини. Я нашла в этой жизни себе успокоение и твердо решила дожить так до конца. Когда я вам нужна, я всегда готова служить вам. Вам стоит известить меня, и я приеду. Наконец, если вам любопытно будет знать мое мнение в каком-нибудь деле, напишите мне, и я тотчас же отвечу.

— Ах, все это не то, — горячо проговорил государь, поднимаясь с кресла и начиная ходить по комнате, — все это не то, и зачем эта комедия между нами? Зачем вы притворяетесь, что меня не знаете, что не понимаете, какая разница, если вы здесь, или я только имею возможность так или иначе редко сноситься с вами?

Нелидова сидела грустная, опустив голову. Но на тонком лице ее изображалась твердая решимость. А он продолжал все горячее и горячее:

— Мне нужно, более чем когда-либо, ваше присутствие. Если бы вы знали только, как мне теперь трудно, как тяжело бывает в иную минуту. Какую борьбу я должен вести постоянно с самим собою. Друг мой, старый верный друг мой, зачем же вы мне изменяете именно тогда, когда вы мне так нужны, когда на вас, только на вас моя главная надежда? Вспомните, бывало, я раздражен, я не владею собой, я сделаю какую-нибудь несправедливость, но вы уже следите, вы уже тут. Вы одним взглядом, одним словом вашим меня успокаиваете, доведете меня до сознания содеянной мною несправедливости — и я спешу ее исправить. Но ведь тогда у меня был такой маленький круг действий, теперь же он стал так обширен, теперь каждый день у меня является возможность какой-нибудь ошибки, и, между тем, именно теперь ошибок не должно быть. Я постоянно должен сдерживаться и всегда должен быть спокойным, а спокойствия нет. Без вашей помощи я его не достигну. В чем заключается тайна вашего на меня влияния, этой душевной тишины, которая снисходит до меня в вашем присутствии, я сам не знаю. Вспомните, как много было клеветы на нас, все были уверены, да и теперь, вероятно, думают тоже, что у меня к вам было страстное чувство. Вы знаете, что этого чувства не было, что для меня вы никогда не были женщиной, вы и остались моим ангелом-хранителем. Вы не раз спрашивали меня, почему я так к вам привязался, почему вы так близки душе моей? Я не мог вам ответить, и теперь не могу вам ответить, да и не сумею рассказать это словами. Это моя тайна, моя фантазия, мое сумасшествие — назовите, как угодно, дело не в названии, не в происхождении моего чувства. Дело в том, что оно существует, и что вы мне нужны, а вы от меня отказываетесь!..

— Боже мой, дорогой государь, вы не хотите понять меня! — заломив руки и с истинным отчаянием в лице, проговорила

Нелидова. — Я от вас отказываюсь! Да разве я способна на это? Я говорю, что близкие дружеские отношения между нами легко могут поддерживаться, если я останусь в Смольном. Сюда я не могу переехать для вас же... для вас и для императрицы. Наше далекое прошлое было хорошим уроком, и в наши с вами годы пора понимать уже такие уроки. Взгляните на меня, разве я прежняя неопытная девушка! Ведь уже скоро начнут сесть мои волосы, я сама замечаю, как быстро старею. Пора же, наконец, понимать все ясно. Я вам говорю, я давно ждала вашего предложения переехать во дворец и давно его обдумала. Я взвесила все и только после долгих, долгих обсуждений этого вопроса решаюсь отказать вам. Или вы хотите, чтобы я переехала, а через некоторое время должна была снова возвратиться в Смольный? Или вы хотите, чтобы снова всплыли все клеветы, все оскорбления? Теперь я могу прийти к вам с духом спокойствия, зная, что радостно встретите вы, что точно так же радостно встретит меня и государыня. А если бы я согласилась на ваше предложение — сколько людей постарались бы стать между нами! Я опять явилась бы невольной помехой вашему семейному счастью и опять невольно заставила бы страдать государыню, которую люблю и уважаю.

Павел продолжал в волнении ходить по комнате.

— Вы боитесь призрака, — сказал он, — вы забываете, что обстоятельства изменились. Тогда, прежде каждому легко было мешать нам, враждовать с нами, копать нам яму. Теперь уже становится трудным: кто осмелится?

Нелидова покачала головой.

— Вы видите чересчур большую перемену там, где я почти не вижу никакой перемены, — сказала она. — Люди все те же, и мы все люди. Если вы действительно по-прежнему ко мне привязаны, если вы уважаете меня, то не ставьте же меня в положение тяжелое и фальшивое, какого я совсем не заслужила. В семейной жизни не может быть третьего человека. Повторяю вам, долгими тяжелыми годами я пришла к этому убеждению, и ничто не заставит меня снова подвергать и себя, и самых близких мне людей пережитой уже тягости.

— Вы доводите меня до отчаяния, — проговорил Павел, останавливаясь перед нею и грустно всматриваясь в лицо ее. — Я вижу, я понимаю, что решение ваше неизменно. Я понимаю, наконец,

что все ваши рассуждения справедливы, хотя все же не вполне справедливы, хотя все же и вы смотрите несколько односторонне. Но как бы то ни было, для меня ясно одно, что вы от меня отказываетесь. Это чересчур жестоко и относительно не меня одного. Вы отказываетесь от помощи многим, многим людям!

— Нет, я ни от чего не отказываюсь, — твердо проговорила она. — Я уверяю вас, что мое пребывание постоянно с вами — излишне. Вы точно так же можете пользоваться мною и издали.

— Каким это образом? Вы утешаете меня, как ребенка.

— Нисколько, — горячо возразила она, — нисколько, дорогой государь, я и сейчас докажу вам это. Когда-то вы говорили мне, что часто обо мне думаете.

— Я и теперь часто о вас думаю, еще чаще, чем прежде.

— Ну, так знайте, что и я постоянно о вас думаю, что я постоянно молюсь за вас. И таким образом, вы должны всегда чувствовать мое присутствие с вами. Поймите, что цель моей жизни — ваша добрая слава. Поймите, что все мои мечтания сосредоточиваются на одном предмете, на том, чтобы ваше царствование было велико и прекрасно, чтобы все лучшие сокровища души вашей, существование которых мне известно, расцвели самым пышным цветом, чтобы наша так горячо мною и вами любимая родина процветала под вашей державой, чтобы от вас исходила только одна справедливость, одна правда. Я молюсь горячо, по целым часам молюсь и плачу, прося Бога, чтобы он помог вам сдерживать дурные инстинкты вашей природы, которые иногда затемняют ваш светлый разум. И я твердо верю, что моя молитва, мои слезы, мои постоянные думы имеют силу. Для них не может существовать этого ничтожного пространства, я всегда с вами. И там, в моем уединении, которое только и дает мне возможность так думать, молиться и плакать — я ближе к вам, чем если бы жила здесь, всегда имея возможность видеть вас и беседовать с вами, но в то же время отдаленная от вас шумом и мелкими волнениями придворной жизни. Вот что я хотела сказать вам, и решайте теперь сами, утешаю ли я вас как ребенок, или в словах моих что-нибудь более серьезное!..

Крупные слезы одна за другой катились по щекам Павла.

— Друг мой, дорогой, святой друг мой, какими словами выражу я вам все, что наполняет мое сердце! — шептал он. — Да благословит вас Бог, вы успокоили мою душу, вы отогнали от меня тревогу и

опасения. Да, вы победили меня. Оставайтесь в вашем Смольном, только молитесь там обо мне, думайте обо мне. И одно мне обещайте, что если придет вам какая-нибудь мысль, которая может принести мне пользу, обещайте, что вы тотчас же сообщите мне ее; так буду делать и я.

— Конечно, обещаю, как же тому и быть иначе? Но и вы, в свою очередь, обещайте мне, государь: почаще вспоминайте обо мне в те минуты, когда чувствуете раздражение. Обещайте мне, что в тот миг, когда гнев закипит в вашем сердце, вы вспомните, что я стою на коленях перед Богом и горько плачу и молю утешить вашу душу и направить стопы на путь правды!..

Она поднялась и стала перед ним. И вся ее маленькая воздушная фигурка вдруг будто выросла. Она преобразилась, светлые глаза ее горели вдохновением, на увядающих щеках заиграл румянец.

Она подняла руку, благословляя его. А он с рыданием упал перед нею на колени. Он забыл все. Он чувствовал только, как святая тишина нисходит в его горячее, наболевшее сердце, как чувство бесконечной любви ко всему чистому и прекрасному наполняет его. Он был счастлив в эту минуту. Она положила свою дрожащую, горячую руку на его голову и вывела его из этого сладкого забытья. Он очнулся, встал и взглянул на нее. Бесконечную благодарность прочла она в его взгляде.

Он был прав, она была его ангелом-хранителем, она была добрым гением его сумрачной, тяжелой жизни.

А, между тем, никто не мог понять, какая таинственная связь существовала между этими двумя людьми, когда-то случайно встретившимися и с первой же минуту понявшими друг друга. Да и что же им было до этого?..

XVIII. ДВЕ ЖЕНЩИНЫ

В это время на пороге гостиной показалась императрица. Она остановилась на мгновение, зорко взглянула на Павла Петровича и Нелидову и слабо улыбнулась.

— Вот и ты, Маша! — каким-то растерянным, мечтательным тоном проговорил император. — Я вас оставлю, мне пора, нынче столько дела.

Он крепко пожал руку Нелидовой, ласково кивнул головой жене и вышел из комнаты.

— Я нарочно промедлила, — заговорила Мария Федоровна, — я знала, что он здесь, и была уверена, что ему есть о чем переговорить с вами. Ведь я угадала?

— Да, вы угадали.

— Теперь постараюсь угадывать дальше, — продолжала она, подвигая себе кресло и глядя в лицо приятельнице своими ясными, светлыми глазами, в которых, однако, иногда трудно было прочесть ее мысли и чувства. — Я полагаю, он просил вас переехать сюда?

— Да, это правда, — тихим и спокойным голосом ответила Екатерина Ивановна.

Императрица задумалась на мгновение.

«Что же дальше? Согласилась она или нет? Он вышел таким довольным, лицо его такое светлое, радостное, восторженное — значит, она согласилась».

— Я надеюсь, вы исполнили желание государя, вполне согласное и с моим желанием? — договорила она.

— Дорогая государыня, я не знаю на этот счет ваших мыслей и прошу вас откровенно их высказать.

Императрица пожала плечами.

— Разве вы можете сомневаться, *chère amie*, в том, что мне приятно постоянно вас видеть? Если стараниями враждебных нам людей между нами и были недоразумения, то все-таки это давно прошло, давно забыто. Да и, наконец, эти недоразумения были невелики. Вы должны знать, как я искренне люблю вас, как я ценю вашу дружбу к моему мужу и ко мне. Я хорошо вижу, что он

нуждается в ваших советах, в вашем успокоительном для него действии. Мы об этом даже с ним говорили, и я, конечно, рассчитываю на ваше согласие переехать к нам, тем более, что это даже необходимо при том официальном положении, которое вы у меня теперь занимаете.

— Я очень счастлива, что слышу эти добрые слова, — сказала Нелидова. — Впрочем, ничего иного я от вас не ожидала услышать, но...

— Что значит это «но»? Что такое вас смущает, друг мой? Вы как будто в чем-то сомневаетесь? — живо перебила ее императрица.

— Я ни в чем не сомневаюсь, мое «но» означает только то, что я, несмотря на всю доброту вашу и государя, решительно и навсегда отказалась переехать во дворец. Я намерена остаться в Смольном, как уже не раз вам говорила.

— Что такое? Что? Вы отказались? Возможно ли это?

Императрица даже поднялась с кресла.

— Возможно ли? Зачем вы оскорбили его вашим отказом?

Но в то же время зоркий взгляд Нелидовой прочел в лице ее, что известие, только что сообщенное, в сущности, было для нее приятно.

— Нет, как же это, — продолжала Мария Федоровна, — надеюсь, однако, он уговорил вас, он никак не ожидал вашего отказа, он был совершенно уверен в вашем согласии.

«Что же в таком случае значит его довольный и радостный вид?» — подумала она.

— Несмотря на все доводы государя, — отвечала Нелидова, — а вы знаете, что он умеет убеждать, я все же выказала большое упорство и в конце концов заставила его согласиться со мною.

— Так вы остаетесь в Смольном, это решено?

— Да, это решено и бесповоротно.

Императрица глубоко вздохнула. С нее спала большая тяжесть.

— Каким же образом вы сумели уговорить его? Вы делаете с ним просто чудеса, моя дорогая... и откуда у вас взялось такое упорство?

— Зачем же вы меня спрашиваете, государыня? — несколько упавшим, утомленным голосом проговорила Нелидова. — Неужели вы не согласны со мною, что я хорошо поступила? Ведь вы сами не хуже меня знаете, что мне не следует покидать ту жизнь, которую я себе устроила. Мне хорошо, надеюсь, что и вам будет теперь хорошо при новых обстоятельствах. А служить вам обоим, любить вас я могу и

оттуда, из своей кельи. Это же самое я сказала и государю и доказала ему, что так будет лучше.

— Что же он?

— Он во всем согласился со мною.

Императрица крепко сжала руки Нелидовой, притянула ее к себе и горячо поцеловала.

— Я всегда знала, что вы самое умное и самое доброе существо, какое мне только привелось встретить в жизни. Я всегда знала, что вы истинный и лучший друг наш, — растроганным голосом говорила она. — Спасибо вам за все, за прошлое, за настоящее и будущее!

Слезы показались на глазах ее. Слезы блеснули и на глазах Нелидовой. Обе они нежно и любовно глядели друг на друга. Прошло несколько минут молчания, но минуты эти не прошли даром. Императрица и Нелидова, молча глядя в глаза друг другу и держась за руки, решили все свои вопросы. Императрица заговорила первая.

— Надеюсь, однако, моя милая, моя добрая Екатерина Ивановна, — сказала она, — что мы будем теперь гораздо чаще видеться, чем в эти последние, тяжелые для всех нас годы?

— Я надеюсь на это, — проговорила Нелидова.

— Да, непременно. Если бы вы знали, как часто мне вас недоставало, как часто мне хотелось вас видеть. Вы ведь не откажетесь бывать здесь? Вы позволите мне навещать вас в вашей келье?

Нелидова ответила благодарным взглядом.

— А летом, — продолжала императрица, — я заранее должна условиться с вами, летом вы будете гостить у нас в Гатчине и Павловске. Дайте мне слово, только под этим условием я соглашусь оставить вас в Смольном. Я знаю, что зимой там хорошо, и что эта тихая жизнь, к которой вы привыкли, согласуется с вашим характером и с вашими занятиями. Но летом оставаться в городе для вас невозможно. Нужно позаботиться и о здоровье. Говорите же: согласны?

— Неужели я стану с вами спорить? Вы мне рисуете прелестную перспективу летнего отдыха в милой Гатчине, в милом Павловске. Я так люблю лето и природу. Вы думаете, я не вспоминаю наши прекрасные прогулки. Ах, я в летние месяцы всегда чувствовала себя особенно грустной. Для меня было большим лишением оставаться в городе. Помните наши прогулки, помните наши заботы о том, как бы

расчистить парк? Помните, как мы с вами придумывали различные беседки, лесные избушки? Воображаю, как теперь там все хорошо!..

— Да, там хорошо, — радостно сказала Мария Федоровна, — я успела в последнее время исполнить все, о чем мы с вами мечтали. И гатчинский парк, и павловский почти окончены. Много мест там вы совсем не узнаете. Подождите только, вот придет весна, и наше старое время вернется. Как я счастлива, что буду там опять вместе с вами!..

Но вдруг улыбка, осветившая все лицо ее, погасла, она грустно опустила голову.

— Государыня милая, что с вами? — заглядывая ей в глаза, почти испуганно воскликнула Нелидова. — Отчего такая внезапная перемена? О чем вы вспомнили, что вас тревожит?

— Многое тревожит, мой друг. Вот я совсем было забылась, поддалась старым, милым воспоминаниям, поддаюсь радости свидания с вами. А между тем, какое же право я имею радоваться! Счастья мало, и нечего надеяться на безоблачные дни. Вспоминая прошлое, мы нередко называем его тяжелым, а между тем, это прошлое гораздо лучше настоящего, потому что...

— Я не совсем понимаю вас.

— Подождите немного, сейчас поймете. Мы томились нашей однообразной, унылой жизнью, я тяготилась моей постоянной тревогой, моими вечными разъездами. А между тем, верите ли, теперь я сожалею о том, что прошло то время. Как ни тяжела была прежняя жизнь, все же это была жизнь частных людей. Теперь и он, и я, мы уже не принадлежим себе. Такая страшная ответственность, такая мучительная неволя! Но я говорю не о себе, я всегда знала, что не могу жить так, как мне бы хотелось, я уж ко всему привыкла — я говорю о нем. Вы думаете, он будет теперь счастлив? Ох, как я боюсь за него!

— И я боюсь тоже, — сказала Нелидова, — но он показался мне таким бодрым. Он проникнут сознанием своего высокого призвания, своего долга. Я старательно разузнавала в это время о каждом его поступке и пока могу только одобрять каждый его шаг.

— Да, вы правы, но ведь вы знаете его так же хорошо, как и я, вы знаете его характер: надолго ли хватит этого терпения, этой сдержанности? Знаете ли вы, что уже кругом во всех я замечаю неудовольствие. Требования его всегда справедливы, но он ставит их так круто, резко и потом, рядом со всякими порывами, перед которыми

можно преклоняться, в нем заметна мелочность, подозрительность какая-то. Она и прежде была, но я с ужасом замечаю, как развиваются в нем эти свойства.

Нелидова сидела, глубоко задумавшись.

— Это очень серьезно, все, что вы говорите, и я невольно с вами соглашаюсь, — произнесла она. — Прошрое не остается бесследно, обстоятельства его жизни развили в нем эти свойства. Я всегда думала, что если бы у него была другая молодость, если бы он воспитался и созрел при иных обстоятельствах — какой бы изумительный пример совершеннейшего государя представил он миру!

— Я тоже всегда так думала! Я хорошо понимаю, что он нисколько не виноват во многих своих недостатках. Поэтому я всегда извиняю ему эти недостатки, но другие не знают и не понимают того, что можем знать и понимать мы с вами. Другие не находят необходимостью прощать ему. Напротив, я с ужасом вижу, как его недостатки преувеличивают, а добрые, лучшие его качества умаляют, не хотят даже замечать их. Он встречается на каждом шагу недобросовестность, и он скоро так привыкнет к этому зрелищу, что начнет, пожалуй, искать недобросовестность и там, где ее совсем нет. Наконец, и этого мало, друг мой, — предвидится опасность не только от недостатков его, но даже и от хороших качеств. Вы знаете, как он щедр и знаете тоже, что до последнего времени его щедрость никогда не могла проявляться в больших размерах: он был всегда стеснен. Мы часто нуждались в самом необходимом. Он поневоле должен был себя сдерживать и часто сильно страдал от этого. Теперь никаких сдержек быть не может. Наша жизнь домашняя не изменилась нисколько и, конечно, не изменится. Ему всего так мало для себя нужно, привычки у него спартанские. Он любит простоту. Он всегда возмущался той безумной роскошью, которая существовала при дворе матушки. Он начал с того, что значительно, даже, быть может, чрезмерно сократил расходы двора: но в то же время он неудержимо стремится расточать свои милости как достойным их, так и недостойным. Знаете ли вы, что в это короткое время раздарены им направо и налево десятки тысяч крестьян, богатейшие земли, лучшие имения? Если он начнет кого-нибудь награждать, то ему трудно уже остановиться. Он теряет всему меру. Чем же все это кончится, что нам делать? Посоветуйте, друг мой!

— Что делать? — грустно проговорила Нелидова. — Наши силы очень слабы в этом отношении, но все же я полагаю, действуя осмотрительно, можно его сдерживать.

— Каким образом? Вы знаете, как редко, будучи в возбужденном состоянии, он способен бывает выслушать совет, противоречащий его желаниям. Конечно, вы всегда умели вовремя останавливать его, но это легко было там, в Гатчине, при нашей совместной жизни. Там все дела, каждый шаг его был нам известен. Легко было следить за всем. Теперь совсем другое.

— Однако вы и теперь можете следить и вовремя узнавать многое. Делайте это и, если вам когда-нибудь не удастся остановить его, известите меня, и я письменно или лично постараюсь действовать на него. Если мы заключим тесный союз с вами, то, быть может, многое нам будет удаваться.

Императрица задумалась.

— Да, вы правы и, во всяком случае, только такой способ действий нам и остается. Итак, решено, в каждом важном случае я буду к вам обращаться, и вы обещайте мне употреблять все ваши усилия, воспользоваться всем вашим добрым влиянием на него, чтобы отвращать его от таких поступков, которые так или иначе могут ему повредить.

— Конечно, ведь это единственная цель моя.

— В таком случае, начните, не откладывая. Не далее, как сегодня, я узнала об одном принятом им решении, которое, кажется, завтра же уже должно быть приведено в исполнение, и которое вооружит против него многих и, во всяком случае, будет истолковано ему во вред.

— Что такое, государыня?

— Представьте себе, он желает уничтожить орден Георгия Победоносца. Он сам сказал мне об этом, но ведь этого нельзя допустить!

— Да, это произведет целую бурю.

— Как же поступить нам?

— Я попробую написать ему, — сказала Нелидова.

— Пожалуйста, я уверена, что письмо ваше на него подействует. Он всегда так радуется, получая ваши письма, перечитывает их несколько раз. Вы умеете так убедительно, так горячо писать.

Пойдемте ко мне в кабинет, составьте письмо, мы прочтем его вместе, а потом вы его пришлите.

— Хорошо, я напишу сейчас. Я всегда лучше пишу под первым впечатлением.

Они заперлись в кабинете императрицы, и через полчаса письмо было готово.

— Вот, — сказала Екатерина Ивановна, — не знаю, одобрите ли вы, государыня, я писала от всего сердца.

— Прочтите, я вся — внимание.

Екатерина Ивановна принялась за чтение своего письма. Она прекрасно писала на изысканном французском языке и умела придавать своим выражениям именно тот оттенок решительности и правдивости, который так любил Павел.

Она писала теперь между прочим: «Подумайте, государь, о том, что в течение долгого времени этот знак отличия был наградой за кровь пролитую, за члены, истерзанные на службе отечеству. Сжальтесь над столькими несчастными, которые утратили бы все, увидев, что их государь оказывает презрение тому, что составляет их славу, свидетельствуя об их мужестве. Если вы имеете намерение упразднить этот орден, вы, переставая возлагать его на ваших подданных, тем самым упраздните его, но пока удостойте почтить носящих его, становясь, при случае, во главе их. Ваше величество может найти разные предлоги, чтобы самому им не украшаться, как, например, тот, что вы не успели его заслужить, так как обстоятельства не дали вам к тому случая, причем вы, умея ценить заслуги тех, которые носят, все-таки можете поставить в удовольствие доказать им ваше уважение вашим присутствием. Простите меня, государь, если мое усердие нескромно, но пока я буду принимать к сердцу вашу славу, и пока любовь к вам ваших верноподданных будет предметом моих желаний для вас, я буду считать моим долгом раскрывать вам мое сердце, насчет всего, что может касаться лично вашего императорского величества. В таких чувствах относительно моего государя считаю я долгом жить и умереть».

— Отлично, отлично! — сказала императрица, дослушав до конца. — Только как мы сделаем, чтобы доставить письмо это? Пришлите его завтра утром пораньше. Потом... постойте... вы не говорите ему, что я сообщила вам о решении... Я знаю, что он говорил

об этом деле с Плещеевым. Сегодня вечером я, наверно, увижу Плещеева и пошлю его к вам. Вы так прямо и напишите, что от него все узнали.

— Хорошо, — сказала Нелидова, — дай Бог, чтобы первая наша проба увенчалась успехом. А теперь пора мне и в мою келью. Я буду ждать Плещеева до девяти часов. До свиданья же, дорогая государыня, да хранит вас Бог!

Они обнялись, крепко поцеловались. И Нелидова своей неслышной походкой направилась к двери.

Будто легкая тень скользила она по обширным дворцовым комнатам. Встречные почтительно давали ей дорогу, низко кланяясь. Она отвечала им грациозным наклонением головы. И вовсе не думала она о том, что оставляла за собою недружелюбный, злонамеренный шепот, в котором ее имя повторялось рядом с именем государя.

XIX. ТЕНИ ПРОШЛОГО

На следующее утро в Смольном монастыре шла торжественная и в то же время печальная обедня.

Это было двадцать четвертое ноября — Екатеринин день, день именин покойной императрицы, которая всегда с такою любовью относилась к монастырю, которая устроила в стенах его «общество благородных девиц».

Это «Общество», этот Институт был одним из дорогих детищ Екатерины. Здесь, по ее плану и даже под ее верховным руководством, воспитывались будущие русские жены и матери.

Императрица часто приезжала отдыхать среди веселой толпы детей и подраставших девочек, которые шумно выбегали ей навстречу, как к любимой матери, никогда не стеснялись ее присутствием, откровенно беседовали с нею, веселили ее своей наивностью, своей живостью. Она зорким, привычным взглядом подмечала среди них самых талантливых и, следя за их успехами, находила время, неустанно предаваясь своим разнообразным занятиям, даже переписываться со своими любимцами. Посещения императрицы составляли самые светлые праздники для маленьких затворниц, и эти праздники часто выпадали на их долю. Еще не очень давно, каких-нибудь месяца два тому назад, была здесь Екатерина, так же мило, ласково и шутливо беседовала она с девочками, каждую из них подарила своей улыбкой. Но даже детские, неопытные взгляды подметили перемену, происшедшую в дорогой гостье за летние месяцы, во время которых ее не видали.

И вот теперь институтки, стоя рядами на своем обычном месте в церкви, молятся за упокой души той, которую так любили, которая на всю жизнь оставила в них самое светлое воспоминание. Едва раздадутся под сводами церковными унылые, за душу хватающие звуки поминального напева, мгновенно склоняются эти длинные ряды детских и женских головок, как один человек падают институтки на колени. Почти все плачут, даже рыдания громкие, неудержимые то там, то здесь раздаются по церкви.

Всем вспоминается этот торжественный день в прежние годы, этот день — чуть ли не самый веселый в году, а теперь что? Ее нет, она никогда не вернется. Их недавно возили всех проститься с нею. Они увидали ее неподвижною, в блеске парчи. Они приложились к ее ледяной руке, взглянули и не узнали ту, которая была перед ними. Многие отшатнулись с криком ужаса. Разве это она? Где ее улыбка? Где ясный взгляд ее светлых глаз? Не она, не она это! Ее больше нет! Для многих из детей это было первое горе, и оно поразило их и изменило внутри их многое. Для них это неожиданное первое горе было прощанием с детской безмятежностью, было вступлением в новую жизнь, где на каждом шагу борьба и страдания. Детский разум, детское сердце остановились пораженные и начали задавать себе серьезные и трудноразрешимые вопросы.

Что же теперь остается? Нужно молиться за нее, горячо молиться! И молятся дети, вслушиваясь в заунывные звуки молитвы, содрогаясь перед таинственной, великой загадкой смерти...

Но горячее их всех, обливаясь вдохновенными и страстными слезами, молится в тихом уголке церкви закрытая от всех взоров колонной Екатерина Ивановна Нелидова.

Она ничего не видит перед собою. Под звуки церковного хора в ее душе звучит другой ответный хор, и все существо ее уносится в блаженный высший мир, который открывается перед нею.

Ей чудится, что издалека, из лучезарной, сверкающей неземным светом вышины к ней доносятся дивные звуки. И она делает над собою последние усилия, чтобы понять значение этой небесной речи, чтобы уяснить себе ее смысл. Ей иногда кажется, что она достигает этого, и блаженная тишина наполняет ее. Но вдруг замирают дивные звуки, она будто просыпается и видит себя в тихом уголке церкви, видит перед собою знакомые лики иконостаса, теряющиеся в облаках ладана. Внутренний, лучезарный мир отлетает, приходят иные грезы.

Она шепчет имя той, о которой все вокруг нее молятся, и невольно, в быстро являющейся и исчезающей картине, мелькают перед нею далекие годы, проведенные ею в этих же стенах. Вспоминается ей, как маленькой девочкой была привезена она из бедной далекой деревеньки своей матери в Петербург, как один из дальних родственников, имевший при дворе связи, устроил ее помещение в Смольный. Перед нею, будто сейчас это было, ее первая

встреча с императрицей. Екатерина ласковым движением подзывает к себе маленькую девочку, берет ее за руку, внимательно в нее вглядывается.

— Ты не скучаешь, дитя мое? Скажи мне правду.

Девочка изумленно смотрит. Что же иное и может она сказать, как не правду? Она еще никогда не лгала и хотя уже знает, что другие иногда лгут, но никак понять не может, зачем они это делают.

— Скучно иногда, но теперь гораздо реже, — отвечает она, робко поднимая свои прекрасные глаза на государыню.

— А учиться любишь? Учись, милая, учись хорошенько, увидишь — чем дальше, тем интереснее будет учиться. Любишь ли ты своих начальниц, своих учителей, своих подруг?

— Люблю, все со мною такие добрые, меня все любят, так как же я могу не любить?

— А меня любить будешь?

Девочка доверчиво улыбнулась и невольным детским движением протянула было руки, чтобы обнять ту, которая спрашивала, но тут же и испугалась своего движения и опустила руки.

Екатерина, улыбаясь, прижала к своей груди девочку и крепко ее поцеловала.

— Ну, ступай теперь к своим подругам. Я буду узнавать, как ты учишься, и если узнаю, что учишься хорошо — это доставит мне большое удовольствие. Помни, что я тебе сказала...

И когда девочка отошла, Екатерина обратилась к воспитательнице:

— Славный ребенок, очень она мне понравилась.

— Точно так, ваше величество, — поспешно проговорила воспитательница, — умная и добрая девочка, все ее сразу полюбили. При этом удивительная понятливость и прилежание. Я так полагаю, что скоро она окажется первой ученицей в классе.

— Значит, я угадала, первое впечатление меня не обмануло.

— Когда же вы ошибаетесь, ваше величество? — прошептала воспитательница.

Екатерина сдержала свое обещание: с этого дня она следила за девочкой, каждый раз осведомлялась об ее успехах, каждый почти раз ласково беседовала с нею.

Прошли года, и маленькая робкая девочка превратилась в разумную девушку. Окончила она свое образование в числе самых первых учениц. Поражала всех скромностью, ясным, серьезным умом и в то же время ровным, веселым характером. И вместе с этим, как и в детские годы, она продолжала не понимать, каким образом существует ложь на свете, и зачем лгут иные люди?

Нелидова не возвратилась в далекую деревеньку своей матери. Бедная незнатная девушка осталась при дворе и назначена была фрейлиной к великой княгине. Вспоминается ей тот вечер, когда она очутилась после своего монастырского уединения среди блеска и шума придворного бала. Она не произвела большого впечатления. Маленькая, далеко не красавица, просто и скромно одетая, она исчезала в толпе великолепных, залитых бриллиантами женщин и девушек. Она любопытно и внимательно вглядывалась во все и во всех, старалась отдать себе отчет в своих впечатлениях.

И вдруг среди этого занятия заметила она пристально устремленный на себя взгляд. Будто прикованная к месту, она остановилась и не могла шевельнуть ни одним членом. Этот взгляд заколдовал ее, произвел на нее странное, магическое впечатление. Сердце ее шибко забилося, и вдруг она почувствовала в этом сердце одновременно и тоску, и радость. Что это было? Предчувствие? А тот, кто глядел на нее, уже был подле и говорил ей что-то. Она очнулась, она подняла на него свои безмятежные, ясные глаза, вслушалась в слова его, и сама с ним заговорила. Заговорила так, как будто встретила старого дорогого друга, будто знала она этого человека долгие годы. Но ведь она в первый раз его видела. Она доверчиво и свободно оперлась на его руку, когда он повел ее в танцевальную залу.

А между тем, она слышала уже о нем много такого, что, по-видимому, не могло расположить ее в его пользу. Но теперь она забыла все, что о нем слышала, она увидела его, она его узнала с первой же минуты. Она не могла в нем ошибиться. Долгие, долгие годы доказали ей потом, что она действительно не ошибалась.

Что это было? Первая девическая любовь? Быть может, но она никогда не задумывалась над свойством своего чувства, никогда, ни разу в жизни не мелькнуло ей в мыслях, что этот человек мог бы быть для нее чем-нибудь иным, как просто другом. И сам он ни разу не навел ее на эти мысли. Она просто и бесповоротно, с первой минуты

встречи, отдала ему всю свою жизнь, все свои помыслы. Она забыла себя для того, чтобы думать о нем, то есть о той пользе, которую она могла принести ему. Она была счастлива, когда видела, что нужна ему, что исполняет свое назначение.

Незаметно промелькнула юность, незаметно прошла молодость. Много горя пришлось испытать честному, самоотверженному сердцу, но это сердце не изменилось, и как в первый день, так и теперь, оно всецело принадлежало ему, этому непонятному рыцарю, этому страдающему искателю правды, этому неустанному борцу с самим собою. И как в первый день, так и теперь, было девственно чисто это сердце, и не было в нем и тени упрека. Она могла оглядываться назад, могла вспоминать каждый день, каждый час своей жизни и не встречала ни одной минуты, за которую могла бы покраснеть, которую хотелось бы вычеркнуть из жизни. Нет, если бы пришлось ей снова жить, она не взяла бы себе иного удела. Она бестрепетно приняла из рук судьбы крест свой и не утомилась под его ношей. Она знала, хорошо знала, что есть другая жизнь и другие радости. Быть может, и в ней шевельнулась когда-нибудь невольная тоска по этим радостям, но она всегда умела легко заглушать в себе тоску эту. Она говорила себе, что нельзя иметь всего, что нельзя всем пользоваться разом, и находила достаточно для себя того, что дала ей жизнь.

И теперь, в этот торжественный день, который ежегодно был для нее радостным днем, который когда-то проводила она в иной обстановке, в тесном гатчинском кругу, где жилось ей, бывало, так привольно, — и теперь она чувствовала себя как всегда спокойной и удовлетворенной.

Обедня и панихида кончены. В церкви началось движение.

Екатерина Ивановна вышла из-за колонны. Она видит, что взоры всех мало-помалу начинают обращаться на нее, к ней подходят почти все, находящиеся в церкви, и поздравляют со днем ее ангела. Ей желают всяких благополучий. Она приветливо, своим тихим голосом благодарит за поздравления и незаметно, затерявшись в толпе молодых, всегда милых ей лиц, выходит из церкви, направляясь по длинным коридорам в занимаемую ею маленькую квартирку.

XX. «В КЕЛЬЕ»

Екатерина Ивановна занимала маленькое помещение, состоящее всего из трех комнат. Никакой роскоши нельзя было найти в этих комнатах, но между тем, всякий, кто входил сюда, не мог не обратить внимания на окружавшую его обстановку, всякому она казалась чем-то особенным, никогда не виданным, и поражала несравненно больше царской роскоши. Причина такого впечатления заключалась в изяществе, в сочетании простоты и художественного вкуса. Между человеком и той обстановкой, в которой живет он, всегда есть много общего. И в особенности женщины умеют внести в окружающее их частичку души своей.

В течение нескольких лет, которые, переехав из Гатчины, Екатерина Ивановна провела в Смольном, она мало-помалу свила здесь теплое гнездышко, всецело отражавшее ее образ. Она любила все красивое, все изящное. Но ведь красивое и изящное можно найти и в самых дорогих, и в самых дешевых предметах. У нее не было возможности окружить себя предметами дорогими, да и к тому же она находила это излишним: все, что принадлежало ей, было очень дешево и в то же время прелестно. В ее светленьких комнатах оказывался, однако, и излишек: в них постоянно было слишком много цветов. Был такой же излишек в другом — а именно в книгах. Цветы и книги составляли слабость Екатерины Ивановны, и на них она иногда решалась тратить частицу своих маленьких средств, которые, главным образом, раздавались ею бедным людям. К тому же, все, кто знал и любил Екатерину Ивановну, знали также ее слабость к цветам и книгам, и нередко находила она, возвращаясь из церкви или из своих редких поездок в город, какое-нибудь новое красивое растение, присланное ей от друзей ее, или пакет с только что вышедшими как за границей, так и в России книгами. Часто она не могла даже узнать, откуда ей такой подарок, но она догадывалась, конечно, что почти всегда он идет от Павла Петровича или от Марии Федоровны. Так оно и было в действительности.

С первых еще лет юности, с первого времени своего житья в Гатчине Екатерина Ивановна пристрастилась к чтению. Хотя она и

блистательным образом окончила институтский курс, но без труда поняла, что ее знания недостаточны: она была только подготовлена к тому, чтобы продолжать теперь свое образование без помощи учителей, продолжать своими собственными средствами. И она принялась за это дело. Она перечла и изучила все, что только было ей доступно, она хранила в своей отличной памяти самые разнообразные предметы. И в редких случаях, когда ей приходилось беседовать с людьми действительно образованными, она поражала этих людей своими знаниями, начитанностью, ясным взглядом на вещи.

Она любила также искусство, и хотя в ней не было особенного таланта, но было его достаточно, чтобы доставлять себе самой удовольствие. Она очень мило рисовала, с большим чувством играла на клавесине и часто, среди тишины Смольного, из ее окон доносились хватающие за душу звуки. По целым часам забывалась она и не замечала, как ноты, которые она разбирала, оказывались на полу, и как ее маленькие тонкие пальцы, бегая по клавишам, фантазировали и верно передавали ее душевные ощущения, ее мысли и грезы. У нее не было слушателей, и некому было решать, насколько музыкальны, насколько ярки ее фантазии. Они ее удовлетворяли, с их помощью она проводила тихие, волшебные часы, совсем отделяясь от земли, а когда возвращалась на землю после такого сладкого забытья, то чувствовала себя освеженной, ободренной, готовой с благодарностью к судьбе продолжать свое мало кому ведомое, исполненное никем не понятых радостей и страданий существование. Теперь, возвращаясь к себе из церкви, Екатерина Ивановна была занята одною мыслью: удалось или нет ее дело, вчера задуманное ею вместе с императрицей. Как и было между ними условлено, вечером к ней приезжал Плещеев. Он подтвердил ей слова императрицы, передал подробности разговора с ним государя относительно уничтожения ордена Св. Георгия. Он разрешил ей в письме к государю упомянуть, что именно от него она слышала об этом деле. Она переписала свое письмо, и рано утром оно было доставлено Павлу Петровичу. Теперь уже мог быть ответ от него, и, вероятно, этот ответ ее ожидает. Да и во всяком случае он, наверно, сегодня пришлет весточку. Он никогда не забывал этого дня. И как хорошо, что все это случилось именно в этот день! Она торопливо вошла к себе, спросила, есть ли письма на ее имя. Прислуживавшая ей девушка отвечала, что недавно принесли из дворца письмо и посылку.

— Пожалуйста, сойди вниз, — своим неизменно ласковым тоном проговорила Екатерина Ивановна, — и скажи швейцару, что если кто-нибудь будет меня спрашивать, то чтобы он всем говорил, что я сегодня нездорова и потому никого не принимаю.

— Уже многие приезжали с поздравлением, — отвечала девушка.

— Так, пожалуйста, распорядись поскорей.

Это приказание было отдано вовремя, потому что к Смольному то и дело стали подъезжать кареты. Многие из членов петербургской знати после обедни во дворце сочли нужным заехать поздравить именинницу, новую кавалерственную даму и камер-фрейлину. Между тем, Екатерина Ивановна, рассеянно взглянув на большой ящик, стоявший на столе в ее маленькой гостиной, порывисто и в волнении распечатала письмо, лежавшее на этом ящике. Она жадно пробежала строки, написанные давно и хорошо знакомым ей почерком.

«Дорогой друг мой, — читала она, — прежде всего от всей души и от всего сердца поздравляю вас с ангелом, глубоко сожалею, что не придется сегодня вас увидеть, — такой тяжелый день! Не предвижу ни минуты свободной, потому даже и не зову вас, а приехать к вам на минутку, сами знаете, возможно ли нынче это? Но я бы сделал и невозможное, да боюсь, что вы рассердитесь, а сердить вас сегодня я не желаю ни под каким видом.

Посылаю вам маленькую память о сегодняшнем дне и пуще всего желаю, чтобы вы одобрили мой выбор и страшусь, ибо вы не раз говорили, что у меня дурной вкус.

А затем перехожу к тому, что вас, вероятно, всего больше интересует: я получил милое письмо ваше и несколько раз перечел его и обдумал то, что вы мне пишете. Зачем Плещеев разболтал вам? Я его на сие не уполномочивал, но ради сегодняшнего дня сердиться на него не стану. Что же мне ответить? Если бы я даже полагал, что вы неправы, я не мог бы сегодня отказать в вашей просьбе: вы очень хитры и, по обычаю, и на сей раз верно рассчитали. Но успокойтесь, мой друг, я согласен с вами, вы меня убедили, я отказываюсь от своего намерения, — орден не будет уничтожен. Довольны ли вы? Скажите, что довольны, я только этого и желаю. Ваш преданный Павел».

— Слава Богу! слава Богу! — радостно прошептала Нелидова и даже перекрестилась. — Но что же это за память? Что в этом ящике? Зачем это?..

Она покраснела. Ей вдруг стало неловко, почти даже обидно. Она развязала шнурок, открыла ящик. Перед нею был маленький саксонский сервиз, так называемый «déjeuné» ^[21]. Она очень любила саксонский фарфор, и этот «déjeuné» был прелестен, совсем в ее вкусе, такой светленький, простенький и в то же время необыкновенно изящный. Она невольно осматривала каждую вещицу, восхищалась, расставила все на столе и любовалась несколько мгновений. Но вдруг она заметила, что не все еще выбрала из ящика, что там лежит еще что-то, завернутое в тонкую розовую бумагу. Она раскрыла — кожаный футляр! «Что же это?» Внезапно краска залила все лицо ее, так что даже совсем покраснели ее маленькие уши. Полоса солнечного света, пробивавшаяся из окошка и падавшая прямо на стол, перед которым она стояла, озарила футляр, и загорелись, заиграли разноцветными огнями крупные, великолепные бриллианты дорогой парюры. Екатерина Ивановна захлопнула футляр и оттолкнула его от себя.

— Это невозможно! — говорила она сама с собою, быстрыми шагами ходя по комнате. — Когда же он, наконец, поймет меня? Разве он не знает, что оскорбляет меня подобными подарками?.. Да и к чему мне это? Разве когда-нибудь я надену на себя эти каменья? И в молодости-то не носила, так уж, конечно, под старость носить не буду... И каких денег это стоит! Откуда только берутся эти деньги? Будто им и конца нет, будто их неиссякаемый источник! Сам же ведь говорит, что денег мало, а нужд много. Зачем он меня сердит, а сам пишет, что сердить сегодня не может? Как смеет он присылать мне такие вещи? Как будто мало этого прелестного «déjeuné»!..

Она уже сердилась, что так редко бывало с нею, она чувствовала себя оскорбленной, чувствовала, как поднимается в ней негодование. Но долго негодовать и сердиться она не была в силах. Ей вспомнилось доброе и ласковое лицо его; такое лицо у него всегда бывало в минуты их дружеских бесед. Она поняла, что напрасно его обвиняет, поняла, как, должно быть, было ему приятно выбрать для нее и послать ей подарок, — первый «драгоценный» подарок. Он так часто говорил в прежнее время, что его мучает невозможность дарить как следует близких ему людей.

— Странные понятия, однако! — шепнула Нелидова. — Ведь должен же он знать, кому что нужно... Он не хочет сегодня сердить

меня, а уж рассердил, ну, так и я рассержу его, хоть он и исполнил мою просьбу... Ведь не могу же я принять от него эти бриллианты, а главное, нужно сразу положить этому конец, чтобы не было повторений...

Она припомнила свой вчерашний разговор с императрицей и снова покраснела.

— Сейчас же, сейчас напишу ему и возвращу ему его бриллианты!

Она подошла к письменному столу и своим тонким, красивым почерком написала:

«Ваше императорское величество, соизволите допустить, чтобы, не изменяя своего образа мыслей, я поступила так же, как и всегда поступала в подобных случаях. Вы знаете, что, ценя по достоинству дружбу, которую вы с давних пор мне оказываете, я умею ценить единственно это чувство, и что дары ваши всегда мне были более тягостны, чем приятны. Позвольте мне умолять вас не принуждать меня к принятию того подарка, который я осмеливаюсь возвратить вашему величеству. Вы должны быть спокойны насчет чувства, заставляющего меня так поступать, потому что я в то же время с благодарностью принимаю фарфоровый «déjeuné».

Она запечатала свою записку, завернула футляр и позвала горничную.

— Отдай Семену вот это и скажи, чтобы он, как можно скорей, свез во дворец для передачи государю... Да пусть поторопится, и чтобы было передано в собственные руки. Ответа не надо.

— И Семена нечего посылать, сударыня, он может еще вам понадобится, из дворца есть посланный, принес вот эту записку, он еще здесь, я поручу ему, если прикажете...

— Записку? Подожди, быть может, нужно будет ответить.

Она узнала почерк императрицы.

Мария Федоровна, в свою очередь, поздравляла ее, сожалела, что не будет иметь возможности ее навестить, но завтра утром постарается быть у нее. «Государь уже писал вам, — заканчивала она, — но не знаю, сообщил ли он о предмете, нас интересующем... Я могу вас успокоить и обрадовать. Письмо ваше, полученное рано утром, возымело желаемое действие: он сам сказал мне, что отказывается от своего намерения. Мне остается только благодарить вас, потому что

единственно с вашей помощью и можно было отклонить его от этого необдуманного поступка, который мог бы иметь столь печальные последствия. Итак, до завтра, моя добрая Катерина Ивановна, спешу, сегодня ужасный день во всех отношениях — и по печальным воспоминаниям, и по тем хлопотам, которые начались уже с раннего утра. О, если б вы знали, как я завидую вашему уединению и спокойствию! Крепко обнимаю вас, добрый друг мой, так же крепко, как нежно люблю вас».

— Вот и нужно ответить! — сказала Нелидова, обращаясь к горничной. — Подожди, я сейчас кончу.

Она в горячих выражениях благодарила императрицу и не преминула известить ее о подарке, который так ее растревожил и который она возвращала. «Если доведут об этом до вашего сведения, — писала она, — заступитесь за меня и объясните то, что побуждает меня так действовать. Я уверена, что вы поймете мои ощущения, и уверена, что и вы точно так же бы поступили на моем месте».

Отправив письмо и футляр, Екатерина Ивановна снова подошла к столу, на котором был расставлен «déjeuné», снова стала любоваться изящными вещицами. Она почувствовала аппетит, и, когда горничная вернулась доложить ей, что приказание исполнено, она велела подать себе завтрак с тем, чтобы обновить подарок своего старого, дорогого друга, с которым ей так трудно было ладить.

XXI. ЧТО ЭТО С НЕЮ?

Каждому дню свои злобы, — но проходит день и вместе с ним проходит и злоба его. То, что казалось важным, что представлялось полным значения и интереса, то внезапно забывается и исчезает, заменяясь чем-нибудь новым, что кажется несравненно важнее и значительнее, и что, в свою очередь, исчезает с последними лучами своего дня, чтобы уступить место опять иной злобе, иному, восставшему в своем временном блеске, событию.

Таков закон природы. Таково свойство натуры человеческой, склонной нестись постоянно вперед и легкомысленно забывать прошлое. Но есть и другие законы, по которым это прошлое укладывается мало-помалу, по мере своего совершения, оставляет следы свои в обрывках человеческой памяти, в предметах вещественных, в записанных документах, — и следы эти сохраняются иногда случайно, иногда сберегаемые чьей-нибудь благоразумной рукою.

Время идет и творит свою вечную, неустанную работу. Проходит много времени. Иногда человек, не способный удовлетворяться злобою дня, утомленный этою злобой, любит отойти от себя и заглянуть в далекое прошлое, в чужое прошлое, которое тем не менее получает для него значение. Ведь это прошлое — общечеловеческое и не может не заинтересовать всякого живого человека.

И вот далекая, чужая злоба дня, записанная или сохранившаяся в чьей-либо памяти, как старое сказание, является совсем в ином виде, в ином освещении. Она теряет то значение, в каком представлялась современникам, занимает подобающее ей место, и человек, всматривающийся в даль прошедшего, легко понимает ее истинный смысл, ее действительную важность. Часто приходится ему изумляться, когда он встречается с доказательствами непонимания, с каким современники относились к тому или другому занимавшему их явлению. Он видит, что иногда явление, само по себе незначительное, производило впечатление несравненно сильнейшее и продолжительнейшее, чем явление действительно крупное, имевшее большие последствия. Иногда изумляется он людской забывчивости:

прошумело какое-нибудь событие, у целого общества было на устах чье-нибудь имя, все были заняты чьей-нибудь судьбою и вдруг — обрываются нити, и человек, разбирающийся в прошлом, не может доискаться конца истории. Все забылось, нахлынули новые волны иных событий, затерялась судьба человека, имя которого смущало столько сердец, вызывало такие горячие порицания или такие восторги. Никому вдруг не стало дела до этого человека!..

А между тем, ведь всякое событие, всякая судьба души человеческой должны быть исследованы до конца, для того чтобы их можно было ясно и верно понять, для того чтобы они получили свое настоящее место в истории человечества.

И особенно тяжело становится, когда среди тумана прошедшего вдруг выступит светлый и чистый образ, который по каким-либо обстоятельствам вызвал мгновенно всеобщее сочувствие и вдруг, блеснув прекрасным светом, померк и забылся. Таких чистых, светлых образов вырастает немного — и в интересах развития души человеческой следует сохранять о них воспоминание и бережно передавать их следующим поколениям. Пусть эти чистые образы, озаренные случайной злобой дня, не имели никакого влияния на судьбу государств и народов, но они, во всяком случае, представят собою пример и урок, нужный для последующих поколений.

Нежданная кончина Екатерины, ожидания, тревоги и волнения, соединенные с началом нового царствования, естественно, заставили забыть все те интересы, которыми еще за несколько недель перед тем жило петербургское общество. И тут совершилось нечто в высшей степени несправедливое, и жестокое, что обыкновенно совершается в подобных случаях: петербургские люди, в новой злобе дня, совершенно позабыли об одном существе, имя которого еще так недавно повторялось всеми, трогательная судьба которого заставляла интересоваться собою даже самых холодных и мало чувствительных людей. Недавнее прошлое было забыто, как будто его никогда и не было. Память о нем сохранилась только в тесном кружке семьи царской, но и здесь новые интересы поглощали внимание всех, и здесь была невольная несправедливость.

Великая княжна Александра Павловна почувствовала себя совершенно одинокой со своим тяжелым горем. Несмотря на всю любовь к ней родных, на нее теперь обращали слишком мало

внимания, и она, как цветок, едва распустившийся и уже подкошенный недавно налетевшей весенней бурей, бледнела и увядала среди роскоши Зимнего Дворца, где еще так недавно познала сказочное, погубившее ее счастье.

Что такое была она, эта девушка-ребенок? Она не являла в себе зачатков гениальности своей бабки, она не совершила никакого подвига, она просто погибала, насмерть раненная бессмысленно направленной рукою, погибала жертвою чужих ошибок, чужих пороков, чужой настойчивости и честолюбия, которым даже трудно найти объяснение: Но душа ее, прозрачная, как хрусталь, и рожденная в среде, где кипели все человеческие пороки, она была чужда этих пороков. Ее помыслы были чисты, ее чувства были святы. Она была непричастна злу, которое ее окружало. Казалось, ее все любили, казалось, иначе не могло и быть, такое светлое, такое чарующее впечатление производила она своей красотой и своей детской невинностью, своей кротостью и добротою. А между тем, будто нарочно был составлен против нее заговор для того, чтобы истерзать ее, провести через все пытки, каким только можно подвергнуть ребенка и женщину. О ней стоит подумать и не следует забывать судьбу ее...

Если бы тот, кто не видел великую княжну в течение последних трех месяцев, теперь встретился с нею, то вряд ли бы узнал ее, — так она изменилась. Недавно она была свежим, веселым ребенком, теперь казалась уже совершенно взрослой девушкой. Она стала несравненно лучше, чем прежде, ее прелестное, оригинальное лицо получило новое очарование. Следы тяжелого страдания на молодом лице представляют собою высшую прелесть, высшую красоту, но эта красота такого рода, что тяжело и невыносимо ею любоваться.

Мало кто видел теперь великую княжну: она появлялась перед посторонними только в крайнем случае. Она почти все дни проводила в своих комнатах, встречалась с отцом и матерью только во время завтрака и обеда, и нужно было видеть, как мужественно несла она свое горе, которое удвоилось теперь новой, страшной для нее утратой — утратой любимой бабушки. Великая княжна, очевидно, поставила своей задачей, своим священным долгом скрывать ото всех, а главным образом, от отца с матерью, ту невыносимую тоску, которая ее не покидала и отравляла каждую минуту ее жизни. Она, эта

четырнадцатилетняя девочка, делала над собой необычайные усилия, на какие вряд ли была бы способна и зрелая, давно привыкшая владеть собой женщина.

И она достигала своей цели. Появляясь к столу, она имела спокойный и бодрый вид, и если бы не бледность, заменившая прежний ее румянец, она могла бы обмануть самый внимательный, заботливый взгляд. Она, мужественно борясь с собою и насильно отрываясь от своего внутреннего существования, по-видимому, принимала участие во всех интересах, которыми жили ее близкие. Она спокойно беседовала, даже улыбалась. Она подмечала, что за нею наблюдают. Но ведь им так горько было бы видеть ее страдания! При этой мысли ее силы удваивались. Она обманывала и отца, и мать и мало-помалу доводила их до уверенности, что успокоилась, что благополучно пережила недавние волнения. Одно можно было только в ней заметить, — ее упорное желание каждый раз, как только оказывалось это возможным, спешить к себе, скрываться в своих комнатах. Она чувствовала, что есть предел ее силам. Час, другой тяжелой борьбы с собою чересчур утомляли ее, ей нужно было отдохнуть, чтобы подготовиться к новому испытанию.

И только что оказывалась она в своей тихой комнате, только что, благодаря употребляемым ею маленьким хитростям, ей удавалось остаться одной, вдали от посторонних наблюдающих глаз, она мгновенно преображалась: о бодрости и спокойствии уже не было и помину. Лицо ее, которым она за несколько минут до того так хорошо владела, вдруг выдавало все ее внутренние ощущения. Оно внезапно тускнело как-то, бледнело еще больше, на него ложилась мертвенная тень, и никто бы, взглянув на нее в эти минуты, не сказал, что это еще совсем ребенок. Она делалась утомленной жизнью женщиной.

Но отчего же она так страдала? Ведь вся жизнь еще была у нее впереди!.. Ее воспитательница, госпожа Ливен, не раз утешала ее подобными суждениями.

— Дорогая моя, — говорила она ей, — зачем вы себя так мучаете? Ведь вы умны, рассудите же хорошенько; я знаю, вы привязались к вашему жениху, вы были уверены, что скоро должна состояться ваша свадьба... Случилось неожиданно неприятное обстоятельство... ваш жених очень молод, неопытен, он поступил неосмотрительно... странно... ваша свадьба отложена; но ведь и только. Будьте спокойны и

знайте, что если вы продолжаете любить его, то разлука ваша, может быть, окончится довольно скоро. Уверяю вас, дело это вовсе не расстроено, и обстоятельства таковы, что непременно все завершится вашей свадьбой. Зачем эта печаль? Зачем эти слезы, которые я постоянно вижу на глазах ваших, хотя вы и стараетесь их скрыть от меня?

— Разве у меня мало причин плакать? — тихо отвечала великая княжна.

Госпожа Ливен отходила, видя, что ей нисколько не удалось ее успокоить.

«Быть может, она грустит о бабушке, она так ее любила», — думала она.

Великая княжна грустила и о бабушке, и о бабушке иной раз плакала она, но это семейное горе все же уступало место ее личному горю. Слова госпожи Ливен, ее уверения, что все завершится счастливым браком, нисколько на нее не действовали: она очень хорошо и давно знала, что никакого счастливого брака не будет, что она никогда уже, ни разу в жизни, не встретится с Густавом. О! Если бы у нее оставалась хотя какая-нибудь надежда! Разве бы она стала так мучиться даже и тогда, если бы она знала, что пройдут годы, много лет в разлуке, но затем наступит все же встреча, и Густав вернется прежним Густавом, которого она увидела в тот незабвенный день, когда бабушка вывела ее к нему. Она бы не стала терзать себя. Она ждала бы спокойно, сколько бы ни пришлось ждать... Но она знала, что прошлое не вернется. Он не оставляет мысли на ней жениться, госпожа Ливен уверяет, и, конечно, она говорит правду, что он прислал государю письмо, где извиняется за сделанную им неловкость и обещает, что в скором времени все затруднения будут устранены им. Теперь он достиг своего совершеннолетия, у него много дел, но он спешит с окончанием всех этих дел и при первой возможности совершит то, что составляет предмет его страстного желания. Он просит смотреть на него как на будущего родственника...

Все это так, и, может быть, он даже пишет искренне, и, может быть, он сам думает, что непременно все завершится их браком, а между тем, она отлично знает, что никогда этого не будет. Кто же сказал ей это? Почему она знает? Потому что он умер, прежний Густав, а тот, кто называется теперь его именем, тот, кого признают

теперь королем Швеции, — неизвестно кто, чужой ей совсем человек... Да, прежний Густав умер. Тот Густав, который стоял перед нею в розовой бабушкиной гостиной, который обратился к ней с робким первым приветствием, — он был лучше всех в мире, всех добрее, всех благороднее. Он так горячо, так искренне любил ее. Он дал ей такое счастье, о каком прежде она никогда и не грезила, которое повергло ее в необычайное изумление и восторг...

И вдруг... его не стало, доброго, любящего Густава... вдруг он умер, на его место явился этот новый, ужасный... Он принял его образ. Она встретила этого нового человека тогда, 12-го сентября вечером, когда ее насильно заставили показаться на балу. Она взглянула на него и тотчас же увидела, что это не ее Густав, что это бессовестный самозванец. Страшный ужас наполнил ей сердце, она едва вышла из залы и потеряла сознание. И с тех пор, что бы ей ни говорили, как бы ни уверяли ее, — она знает, что ее Густав умер. Пусть этот самозванец приезжает за ней, пусть он возьмет ее и увезет в Швецию, все равно она умрет там, потому что его, ее дорогого друга, ее милого принца мелькнувшей перед ней и исчезнувшей сказки не будет с ней — он умер...

Что же! Вот и она умирать начинает, и она умрет скоро, иначе быть не может. Это она знала хорошо, знала, что недолго уже ей жить на свете, а ей всего четырнадцать лет. А ей говорят, что впереди у нее целая жизнь... Что впереди? Впереди ничего, кроме медленно приближающейся смерти: жизнь позади осталась. Ведь когда была «такая» жизнь, когда было и ушло «такое» счастье, то иная жизнь несет с собою смерть. Воскресить ее может только возвращение прошлого блаженства, но оно никогда не вернется, потому что того, кто принес с собой это блаженство, нет...

День наступал, день проходил, проходили недели, и она все больше и больше убеждалась в том, что умирает. Какая это мучительная, какая странная смерть — ничего не болит, она движется, как и все люди, так же, как все, спит и ест. Она делает над собою усилие, — видит и понимает, что кругом нее творится. Она разговаривает со всеми, рассуждает обо всем, читает и понимает прочитанное, а между тем, она умирает! Она улыбается, чтобы доставить удовольствие отцу, который так пристально, так пытливо на нее смотрит, который, очевидно, так хочет видеть ее счастливой и

довольной. Она, в угоду ему, шутит и достигает того, что шутки ее выходят остроумны. А все же она умирает!

Зачем же ей сулят что-то? Зачем хотят обмануть ее, и отчего это никто не видит и не понимает, что смерть ее близка? Да и хорошо умереть...

Она дошла до этой мысли и с радостью на ней остановилась, и с тех пор эта мысль ее не покидает, и с тех пор, с каждым днем, она, даже оставаясь сама с собою, становится спокойнее. Хорошо умереть, когда нет жизни и когда наверное знаешь, что ее никогда не будет. Когда только придет эта смерть? Когда окончится это томительное, долгое умиранье?..

А между тем, госпожа Ливен тревожно следит за ней. «Нет, в таком положении оставлять ее опасно, — решает, наконец, она, — нужно поговорить с государем — если кто может ее успокоить, то один он!..» И она, выбрав удобную минуту, сообщила Павлу Петровичу о положении его дочери.

— Опасно!.. Вы меня пугаете, — встревоженно сказал он, — Боже мой! Столько дел, столько, что я даже ничего не заметил, мне казалось, напротив, что она совсем успокоилась, я решил, что в ее годы горе забывается скоро.

— Да, это очень часто так бывает, ваше величество, но великая княжна развивается совсем иначе, чем другие. Если я решилась говорить с вами, то единственно потому, что считаю дело очень серьезным.

— Что же вы замечаете?

— Она необыкновенно сосредоточена, я осторожно слежу за нею, я часто гляжу на нее тогда, когда она воображает, что ее никто не видит, и, уже не говоря о том, что она часто тихонько плачет, у нее временами бывает такое странное лицо, она так невыносимо глядит, будто ничего не видя перед собою, она сама с собою шепчет, у нее по временам является необыкновенная болезненная слабость, которую она не в силах даже скрывать, и, между тем, я знаю, как она хорошо владеет собою...

Павел побледнел. Госпожа Ливен заметила эту бледность, на ее глазах выступили слезы.

— Простите меня, ваше величество, я доставила вам большое огорчение, но я считала своим долгом сказать все, что думаю. Мне

кажется, что только вы помочь можете. Вы никогда не говорили с нею об этом предмете, попробуйте, ваше величество.

— Благодарю вас, — задумчиво проговорил Павел, протягивая ей руку. — Прошу, позовите ко мне дочь мою.

По уходе воспитательницы он тревожно стал ходить, сжимая рукой себе голову, как всегда делал в минуты крайнего душевного возбуждения.

«Она вряд ли ошибается, — думал он, — она умна и наблюдательна, и она хорошо знает бедную девочку. Если так, делать нечего, придется отдать ее этому дрянному мальчишке!.. Быть может, он когда-нибудь одумается, быть может, она сумеет подчинить и его своему доброму влиянию...»

Великая княжна не заставила себя ждать. Она робко вошла в кабинет отца, изумленная, зачем это он позвал ее.

— Что вам угодно, папа? — спросила она, поднимая на него свои кроткие глаза.

Он пристально, пристально всматривался в нее. Сердце его защемило. Он увидел, что госпожа Ливен сказала ему правду, что его «малютке» действительно плохо. Он крепко ее обнял с такою нежностью и такой тоскою, как никогда в жизни. Она спрятала на его груди свою головку и вдруг зарыдала.

— О чем ты плачешь, дитя мое, моя добрая Саша! Что с тобой?

Он посадил ее к себе на колени, не выпуская из своих объятий. Она сдержала рыдания, подняла голову, взглянула на него. Но он уж и сам плакал.

— Успокойся же, мой ангел, — говорил он так тихо, так нежно, таким голосом, какого она никогда от него не слыхала. — Успокойся, я позвал тебя потому, что у меня есть кое-что сообщить тебе, мне нужно кое о чем спросить тебя, посоветоваться с тобою.

— Я слушаю, папа. И вот видите, я спокойна.

Она улыбнулась ему побледневшими губами.

— Послушай, Саша, ты должна догадаться, о чем я буду говорить с тобою. Ты хорошо знаешь все, что случилось в сентябре месяце, и я повторять этого не стану. Ты знаешь, что все произошло оттого, что оказалось несколько недоразумений. Некоторые люди взялись за дело не так, как бы следовало. Король Густав продолжает настаивать на своем желании получить твою руку. Генерал Клингспорр приехал от

него и находится в настоящее время в Петербурге. Теперь есть возможность вести переговоры совсем иначе. Тогда вела их твоя покойная бабушка, теперь буду вести я. Мы обойдем прежние недоразумения. Я сделаю все, что от меня зависит, ради твоего счастья, но если мне придется решиться на какие-нибудь уступки, я должен, по крайней мере, знать, что делаю это для тебя. Как же ты прикажешь мне, моя дорогая? Во что бы то ни стало сделать тебя шведской королевой, да? Ведь так? Ведь это нужно?

Она покачала головою.

— Нет, папа, мне ничего не нужно, и вы, пожалуйста, меня ни о чем не спрашивайте. Я знаю — ведь главный вопрос о моем переходе в лютеранство, но я православная и всегда останусь православной.

— Хорошо, я рад это слышать. Впрочем, я и был уверен, что таково твое решение. Они уступят... они должны будут уступить. В этом главный вопрос, а затем уже с нашей стороны могут начаться уступки. Так успокойся же и знай, я тебе говорю это не как пустое обещание, а говорю серьезно и решительно, и ты должна мне верить, — знай, что ты будешь шведской королевой!

— Папа, папа, совсем не то! — опять прижимаясь к отцу и крепко его обнимая, проговорила великая княжна. — Не делайте никаких уступок — этого не должно. Я говорю вам правду, как перед Богом, что мне ничего не надо, что я вовсе не хочу быть шведской королевой. Поверьте мне, если дело и будет устроено, это все меня не обрадует. Мне ничего, ничего не надо...

Он с изумлением глядел на нее. Она говорила так горячо, так искренне, к тому же он знал, что она всегда была правдива, что она не способна кривить душою. Он не понимал, в чем дело.

— Отчего же ты так печальна? Отчего ты так побледнела? Я думал, что всему виною Густав, его отъезд. Скажи мне правду, отчего ты такая стала? Что с тобою?

— Я сама не знаю, — прошептала она.

— Ты больна? Что у тебя болит? Скажи мне.

— Ничего не болит, и все болит, папа. Да, может быть, это правда, что я больна... мне тяжело... иногда дурно мне... и я чувствую большую слабость...

Он печально задумался, еще раз ее обнял.

— Так ступай, малютка, и успокойся, ты больна, тебе полечиться нужно... Тебя скоро вылечат...

Она хотела было сказать ему что-то, но остановилась и, тихо, печально ему улыбнувшись, вышла из кабинета.

Она хотела ему сказать, что ей незачем лечиться, что она все равно умирает, но ей было жалко испугать его — и она ничего не сказала...

XXII. КОНЕЦ СКАЗКИ

Наконец, наступил день, так давно ожидавшийся Сергеем и Таней.

Длинная сказка со злыми и добрыми волшебниками, со всевозможными препятствиями и превращениями, наконец, должна была завершиться счастливой развязкой. По воле судьбы совершалось, давно и неизменно предназначенное, по убеждению карлика Моськи, соединение двух людей, когда-то, почти еще в детские свои годы, почувствовавших страстное влечение друг к другу и оставшихся верными этому влечению, несмотря на все преграды, которые жизнь ставила между ними.

Карлик Моська, этот мудрый, хотя и не признанный философ, конечно, был прав, утверждая, что они созданы друг для друга. Но дело в том, что он очень легко мог ошибиться, основывая на этом обстоятельстве неизбежность их соединения. Несмотря на всю свою мудрость, он забывал, что в жизни очень часто соединяются именно те люди, которые вовсе не созданы друг для друга, а родственные натуры разметываются в разные стороны неизбежной, но слишком часто совсем не понятной и, по-видимому, злой судьбою.

Злая судьба смеется над человеком, шутит с ним злые шутки, заставляет сердце человеческое исходить кровью, тогда как то, что могло бы дать ему успокоение, дать ему возможное на земле счастье, было от него так близко, так достижимо. Но замешалась судьба, сшутила свою шутку, и то, что было близко и достижимо, отдалилось за тридевять земель в тридесятое царство, куда нет доступа, куда не проведет никакой добрый волшебник...

Но кто знает, быть может, людям только кажется, что судьба зла и насмешлива, быть может, люди клеветают на судьбу, не понимая высших законов, высшей справедливости, высших целей, по которым, может быть, и нужно, чтобы сердце человеческое исходило кровью, нужно для того же самого сердца...

Как бы то ни было, судьба давала Сергею и Тане редкую возможность благодарить ее. Судьба исполняла их желания, согласовала эти желания со своей неведомой целью.

Пройдет еще день — и после многих лет невольной разлуки Сергей и Таня соединятся с тем, чтобы уже не разлучаться до скончания дней своих.

Прах великой Екатерины и прах Петра III перенесены из Зимнего дворца и покоятся в Петропавловском соборе.

Государь объявил Сергею, что он находит теперь возможным обвенчать его с Таней. Он назначил венчание в дворцовой церкви. Приглашенных было очень немного. Конечно, не предполагалось никакого торжества. Венчание должно было совершиться в шесть часов вечера.

Сергей весь день проводил у себя. Он, по обычаю, не мог быть до самого венца с невестой. А видеть кого-нибудь из посторонних ему не хотелось. Он сделал исключение для дяди Нарышкина, который был в числе приглашенных на свадьбу и теперь заехал провести племянника.

Лев Александрович очень изменился со дня кончины императрицы. На нем можно было видеть, что значила Екатерина для людей, давно и близко ее знавших. Он, этот шутник и весельчак, он, счастливый сибарит, всю жизнь отстранявший от себя мрачные мысли, искавший только во всем забавную и смешную сторону, умевший с философским хладнокровием выходить из самых затруднительных и печальных обстоятельств, — он забыл теперь всю свою житейскую философию, потерял свою природную веселость и некоторое легкомыслие, не пропадавшее в нем даже и в самые зрелые годы.

Еще недавно, еще несколько недель тому назад, несмотря на следы времени, которое хотя и обращалось с ним очень бережно, но все же не забывало его, он оставался еще «Левушкой», неизменным «Левушкой» первых лет славного Екатерининского царствования. Он ни за что не хотел признавать прав и обязанностей своей старости, он молодился, бодрился насколько сил хватало.

А теперь никто уже не называл бы его «Левушкой». Это был старик, проживший очень широко, очень весело, безо всяких стеснений, безо всяких дум о грядущих днях, ради которых следовало бы давно уже наложить узду на свои желания и порывы; но теперь он оказался человеком даже чересчур равно состарившимся и одряхлевшим. А между тем, еще недавно, глядя на него, можно было

подумать, что этому человеку и конца не будет. Что же вдруг так надломило, так разрушило весельчака и забавника? Умерла Екатерина!

Но ведь по мере того, как человек живет, по мере того, как он все быстрее и быстрее приближается к старости, он начинает мириться с мыслью о смерти. Потеря близких, друзей и сверстников поражает все меньше и меньше. Человек ко всему привыкает, привыкает он и теряет то, что было близко и дорого. К тому же смерть эта ни в чем не изменила положения бессменного обер-шталмейстера. Ему нечего было бояться за дальнейшую судьбу свою. Он не мог думать о том, что его старость будет потревожена какими-нибудь неприятными заботами, что его самолюбие будет страдать. Он был одним из тех немногих, постоянно приближенных к Екатерине людей, которые сохраняли добрые отношения к цесаревичу. Новый государь всегда выказывал расположение другу своей матери и теперь, в первые дни своего царствования, обошелся с ним очень милостиво. Сказал ему несколько горячих, искренних слов, обнял и поцеловал его, говоря, что по-прежнему его любит.

И все же Нарышкин был совсем надломлен горем, и несмотря на то, что время проходило, все еще не мог прийти в себя, не мог помириться с мыслью о том, что нет Екатерины. Он похоронил с нею всю жизнь свою, он понимал одно, что для него нет настоящего, нет будущего, что у него осталось одно прошедшее, и он постоянно возвращался к этому прошедшему, к этой свежей могиле и стонал, и плакал, и изнывал над нею.

И теперь, в беседе с Сергеем, несмотря на все желание не омрачать своим горем этот радостный день в жизни племянника, он нет-нет, да и прорывался. Он не мог сказать нескольких слов, чтобы не упомянуть «о ней».

— Вот, — говорил он, — не дожила!.. А с каким интересом расспрашивала она про твою невесту. Знаешь ли, мой милый, несмотря на все, ведь она всегда была искренне расположена к тебе.

— Мне очень приятно это сознание, — отвечал Сергей.

— Нет, скажи мне откровенно, — перебил его Нарышкин, — у тебя не осталось никакого горького чувства?

— Можете быть уверены в этом, дядюшка.

— Ах, да ты мало знал ее! Все ее мало знали, все ее мало ценили. Даже я, сколько раз ворчал, негодовал, сердился на нее, находил и то, и

другое, и только теперь вижу, что был неправ, что все же не умел ценить ее как следует. Теперь вот оценил — и поздно!.. Друг мой, что же это будет, как будем жить мы без нее?..

И вдруг в нем закипела почти даже злоба.

— Э, да что я говорю тебе об этом, разве вы, молодые люди, поймете? У вас все впереди, вы заняты новостями, вы думаете, как бы уничтожить все старое, как бы насадить новое. Вам блестящая карьера, почести, а мы... ах, кабы только умереть скорее!

— Дядюшка, вы ли это? Зачем вы говорите о смерти? Вы очень пригодитесь государю, подумайте об этом...

— Я пригожусь? Никому я не пригожусь, никому я не нужен, и мне никто не нужен. Я годился для нее, я нужен был ей. В этом моя гордость. После нее разве я кому-нибудь могу служить, разве я смею? Да и хорош бы я был, если бы желал этого! Нет, служите теперь вы, бейтесь, волнуйтесь, кричите, добивайтесь, чего хотите, а нам дайте только умереть, чтобы не видеть всей этой вашей путаницы...

Он совсем забылся, он волновался больше и больше. Сергей начинал понимать его и глядел на него с сочувствием. Но вот он пришел в себя, сморгнул набежавшие на глаза слезы.

— Прости меня, друг мой, — упавшим голосом проговорил он. — Я наболтал невесте что, не к месту и не ко времени, оглупел я совсем, голубчик!.. Тоска все такая скверная овладевает, совсем ни на что не годен. Приехал побеседовать с тобою, потолковать о невесте — и только скуку нагнал на себя... Прости ты меня. До свидания, мой милый...

— Куда же вы, дядюшка, посидите. Я весь день один.

— Нет, что же, поеду лучше туда, в собор, к ней на могилку. Там как-то легче дышится.

Он махнул рукою и совсем расстроенный вышел от Сергея.

«Плохо жить на свете! Уж если дядюшка Нарышкин мог таким сделаться — совсем плохо!» — подумал счастливый жених, несмотря на все свое счастье.

Он никак не мог заглушить в себе чувства какого-то тоскливого неудовольствия, которое с каждым днем росло в нем больше и больше.

На смену Нарышкину в кабинете Сергея очутился Моська, и явился он как бы живым протестом против вывода Сергея о том, что плохо жить на свете. Мудрецу-карлику, очевидно, очень хорошо

жилося с некоторого времени. Он знал теперь, что все мрачное отошло и впереди ничего худого не предвидится. Нежданный арест и все соединенные с ним треволнения были последним горем. Правда, скончалась императрица, но Моська этого давно ожидал, он рассуждал так, что всему свой час и свое время, пожил человек, пожил на свете, да и умер. Как тому и быть иначе?

«Матушка государыня была в летах, пожила на славу, в свое удовольствие. Мудрая была государыня, что и говорить, весь свет тому свидетель. Упокой Господи ее душу!..»

Карлик помолился, помолился от всего сердца, записал «царицу Екатерину» в свое поминаньице, отслужил по ней панихиду, поминал ее на молитве каждое утро и каждый вечер. Одним словом, исполнял все то, что повелевал ему долг доброго христианина. И затем, с чистым сердцем и спокойной совестью, принялся за исполнение другого своего долга: принялся радоваться тому, что воцарился на Руси прирожденный, истинный государь, Павел Петрович.

«Дай ему Господи много лет здравствовать и царствовать на славу. Такого государя и не было, и не будет. Истинный отец и милостивец!»

«А уж мы-то! — восторженно оканчивал он свои мысли, — чем отблагодарим его за все его милости? Ну, что бы мы без него стали делать? Пропали бы, совсем пропали. И ведь поди ж ты, какой человек, сама истина говорит его устами. Святой человек совсем!.. А находятся дураки — и то, вишь, в нем не ладно, и другое...»

Он уж начинал слышать отзвуки того глухого ропота, который поднимался в петербургском обществе. Он жадно ловил каждое слово о государе и твердо решил вцепиться в лицо тому, кто вздумает при нем сказать что-нибудь неладное.

До сих пор, впрочем, ему не пришлось привести в действие этого решения, так как в низших классах, среди которых он, главным образом, вращался, и в большом доме Горбатова, и во время своих ежедневных прогулок по городу, он слышал пока только одобрение поступков нового императора. О нем передавались многие анекдоты, иногда основанные на действительном случае, иногда выдуманные неизвестно кем, прошедшие целый ряд всевозможных вариантов. Из этих анекдотов и рассказов вырастал своеобразный образ гонителя всякой неправды, всякого зла, любителя прямоты и правды, образ, милый русскому народу.

И не подозревал еще Моська, что уже выискиваются охотники и плодятся с каждым часом, и изощряются всячески, как бы исказить, как бы затемнить этот милый народу образ...

Но и мысли свои «о благодетеле государе» позабыл Моська с тех пор, как Сергей объявил ему, что день свадьбы назначен и уже окончательно, и что к этому дню следует сделать последние приготовления. Моська блаженствовал. Он по несколько раз в день осматривал каждую вещицу в доме, заглядывал во всякие углы, тормошил прислугу, заставляя ее беспрестанно сметать пыль.

— Олухи, — пищал он во весь свой слабый голос, — да бросьте хоть теперь-то вашу леность, подумайте, время какое! Привыкли, небось, ничего не делать, благо хозяин не взыскивает. Так о том помыслите, что хозяйюшка молодая к нам пожалует. Она к чистоте да ко всякому порядку привыкла. Сквозь пальцы на такую пыль глядеть не станет.

— И чего это ты, Моисей Схепаныч, хозяйкой пугаешь, — улыбаясь, отвечали ему. — Не страшна нам хозяйка. Видели мы ее, разглядели, как намерен с государем пожаловала. И ничего-то в ней страшного нету. Красавица, да и сейчас по лицу видно, что добрая...

— То-то добрая... У! Избаловались вы все! Надо бы вам вон такую боярыню, как была Салтычиха, что слуг своих с утра и до вечера каленым железом потчевала... Народятся же такие олухи, — ни стыда в вас, ни совести, и как это вам, братцы, глядеть на свет Божий не зазорно... Смотри, смотри, видишь, что это такое? Ведь говорил: смотри, нет-таки оставил! Ишь, пылища-то, ну, мигом, мне ведь за вас отвечать придется, с меня хозяйка взыскивать станет, зачем не доглядел...

И он, ворча и в то же время задыхаясь от восторга при мысли о хозяйке, стремился быстрыми мелкими шагами дальше, заглядывать в новые уголки и осматривать каждую вещицу.

Но вот наступил торжественный день. Еще несколько часов, и новобрачная хозяйка появится в горбатовском доме...

Моська, войдя в кабинет Сергея, так и сиял. Он весь превратился в олицетворение радости.

— Фу ты, как разрядился! — ласково ему улыбаясь, проговорил Сергей.

— Еще бы не разрядиться, батюшка, нынче-то! Когда же мне и вырядиться?..

Он был в новом, богатом кафтанчике малинового бархата. Весь кафтанчик был зашит золотыми блестками, на рукавах и по фалдам шло разноцветного шелка шитье, камзолчик был белый атласный, и из-под него пышно выглядывало широкое кружево. Паричок на кругленькой голове Моськи был особенно щедро напудрен — пудра так и сыпалась.

— И откуда такая роскошь? — поворачивая перед собою своего крошечного старого друга, шутливо продолжал Сергей. — Никогда я тебя, Степаныч, в таком наряде не видывал.

— Откуда, откуда! — повторял Моська. — К нынешнему дню все справил в лучшем виде. Наряд — точно краше не найти, не то, что нынешние басурманские выдумки, вот что ты, батюшка, навез из Лондона. Здесь-то у нас все еще люди по-настоящему одеты... Ну, да уж признаться разве, откуда такой наряд у меня? Ты вот не позаботился, небось, к своей свадьбе меня украсить. Да нашлась-таки добрая душа, Татьяна Владимировна это мне нынче прислала. Вот посмотри-ка, как порадовала... и цидулочка ее руки при посылке...

Он осторожно вынул из кармашка маленькую записочку и передал ее Сергею. Сергей, продолжая улыбаться, прочел:

«Милый Степаныч, посылаю тебе наряд, в котором ты должен нынче быть на моей свадьбе. Сама два дня на кафтан блески нашивала, авось, тебе понравится и ворчать не будешь на меня».

— Ишь ты, какая хитрая, — сказал Сергей, снова осматривая Моську, — это она задобрить тебя хочет, чтобы ты был к ней милостив. Боится она тебя, страшен ты больно, Степаныч!

— Ну, ну, шути, шути, а кабы знал ты, как она меня, голубушка, своей лаской да заботой за сердце тронула. Одеваюсь это я нынче, а сам плачу, давно таких слез радостных не было.

— Известно, у тебя глаза на мокром месте, ревешь по всякому пустяку, будто малый ребенок. И когда это ты вырастешь?

— Полно, полно, сударь, нечего балясы-то точить! — вдруг принимая на себя серьезный и даже строгий вид, проговорил Моська. — А ты вот что скажи, Сергей Борисыч, как мы теперь жить будем?

— Я и сам все об этом думаю. Знаешь ты что, — так мне сдается, что не надолго мы с тобой этот дом устроиваем. В Горбатовское тянет.

— В Горбатовское?

Моська так весь и встрепенулся.

— Да, мы уж с Татьяной Владимировной так решили. Отпрошусь я у государя.

— Как же это так? — Моська совсем растерялся. — Не ладно что-то, батюшка, тебе уезжать-то отсюда, — после некоторого раздумья проговорил он. — Как это уезжать от государя?

— Да тебе самому разве в Горбатовское не хочется?

— Ох, не искушай ты меня, Сергей Борисыч! Так хочется, что и сказать невозможно. Там и могилки родные, и все родное там, батюшка. В деревне-то жизнь не в пример лучше здешней, городской. Греха меньше, для души спасительнее, и люди деревенские, простые, куда лучше здешних. Эх, кабы только можно было! Да нет, где уж. Я о таком счастье и мыслить не смею...

— Так слушай ты мое слово, Степаныч! Обещаю тебе, к весне будем мы в Горбатовском. Да не на короткое время, а надолго.

— Твоими бы устами да мед пить.

Он вдруг замолчал, сморщил брови, вся фигурка его выразила сначала смущение, а потом внезапную решимость.

— Вот что, золотой мой. Есть у меня до тебя маленькая просьба.

— Какая?

Моська запустил руку в кармашек, вынул оттуда что-то и держал в кулачонке.

— Вот, — проговорил он, — крестик. Это от мощей святого Сергия Преподобного. Мне твоя маменька покойница дала этот крестик. Голубчик ты мой, золотой мой, не обидь ты меня, старика: осчастливь ты мою душу, дозвожь нынче надеть на тебя этот крестик... Молился я усердно, молился за твое благополучие... Дозволь, дитятко...

Он глядел на Сергея таким умильным взглядом, в его голосе слышалась такая страстная ласка. Крохотная ручонка его, в которой блеснул маленький золотой крестик, так и дрожала от волнения.

— Спасибо, Степаныч, дай, я надену.

— Да ты без греха, без насмешки?

Сергей укоризненно взглянул на него и наклонил голову. Моська благословил его. Сергей приложился к крестику и спрятал его на груди своей.

И вдруг он почувствовал в себе что-то странное. На него откуда-то пахнуло каким-то теплом, какой-то тихой радостью, и в то же время грустью. Ему вспомнилась мать, ему будто даже почудился ее голос, ее прикосновение. Ему вспомнилось детство и не только вспомнилось оно, но на мгновение даже и вернулось в его сердце со всем обаянием своих неуловимых, тончайших блаженных ощущений.

Он обнял карлика, этого единственного друга, оставшегося ему от далекого прошлого, и несколько минут не мог от него оторваться, и покрывал его сморщенное старое лицо поцелуями.

XXIII. ПОД ВЕНЦОМ

К назначенному часу все приглашенные собрались в дворцовой церкви. Жених уже приехал и стоял недалеко от правого клироса, окруженный родственниками и друзьями. В числе последних было несколько гатчинцев, Плещеев, Кушелев, Кутайсов и Ростопчин. Все, очевидно, чувствовали себя очень хорошо, на всех лицах выражались торжественность и серьезность, приличные случаю; только один Ростопчин никак не мог долго стоять на месте и изображать собою важного государственного человека, каким сделался в последние дни. Его живой характер, его нервность заставляли его то и дело двигаться, он то подходил к жениху, шептал ему несколько слов, вызывал на его лице улыбку, потом пробирался в алтарь, оттуда стремился к церковным дверям взглянуть, не ведут ли невесту.

Глядя на него, Иван Павлович Кутайсов укоризненно качал головой. «Ишь ведь непоседа! — добродушно думал он. — Право, будто черти в нем завелись, так его и дергает!»

Сам Иван Павлович был теперь образцом важности и величия. Он будто переродился с тех пор, как попал из Гатчины в Петербург, с тех пор, как «пришли наши времена». Его прошлое для него не существовало больше, да и не только сам он, но и все, кто с ним теперь встречался, должны были забыть об этом прошлом. Пленный турчонок, камердинер и цирюльник превратился в сановника и самым лучшим образом играл роль свою. Человек, не знавший его истории, глядя на него, должен был непременно подумать, что он всю жизнь прожил в высшем обществе, что он с молодости был предназначен к деятельности государственной. Красивая его фигура, его благообразное, умное лицо, его важные полные достоинства манеры могли обмануть каждого. Только тем, кто давно знал его в Гатчине, кто видал его запросто, забавной казалась эта важность, которую он счел долгом напустить на себя.

Но, конечно, никто, даже между собою, теперь не желал над ним подсмеиваться: все отлично понимали, что если Иван Павлович до сих пор был нужным и сильным человеком, то теперь его значение еще увеличилось. Государь, поставивший одной из первых задач своих как

можно шире и щедрее награждать тех людей, которые в иные, сумрачные дни, выказывали ему нелицемерную преданность, начал с того, что засыпал милостями своего верного Кутайсова.

Теперь Ивану Павловичу уже нечего было задумываться о нуждах семьи своей и обращаться к помощи друзей, он «с превеликой своей благодарностью» возвратил свой долг Сергею Горбатову и счел даже нужным объявить ему, что и «процентики на этот должок так или иначе, а выплатит ему в скором времени».

Сергей вспыхнул.

— О каких процентиках вы говорите, Иван Павлыч? Что это вы, ссориться со мной вздумали.

— Батюшка, за кого же вы меня принимаете! — добродушно улыбаясь, перебил его Кутайсов. — Я не о денежных процентиках говорю, а совсем о других. Я, знаете, в долгу не люблю оставаться и доброму человеку всегда рад услужить, а коли этот добрый человек меня в трудную минуту еще и выручил, так тем паче. Очень я вам благодарен, Сергей Борисыч, и благодарность свою докажу на деле. Прежде вот мало чем мог такому важному барину, как вы, пригодиться, ну, а нынче времена изменились, рассчитывайте на меня: нужда в чем окажется — прямо ко мне, так, мол, и так, Иван Павлыч, и уж будьте благонадежны — все по вашему слову будет сделано...

Сергей замолчал. Он хорошо понимал, какое удовольствие доставляет Кутайсову возможность говорить таким образом, а потому снисходительно отнесся к словам его и напыщенному, но все же добродушному тону.

Иван Павлович был прав, сознавая свою силу: хотя он еще и не имел какой-нибудь определенной должности, но по-прежнему оставался одним из самых близких советников государя. Он по-прежнему имел право входа к государю без доклада и во всякое время. Наконец, он приготовил себе последнее торжество. Благодаря в последний раз государя за его милости, он вдруг соорудил самую печальную и трогательную физиономию, даже вдруг будто невольно всхлипнул. Павел с удивлением взглянул на него.

— Что с тобой, Иван Павлыч?

— Простите, ваше величество, не сдержался, это так, ничего, не обращайтесь внимания.

— Нет, ты стой! Ты знаешь, я терпеть не могу таких ответов, изволь сейчас же говорить, что с тобой?

Иван Павлович замялся, развел руками, глубоко вздохнул и, будто решившись на нечто для себя крайне тяжелое, заговорил с большим волнением:

— Грустно мне...

— Что же у тебя, горе, что ли, какое? Я думал, что ты всем доволен.

— Нет у меня горя! Награжден я от вашего величества чрезмерно, а все же иной раз тяжело бывает, обид много себе вижу...

— От кого это? Кто смеет обижать тебя?

— Невольно всяк обижает, такова судьба моя, такова моя доля, и с этим ничего не поделаешь...

— Не понимаю. Ты говоришь загадками, а я не люблю загадок, да и времени нет, объяснись прямо.

— Вот я взыскан вашей милостью, тружусь, сколько сил хватает, не хуже других тружусь, с важными господами нахожусь в компании, об одних и тех же важных делах толкуем, и мое слово иной раз не пропадает даром... ваше величество не находите противным мое присутствие, а все же, что я такое? Холоп! — и всякий если не словом, так взглядом дает мне понять: ты говорить-то, мол, говори и дело делай, а место свое знай и понимай, что ты нам не ровня.

— Вздор! — покраснев, сказал Павел. — Коли я тебя нахожу, Иван, разумным и хорошим человеком, коли я доволен тобою и считаю тебя ничуть не хуже князей да графов, так, значит, твое место наравне с ними и к твоей чести относится, что ты сам, своим достоинством возвысил себя. Ну, уж если на то пошло, я заставлю всех признать твое достоинство, я покажу, что истинное достоинство человека не в его происхождении, а в его заслугах. При первом случае, какой только представится, я пожалую тебя в графы, слышишь? Так и знай, ты заслужил это, и я слов на ветер не кидаю. Довольно ли тебе? Только смотри, Иван, не показывай ты мне такую кислую мину, не к лицу она тебе!

Кутайсов весь так и расцвел, вся важность с него совсем соскочила, он бросился в ноги государю, целовал его руки, заливаясь благодарными слезами.

— Ваше величество!.. Отец и благодетель!.. — шептал он и ничего не мог больше прибавить.

Павел поднял его, поцеловал и махнул рукою.

— Ступай теперь к своему делу, да и смотри, не заленись только — не время лениться!..

До сих пор еще никто не знал, что Иван Павлович в скором времени должен превратиться в графа, но сам он уже чувствовал себя графом, и это придавало ему необыкновенную бодрость и самое счастливое сознание собственного достоинства. Разговор этот с государем происходил накануне, и Иван Павлович еще не успел прийти в себя от счастья.

Но как ни был он счастлив, в толпе, окружавшей жениха, находился человек несравненно еще более счастливый, человек этот, конечно, был Моська. В своем нарядном, подаренном Таней кафтанчике, стоял он неподвижно, как маленькая кукла, и только глаза его находились в движении и то устремлялись на Сергея Борисыча, то, отрываясь от него, нетерпеливо впивались в дверь, откуда должна была показаться Таня.

Лицо Сергея было спокойно, и внутри его с каждой минутой водворялось спокойствие. Он еще волновался весь этот день до самой той минуты, когда вошел в церковь. Он чувствовал себя как-то неловко при мысли о том, что столько посторонних глаз будут глядеть на него и на Таню, столько посторонних людей будут присутствовать при событии, которое по-настоящему должно было бы совершиться без этих лишних свидетелей. Ему казалось, что его чувство, бывшее столько времени его святыней, его сокровищем, профанируется теперь, выставляясь на показ чужим людям.

Но вот он в церкви, сейчас должна явиться Таня, сейчас начнется венчанье — и все волнение, вся неловкость вдруг прошли бесследно, совсем забылись, ощущается только торжественное спокойствие, которое невольно находит на человека, сознающего, что он приступает к самому важному шагу в своей жизни. Сергей мало-помалу начинает забываться в каких-то неопределенных грезах или, вернее, это не грезы — это просто переживание давно накопившихся ощущений, подведение им итога.

Но что это? Сергей вздрогнул. Грянул хор певчих. Какие звуки! Он никогда не слышал еще таких звуков, такая в них торжественность,

такая спокойная радость, так гармонирует они с его ощущениями.

Эти звуки приветствовали входившую невесту. Двери широко распахнулись, в церкви показался государь; он ведет под руку Таню, за ними государыня, великие князья, великие княгини и княжны и несколько придворных дам.

Боже, как хороша Таня в своем роскошном подвенечном платье, в своем длинном, стелющемся за нею, вуале, осыпанная вся померанцевыми цветами, сверкающая бриллиантами.

Все так и впились в нее глазами.

— Какая красавица!

Некоторые из присутствовавших видели ее в первый раз, другие хоть и видели, но никогда не видали такую.

— Красавица! красавица! — раздается по церкви восторженный шепот и достигает до слуха Сергея.

Глядит и он, глядит на нее, не отрываясь, но он видит в ней иную красоту. Взгляд ее полуопущен, сверкающие глаза встретились с его взглядом, и он прочел в этом взгляде такое счастье, такое блаженство, такую любовь, что едва удержался, чтобы не кинуться к ней и не принять ее в свои объятия. Но это было лишь на мгновение. Снова торжественное спокойствие вернулось к нему. «Моя! моя!» — радостно повторялось в его сердце. Он отогнал эту мысль, он знал, что теперь уже нечего торопить свое счастье, что оно пришло, оно не уйдет... не уйдет! Мерными шагами направился он к середине церкви, где уже собралось духовенство.

Венчание началось. Присутствовавшие могли видеть, что и жених, и невеста очень серьезны и не выказывают никаких признаков волнения. Они, очевидно, оба вслушивались в каждое слово и повторяли про себя все слова молитв; они ни разу не взглянули друг на друга; каждый был углублен в себя.

В дальних рядах шел тихий шепот; передавались друг другу замечания:

— Прекрасная пара!

— Вот ведь мало кто и слышал о ней, об этой княжне, а ведь первая красавица!

— Да там, в Гатчине, если покопать хорошенько, наверно, немало таких бриллиантов найдется — государь красоту любит.

— Тсс, тише! — останавливал испуганный голос. — Неравно кто услышит, да передаст!

— Никто не услышит!

А между тем, слово было уже сказано, по-видимому, самое невинное слово, но в тоне его звучало что-то нехорошее, какая-то насмешка, какое-то злорадство, зависть; это было началом клеветы, и только нужно было пустить в ход этот ничтожный намек, чтобы за него ухватились. Казалось, никто не слышал, между тем, через несколько минут на красавицу-невесту многие смотрели как-то иначе и с нее непременно переводили взгляд на государя. А он ничего не замечал, он стоял задумчиво, почти совсем закрыв глаза, и время от времени набожно крестился.

Шепот в задних рядах прерывался и начинался снова.

— В большой силе будут... того и жди, получит он важное назначение... наверно, засыпят милостями...

— Да очень ему нужно — денег куры не клюют, говорят, и скуп как: рассчитывает каждую копейку.

— Какое скуп, уж это-то неправда, человек он хороший, добрый, тороватый, а что не мот, это верно, даром денег не бросает, говорят, и половины доходов не проживает, с каждым годом капитал увеличивает.

— Хорошего женишка эта княжна подцепила...

«Милый! милый!» — вдруг отрываясь от своей молитвы и случайно взглянув на Сергея, неожиданно для себя, подумала Таня.

Ее спокойствие мгновенно исчезло, и сердце шибко забилося.

«Милый, милый! — мысленно повторила она. — О! как я люблю тебя! Как любить буду!»

И в его сердце повторилось то же...

Они были уже обвенчаны и стояли друг перед другом растерянно, счастливо глядя, они оба вдруг перестали понимать, что это такое случилось с ними.

«Неужели совершилось? Неужели все уж кончено, все это бесконечное ожидание, эта тоска, эти муки долгих дней?»

Со всех сторон на них глядели с любопытством, силились прочесть на их лицах то, чего в них не было, смотрели так же пристально и на государя, который подходил к новобрачным.

— Поздравляю, поздравляю! — радостно говорил он, протягивая им руки.

Таня благодарно взглянула на доброго волшебника, счастливые слезы блеснули на глазах ее, в невольном порыве склонилась она и поднесла к своим губам его руку. Он приподнял ее голову, крепко поцеловал ее в лоб, а затем обнял Сергея.

Некоторые выразительно переглянулись.

Начались поздравления, новобрачных окружили. Государь с государыней поспешили из церкви с тем, чтобы в качестве посаженных отца и матери встретить новобрачных в их доме и благословить их.

Таня, улыбающаяся и вспыхивающая милым румянцем, крепко опиралась на руку Сергея, благодаря поздравлявших ее, из числа которых многих видела в первый раз.

Но вот пора и им выйти из церкви. Они двинулись, сопровождаемые нарядной толпой.

— Матушка, золотая!.. ненаглядная моя!.. — вдруг невдалеке от себя расслышала Таня.

Она оглянулась. К ней протискивался карлик, он имел вид сумасшедшего, он как-то захлебывался, дрожал всем телом. Он протиснулся к ней и прильнул к руке ее, повторяя:

— Матушка, золотая... ненаглядная...

От нее он повернулся к Сергею.

Они оба остановились, нагнулись, поцеловали его.

— Ты поедешь с нами, — сказал Сергей.

И странное дело: почти никто из гостей не обратил внимания на эту остановку, не обратил внимания на карлика. Но, впрочем, кто же и знал, кроме Льва Александровича Нарышкина, что это был за карлик и кем он был для новобрачных?

XXIV. КЛЕВЕТА

У ярко освещенного и на этот раз потерявшего всю свою постоянную мрачность подъезда дома Горбатова то и дело останавливались кареты. Хоть и невозможно было по случаю всеобщего траура как следовало отпраздновать свадьбу, завершить ее роскошным балом, но все же все приглашенные присутствовать на венчании были званы и на новоселье к новобрачным, чтобы поздравить их и выпить за их здоровье. Государь с государыней приехали первые и уже дожидались в парадной зале...

Но что же такое произошло? Все видели в церкви, что государь находится в самом лучшем расположении духа, что он весел и доволен, а теперь даже самый ненаблюдательный человек мог заметить резкую в нем перемену. Лицо его, очень часто выдававшее его душевное состояние, было теперь таким, что на него смотреть становилось страшно. В минуты гнева все, что было привлекательного в некрасивой наружности Павла, пропадало. Он то бледнел, то багровел, глаза наливались кровью, ноздри широко раздувались, губы тряслись, он, очевидно, делал последние усилия, чтобы овладеть собою. Но всем хорошо было известно, что когда он таким становился, то уже должен был отказаться от борьбы, он слабел, гнев одолевал его, и он себя не помнил.

Гости входили в зал веселые и довольные, но, взглянув на государя, оставались будто прикованными к месту. Что такое случилось? Что будет? Страх разбирал каждого, каждый много бы дал, чтобы иметь какую-нибудь возможность исчезнуть, скрыться, лишь бы не попасться на глаза государю, но для этого не представлялось никакой возможности — он зорко глядел на всех, он всех видит, он всех заметил.

Вот на пороге залы появились новобрачные. Их лица сияют счастьем, они поспешно подходят к государю и государыне, которые должны благословить их.

— Боже мой! — едва шепнула Таня Сергею.

Он расслышал, взглянул — перед ним было искаженное от гнева лицо государя.

Между тем, Павел Петрович продолжал бороться с собою. Он благословил Сергея и Таню, дрожащим голосом, будто задыхаясь, пожелал им всякого счастья, выпил за их здоровье стакан шампанского, затем подошел к Ивану Павловичу Кутайсову и сказал ему:

— Зови Нарышкина и Ростопчина, и идите за мною!

После того круто повернулся и вышел из залы, направляясь в дальние комнаты.

Все видели, как Кутайсов, несмотря на всю свою важность, бегом подбежал к Нарышкину, потом к Ростопчину, шепнул им что-то, и они втроем исчезли вслед за государем.

Они спешили длинной анфиладой комнат огромного дома, следуя за удалявшимся Павлом Петровичем.

— Что случилось? Куда мы? — шепотом спрашивали Нарышкин и Ростопчин.

— Что случилось! Не знаю... не понимаю... Вы видели — на нем лица нет... Ума приложить не могу!..

Павел остановился.

— Иван, запри дверь на ключ, — проговорил он и почти упал в кресло.

Кутайсов исполнил приказание, и все они втроем стояли, выжидая. У всех даже захватило дыхание. Один только Нарышкин был спокойнее. В том состоянии, в каком он находился, ничто уже, казалось, не могло вывести его из апатии. Что может случиться? Ничего теперь случиться не может, и ни до чего ему не было никакого дела.

Несколько мгновений продолжалось тяжелое молчание, но вот государь заговорил, обрываясь на каждом слове.

— Изменники! Негодяи! Клеветники бессовестные! Звери! — несколько раз повторил он. — Где они? Дайте мне их, чтобы я мог указать на них пальцем, чтобы все могли осудить их по заслугам... Дня прожить не дадут спокойно...

Никто ничего не понимал, но никто не решался прервать его вопросом. Он продолжал:

— Ведь вы знаете, что я выставил у дворца ящик, куда всякий может опускать свою просьбу. Вы знаете, что эти просьбы, эти письма, которых каждый день такое множество, я распечатываю сам и читаю.

Вы знаете, что по многим просьбам уже были исполнения, но не знаете вы, что мне иногда читать приходится. Я полагал, что совершаю полезное и справедливое дело, давая всем моим подданным возможность обращаться прямо ко мне, я полагал, что этим способом я узнаю о многих злоупотреблениях, которые иначе никогда бы не были мне ведомы — и что же? Быть может, четверть всего того, что я нахожу каждый день в ящике, имеет какой-нибудь смысл? С первого же дня мне пришлось читать вороха самого безобразного вздора; но этого мало, я принужден читать пасквили, насмешки, обращенные неведомо кем прямо ко мне!.. Сегодня, по обычаю, я отпер ящик около пяти часов, и до того времени, как нужно было вести невесту в церковь, читал. Я был доволен, на этот раз вздору оказалось мало. Я отложил для справок три интересных письма. Но пора было в церковь... Два письма я не успел прочесть, взял их в карман, вспомнил о них, как сюда приехал, прочел одно...

Он выхватил письмо из кармана и бросил его на пол.

— Вот оно, читайте! Ростопчин, читай громко!

Ростопчин поднял письмо и, едва владея собою, прочел его.

Неведомо кто писал следующее:

«Государь желает показать себя сочетанием всех совершенств человеческих: он и справедлив, он и добр, он ненавидит неправду, он желает награждать истинные достоинства и наказывает пороки, он желает водворить в государстве жизнь добропорядочную, охранять семейную честь и целомудрие, он желает подать собою пример всем. Он воспрещает проезд ко двору некоторым важным дамам, имеющим заслуженных и родовитых мужей, носящих знаменитое имя. Он не боится подвергать их такому унижению и позору ввиду того, что непристойное и развратное поведение их известно всем и каждому. Сие достойно похвалы великой. Но что же творится в нынешний день? Некая девица, забывшая всякий стыд и заменившая собою, что многим ведомо, состарившуюся и уже лишенную прежних своих прелестей госпожу Нелидову, выходит замуж. И кто же выдает ее? Сам государь...»

— Ваше величество, увольте, — прошептал Ростопчин. — Если только есть малейшая возможность, мы выследим и узнаем того негодяя, который осмелился...

— Да, вы должны узнать его! — крикнул Павел. — Не читай дальше — там все то же, те же клеветы, та же скверность!.. Поддай мне письмо.

Ростопчин подал. Павел несколько раз прошелся по комнате, тяжело переводя дух, и заговорил снова, но уже более спокойным голосом:

— Что же со мной делают? До чего хотят довести меня? Вы подумаете, может быть, что я не должен был показывать вам письмо это. Я и сам так хотел сначала, но затем раздумал. Две причины заставили меня сообщить вам о наглом пасквиле и клевете низкой. Первое — что только на вас двух (он кивнул Кутайсову и Ростопчину) я мог положиться, чтобы разузнать, кто осмелился опустить в ящик письмо это, кто писал его. Второе — что клевета уже придумана, и, наверное, этим письмом клеветник не ограничится, наверное, он будет распространять, он будет пятнать трех ни в чем не повинных людей... Услышат... поверят. Почему знать, кто поверит!.. Лев Александрович! — обратился он к Нарышкину, — ты ему родственник, ты честный человек, ты его знаешь — способен ли он быть в сей гнусной роли, а вы... вы меня хорошо знаете и знаете ее... в особенности ты, Иван, тебе вся история, как самому мне, известна. При тебе она приехала и поселилась в Гатчине... Вот — думал, делаю доброе дело, устраиваю счастье двух людей, коих считаю достойными счастье... и вдруг такая низость!

— Государь, — приходя в себя и уже начиная вполне владеть собою, проговорил Ростопчин, — гнусный пасквиль ничего не изменяет. Наш достойный благоприятель и его прекрасная невеста соединены и счастливы, ибо они стоили этого, давно любят друг друга, и вы, государь — устроитель их счастья. Ради Бога, не мучайте себя понапрасну. Есть поговорка «собака лает — ветер носит».

— Чего ты меня успокаиваешь! — раздражительно воскликнул Павел Петрович и снова стал ходить по комнате. — Чем ты меня успокоишь! Почему я знаю... первые счастливые их дни отравят этою клеветою. Уж, наверное, их-то не оставят в покое. Но что об этом говорить... Мы вот заперлись тут... неловко... нужно будет выйти... Но я не мог выдержать. Подумайте и скажите мне — как вы полагаете: от какого может быть подобный пасквиль?

Нарышкин стоял молча, понутив голову. Как ни был он равнодушен ко всему, но это неожиданное отвратительное обстоятельство задело и его за живое, и в то же время он ничего не мог придумать. Его голова, всегда находчивая, теперь совсем отказывалась работать.

— Должно так полагать, что человек близкий, — проговорил Кутайсов.

— Я согласен с мнением Ивана Павловича, — сказал Ростопчин. — Да, близкий — в том смысле, что ему должны быть известны некоторые обстоятельства, и человек этот, должно быть, имеет особые причины питать злобу, если не к Татьяне Владимировне, то уж, во всяком случае, к вашему величеству и к господину Горбатову.

Государь остановился. Вдруг внезапная мысль пришла ему в голову. Он вздрогнул.

— Так знаете — я назову вам этого человека! Если не сам он, то кто-нибудь из его близких, по его наущению... Конечно, он!.. Он только один и может так ненавидеть и меня, и Горбатова. И это средство в его вкусе. Он уже доказал, что любит действовать именно таким способом, да к тому же теперь иначе и не может. О, разыщите, разузнайте! Я не успокоюсь, пока вы не разузнаете.

— Но наши действия, во всяком случае, пойдут успешнее и скорее, если мы будем знать, откуда прежде всего следует начать поиски.

— Так неужели вы не догадываетесь? Подумайте сами хорошенько.

— Это Зубов! — разом прошептали все трое.

— Вот, видите, и я того же мнения. Он неисправим, и нечего мне было стараться над его исправлением. Мои милости только пуще раздражали этого зверя. Это он мстит и мстит по-своему. А теперь пойдем...

Он чувствовал себя несколько успокоенным, он высказался.

— Ах, если бы от них-то, бедных, это скрыть как-нибудь! Пусть бы меня одного укусила эта жаба.

— Это можно будет устроить, ваше величество, — сказал Кутайсов.

— Да как же ты устроишь?

— А через карлика.

— Бедный карлик — и ему горе, но ты прав: он один только и может уберечь их. Он умен, ловок... Идем.

Кутайсов отпер дверь. Государь быстро вышел вперед. Вид его был значительно спокойнее, только нервная судорога то и дело передергивала его губы. В время его отсутствия императрица употребляла все усилия, чтобы не выдать своей тревоги, чтобы развлечь новобрачных и не дать им ничего заметить. Государь вошел, она тревожно взглянула на него и с радостью поняла, что теперь уже нечего за него бояться. Она не знала еще, в чем дело, он не показал ей письма.

Между тем, Павел Петрович снова подозвал к себе Кутайсова и шепнул ему:

— Дай футляр, который у тебя в кармане, и немедленно разыщи карлика.

— Будьте покойны, ваше величество, — бодрым, уверенным тоном сказал Кутайсов.

Этот тон всегда успокаивал государя, подействовал он и теперь. Павел Петрович подошел к Сергею и положил ему руку на плечо.

— Думаю, ты ждешь не дождешься, когда мы все оставим тебя с молодой женой в покое. Я подам сейчас всем пример и уеду, но не хочу сегодня оставить тебя без подарка, который тебе давно предназначен... Вот... наклони голову!

Государь открыл футляр, вынул широкую анненскую ленту и сам надел ее через плечо Сергея. В это время подошла к ним императрица.

— А вы приколите ему звезду! — обратился он к ней, передавая футляр.

— Эта милость чересчур велика для меня, — смущенно проговорил Сергей. — Я знаю, какое значение ваше величество придаете этому ордену и поистине чувствую пока себя его недостойным.

— Вздор говоришь, я сам знаю, что делаю! — раздражительно, не сдерживая голос, перебил его Павел Петрович.

— Вы оказались достойным лучшей жены, какую только можно пожелать, и мы смело надеемся, что не окажетесь недостойным носить эту звезду, — с тихой и ласковой улыбкой проговорила императрица.

— Да, пусть она послужит тебе путеводной звездой твоего счастья, я этого от души тебе желаю. Прощай, до свиданья!

Павел крепко сжал его руку, простился с Таней, откланялся с гостями, взял императрицу под руку и быстрым шагом направился из залы.

Вслед за ними начали разъезжаться и гости...

А в это время в нижнем этаже дома, в комнатке карлика сидел Кутайсов. Моська стоял перед ним весь дрожа, с побледневшим лицом. Кутайсов уже рассказал ему, в чем дело, и вконец поразил его.

Бедный Моська в первую минуту подумал, что он с ума сходит, но затем в нем поднялась злоба, бешенство... Он сразу решил, что это дело рук Зубова.

— Кто же другой, как не он?.. Ах, изверг! Давно бы его следовало на каторгу. Ах, душегубец! Да ведь его повесить надо! Колесовать! На клочки растерзать его!

Карлик не знал, какую уж и казнь придумать Зубову.

— Да ты не вылезай из кожи! — остановил его Кутайсов. — Бранью не поможешь, к тому же ведь не знаем мы еще, точно ли он это...

— Он! он! Сердце говорит, что он. Никому другому и в голову прийти такая пакость не может. Он — вечный враг! Погибели Сергея Борисыча добивается, не мытьем, так катаньем. Раз не удалось погубить... И сам черт его наущает. Что ж теперича нам делать?

— А как ты полагаешь, зачем это я к тебе сюда затесался и все это сказал?

Карлик очнулся и сообразил.

— Уж коли государю письмо подослано, так Сергею Борисычу и подавно такую же пакостную цидулу пришлют, — проговорил он.

— Догадался! Ну, слава Богу! Так ты эту цидулу и не допусти до своего господина. Вот в чем дело.

— Спасибо вам, Иван Павлович, спасибо, сударь. А ведь цидула-то у меня в кармане. Ведь не скажи вы мне все это, прочел бы ее Сергей Борисыч!.. Неведомо какой человек принес, пока были мы в церкви. Все письма да посылки через мои руки проходят, вот я и взял конверт, собираюсь, как разъедутся гости, так и подать Сергею Борисычу... И что бы это такое было! Спасибо вам, надоумили.

Он отвесил низкий поклон Кутайсову.

— Где же этот конверт, покажи мне.

— Вот, вот тут он, со мной, в кармане с собой и носил.

Он вынул конверт — Кутайсов взглянул.

— Я видел тот почерк и вряд ли ошибусь, кажись, одной рукой писано. Ну, уж распечатаем, а коли ошибка, так ты как-нибудь выпутывайся перед своим господином.

— Вестимо, сударь, распечатывайте, чего тут!

Кутайсов вскрыл конверт, заглянул в письмо и убедился, что ошибки с их стороны не было. Анонимное письмо принадлежало, очевидно, тому же автору, который опустил пасквиль в дворцовый ящик. Письмо это, в котором заключалась самая бесстыдная, самая грязная клевета, никаким образом не должно было отравить первые светлые минуты новобрачных.

— Слава тебе, Господи! — крестился Моська. — Не без милости Бог. Возьмите, Иван Павлович, эту поганую бумагу, делайте с ней, что хотите.

Кутайсов спрятал письмо и возвратился в зал именно в ту минуту, когда последние гости прощались с хозяевами.

Вот и все разъехались. Сергей и Таня остались вдвоем. Взявшись за руки, они вышли из зала и направились в кабинет. Многочисленная прислуга, неслышно сновавшая по комнатам, робко и в то же время радостно поглядывала на новую госпожу, и каждому было ясно, что не на беды, не на страх людям явилась в этот дом хозяйка. Сергей оглянулся, за ними шел Моська, но он был какой-то странный, совсем не такой, каким он ожидал его видеть.

— Что с тобой? — спросил он.

— Ничего, золотой мой. Не изволишь ли дать какие приказания?

— Спрашивай хозяйку.

Таня только улыбнулась. Моська взглянул на нее с обожанием.

«И этакую-то голубку чистую, этакую душу хрустальную не пощадил изверг! Господи, велико твое долготерпение!»

Он сморгнул набегавшие слезы и, чувствуя, что не может больше владеть собой, что непременно расплачется и встревожит господ, поспешно скрылся.

Они были уже в маленькой, хорошенькой гостиной, рядом с кабинетом, в той самой гостиной, где произошло их последнее объяснение. Все было тихо. Они остановились, взглянули друг на друга. Голова Тани упала на грудь Сергея.

— Пришел-таки наш день! — прошептал он.

— И знаешь, — ответила она, — я благословляю все наше ужасное прошлое — не будь его, не будь этих испытаний, быть может, мы никогда бы не были так счастливы, как сегодня...

XXV. НОВЫЙ РАБОТНИК

Дни проходили, и каждый день приносил новые доказательства лихорадочной, неутомимой, многосторонней деятельности императора Павла. Он не знал себе покоя, его одинаково интересовали без исключения все стороны государственного правления, и всюду он встречал и прежде уже известные ему упущения. Ему страстно хотелось как можно скорее все исправить, всюду водворить справедливость, уничтожить злоупотребления, поднять благосостояние своих подданных.

Он слишком долго ждал, слишком долго бездействовал и томился этим бездействием. Теперь нужно было наверстать потерянное время, и он начал борьбу со временем. Но так как время не замедляло для него своего хода, то ему оставалось только одно — каждую проходящую минуту так наполнять работой, чтобы этой работы на целый бы день хватило при других обстоятельствах.

Дело кипело в руках его, и он не замечал, что поставил себе невыполнимую задачу, что силы человеческие ограничены и требуют для плодотворности работы, для ее полной успешности и крепости систематизации в работе, требуют спокойствия и необходимого отдыха, во время которого пополнялась бы затрата этих сил. Он не думал об этом. Он чувствовал, что честно исполняет свое призвание. В его голове роились великие мысли, обширные планы. В его сердце кипело страстное, горячее чувство стремления ко всеобщему благу.

Ему казалось, что в нем достаточно сил, и не замечал он утомления. Нервное свое возбуждение он принимал за признак силы, он не видел, как каждый день этой лихорадочной деятельности оставлял на нем печать свою. Его волосы вылезали, морщины одна за другой появлялись на лице его, стан сгорбливался. Иногда, несмотря на привычку не поддаваться слабости, не замечать болезненных ощущений своего организма, он вдруг, после какого-нибудь чрезмерного умственного напряжения, испытывал полный упадок сил.

«Что это, что это со мною? — с ужасом думал он. — Вздор, пустяки, не следует только поддаваться!..»

И он, в то время как его неудержимо тянуло к отдыху и покою, снова принимался за работу, делал над собою страшные усилия — и нервы снова напрягались, и снова казалось ему, что он силен и бодр. А между тем эта постоянная смена впечатлений, постоянная смена мыслей, переходя от одного предмета к другому, оказывали свои последствия, не принося того результата, на который он рассчитывал.

Всюду было произведено сильное сотрясение, но затем, вместо равномерного и правильного движения, наступал перерыв, потому что уже другая сфера требовала внимания. И в этой новой сфере производилось сотрясение — и опять происходила остановка. Внимание и сила обращались в третью сторону.

Что намерения и планы государя, его основные мысли, принятые им решения были в большинстве случаев мудры — история приводит тому достаточные доказательства. Он отчетливо и ясно видел зло, меры его были решительны и, если бы применялись спокойно и последовательно, то приносили бы огромную пользу. Но о последовательности и спокойствии не могло быть и речи. Затем, наряду с предметами серьезными, он обращал внимание и на мелочи. Он ничего не хотел оставить в том виде, какой казался ему безобразным, и при этом хотел сделать все сам, собственными руками, хотел возвести гигантскую постройку, которая была бы равно прекрасна как в общем, так и во всех мельчайших частностях.

Эта невероятная, лихорадочная работа производила тревожное, неопределенное, странное впечатление. Свойство этой работы, ее неправильные порывы, ее скачки, отражались и на самом обществе, которое было свидетелем этой работы, которое так или иначе должно было принять в ней участие, которого интересы она затрагивала тем или иным способом.

Что это — зло или благо? Иные благословляли, иные роптали. И все понимали только одно, что так не могло постоянно продолжаться. Все чувствовали утомление, чувствовали его тем более, что были слишком приучены к покою, слишком избалованы.

Так работали деда и прадеды тогдашних людей в дни величайшего из русских работников, который сам, рук не покладая, шел вперед и заставлял догонять себя русских людей. И эти русские люди догоняли, кто вольной волею, в сознании своих пробудившихся сил, в благородном соревновании с великим вожаком, — а кто и

невольню, подгоняемый страхом пресловутой царской дубинки, под которою подразумевалось многое, весьма неприятное, но способное прогнать русскую лень.

Но к чему приучились, с чем справились деды и прадеды, то оказывалось не по силам внукам и правнукам. Времена изменились, изменились, и нравы...

Несмотря на свои труды и заботы, Павел Петрович, по своей способности ничего не забывать как крупного, так и мелочного, не забывал обстоятельство, которое так омрачило его и огорчило в день свадьбы Горбатова. Каждое утро спрашивал он Кутайсова и Ростопчина, не успели ли они что-нибудь разузнать, найти какую-нибудь нить, чтобы с ее помощью было бы уличить в самом грязном и возмутительно дерзком проступке человека, которому столько простилось, но которого щадить теперь государь уже не был намерен.

И Кутайсов, и Ростопчин должны были признаться, что, несмотря на все их желание и попытки, они ничего не узнали, да вряд ли и могут узнать. В первую минуту, видя гнев государя и ища какого-нибудь исхода, какой-нибудь возможности утишить грозу, они ухватились за первое, что им представилось, и приняли на себя неисполнимую задачу. Но в тот же день, обсудив и размыслив хорошенько, оба они поняли, что вряд ли что-нибудь сделают. Внутренно они были почти уверены, что скверный, анонимный пасквиль — дело Зубова. Но ведь, конечно, писал не он сам, а тот, кто писал, вероятно, сумел себя обезопасить, постарался совсем изменить свой почерк. Только случай, простой случай, на который нельзя было рассчитывать, мог выдать писавшего. Между тем государь настаивал, чтобы это дело непременно было выяснено. Дольше тянуть не приходилось, нужно было решиться сложить оружие и прямо сознаться в своей неудаче.

Кутайсов и Ростопчин так и сделали. По счастью для них, государь был довольно спокоен, не выказал особенного раздражения.

— Плохи же вы, однако, господа, — не без некоторой горечи заметил он им, — если и с таким делом не справились!

— Ваше величество, — сказал Кутайсов, — да ведь иной раз и малое, по-видимому, дело труднее самого что ни на есть большого... Посудите сами, что тут делать? Одна и та же рука писала письмо и господину Горбатову, и то, которое было опущено в ящик. Почерк

изменен. В канцелярии князя Зубова не оказалось ни одной бумаги, которая была бы написана подходящим почерком. Часовые, стоявшие близ того места, где находится ящик — опрошены. Но что же они объяснить могут? Всякого, кто идет мимо, — не заметишь, особливо, если нет наказа примечать. Идет себе мужчина либо женщина, идет благопристойным образом, вдруг останавливается около ящика, опускает бумагу и идет дальше. Что же тут такого!..

— Впредь, чтобы часовой стоял у самого ящика, — сказал государь, — и чтобы примечал всех, кто будет опускать письма.

— Слушаю-с, ваше величество, будет исполнено.

— Да, и чтобы приметы каждого были известны.

Ростопчин стоял насупившись и думал:

«А из этого что же выйдет? Только путаница, только неприятности. Просто придется уничтожить этот ящик. Не прививаются у нас такие вещи. Это было возможно в те времена, когда царь в порфире и короне чинил суд и расправу над народом — те времена прошли, о них рассказывается только в сказках, а наш век сказкам не верит!..»

— А кто же принес письмо в дом Горбатова? — спросил государь. — Неужели и этого человека не могли приметить?

— Человек этот был простой мужик, которого, как я полагаю, взяли на улице, дали ему на водку и велели снести письмо.

— Обидно, обидно! — несколько раз повторил государь. — Если бы накрыть его на этом деле, он получил бы должное возмездие.

— Ну, да делать нечего, — проговорил Ростопчин. — Мы все же ведь не можем сказать наверное, вина ли это князя Зубова.

— А ты уж начинаешь сомневаться?

— Внутренно я имею мало сомнения, но я хочу сказать только то, что князь Зубов и без подобной вины заслуживает строгого взыскания.

— Да, ты прав. Я сегодня еще имел по этому поводу с графом Безбородко объяснение. Дела сего господина в настоящее время окончательно разобраны, и во всех экспедициях обнаружены величайшие злоупотребления.

— Этого мало, — сказал Ростопчин, — что оказывается по иностранной коллегии — того я не знаю; но хорошо знаю, что натворил он в военной коллегии.

— Я всегда был уверен, — перебил его Павел Петрович, — что он единственно ради собственных выгод затеял войну с Персией и поручил ее ведение своему брату. Ради собственных выгод делал огромную ошибку, которая должна отразиться на всем государстве! Терять огромные суммы денег, губить людей, — да за одно это можно приговорить его к высшему наказанию! И, Боже мой, это чванство, это кривлянье!..

— У государыни был обед в присутствии шведского короля, — помолчав немного, продолжал он. — Перед обедом только что приехал с письмом курьер от Валериана Зубова. Говорилось о новостях, привезенных этим курьером. Штединг спрашивает Зубова: «Какие новости привез курьер?» Он не расслышал или не понял, так как многое говорилось по-русски. И что ж бы вы думали, что ответил Зубов? Я сидел поблизости, я своими ушами слышал... Он сделал презрительную гримасу и говорит: «Это пустяки, мой брат пишет нам, что выиграл сражение и завоевал область. Собственно, нового, интересного ничего нет». Как вам это нравится и каково мне было выслушать это? Но я перебил тебя, — прибавил государь, обращаясь к Ростопчину, — продолжай, пожалуйста, что вы нового узнали об этом злокозненном человеке?..

— Все то же, государь. Зубов не сообщил в военную коллегия ни одного рапорта. Теперь, когда мы приступили к новому распределению войск, мы ведь не можем знать, где находится большая часть полков, мы не можем знать, в каком состоянии они обретаются. Все последнее время являлись офицеры, которые должны присоединиться к своим корпусам, но они не знают, в какую сторону им ехать, где их встретить. Они просто осаждают департаменты, наводят справки и ничего не могут добиться. Что им ответить, никто ничего не знает!..

Павел поднялся со своего кресла, стукнул кулаком по столу, глаза его загорелись гневом.

— Довольно! — крикнул он. — Этого господина следовало бы по меньшей мере сослать в Сибирь на каторгу, но я связан. Я не хочу, чтобы заслуженное им наказание было отнесено к моим личным отношениям, к моим личным чувствам. Поэтому я должен был щадить его, должен щадить его и теперь. Но мера терпения истощилась, он не может оставаться здесь более. Кутайсов, сделай распоряжение, чтобы

ему немедленно был объявлен приказ выехать из России, да чтобы поторопился, пусть меня не искушает!..

«Недолго же он попиrowал в своем новом прекрасном доме, — подумал Ростопчин. — Ах, значит, у нас на сегодня прекрасная новость! То-то будет толков, то-то будет радости многим!..»

Кутайсов отправился исполнять приказание государя, а Ростопчин, даже позабыв о своих делах, которых, по обыкновению, было у него великое множество, поспешил на половину государыни, чтобы там кое-кому сообщить интереснейшую новость дня...

XXVI. ПЕВЕЦ ФЕЛИЦЫ

В тот же вечер Ростопчин отправился к Горбатовым.

«Как-то у них принята новость о судьбе, постигшей Зубова?»

«А ведь хотя он и невозможный человек, — думал он про Сергея, подъезжая к знакомому дому, — а все же, пожалуй, в настоящее время он чуть ли не самый счастливый человек во всем Петербурге... Очевидно, теперь у него нет больше никаких желаний, получил все, ничего не хочет... Неужели я никогда не испытаю хоть на несколько дней такое душевное состояние? Да нет, где там. Были ведь уже хорошие минуты, только проходили чересчур скоро... Вечно бороться, вечно достигать чего-нибудь, что-нибудь устраивать — такова судьба моя!...»

И он никак не предполагал, что Сергей, несмотря на все свое счастье, тоже находил в глубине души своей неудовольствие. Только его тревоги были иного сорта, его желания и цели не согласовались с желаниями и целями Ростопчина. А судьба была одинакова, общая судьба всего человечества — стремиться, достигать и снова стремиться, быть в вечной погоне за неуловимым призраком, называемым душевным удовлетворением.

Впрочем, Сергей все же был теперь, конечно, счастливее Ростопчина, потому что тот помнил только минуты счастья, а он проводил уже целую безмятежную неделю. Он на время спрятал и позабыл все свои душевные запросы, на которые еще не было ответа. Он отвечал пока на один из этих запросов, он был действительно счастлив, глядя на Таню, видя, что и она счастлива.

Она теперь была совсем другая. Она в несколько дней сбросила с себя все, что ее затуманивало, что мрачило ее светлый образ. Она будто вернулась назад, будто воротила свою первую юность. В несколько дней она расцвела и еще похорошела — хотя, казалось, трудно похорошеть такой красавице. Но ведь в ее прежней красоте была тоска и тревога, была борьбы. Теперь же в ней хоть и не замечалось безумной радости, но в каждой ее мине, в каждом ее движении светилось торжественное, блаженное спокойствие.

В одной из самых уютных гостиных Ростопчин застал молодых хозяев и с ними одного нежданного для него собеседника. Собеседник этот был Гавриил Романович Державин.

Ростопчина встретили с обычным радушием.

— А я к вам с новостью, — тотчас начал он. — Вы сегодня не были во дворце, Сергей Борисыч, и, наверное, еще не знаете, что Зубову объявлено, чтобы он немедленно выезжал не только из Петербурга, но и из России.

— Неужели? — воскликнули в один голос Сергей и Таня.

— И я тоже ничего не слыхал об этом, — прибавил Державин. — Какая же тому причина?

Ростопчин передал все подробности.

— Я совершенно согласен, что после этого ему нельзя более здесь оставаться, — спокойно проговорил Сергей, — и вполне одобряю сдержанность государя. Он очень хорошо сделал, что ограничился его высылкой.

— Бывают же такие счастливые люди, что самые их проступки и недостойный образ действий помогают им избежать полной ответственности и заставляют других снисходительно к ним относиться! — улыбаясь, прибавила Таня.

— Да, Зубов один из редких счастливцев, даже в своем несчастии, — сказал Ростопчин. — Но что же молчит Гавриил Романович?

Он обернулся к Державину и пристально, и несколько насмешливо взглянул на него.

— Ведь вы, Гавриил Романович, насколько я знаю, чувствовали к князю Зубову большое влечение. Вы даже воспели его в прекрасных стихах ваших.

Державин не смутился и выдержал спокойно насмешливый взгляд Ростопчина.

— Человеку свойственно ошибаться, — пожав плечами, проговорил он, — и при этом человек — существо, умеющее совмещать в себе самые разнородные свойства. Вы почитаете князя Зубова извергом и злодеем, я таковым его не почитаю, и заметьте одно, вы беспристрастно к нему относиться не можете, быть может, потомство найдет в этом человеке что-нибудь и хорошее.

— Князь Зубов должен быть очень счастлив, что имеет таких защитников, — сказал Ростопчин. — Итак, Гавриил Романович, мы можем ожидать в скором времени появления, новой прекрасной оды, где будет воспета печальная судьба любимца счастья, низринутого в бездну горя?

— Нет, оды не будет, — опять-таки спокойно ответила Державин.

Но на этот раз спокойствие поэта было только кажущимся. Ростопчин задел его за живое.

«Когда-нибудь и я тебя поймаю, — подумал он. — Зубоскалить легко, а вот посмотрели бы мы, кому и какие оды стал бы ты писать, кабы только умел...»

— Впрочем, — вдруг оживляясь и сверкнув глазами, сказал Державин, — если вы не станете меня подзадоривать, то, пожалуй, я и напишу оду себе на погибель.

— Нет, нет, я вовсе не желаю этого, — поспешно и с улыбкой воскликнул Ростопчин. — Я знаю, вы на это способны! Простите же меня, Гавриил Романыч, я сегодня в глупом настроении. Нет, я серьезно советую вам, если только дозволите мне подать совет... Я советую вам не сердить государя, вы и так его чересчур рассердили.

— Что же делать? Невтерпез стало!

— Но расскажите, однако, как было дело? Я полагаю, не мне одному, но и нашим милым хозяевам будет интересно от вас самих узнать эту историю. А то всегда так перепутают у нас, что совсем не то выходит...

— Я своих поступков не скрываю, — отвечал Державин. — Дело происходило самым простым образом. Вам хорошо известно, государи мои, что я, при первых переменах, происшедших при воцарении государя, оставался по-прежнему сенатором и коммерц-коллегии президентом. Затем вдруг вышел указ о восстановлении в прежних правах, как учреждены были Петром Великим, всех государственных коллегий, в том числе и коммерц-коллегии. Ожидали, что из этого будет! И вот придворный ездовой рано утром привозит мне от государя повеление, чтобы я тотчас же ехал во дворец и велел ему доложить о себе через камердинера. Не медля ни минуты, исполняю свое приказание. Приезжаю во дворец, час ранний, темно еще совсем. Подождав немного, проведен был в кабинет, государь дал мне поцеловать руку, принял меня очень милостиво, расхвалил превыше

заслуг моих и объявил, что желает сделать меня правителем своего верховного совета. При этом он дозволил мне к себе вход во всякое время. Поблагодарив государя как следует, я ждал, что он меня отпустит. А он мне и говорит: «Если что теперь имеешь сообщить мне, то скажи, не опасаясь». Я отвечаю, что рад служить ему со всею откровенностью, если его величество изволит любить правду, как любил ее Петр Великий.

— Так и сказал?

— Так и сказал. Да и что же другое было сказать мне?.. Только вижу — взглянул на меня государь так, что пронзил меня своим взором. Однако же раскланялся милостиво. Я вышел. Прошел день, и вдруг выходит указ о назначении меня не в правители совета, а в правители канцелярии совета. Я изумился. Ведь это две вещи совсем разные. Если я правитель совета, то могу пропускать и не пропускать решения, а если правитель канцелярии, то могу только управлять ею. Недоумевая, жду, как все выяснится. Между тем, сделал визиты членам совета и не скрыл от них, что решился попросить у государя инструкцию. Приходит день заседания совета. Я еду, но совсем не знаю, как мне вести себя: сесть ли за стол вместе с членами совета или садиться мне за стол правителя канцелярии. Так и промыкался во все время заседания — стоя или ходя вокруг присутствовавших. Затем, по окончании заседания, князь Александр Борисыч Куракин объявляет, что когда составится протокол о делах, о которых рассуждали, то чтобы я онный привез к нему для поднесения государю. Посудите сами, мое положение еще более запутывается. Не мне ли государь сам прямо сказал, что я имею к нему доступ со всеми делами. Вижу окончательную необходимость просить инструкции. Вот и поехал рано утром, до света, во дворец, попросил Кутайсова доложить. Между тем, за множеством дел меня не приняли, так и уехал я ни с чем и вернулся на следующее утро. Принят был ласково, спрашивает государь: «Что вы, Гавриил Романыч?» Я отвечаю: «По воле вашей был в совете, но не знаю, что мне делать?» — «Как, не знаете, делайте то, что Самойлов делал!»

— Это было достаточно ясно, — заметил Ростопчин.

— Не совсем ясно, государи мои, ибо вовсе не согласовалось с тем, что прежде объявлено было самим государем. Самойлов был правителем канцелярии и имел звание камергера. Я же, как вам

известно, в ином несколько положении и невольно изумился, и заметил государю так: «Не знаю я, делал ли что Самойлов в совете, никаких его бумаг нет, а сказывали, что он только носил государыне протоколы. Посему осмеливаюсь испрашивать для себя инструкции». Между тем, вижу — государь начинает сердиться. «Хорошо, — говорит, — предоставьте мне!..»

Державин остановился. Ростопчин и Сергей с некоторым изумлением на него взглянули.

— Но это вовсе не то, что мы слышали! — в один голос сказали они.

— Я еще не кончил. Обсуждая свое дело хладнокровно, сам вижу, государи мои, следовало мне на сей раз удовольствоваться, но я не мог совладеть с собою, чувствуя себя обиженным, и прибавил: «Не знаю я, ваше величество, сидеть ли мне в совете или стоять?» Только что я проговорил слова эти, государь вздрогнул, глаза его блеснули, он подбежал к двери, отворил ее и крикнул Архарову, Трощинскому и другим, которые были рядом в комнате: «Слушайте, он почитает себя в совете лишним!» Затем обратился ко мне: «Пойди назад в Сенат и сиди там смирно, а то я тебя проучу!» И вот я пошел обратно в Сенат и сижу там теперь смирно...

Таня рассмеялась, улыбался и Сергей, а Ростопчин только развел руками.

— Вот вы смеетесь, сударыня, — жалобно и в то же время крайне комично проговорил Державин, — а мне-то каково! Поверите ли, я с того самого дня не могу найти себе покоя, уже не говоря о том, что чувствую обиду, да домашние мои совсем меня со свету сживают, так и пристают: вороти милость себе государя! А как я ее ворочу? Теперь мне во дворец и доступа нет, а коли каким-нибудь чудом меня и пропустят, я опять проболтаюсь...

— Вы на себя узду наложите, так ведь нельзя! — сказал Ростопчин.

— Сам себе, государи мои, тоже повторяю, да ничего с собой поделать не могу. Набалован покойницей государыней, набалован! Бывало, при ней как пробалтывался... Однажды она даже испугалась, кликнула господина Попова и говорит ему: «Сидите здесь до конца доклада, а то этот господин совсем меня съест». Я-то не съел ее, да и меня она не съела... Ну, а теперь времена трудные для человека с

таким непослушным языком! Посоветуйте, добрые люди, что мне делать? Как полагаете, Сергей Борисыч?

— Мы вас не выручим, — смеясь, сказал Сергей, — вас может выручить только одна ваша Муза.

— Это верно, на нее только вся моя и надежда... Я уж, по правде сказать, и оду приготовил...

— Отлично сделали, и, если угодно вам, Гавриил Романыч, я выберу удобную минуту да сообщу государю, что готовится новая ода, — продолжал Ростопчин.

— Премного обяжете!

— И я, со своей стороны, с большим удовольствием скажу и государю, и государыне про вашу оду, — весело объявила Таня, — но с одним уговором, я даром этого не сделаю, да и Федор Васильевич получит от меня запрещение, если вы не исполните мою просьбу. Прочтите нам вашу оду первым, тогда мы будем знать, о чем говорить.

— В самом деле, Гавриил Романыч, сделайте нам это великое удовольствие!

Сергей присоединился к просьбе Тани. Ростопчин поддержал их.

Он любил хорошие стихи, да и к тому же ему было крайне любопытно узнать, как это Муза станет выводить из затруднения своего поэта.

— Моя ода еще не совсем готова. Я намерен выпустить ее в свет на новый год. Придется в некоторых местах переделать, и мне не хотелось бы показать ее вам в ее утреннем туалете. Но если вы непременно требуете... впрочем, оно и хорошо, может быть, вы удостоите меня замечаниями, которые я приму к сведению.

Глаза его блеснули, он откинул голову, несколько мгновений сидел неподвижно, глядя куда-то далеко перед собою и, очевидно, забывая окружающее.

И вдруг звучным голосом он начал:

Занес последний шаг — и, в вечность
Ступя, сокрылся прошлый год;
Пожрала мрачна неизвестность
Его стремление, быстрый ход.
Где ризы светлы, златозарны,
Где взоры голубых очес?

Где век Екатерины славный?
Уж нет их! В высоте небес
Явился Новый Год нам в мире
И Павел в блещущей порфире...

Он остановился на мгновение.

— Начало прекрасно! — прошептали слушатели.

Между тем, поэт уже продолжал своими звучными, образными стихами. Он перечислял благие деяния и начинания Павла: он выбирал и указывал именно на то, что было ближе сердцу государя. Он, очевидно, понимал то, к чему стремился Павел.

Голос поэта звенел, он воодушевлялся больше и больше. Он рисовал широкую, блаженную картину, которая так долго, так заманчиво грезилась Павлу, которая манила его, на осуществление которой он надеялся и в этой надежде напрягал все свои силы...

Затем поэт переходил в глубину души государя и ясно видел в ней те свойства, которые, несмотря на их действительное существование, были мало кому ведомы:

По долгу строг и правосуден,
Но нежен, милостив душой,
На казнь жестоку медлен, труден,
Ждет исправления людей!
Виновных милует, прощает,
Несчастных слезы отирает,
Покоем жертвует драгим,
Участвовать в трудах супруге
И сыновьям велит своим;
Чистосердечья ищет в друге,
Блаженством общим дорожит,
Народной спопешая льготе.
По доблести и по щедроте
Аврелий зрится в нем и Тит...

Стих лился и вот завершился последним сильным аккордом:

А ты, о вождь полков нетленных,
Летел, что средь небесных сил,^[22]
Ко дню твоих торжеств священных,
Как Павел на престол входил!
Храня его твоей рукою,
Времен впредь цепью золотою
Крылаты горы сопряги;
Веди их всех цветов стезями
И счастья Россов береги,
Да с верными себе сынами
Отец наш ввек не узрит зла;
Но брань ли возникнет, иль коварство,
Вкруг облесни мечом ты царство, —
И их следы покроет мгла!

Державин остановился.

— Великолепно! Какая сила! — воскликнули Сергей и Таня.

А Ростопчин прибавил:

— Да, если бы государь был здесь и выслушал эту оду, наверно, все ваши тревоги окончились бы, и неприятное требование инструкции было бы забыто. Вы можете успокоиться, Гавриил Романыч, Муза вас выручит, я вам отвечаю за это.

— Но теперь я жду ваших замечаний, — сказал Державин, — не откажите мне в них, мне хотелось бы, чтобы эта ода была как можно удачнее.

— Во всяком случае, не мы станем исправлять ее, — ответил Сергей. — Что касается до меня, я нахожу ее превосходной, к тому же вы так прекрасно прочли. Я слышал музыку, она произвела на меня сильное впечатление. Я слышал очень верное определение характера государя, его стремлений, и во всяком случае, у меня осталось представление о прекрасном целом. Когда я сам прочту, быть может, мне и покажется, что какой-нибудь стих изменить надо. Но ведь с вами нет рукописи?..

— Рукописи нет. А вы, сударыня, не имеете ли мне сделать какое-нибудь замечание? — обратился Державин к Тане.

— Имею. Я много порадовалась, что вы понимаете государя именно так, как я его понимаю, но для полноты и верности у вас недостает одной черты.

— Пожалуйста, скажите, это любопытно.

— Вы не указали на присутствие чего-то высшего и таинственного в жизни государя. А между тем, без этого он не может быть вполне объяснен.

— Вы правы, сударыня, но я считаю неуместным касаться этой черты в стихах моих.

— Жаль, образ не полный, — настаивала Таня. — Мне еще не далее как сегодня, — я утром была у государыни, — рассказали новую необъяснимую историю... Федор Васильевич, вы, конечно, знаете, о чем я говорю?

— Вероятно, о Михайловском дворце?

— Да, конечно. Мне рассказала это сама императрица.

— Объясните, пожалуйста, что это такое? — спросил Державин. — Я что-то слышал... ведь дело в том, что летний дворец на Фонтанке, построенный еще Петром Великим, вдруг обратил на себя внимание государя, и он повелел наименовать его Михайловским. Говорят, что солдат, стоявший на часах у этого дворца, приходил к государю, что-то сообщил ему, и государь был очень взволнован. Что же означает эта загадка?

— Загадка и остается загадкой, — сказала Таня. — Караульный солдат действительно пришел к государю и рассказал, что недавно, в глухую полночь, когда он стоял на часах, к нему подошел почтенного и важного вида старец и повелел ему идти к государю. «Скажи ему, — говорил старец, — чтобы он велел немедленно на этом месте воздвигнуть храм во имя Николая Чудотворца с приделом Михаила Архангела».

Часовой, пораженный видом старца, смутился, не знал, что делать. Наконец, несколько придя в себя, ответил: «Как же могу я исполнить такое повеление, как отважусь подступить к государю с такими словами? Ведь я буду за это жестоко наказан!» — «Не опасайся ничего, — сказал старец, — никакого зла тебе за это не будет, а ты только напомни об этом государю — он уже сам все знает. Прибавь, что я поручил передать ему, что увижу его через тридцать лет снова».

И вдруг, сказав это, старец исчез. Солдат уверяет, что если бы это был обыкновенный человек, то он не мог бы так исчезнуть. И что же бы вы думали! Солдат, несмотря на весь страх свой, влекомый будто неведомой силой, явился во дворец, заставил доложить о себе государю и рассказал ему слово в слово свою беседу со старцем. Государь выслушал внимательно, задумчиво и проговорил: «Спасибо, что исполнил данное тебе приказание. Да, я все это уже знаю!» И вот древний дворец велено ломать, а на его месте заложена церковь во имя Николая Чудотворца с приделом архангела Михаила. Теперь государь приказал представить ему проект нового дворца. Государыня слышала от него, что к постройке дворца будет приступлено одновременно с постройкой церкви, которая будет в связи с дворцом. Вот все, что я знаю...

— Да, странное происшествие! — промолвил Державин. — Загадка остается загадкой, решить ее может только государь. Но он молчит и отказывается сообщить что-либо даже государыне.

Они перешли к рассказам о других таинственных случаях в жизни Павла. Этих случаев было очень много.

— Конечно, это знаменательная черта, но все же мне ничего ее касаться, — говорил Державин. — Как знать, быть может, и он сам был бы недоволен, если бы я коснулся...

— Одним словом, ваша Муза справляется со своим языком лучше, чем вы! — не утерпел Ростопчин.

XXVII. МЕЛОЧИ

Муза не изменила своему поэту и еще раз выручила Гавриила Романовича. Его ода на новый 1797 год, о которой государь уже заранее слышал от Тани и Ростопчина, произвела самое лучшее впечатление. Державину был снова разрешен проезд ко двору и «вход за кавалергардов».

Государь обратился к нему ласково, поблагодарил за оду.

— Твоими бы устами да мед пить, Гавриила Романович, — сказал он ему. — Но все же я должен сказать тебе, что ты большой льстец, — прибавил он с улыбкой. — Ты придал мне много таких качеств, которых, быть может, во мне нет вовсе, ты изобразил уже исполненным многое такое, об исполнении чего я пока только еще мечтаю, ты ни словом не заикнулся о моих недостатках, а ведь я грешный человек, и «от юности моя мнози борят мя страсти»...

Державин вспыхнул и смело взглянул в глаза государю.

— Лстецом я никогда не был, ваше величество, — твердым голосом проговорил он, — и тому немало могу привести доказательств. Люблю правду и готов умереть за нее; писал мою оду, подъятый вдохновением, и то, что писал — видел перед собою, и верю, что коли ваше величество приложите старание, то и неисполненное еще, о чем говорить изволите, будет вскорости исполнено... А о недостатках ваших мне говорить не приходилось — вы сами их знаете и нечего указывать на них всем и каждому. К тому же, государь, главнейшее мое оправдание в том, что у пиитического искусства есть свои законы и противно сим законам хвалебную торжественную оду смешивать с сатирою.

— Твоя правда, — продолжая улыбаться, ответил Павел Петрович, — но в таком случае я буду ждать теперь твоей сатиры.

— Не чувствую на сие вдохновения, ваше величество, и уповаю, что прежде чем таковое вдохновение во мне явится, вы сами, силою своей воли, которую так блистательно проявляете, избавитесь от своих недостатков.

— Тебя не переспоришь! Еще раз спасибо!

Государь пожал ему руку и отошел от него.

«День на день не приходится, — подумал Державин, — ведь вот так и ждал, что, еще не успев поправить свое дело, снова его испорчу, ах нет! С ним говорить можно, в нем воистину есть высокие свойства. Отчего это такой страх он на всех нагоняет? Отчего это всем почти ныне тяжело дышится? Он добр и благороден, у него великие и благие начинания, а всем тягостно — какая тому причина?..»

Но современнику, даже и такому, каким был Державин, трудно было уяснить себе эту причину...

Дни, недели проходили. Петербург все больше и больше изменялся, толковали о всевозможных стеснениях. Многие уезжали из столицы по своим поместьям или в иные города, шепотом объясняя свой отъезд страхом.

«Жить нельзя нынче! Такие пошли строгости, и что ни день, то хуже... и чем только все это кончится? Нет, лучше от греха подальше, пока еще время — не то ни за что, ни про что пропадешь!..»

Но это были только слова — покуда еще не пропадал никто, за исключением некоторых проворовавшихся и уличенных в самых возмутительных злоупотреблениях чиновников и сановников, которые были отрешены от должностей своих и высланы.

Стеснений действительно оказывалось много, но все эти стеснения относились к лавочникам-купцам, магазинщикам, буквально грабившим покупателей, да к разнузданной молодежи, которой опасно было теперь превращать ночь в день и бесчинствовать. Обращая внимание на все, государь обратил внимание и на пьянство, от которого совсем пропадали многие молодые люди и, по преимуществу, служившие в гвардейских полках.

В одну из своих послеобеденных поездок по городу государь вдруг неожиданно приказал кучеру везти его в очень хорошо известный по всему Петербургу трактир «Очаков», бывший притон разгульной молодежи.

Он вошел в этот трактир и застал в нем много гвардейских унтер-офицеров и иных молодых людей. Кутеж стоял в полном разгаре; иные были совсем уж пьяны. Из дальних комнат доносились звуки музыкальных инструментов; там находились арфистки — главнейшая приманка всей этой молодежи.

Но государь даже не заглянул в эти дальние комнаты. Он всю жизнь чувствовал отвращение к подобному распутству. Он сдержал

гнев свой и обратился спокойным тоном к молодежи, которая затихла и окаменела при его появлении. Даже у тех, кто был совсем пьян — хмель соскочил. Все с ужасом глядели на государя, считая себя погибшими.

— Не стыдно ли вам, господа, — сказал государь, — так недостойно препровождать свое время! Ведь у каждого из вас есть обязанности и, во всяком случае, вы легко можете наполнить ваш день чем-нибудь лучшим и полезнейшим. Одумайтесь, ради вас же самих и важнейшей же собственной пользы откажитесь от пьянства и распутства, пока еще есть время — не то пропадете. Неужели не видите вы той бездны, в которую стремитесь! Вы уничтожаете ваши молодые силы, портите себе здоровье, готовите себе раннюю и болезненную старость, приближаете себя к могиле. При этом вы проматываете все свои средства, разоряете себя и ваших родителей. И сами не заметите, как потеряете разум и станете буянами и негодниками. Одумайтесь, господа, из желания вам пользы и добра советую вам это!..

Он повернулся и приказал позвать к себе содержателя трактира. Тот так перетрусил, что забился где-то в угол и хотел скрыться, но это оказалось невозможным. Он поневоле должен был выйти, ожидая, что тотчас же его схватят и казнят.

Но и к нему обратился государь, не возвышая голоса.

— Подай мне подробную роспись всего, что у тебя продается, всех спиртных напитков и вин, и скажи, — только смотри, без утайки! — те цены, которые ты за них берешь!

Пришлось подать роспись с обозначенными ценами. Государь проглядел и ужаснулся необыкновенно высоким ценам.

— Ты грабитель! — сказал он трактирщику и, не прибавив ни слова, вышел.

Но тут он подозвал оказавшегося уже у трактира квартального.

— Слушай, — сказал он ему, — сегодня же отбери здесь все напитки, какие только окажутся в наличии, представь их список по начальству, я прикажу выплатить трактирщику все, что они стоят, а затем чтобы все бутылки были перебиты, и чтобы завтра не существовало этого трактира!

Он сел в сани и продолжал свою прогулку. Он думал:

«Опять начнутся вопли, опять станут прославлять меня мучителем, но ведь поймут же, наконец, что я не хочу никого мучить... Очнутся многие из тех, кто не совсем еще погиб, и когда-нибудь поблагодарят меня, а я должен делать свое дело!...»

Он ехал грустный и задумчивый, но все же не забывал отвечать, направо и налево, на обращенные к нему поклоны. Прохожие, завидя его, останавливались, снимали шапки и низко кланялись. Проезжавшие в экипажах останавливали своих кучеров, вылезали из экипажей, для того чтобы поклониться, даже дамы растворяли дверцы кареты и ступали на подножку. Так приказано было петербургским жителям через господина Архарова.

Вот какой-то франт, закутанный в длинную шубу, с трудом выбрался из-под полости своих саней. Шуба распахнулась — франт оказался в шелковых тонких чулках и красивых лакированных башмаках.

Государь приказал ехать тише, обернулся и смотрел, как франт отряхивает снег со своих башмачков, усаживается в сани и закутывает себе ноги.

«Вот, должно быть, бранится про себя! Ничего! Как раз десяток встретится со мною да попортит свои башмачки и чулочки, ознобит свои ноги, авось, бросит носить эти шелковые и заграничные чулочки, за которые платятся и уплывают в чужие руки русские червонцы, авось, поймет, что во сто крат лучше обзавестись удобными, теплыми ботфортами. Как наденут более простое, удобное платье из русского материала, тогда я отменю приказание выходить при встрече со мной из экипажа».

Но он не замечал, что слишком долго думает об этих вещах, которые, во всяком случае, оказывались мелочью в сравнении с тем, о чем ему предстояло думать и к достижению чего были направлены его главные стремления. Он не замечал, что с каждым днем крупное и мелочное начинают смешиваться в его мыслях и чувствах, не замечал, что его вечное возбуждение, напряженные нервы мешают ему отличать существенное от второстепенного.

Он спешил теперь во дворец, где ждали его важные государственные дела, но мелочность начинала его преследовать.

Подъехав ко дворцу и остановившись на крыльце, он обратил внимание на такую странность: едет вдали карета, вдруг несколько

полицейских солдат кидаются к ней, кричат что-то кучеру, заставляют его остановиться, хватают лошадей под уздцы. Кучер, перепуганный, очевидно, ничего не понимающий, останавливается, солдаты карабкаются на козлы, снимают с него шапку, грозят ему. Наконец, экипаж трогается: кучер без шапки.

Государь подозвал караульного офицера.

— Что это значит? — спросил он. — Ты видел?

— Точно так, ваше величество. Кучер при въезде на дворцовую площадь не снял шапки, и полицейские должны были заставить его это сделать в силу приказа вашего императорского величества.

— Что за вздор! Когда я отдавал такой приказ? — крикнул Павел Петрович, весь багровея. — Когда я отдавал такой приказ? — повторил он, подступая к оторопевшему офицеру.

— Не могу знать, ваше императорское величество! — едва ворочая языком, пролепетал тот. — Мне известно только, что вышел такой наказ от господина Архарова, и я полагал, что такова воля вашего величества.

— Напрасно полагал. Я не люблю невежливости, мне не нравится, когда при встрече со мною не кланяются и не снимают шапок. Не для себя я требую почтения — мне его не нужно; почтение должно оказываться не мне, а моему сану. А это что за вздор! Кучер не может кланяться, когда правит лошадьми, и чему же он будет кланяться? Стенам дворца? Да разве мой дворец — храм Божий... Слышишь, беги и объяви этим полицейским мой приказ, чтобы кучера не снимали шапок, проезжая по дворцовой площади.

— Слушаю, ваше императорское величество!

Офицер сломя голову побежал через площадь, а государь вошел во дворец раздосадованный.

Но на следующий день ему пришлось досадовать еще больше. Он случайно подошел к окну, выходившему на площадь, и увидел такую сцену: едет карета, кучер еще издали, забирая вожжи в одну руку, с трудом снимает с себя зимнюю нахлобученную шапку: вдруг полицейские останавливают карету, накидываются на кучера. Тот, очевидно, объясняет им что-то, но вот один из полицейских ударил его, другой схватил шапку и силою надел на него. Оказалось, что приказ не в меру усердного Архарова был известен уже всем в городе! Кучерам строго-настрого было наказано снимать шапки, едва они

издали увидят Зимний дворец — теперь нужно было заставлять их надевать шапки. И подобные сцены продолжались в течение нескольких дней.

— Да что ж это, в насмешку надо мною все делается? — волновался государь. — Все согласились исказить смысл моих желаний! Чтобы я не видел подобных сцен! Чтобы не было передо мной этого безобразия!

Кругом все молчали, дрожали, терялись. Его гнев действовал на всех каким-то особенным образом. Самые рассудительные теряли рассудок при резких звуках его раздраженного голоса, при горящем взгляде глаз его. Это было что-то фатальное. Но он не знал такого печального свойства своей наружности, он знал только одно, что ему мешают работать, когда столько работы. В иные минуты он начинал доходить до отчаяния.

XXVIII. ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА

Между тем, время приближалось к весне; в городе начинали поговаривать о близости коронации и о тех необыкновенно щедрых милостях, которые готовятся со стороны государя ко дню этого торжественного события. Но и теперь он почти ежедневно расточал всякие милости; постоянно рассказывалось о том, что такой-то получил такую-то нежданную и чрезмерную награду, другой получил еще больше. Раздавались тысячи душ крестьян, раздавались высшие знаки отличия. Чтобы получить какой-нибудь важный чин, не требовалось ни времени, ни очереди: государь был доволен, ему сделано было приятное, а так как приятное ему делалось редко, то он спешил отблагодарить и не знал меры своей благодарности.

Однако государыня и Екатерина Ивановна Нелидова, верные принятому ими образу действий, иногда достигали того, что сокращали размеры государевых милостей и останавливали его чрезмерную щедрость. Екатерине Ивановне, настоявшей на своем и не принявшей дорогих бриллиантов, присланных ей государем, вскоре представился случай опять рассердить его. Он приказал заготовить указ о пожаловании ее матери двух тысяч душ. Он думал так: «О денежном подарке Екатерине Ивановне я не смею и заикнуться; бриллиантов, которые можно обратить в деньги, она тоже не принимает, а между тем, ведь у нее нет никаких средств, должно же ей подумать о будущем, да и, наконец, на добрые дела нужны ей деньги. Что ж делать? Подарю две тысячи душ ее матери, не ей подарок, и она не решится лишить свою старуху мать состояния, а состояние матери перейдет к ней по закону, и цель будет достигнута».

Но расчет его оказался неверен. Екатерина Ивановна, едва узнала о заготовленном указе, тотчас же прислала государю письмо. Она писала ему: «Ради Бога, государь, позвольте мне просить у вас как милости, чтобы вы уменьшили этот дар, слишком щедрый, наполовину. Моя мать всегда сочла бы за великое и неожиданное богатство тысячу душ, от которых не смею отказаться за нее, потому что она мне мать; вы понимаете, государь, что мне связывает язык в этих обстоятельствах. Но я осмеливаюсь заверить вас всем, что есть

для меня священного, что я сочла бы истинным благодеянием, если бы по щедрости вашей вы дали ей пятьсот душ, и моя мать, конечно, почитала бы себя навсегда благодарной и щедро награжденной. Но две тысячи душ тяготят мне сердце: моя мать и никто другой из моих близких еще не служили вам. Время не ушло уменьшить ваш дар наполовину, и я, повергаясь к стопам вашим, умоляю вас об этом. Можно объявить, что две тысячи душ было выставлено по ошибке. Сделайте это, государь, ради Бога, пока на то есть время, снимите с моего сердца тяжесть. Не считите моего поступка скромностью, я требую от вас лишь справедливости, вы найдете между вашими подданными много людей, которые поистине заслуживают или заслужат со временем этот подарок, — он останется про запас. Подумайте о том, что источник ваших щедрот может иссякнуть, послушайтесь совета, который осмеливается вам дать ваш старый друг».

— Что с ней делать? — совершенно огорченный, сказал Павел Петрович императрице, показывая ей письмо Нелидовой. — Прошу вас, уговорите ее не сердить меня и не делать таких глупостей.

— Мои уговоры не приведут ни к чему, — отвечала императрица. — Вы так же хорошо, как и я, должны знать это, мой друг.

— Но подумайте, что с нею будет! Я должен позаботиться о ее будущем, она может пережить нас с вами, и когда нас не будет, как отнесутся к ней? Быть может, ей придется испытывать всякие лишения...

— Это невероятно. Все наши дети ценят и уважают Катерину Ивановну, и я постоянно внушаю им эти чувства...

Пришлось опять сдаться. Павел Петрович не мог выносить сердитого и огорченного вида Нелидовой, ему нужна была ее светлая улыбка, сознание, что она им довольна.

В числе лиц, к которым государь, несмотря на всю изменчивость своего настроения духа, продолжал относиться постоянно любовно, были молодые Горбатовы. Государь несколько раз был у них в доме и любовался их счастьем. Они постоянно получали приглашение во дворец и были принимаемы в самом интимном кружке царского семейства. Государь полагал, что с удалением Зубова грязная клевета, единственным создателем которой он его почитал, теперь навсегда

исчезла. Между тем, было не так. Одна и та же клевета часто вырастает в различных местах, и мы видели, как зерно ее неведомо каким способом зародилось в дворцовой церкви во время венчания Сергея и Тани. Клевета вырастала и уже начала похаживать по городу, будто разносимая ветром.

У Сергея Горбатова не было врагов, но были завистники, как у очень богатого человека, как у одного из государевых любимцев. И вот, несмотря на то, что карлик Моська изо всех сил оберегал своего Сергея Борисыча и Татьяну Владимировну, не доглядел он как-то, отлучился из дому, а во время его отлучки принесли письмо.

Швейцар не обратил внимания на принесшего, положил письмо на обычное место, полагая, что это один из просителей, которых всегда много являлось со своими жалобными письмами в богатый дом, где хозяева щедро раздавали деньги всякому, кто заявлял о нужде своей.

Сергей, вернувшись с Таней из дворца, взял все ожидавшиеся его письма и прошел с ними в кабинет. Таня от него не отставала.

— Большая сегодня корреспонденция! — сказала она. — Ну, мой милый, садись теперь вот в это кресло, а я тебе буду читать письма, ведь не может в них быть для меня тайн...

— Да и мало интересного, я думаю.

— Нет, напротив, быть может, и много интересного. Ах! сколько здесь нищеты, и как мы должны благодарить Бога, что имеем возможность хоть чем-нибудь помогать несчастным людям...

Таня распечатала первое попавшееся ей в руки письмо; начала было читать его, но вдруг остановилась, пробежала письмо глазами, слабо вскрикнула и схватила себя за голову.

— Господи! Да что же? — прошептала она, бледнея. Письмо выпало из рук ее.

Сергей испуганно взглянул на нее, схватил письмо, прочел, побледнел в свою очередь, и несколько мгновений они сидели неподвижно, не в силах будучи вымолвить ни слова.

В письме неведомый человек, осмелившийся подписаться «другом», сообщал Сергею о том, какого рода клевета ходит по городу относительно его самого и его молодой жены.

Таня очнулась первая.

— Какое зло мы сделали людям? — говорила она. — За что чернят нас, за что позорят твое честное имя? За что и на него так

клеветают? Мы стольким ему обязаны, мы знаем его чистое сердце!.. Боже, как ужасны, как злы люди!

— Ах, что в моем имени!.. — глухо прошептал Сергей.

И в первый раз в жизни вымолвил он такое слово, и никогда он не считал себя на него способным.

— Что в моем имени! Тебя, моя голубка белая, очернить хотят... я не могу этого вынести!

Стон вырвался из груди его, все в нем кипело, но что ему было делать: он чувствовал себя бессильным пред таким оружием...

— Недаром я не люблю этого Петербурга, — между тем, говорила Таня. — Это ужасный город, здесь люди как-то невольно становятся злыми.

— Ах, Таня, люди везде одинаковы!..

— Уедем отсюда, — продолжала она, — уедем скорей, пришло время исполнить наше желание; я уже думала, что нам долго не удастся отсюда вырваться, да и не удалось бы, тебя не выпустили бы, но теперь другое дело, теперь мы можем уехать. Скорей, скорей, подальше отсюда. Там, у себя, в родных местах, мы успокоимся и забудем всю эту здешнюю жизнь, все это зло.

— Да, ты права, — сказал, несколько начиная владеть собою, Сергей, — уедем, Таня...

— Завтра же отправляйся к государю, — перебила она, — просись в отпуск, да возьми это письмо на всякий случай с собою, не смущайся... Он потребует узнать правду, и ты скажи ему всю правду...

Они так и порешили, затем стали успокаивать друг друга, и кончилось тем, что каждый из них был уверен в своем успехе. Но они только хорошо обманули друг друга: каждый из них негодовал и мучился.

На следующий день Сергей рано утром поехал во дворец и был принят государем.

— Ты по делу? — спросил Павел Петрович, взглянув на него. — Какая-нибудь неприятность? Ты встревожен, говори скорей, что такое?

— Государь, простите меня, что я вас беспокою, я должен просить отпуска в деревню.

Государь покраснел, неудовольствие изобразилось на лице его.

— Отпуск?.. В деревню? — протянул он. — Нашел время! Самое теперь время уезжать отсюда в отпуск, Сергей Борисыч...

— Мне необходимо, ваше величество.

— Не ожидал я этого от тебя! Что ж, работы много? Замучил я тебя, что ли?

Сергей видел, что он раздражается с каждой секундой все больше и больше.

— Ваше величество, вы гневаетесь, а мне пуще всего невыносимо заслужить гнев ваш!.. Ради Бога, не сердитесь на меня, у меня есть важные причины желать в настоящее время удалиться отсюда...

— Так скажи мне эти причины, увидим, каковы они!

Сергей вынул полученное накануне письмо и передал его государю. Он быстро прочел его, побагровел и невольно вскричал:

— Таки добрались!.. Уберечь не сумели!

— Ваше величество, — изумленно и чувствуя себя совсем несчастным, проговорил Сергей, — значит, вам уже известно?

— Мне ничего не известно! — раздраженно перебил его Павел, потом замолчал и несколько минут ходил по кабинету.

Сергей ждал, чувствуя, как болезненно замирает его сердце, как бессильное бешенство подступает к груди его. Эти несколько минут казались ему невыносимыми и бесконечными. Павел подошел к нему и положил ему на плечо руку.

— Уезжай! — сказал он тихим голосом. — Тебе, видно, не судьба служить мне... но неужели она это знает, неужели ты не скрыл от нее!

— К несчастью, она знает.

Сергей рассказал, как было дело.

— Что же это? — уж без всяких признаков раздражения, с видимым душевным страданием и скорбью проговорил Павел Петрович. — Что же это, неужели мне суждено приносить только несчастье друзьям моим, счастье которых мне хотелось бы устроить?..

— Дорогой государь! — со слезами на глазах обратился к нему Сергей. — Умоляю вас, успокойтесь, и я, и жена моя до скончания дней наших будем смотреть на вас как на истинного нашего отца и благодетеля, и если я решился просить разрешения уехать теперь отсюда, то главным образом не для себя, а для нее. Ей нужно успокоиться, ей нужно забыть это не заслуженное нами оскорбление, ей нужно быть теперь спокойной: низкая клевета нашла себе пищу именно в такое время, когда жену мою нужно беречь от всякого волнения не только для нее самой...

— Что ты хочешь сказать?

— На этих днях я получил надежду сделаться отцом.

— Друг мой, поздравляю тебя, это большое счастье, и ради такого счастья ты должен быть спокоен, забудь эту скверную клевету, ты хорошо знаешь, что никто от нее не избавлен, и что с этим ядом нельзя бороться — против него не найдено средства. Благодарю тебя, что не скрыл от меня истину. Да, теперь я вижу, что просьба твоя законна; уезжай, конечно, уезжай, хоть мне и грустно расставаться с вами, но надеюсь все же — разлука наша не будет продолжительна, я увижу тебя счастливым отцом семейства. Когда ты думаешь ехать?

— Когда, ваше величество, разрешите?

— Это зависит от тебя.

Государь обнял и крепко поцеловал Сергея...

Через неделю в Петербурге узнали об отъезде Горбатовых. Эта новость была неожиданна. Никакой особенной, уважительной причины для подобного отъезда найти не могли, начали судить и рядить.

«Немилость это?»

Нет, знающие люди уверяли, что нет никакой немилости, что, напротив, и государь, и государыня выразили отъезжающим самое теплое участие.

«Как же объяснить, что люди убежали от своего счастья?»

Останавливались на самых невероятных предположениях.

ЭПИЛОГ

Прошло четыре года. Стояли первые теплые дни. Весна началась рано. Снег уже растаял, и из-за сухих прошлогодних листьев показывалась первая травка в горбатовском парке.

В последние годы не узнать стало Горбатовского. Дом был перестроен заново, изменена была и внешняя его архитектура. Сергей Борисович не пожалел денег, чтобы на славу отделать свое родовое гнездо. Огромный деревенский дом этот, прежде отличавшийся невзыскательной простотою, наполненный неуклюжей, иногда самодельной мебелью, теперь поражал роскошью обстановки. Мебель была выписана не только из Петербурга, но и прямо из-за границы.

От прежнего дома, собственно говоря, осталась только зала с хорами, увешанная старыми семейными портретами. К дому теперь примыкал, завершая длинную анфиладу комнат, обширный зимний сад, наполненный самыми роскошными тропическими растениями, которые под руководством опытного немца-садовника выращивались в многочисленных теплицах и оранжереях.

В доме, незадолго еще перед тем тихом и унылом, теперь было постоянное оживление, показывавшее, что хозяева живут в нем.

Действительно, Сергей и Таня, как приехали из Петербурга весною 1797 года, так и остались здесь безвыездно. Уж очень хорошо было им в первое время на родине. К концу года Таня благополучно родила сына, названного в честь покойного деда Борисом.

Сначала еще поговаривали Горбатовы о поездке в Петербург, но, несмотря на все желание увидаться с некоторыми близкими людьми и, главным образом, с государем и государыней, они все же глядели на эту поездку как на тяжкий для себя долг, исполнение которого старались отложить всеми мерами.

Между Сергеем и его петербургскими благоприятели шла довольно деятельная переписка. Ему сообщались из Петербурга все новости, но мало радости приносили эти письма. Читая их, печально задумывались и Сергей, и Таня. Из этих писем, и в особенности из писем Кутайсова, уже подписывавшегося теперь своим новым графским титулом, Горбатов узнавал, что государь, несмотря на

продолжение своей всесторонней изумительной деятельности, быстро изменяется. Он на ногах, он в постоянном движении, но, между тем, в здоровье его, очевидно, происходит быстрая перемена. Он не сознает этого, не сознают этого и почти все окружающие, сознает один только Иван Павлович, который лучше чем кто-либо понимает своего благодетеля.

И видит Горбатов, как тяжело теперь иной раз должно быть государю и как в то же время тяжело должно быть и окружающим. Он становится все раздражительнее и раздражительнее, в нем развиваются все больше и больше мелочность и подозрительность.

Скоро пришлось окончательно убедиться в перемене, происшедшей с государем. Сергея перестали звать в Петербург. И вот он узнал, наконец, от одного из своих корреспондентов, от одного из тех друзей, которые всегда так рады бывают сообщить другу неприятное известие, что государь при многих свидетелях выразился следующим образом: «Горбатов обманул меня, сказал что вернется — до сих пор его нет, ну, так мне его и не надо!.. Пусть и сидит в своей деревне!»

Никому, конечно, не пришло в голову, что в этих словах государя звучало прежде всего желание, чтобы Горбатов вернулся. Поняли так, что кто-нибудь подставил ногу недавнему любимцу и что теперь песня эта спета. Потолковали об этом, иные выразили равнодушное сожаление, другие порадовались неудаче ближнего. Но вскоре затем Сергей получил письмо от Кутайсова. Иван Павлович писал ему: «Не в моем обычае, милостивый государь мой, забывать старых друзей и старые услуги. Считаю до сего дня себя в долгу у вас, а посему поспешаю преподать добрый совет: если желаете сохранить к себе милость государя, выезжайте немедленно в Петербург, но без огласки. Известите меня, когда прибудете, и я исполню все, что в моих силах, чтобы уговорить государя отменить решение, им относительно вас принятое, и встретить вас по-прежнему. Много, сударь, повредило ваше отсутствие! Не знаю, удастся ли мне все исправить, однако же, пребываю в уповании на доброе окончание сего дела...»

— Что же, Таня, как ты полагаешь? — спросил Сергей, когда они окончили чтение этого письма. — Ехать?

— Да, делать нечего, — ответила она, — надо расстаться нам с мирной здешней жизнью.

И в то же время лицо ее выразило всю тоску, вызванную одной мыслью о Петербурге. Тем не менее, стали приготовляться к отъезду. Но судьба вмешалась и удержала их снова. Маленький Борис внезапно заболел. Врач нашел его положение серьезным, об отъезде нечего было и думать. Целый месяц был болен ребенок, а ко времени его выздоровления получились новые, не совсем успокоительные письма. Отъезд затянулся, и скоро перестали говорить о нем. Сам Иван Павлович писал, что дело испорчено, называл поступок Сергея «губительным».

Сергей примирился с мыслью о немилости государя и вдруг почувствовал себя несравненно спокойнее. Не было больше колебаний, не стояла постоянно в мыслях необходимость поездки, можно было успокоиться, сложив всю вину на обстоятельства. Сергей так и сделал, сделала так и Таня. Окончательно основались они в Горбатовском. И забывали мало-помалу свою придворную жизнь, для которой не были созданы, ушли всецело в жизнь деревенскую. Вернулись привычки детства, вернулись старые воспоминания.

Им дано было огромное и редкое счастье любить друг друга, не охлаждаясь с годами, и не отравлять своей семейной жизни заботами о насущном хлебе, печальными думами о грядущем будущем. Все, что могло дать богатство, было у них под руками. Роскошный дом, не уступавший своим великолепием царским чертогам, огромная толпа прислуги, — целое государство в малом размере. Горбатов был самым богатым и важным человеком в губернии. Его богатство, ласковое обращение как его, так и Тани, привлекали в их дом постоянных гостей. Незаметно сложился сам собою строй привольной барской жизни того времени.

Время шло довольно скоро. Через год у Тани родился второй сын, названный в честь ее отца, князя Пересветова, Владимиром.

Все было, ничего не доставало, — но все же иногда казалось Тане, что становится меньше свободы. Иногда утомляли эти наезды по большей части неинтересных гостей, эти большие обеды, празднества неизбежные. Но, во-первых, в такие минуты она решала, что иначе и быть не может, а, во-вторых, условия этой широкой, барской жизни позволяли ей, несмотря даже на присутствие гостей, удаляться к себе, в свои комнаты, возвращаться к любимым книгам или проводить час-другой одной с детьми, с мужем.

Не совсем такую представлялась ей ее будущая жизнь в те дни, когда она убедилась, что Сергей возвращен ей. Но она решила, что то были грезы, а теперь настала действительность.

Сергей, несмотря на все свое благополучие, чувствовал себя значительно хуже. Ему по временам снова становилось скучно, снова одолевало его томление неудовлетворенности. Таня поглощена своими разнородными занятиями, и он часто один. И всего более он один тогда, когда окружен народом. Почти ничего общего нет между ним и этими соседями, по большей части, людьми совсем необразованными, на которых он поневоле должен смотреть сверху вниз.

Но и у него задаются светлые минуты. Привезут из Петербурга посылку с новыми книгами и газетами — он восторгнется и на несколько дней хватит ему любимого занятия.

Он любит природу, любит охоту. Окружающая родная природа навеивает тишину ему на душу. Волнения охоты заставляют горячо биться его сердце...

Дни проходят за днями. Может быть, и хотелось бы чего-нибудь иного, но он знает, что иного нет на свете. Он знает, что это настоящее, во всяком случае, счастливее и лучше его прошедшего — и успокаивается на этом так же, как и Таня.

Все эти соседи, все эти гости, наполняющие дом его, вся губерния его почитают, все перед ним преклоняются и в то же время толкуют об его странностях.

«Отец был чудака, да и сын вышел такой же!»

И нет-нет, да и произнесется то тем, то другим и в деревню занесенное слово. Называют Сергея «вольтерьянцем».

«Вольтерьянец, это точно, этого уж не скроешь! — говорят про него. — Все книги, Бог его ведаёт, какие читает, в церковь редко заглядывает. Испортили его там за границу. Не будь он „вольтерьянцем“, не сидел бы в деревне. Ведь уж как не скрывай, а ведь всем известно — в Петербург бы и рад показаться, да не смеет. Ну, а при всем том, человек добрый, обходительный — одно слово, вельможа!...»

Таково было мнение губернии о Сергее. Он бы добродушно посмеялся, если бы узнал, что прозвище «вольтерьянец» его так преследует, но, конечно, он не знал этого, да и вообще не интересовался тем, что о нем говорят и думают.

Так и прошли однообразно, не скучно и не весело, эти четыре года...

Сергей и Таня после раннего деревенского обеда сошли со стеклянной террасы в сад. Никого почти из гостей на этот раз не было у них в доме.

Некоторые дорожки сада были уже расчищены и просохли. Теплый весенний ветерок едва колыхал сухие еще ветки деревьев. Обширные цветники, распланированные перед домом, были разрыты. Садовники приготавливались начинать над ними работу. Пахло разрыхленной землею, в воздухе носилось щебетание птиц. По ясному небу плыли легкие весенние облака.

Таня оперлась на руку Сергея, и они молча пошли по усыпанной ярко-желтым песком дорожке, и долго молчали. Они медленно двигались нога в ногу, любовно прижавшись друг к другу.

Приближение весны навевало на них тихую дрему, тихое приятное раздумье. О чем? Обо всем. И о прошлом, и о настоящем, и о будущем. Время от времени они глубоко вдыхали в себя свежий, чистый воздух.

— Вот, когда хорошо в деревне, славное наступает время! — проговорил Сергей.

— Да, — шепнула Таня, — не позавидуешь теперь городской жизни.

— А ты разве когда-нибудь ей завидуешь?

— Ты знаешь, что нет.

— Однако, — сказал он, — что это Степаныч до сих пор не возвращается из города, я ждал его все утро. Ведь мы давно-таки не получали из Петербурга никаких известий!

Они снова замолчали и продолжали прогулку. И не успели подойти они к дому, как навстречу им, озаренная ясным солнцем, показалась фигурка Моськи. Вот он ближе и ближе. Они уже могут различить лицо его.

— Что это с ним такое? Что случилось? — в один голос воскликнули и Сергей, и Таня.

Моська шел, или вернее, плелся, волоча за собою ноги. Лицо у него было заплаканное. Они поспешили к нему. Он остановился, взглянул на них и вдруг, закрывая лицо ручонками, громко зарыдал.

— Что такое? О чем ты?

— Не стало нашего благодетеля... скончался! — сквозь рыдания проговорил Моська.

Сергей и Таня невольно вскрикнули и побледнели. Между тем, Моська вынул из висевшей у него через плечо сумки письмо и подал его Сергею. Сергей распечатал, прочел и передал Тане. Письмо это было от губернатора, который извещал Горбатовых о кончине государя.

Таня упала на грудь Сергея и залилась слезами. Сергей стоял, как громом пораженный, ни слез не было, ни мыслей. И вдруг он понял, кого лишился. Вдруг в нем неожиданно встали и мучительно заговорили новые чувства. Он схватился за голову.

— Ах, я несчастный! — простонал он. — Зачем же я жил здесь, зачем меня там не было? Он умер... так неожиданно, так рано!..

И ясно, как живой, представился ему этот человек, на служение которому он когда-то мечтал отдать все свои силы. И казалось ему, что этот человек глядит на него с упреком, будто говоря:

«Мало было у меня друзей и слуг — да и те покидали!..»

События шли своей чередой. Началось новое царствование при самых лучших предзнаменованиях. На молодого, вступавшего на престол монарха обращались все взоры с любовью и надеждой. Муза Державина воспела хвалебный гимн. Все оживились, все воспрянули духом, все свободно вздохнули.

Страстное, благородное сердце непонятого труженика-страдальца успокоилось навеки. Мало кто оплакивал знаменательную, мрачную судьбу его. Все добро, которое в нем вмещалось, на глазах людей превратилось во зло. И этим злом долго была омрачена его память, пока, наконец, с течением времени далекие события не стали озаряться ясным, спокойным светом, пока злоба дня не стала превращаться в историю.

Время проходило, и одно за другим исчезали с жизненной сцены лица, появлявшиеся на страницах этого рассказа.

Почти одновременно с кончиной государя царское семейство понесло новую утрату. Вдали от родины, в Вене, скончалась Александра Павловна. Предчувствие ее исполнилось, она не возродилась к жизни, она медленно умирала четыре года.

Густав не вернулся к ней и своими безумными поступками, своим легкомыслием, взбалмошным характером приготовил себе печальную

будущность. Великая княжна о нем не осведомлялась, она знала, что волшебный сон ее прошел навсегда. Она окончательно примирилась с мыслью о том, что жизнь ее кончилась, о том, что она умирает — и только изумлялась тому, как невыносимо долго происходит это умирание. Теперь она уже больше не волновалась и не плакала, тоска ее была тиха. Она на вид казалась даже совсем спокойной, и только временами блуждающий, рассеянный взгляд ее кротких глаз мог указать на то, что она живет совсем в особом мире, живет своей внутренней, никому не понятной жизнью.

И дожила она этой жизнью до конца 1799, когда покорно исполнила волю своих родителей, пошла под венец с Иосифом, Палатином Венгерским, эрцгерцогом Австрийским. На этот раз все устроено было без особых затруднений. Вопрос о вероисповедании великой княжны не явился препятствием. Православные австрийские подданные праздновали радостную весть о бракосочетании эрцгерцога с единоверною им русскою великою княжною. Покидая Россию, великая княжна вышла из своего спокойствия, из своей апатии. Она горько плакала и терзалась, прощаясь с родными. Ведь она прощалась с ними навсегда; злая смерть, так долго ее томившая, не захотела дать ей возможности умереть на родине. Она уехала умирать в далекую, чуждую землю, умирать, не чувствуя перед смертью ласк матери, не видя вокруг себя ни одного близкого и любимого лица.

В императорском австрийском семействе, к которому она теперь принадлежала, она встретила вражду. Императрица Терезия возненавидела ее с первого же дня и стала подвергать ее самым невыносимым оскорблениям. Александра Павловна все выносила, никто никогда не услышал от нее ни единого слова жалобы или упрека. Она продолжала умирать. Чем больше терзаний, тем больше обид и оскорблений, тем лучше. А в ось, наконец, смерть сжалится над нею и скоро возьмет ее. И смерть сжалилась — четвертого марта 1801 года она скончалась, хотя накануне еще доктора уверяли, что она вне всякой опасности. Причина ее смерти осталась тайной, о которой много говорили и судили в свое время и которую так и не разгадали...

Человек, легкомыслие которого было одною из первых причин несчастья Александры Павловны, — князь Зубов, избежал-таки должного наказания за все свои грехи, за все то зло, какое он сделал в жизни. Впрочем, избежал ли? Верно решить вопрос этот было бы

можно, только заглянув в его душу, а в душу его никто не заглядывал. Мы можем только указать на внешние обстоятельства дальнейшей судьбы его.

По приказу Павла Петровича, выехав из Петербурга за границу, он путешествовал по Германии. И всюду же он производил самое лучшее впечатление, изумлял всех своей обходительностью, любезностью, словом, теми качествами, которых именно и не было в нем в дни его величия. Оказалось у него теперь и нежное сердце. Он начал с того, что возил за собою какую-то очень хорошенькую особу, переодетую камердинером. Но затем эта хорошенькая особа исчезла. Он в Теплице влюбился в красавицу эмигрантку Рош Эмон, но вскоре распростился с нею и принялся ухаживать за молодыми курляндскими принцессами, очень красивыми и очень богатыми. На одной из них он намеревался жениться, но герцог Курляндский, помнивший прежнее надменное отношение к нему Зубова, не поддался и отказал ему в руке своей дочери. Тогда Зубов намеревался насильно похитить принцессу. Герцог, как уверяли, послал жалобу государю, и Зубов получил в скором времени приказание вернуться в Россию и поселиться в одном из своих поместий в Литве.

Однако и здесь ему пришлось прожить недолго, счастье продолжало ему улыбаться. Благодаря Суворову, дочь которого была замужем за его братом Николаем, ему разрешено было вернуться в Петербург, и еще раз Павел Петрович простил его. Чтобы добиться своих целей, светлейший князь Платон Александрович предложил руку и сердце дочери нового графа, Ивана Павловича Кутайсова, и тот, польщенный этим, стал за него ходатайствовать перед государем. Зубов был назначен шефом первого кадетского корпуса.

Но, несмотря на новые милости государя, в нем по-прежнему кипела злоба, и он оказался до конца в числе непримиримых тайных врагов его...

В начале царствования императора Александра Зубов уехал навсегда из Петербурга и поселился в одном из своих имений, Янишках, где прожил до самой своей смерти, которая долго его щадила. Здесь, в деревне, этот «дней гражданин золотых, истый любимец Астреи», по свидетельствам людей, близко знавших его в то время, явился в новом виде. Обладая громадным состоянием (у него было до тридцати тысяч душ крестьян, не говоря уже о весьма

значительных денежных капиталах и всевозможных драгоценностях), он стал отличаться болезненной скупостью. Он сам, не доверяя никому, входил во все мельчайшие подробности своего хозяйства, торговался с жидами, умел обманывать даже их. Сколачивая деньги — а он не признавал иных денег, кроме звонкой монеты, — он свозил свои капиталы в подвалы своего замка. Бочонки с золотом и серебром хранились в этих подвалах. Платон Александрович в праздничные дни сходил в подвалы и по целым часам любовался блеском этого золота и серебра... Было чем любоваться — после его смерти одних серебряных рублей оказалось на двадцать миллионов.

И чем старше он становился, тем скряжничество его развивалось больше. Он даже начал плохо одеваться. Никто не видал его веселым, он всегда глядел мрачно и подозрительно, произнося, кстати, фразу, сделавшуюся его любимой поговоркой: «Так ему и надо, так ему надо!»

Он стал бояться смерти. При нем никто не смел говорить о покойниках. А, между тем, он быстро разрушался. Ему было немногим более пятидесяти лет, но он имел вид дряхлого старика...

За полтора года до своей смерти Зубов отправился на конную ярмарку в Вильно и встретился там с молоденькой, хорошенькой полькой Валентинович. Она была дочь бедной вдовы, которая приехала в Вильно хлопотать о каком-то деле. Панна Фекла Валентинович заронила в сердце старого скряги искру чего-то, похожего на страстное чувство, и он, недолго думая, пожелал купить дочь у матери за деньги. Его предложение было отвергнуто, но панне Фекле улыбнулась мысль сделаться светлейшей княгиней и владетельницей огромного богатства.

Она начала кокетничать с Платоном Александровичем и повела дело так ловко, что князь сделал ей предложение и женился. Всего год прожил он с женою и, вероятно, этот год не был из счастливых в его жизни...

Федор Васильевич Ростопчин, вместе с Кутайсовым получивший графское достоинство, неутомимо работал почти во все кратковременное царствование императора Павла. Но незадолго до кончины государя, несмотря на все свое искусство и умение пользоваться минутами, он вдруг впал в немилость и должен был выехать из Петербурга. Затем мы его видим в качестве одного из

крупных деятелей 1812 года. Конец его жизни был тихий и скромный. Он доживал в Москве, удаленный от дел, уважаемый некоторыми современниками, порицаемый многими. У ближайших потомков о нем составилось самое противоречивое мнение. Но в настоящее время опубликована, между прочим, его многолетняя переписка с графом Воронцовым. Переписка эта полна интереса, ярко освещает многие из событий нашего исторического прошлого. Ярко освещает она и образ самого автора, образ талантливого, горячего и желчного человека, сделавшего много полезного и хорошего, сделавшего много ошибок, и, как бы то ни было, не бесследно поработавшего в жизни...

Остается сделать несколько последних слов о людях, не записавших своего имени в историю, но переживших вместе с историческими деятелями многие важные события.

Сергей Горбатов и Таня, несмотря на милостивое письмо к ним императрицы Марии Федоровны, несмотря на грустное письмо Екатерины Ивановны Нелидовой, которая после смерти своего несчастного друга оставалась в своей «келье» и молилась о душе его, — не поехали в Петербург. Если они и прежде ненавидели этот город, то теперь он был для них просто страшен. И как-то так само собою сложилось, что с Горбатовым повторилась судьба отца его.

Год проходил за годом, понемногу начали стариться и Сергей Борисыч, и Татьяна Владимировна. Прошрое им казалось далеким сном. И с каждым годом все больше и больше ощущали они связь с этим прошлым. Прежняя Таня — теперь уже странно было называть так эту красивую, величественную женщину, — посвящала все свои силы, все свои знания, приобретенные во время гатчинской жизни, своим двух подраставшим сыновьям.

В их воспитании и образовании для нее открылись широкие цели, целый новый мир радостей и горя. И во всяком случае, жизнь ее была полна теперь, и она не желала себе иного удела.

Карлик Моська, хотя горбатовская дворня и считала его по-прежнему бессмертным, дряхлел с каждым годом, но все еще сохранял ясность мыслей и свежесть чувств. Он обожал «крошек», как называл Бориса и Владимира Горбатовых, которые давно уже были более чем вдвое выше его ростом. Он молился на свою золотую Татьяну Владимировну. Он по-прежнему «ходил около Сергея Борисыча» и по-прежнему журил его и распекал даже гораздо чаще прежнего. А

забираясь в свою тихую комнатку, где вечно пахло, мятным квасом, где на стенах красовались старые, засиженные мухами лубочные картины, изображавшие адские мучения, он вспоминал пережитые бедствия. Вспоминал и благодетеля государя. Его совсем сморщенное, испещренное глубокими морщинами личико сморщивалось и съеживалось еще больше, на потухающие глаза наворачивались слезы. «Упокой, Господи, душу раба твоего царя Павла!» — шептал он, падая перед кивотом с иконами. И, быть может, никто так горячо не молился, за исключением далекой Екатерины Ивановны, об этой многострадальной душе, как старый карлик.

Менее всех счастлив в роскошном горбатовском доме был сам хозяин, «вольтерьянец», как упорно все продолжали называть его.

Хотя и спокойный духом, он чувствовал иногда тягость жизни, в которой не было ясной, определенной цели. Он понимал, что цель могла бы явиться, — ведь под его властью около сорока тысяч душ крестьян, ведь это все живые люди, о которых он когда-то пророчествовал Ростопчину, что придет время, когда эти люди будут свободны.

Но тогда наивный юноша верил в осуществление своих прекрасных мечтаний, — теперь человек, уже переживший вторую половину жизни, переставал верить грезам.

Мы еще встретимся с нашим «вольтерьянцем» в глубокой старости, во дни, когда будут действовать новые люди, когда его дети будут приобретать житейский опыт, который так мало пользы принес отцу их...

1882

notes

Примечания

1

Значит, вы предоставляете мне полную свободу действий?

2

Разумеется, друг мой (фр.).

Вы ангел доброты, но тем хуже для него (фр.).

4

Пошли, малышка, я хочу тебя кому-то представить (фр.).

«Важнейший вопрос дня» (фр.).

Вставайте, дорогое дитя, давно пора (фр.).

7

Извините, извините, я буду готова через минутку (фр.).

Прошу вас проводить меня, друг мой (фр.).

Послушайте, дорогая (фр.).

Щеголь (фр.).

У меня нет денег (фр.).

Примите мои поздравления, мой дорогой, будьте счастливы — я желаю вам это от всего сердца (фр.).

Увеселительной прогулке (фр.).

14

Как вы считаете? (фр.).

Ах, это вы, мой дорогой Ростопчин! (фр.).

С какой новостью вы пожаловали ко мне? (фр.).

Будьте любезны следовать за мной (фр.).

Ах, какой же это важный момент для вас, ваше высочество (фр.).

Погодите, дорогой мой, погодите. Я прожил сорок два года. Бог меня поддерживал; быть может, он даст мне силы и разума снести Божье предназначение. Будем надеяться на его доброту... (фр.).

Пусть погибнет мир, но да свершится правосудие (лат.).

Прибор (или сервиз) для завтрака (фр.).

Здесь Державин подразумевал архангела Михаила.